

ОПЫТ РУССКОГО
ЛИБЕРАЛИЗМА
АНТОЛОГИЯ





ПАРТІЯ
НАРОДНОЙ СВОБОДЫ

П. И. Новгородцевъ.

Идеалы партіи народной
свободы и социализмъ.

Цѣна 25 коп.

ИЗДАНИЕ
„НАРОДНОЕ ПРАВО.“
МОСКВА.

ОПЫТ РУССКОГО ЛИБЕРАЛИЗМА

АНТОЛОГИЯ

МОСКВА
КАНН+
ОИ «РЕАБИЛИТАЦИЯ»
1997

ББК 87.3
О 60

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ В ПАМЯТНИКАХ

Серия основана в 1993 г.

Редакционная коллегия:

В. М. Бакусев (зам. председателя), **Ю. В. Божко**,
А. Б. Гофман, **В. М. Родин**, **В. В. Сапов**,
Л. С. Чибисенков

Ответственный редактор **М. А. Абрамов**
Художник **Ю. В. Сенин**

О 60 Опыт русского либерализма. Антология. — М.: Канон, 1997. — 480 с. — (История философии в памятниках)

ISBN 5-88373-095-7

Большинство из представленных в антологии материалов не издавались в СССР и постсоветской России. В числе авторов философы, правоведы, историки, ученые с мировым именем — Б. Чичерин, К. Кавелин, М. Ковалевский, П. Новгородцев... В основном публикуются целостные тексты, посвященные теории и истории либерального движения в России. Судьба этого движения оказалась трагичной, но в ней и немало поучительного для России сегодняшней, вновь оказавшейся на переломе.

О 0301030000-077
57В(03)-96 Без объявл.

ББК 87.3

ISBN 5-88373-095-7

© Издательство «Канон», 1996

ПРЕДИСЛОВИЕ

НЕОКОНЧЕННАЯ СИМФОНИЯ РУССКОГО ЛИБЕРАЛИЗМА, ИЛИ ВОЗВРАЩЕНИЕ БЕЛОГО ПАРОХОДА

Либерализм в России относительно молод. В политическую партию он сложился лишь в начале XX в., и тем не менее его теоретическое наследие — обширная *Terra incognita* — затонувшая Атлантида, ожидающая отечественных исследователей.

Уникальные географические, исторические, социально-политические условия гарантировали оригинальность русского либерализма, а загадочная славянская душа придала идеалам свободы иррациональное измерение.

Между тем поначалу все было довольно просто. Если не забираться в глубь истории, где можно обнаружить «либеральную мудрость» Екатерины II или «либеральное начало» правления ее внука, то новое для России слово «либерализм» получило гражданство после крымского конфуза, став лозунгом всякого образованного и здравомыслящего человека. Б. Н. Чичерин — первый, и едва ли не последний либерал-классик на Руси, в 1855 г. писал: «...Это знамя, которое может соединить около себя людей всех сфер, всех сословий, всех направлений. Это слово, которое способно образовать могущественное общественное мнение, если мы только стряхнем с себя губящую лень и равнодушие к общему делу. Это слово, которое изгонит из нас всю внутреннюю порчу, которое дает нам возможность стать наряду с другими народами и с обновленными силами идти по тому великому пути,

которого залог лежит в высоких доблестях русского народа»¹.

В либерализме вся будущность России! Эта ничем не омраченная вера покоилась на ясном и недвусмысленном понимании либеральных начал, необходимых для благоденствия России. Среди них — требование свободы совести (первое и священнейшее право гражданина), требование свободы от крепостного состояния — одного из величайших зол, которыми страдала Россия. Не менее важны свобода общественного мнения и книгопечатания, а также свобода преподавания. В сочетании с публичностью всех правительственных действий, публичностью и гласностью судопроизводства все это должно обеспечить великое и благородное начало свободы вопреки скептикам и обскурантам.

Обскурантов же хватало и сверху и снизу. Некто П. Д-н, «представитель низшего сословия», как он сам отрекомендовался, в брошюре «Наши либералы» предостерегает против злоупотребления пресловутой свободой. Приравняв свободу печати, сиречь свободную торговлю «умственной пищей», к торговле обыкновенными снедями и лекарственными снадобьями, он предупреждает, что устранение «медицинско-полицейского надзора» даст «всесветным шарлатанам полную свободу действий». «Свобода, — надеется автор, — не приживется в России. Осененная знаменем Православия... выросшая и окрепшая под десницей самодержавной власти, единомысленная и однородная в своей основе и сердцевине, она оказывает только на поверхности и на некоторых ветвях своих прискорбную восприимчивость к болезненным влияниям»².

Между тем Россия дождалась великих реформ. Первой прошла крестьянская реформа, освободившая 23 млн. сельских тружеников. За ней последовали земская, судебная и университетская реформы. Однако все они оказались половинчатыми и урезанными. Известный либеральный деятель Ив. Ил. Петрункевич объясняет эту ущербность заменами в административ-

¹ Чичерин Б. Н. Современные задачи русской жизни // Голоса из России. М., 1975. Вып. 2. С. 111.

² Д-н П. Наши либералы. Вильна, 1867. С. 13, 20.

ном аппарате. «Вместо сторонника реформ Ростовцева... дело перешло в руки Панина, противника реформы. Реформа судебная, блестяще выполненная целой плеядой юристов во главе с С. И. Зарудным, перешла в руки гр. Палена, начавшего немедленно изменять то ту, то другую статью Уставов...; земская реформа, еще до своего рождения отобранная из рук Н. А. Милюткина, попала в руки бюрократа и реакционера Валуева...; университетская реформа из рук Головина под влиянием Каракозовского покушения передана была для практической обработки в руки гр. Д. А. Толстого, в течение 15 лет извращавшего образование юношества и подчинявшего его (образование) требованиям не просвещения, а полиции. Словом, ни одна реформа не была проведена в жизнь такую, как она была задумана»³.

Не только либералы были недовольны ходом и характером проведения реформ, но и сторонники радикальных мер, звавшие Русь к топору. Известная прокламация гласила: «Мы не испугаемся, если увидим, что придется пролить втрое больше крови, чем якобинцам в 1792 г. Мы издадим крик: к топору и тогда бей императорскую партию, бей на площадях, бей в домах, бей в темных переулках, бей по деревням и селам...» Охранительный либерализм хорошо понимал, что угрозы экстремистов — не пустые слова: после неудачи хождения в народ народовольцы возобновили открытую борьбу с правительством посредством террора.

Через две недели после убийства в августе 1878 г. шефа жандармов Н. Мезенцева правительство обратилось к обществу за содействием в борьбе с революционным движением. Либералы ответили серией адресов и публичных выступлений. Смысл их четко выразил И. И. Петрункевич в речи на юбилее Квитко-Основьяненко (!), заявив, что либералы не одобряют террористических убийств, но и осуждают непонимание правительством того, что система государственного порядка, которую оно упорно защищает, не соответствует ни достоинству русского народа, ни интересам великого

³ *Петрункевич И. И.* Из записок общественного деятеля. Воспоминания // Архив русской революции 21–22. М., 1993. С. 149–150.

государства... Правительство обязано приступить к коренной реформе государственного режима и сделать все от него зависящее, чтобы прекратить террор мирным путем, а не путем казней⁴.

Петрункевич и другие либералы пытались урезонить не только правительство, но и революционеров, для чего вступили с ними в секретные переговоры, впрочем, безуспешные — 2 апреля 1879 г. Соловьев совершил новое покушение на императора.

В 1880 г. начальником Верховной распорядительной комиссии с чрезвычайными полномочиями был назначен граф Лорис-Меликов, на которого либеральные прогрессисты возлагали определенные надежды. С обращением 25 московских либералов к графу связана даже романтическая легенда. Содержание письма будто бы было доведено до сведения Государя и возымело благоприятное впечатление, после чего он подписал указ о созыве Народного собрания на предмет выработки конституции, но через два с половиной часа был злодейски убит.

На деле же Александр II в ответ на предложение Лорис-Меликова разрешил создать при Государственном совете общую комиссию «из земских деятелей и сведущих людей, избранных и назначенных», и повелел обнародовать этот акт при условии, что текст оповещения будет заслушан на заседании Совета министров. Вот что произошло незадолго до рокового взрыва. Через неделю после трагедии члены Совета небольшим, правда, большинством признали нецелесообразным образование такой комиссии⁵.

В неблагоприятное для ждущей перемен общественности правление Александра III, «подморозившего» Россию, верящего, как и Александр II, в святость своей миссии самодержца, консервативные силы взяли верх и Россия снова упустила возможность мирной экономической и политической модернизации.

Романтический период истории русского либерализма закончился. Кое-что, в особенности земское движе-

⁴ Петрункевич И. И. Указ. соч. С. 99.

⁵ См. Ковалевский М. М. Конституция графа Лорис-Меликова и его частные письма. Берлин, 1904. С. 90.

ние, либералы могли занести в свой актив, но в целом практические достижения были довольно скудны. Куда более значительны оказались теоретические результаты. Здесь нужно в первую очередь отметить фундаментальные труды Б. Н. Чичерина: его пятитомную «Историю политических учений» (1869–1902), «Собственность и государство» (1882–1883), «Философию права» (1900).

Эти труды — первая и непревзойденная в отечестве попытка синтезировать идейное богатство мировой философско-правовой общественной мысли. Русский гегельянец Чичерин выявляет уникальную роль государственной власти в России как объективное воплощение нравственной идеи нации. В духе Канта он четко разделяет сферы нравственности и права, подчеркивает приоритет личности в свободном моральном выборе. Как сторонник манчестерской школы, Чичерин ратует за свободный рынок и автономию экономической деятельности. Как западник, Чичерин эволюционировал в своих политических взглядах к требованию конституционной монархии, построению правового государства, что в российских условиях далось не легко. Его друг и учитель К. Д. Кавелин остро критиковал конституционные проекты, полагая, что народное представительство фактически будет состоять из одних дворян и не достигнет своей цели. Подобный обостренный демократизм был свойствен народнику Н. Михайловскому, рассчитывавшему и без таких буржуазных институтов, как политические свободы и конституция, не мешкая перейти в России к социализму⁶.

Умы новой генерации философов и правоведов России предпочли, однако, суховатому рационализму Чичерина историософию Вл. Соловьева, стимулирующую разработку мессианских аспектов Русской идеи. Харизматический темперамент религиозного мыслителя и блестящего публициста импонировал им.

Как и Чичерин, Соловьев видел в человеке метафизическое существо, несводимое к природным определениям, но пути его исторического развития понимал

⁶ См.: Кистяковский Б. А. В защиту права // Вехи. Из глубины. М., 1991. С. 129, 131.

иначе. «Безжалостный» классический либерализм с его неотчуждаемым правом страдающего страдать, а умирающего — умирать без помех, с его вненравственными рыночными отношениями коробил гуманистическое чувство Соловьева, и он в духе социал-либерализма склонялся к признанию моментов истины в социализме. Его тезис о праве человека на достойное существование можно найти и в социалистическом лексиконе, что не исключает различное понимание достойного существования.

Теократическая утопия Соловьева вряд ли могла составить конкуренцию утопии бесклассового общества, в котором свободное развитие каждого станет условием свободного развития всех и каждому воздастся по потребностям. Марксистская доктрина, выдвинувшая этот социальный проект, к концу века имела то преимущество, что уже получила историческое подтверждение в России. Струве впоследствии указал, что русский марксизм «оправдал» капитализм в прямой полемике не только с народничеством, но и со всею почти официальной наукой и дал объяснение исторической необходимости капитализма в России⁷.

Предреволюционная ситуация, сложившаяся в стране в начале нового века после бесславных поражений на суше и на море в военном конфликте с Японией, разрешилась первой русской революцией, начавшей самый бурный период в русской истории, период трех революций и мировой войны. Для русского либерализма он стал периодом наивысшей политической активности.

После Манифеста 17 октября 1905 г. в стране легализовались множество партий всех цветов политического спектра. Либералы осенью 1905 г. также образовали свою партию, основой которой стало земское движение и эмигрантский «Союз Освобождения». Учредительный съезд назвал партию конституционно-демократической, другое ее название (для популярности) — Партия Народной свободы, в просторечии — просто кадеты. Партия 18 октября 1905 г. приняла программу, не меняв-

⁷ См.: П. Г. К характеристике нашего философского развития // Проблемы идеализма. Издание Московского психологического общества. М., 1902. С. 88.

шующая до марта 1917 г. Программа провозглашала в России конституционную монархию и равенство всех граждан перед законом без различия пола, вероисповедания и национальности, отменяла также паспортную систему. По жизненно важным аграрному и рабочему вопросам программа высказывалась не столь определенно. В 1917 г. пункт о конституционной монархии был заменен в программе положением о создании демократической парламентской республики, а раздел по аграрному законодательству увеличился вчетверо. Теперь вместо обширного землепользования допускается сообразно местным условиям подворное пользование землей. Отчужденная земля (монастырская, церковная, удельная, кабинетная и т. п.) поступает не во владение крестьян, а в государственный земельный фонд и оттуда передается всем нуждающимся⁸.

Нетвердость в вопросе о частной собственности на землю можно понять ввиду отсутствия в России соответствующей традиции. Нельзя не отметить и коллективистскую тенденцию в ряде принципиальных социальных вопросов, что совпадало с общеевропейской тенденцией либерализма, который в начале XX в., по словам У. Черчилля, стал безоговорочно коллективистским. Конкретно это означало коллективную ответственность государства за благосостояние его членов. Для российских либералов, многие из которых были государственниками, этот бесспорный долг перед народом понимался в духе патернализма. Однако во имя чего следует добиваться свободы и равенства для народа? Что это за свобода? Воля вольная? Политическая и гражданская? Каковы ее метафизическая и религиозная основы? И что это за равенство? Равенство перед законом? Равенство возможностей? Равенство в распределении? Тут в либеральных умах царил полная неразбериха. Отсутствие философской культуры, стихийный прагматизм приверженцев либерализма сыграли свою негативную роль в политической деятельности кадетов, пренебрегших не только теорети-

⁸ См.: *Петрункевич И. И.* Указ. соч. Приложение; также ср.: *Милов Г. Т.* Что нужно знать каждому перед выборами в Учредительное собрание. Тверь, 1917.

ческим наследием Б. Н. Чичерина, но и научным потенциалом таких своих членов, как П. Новгородцев и П. Струве.

Философские проблемы либерализма стали объектом исследования группы молодых ученых. Сборник «Проблемы идеализма», собравший цвет новой генерации философской и правовой мысли, был первой массивной атакой на позитивизм и нелегальный марксизм, причем, как указывал редактор сборника П. Новгородцев, проблема, которая в наше время приводит к возрождению идеалистической философии, есть проблема моральная. Сложные вопросы жизни, глубокие потребности нравственного сознания ведут к поиску нравственного идеала, абсолютных заповедей и принципов⁹.

Позитивизм с его эмпиризмом и (в английской традиции) утилитаризмом, так же как и марксизм, исповедующий классовый подход, ничего подобного дать не могут, настаивая на относительности и условности всех ценностей. Кардинальная проблема сущего и должного оказывается псевдопроблемой, лишенная онтологического содержания. Как показал Струве в статье «К характеристике нашего философского развития», подписанной инициалами П. Г., марксизм оставляет за порогом сознания всю метафизическую проблематику, ведь эти мнимые — для марксизма — вопросы в социальной практике снимаются. Столь же фиктивно позитивистское решение проблемы сущего и должного путем редукции последнего к первому в опыте при помощи социальной психологии.

Положительное решение вопроса Новгородцев пытается дать в статье «Нравственный идеализм в философии права». Сверхзадача, главное направление мысли выражено в подзаголовке — «К вопросу о возрождении естественного права». Это универсальный ответ национализму исторической школы правоведения, релятивизму легального позитивизма и классовому подходу марксистов, понимающих право как часть надстройки определенного типа производственных отношений. Вместе с тем теория естественного права — ответ и

⁹ См.: Проблемы идеализма. СПб., 1902. С. VIII.

вызов правовому анархизму поздних славянофилов и правовому нигилизму Льва Толстого.

Но размежевание с историчистским пониманием происхождения и сущности права рассматривалось не только как новый подход к актуальной теоретической проблеме, оно носило программный характер и являлось важным элементом предуготовления к будущему, которое в начале XX в. казалось совсем близким не только футуристам. Грядущие судьбы «будетлян» составляли предмет напряженных раздумий многих гуманитариев. Новгородцев акцентировал внимание не на том, что *будет* в силу естественных причин, а на том, что *должно быть* в соответствии с априорными указаниями нравственного сознания.

Точка зрения Новгородцева и его единомышленников¹⁰ была неприемлема для многих выдающихся представителей либерального движения в России. Наиболее последовательным было критическое выступление выдающегося социолога-позитивиста М. М. Ковалевского, ученого мирового класса. Он, конечно, не мог принять всерьез всю эту метафизическую «дребедень». Возникновение государства и права обусловлены не каким-то туманным умопостигаемым миром, а земной общественной потребностью в человеческой солидарности. История могла сложиться так, что человечество никогда бы не узнало о неотчуждаемых правах личности.

Революция 1905–1907 гг., начавшийся конституционный процесс, опыт первых трех Государственных дум обогатили и усложнили представления конституционно-демократической партии, ее лидеров и активистов, а также сочувствующей «свободолюбивой и благожелательной к народу интеллигенции» (В. Г. Короленко) о целях и путях политической и экономической модернизации России. В их среде в условиях послереволюционной реакции возникла тенденция критического переосмысления пройденного пути, роли радикальной интеллигенции в историческом процессе обновления и преобразования России. Всем этим болез-

¹⁰ См. весьма детальное рассмотрение темы в брошюре: Гессен В. И. Возрождение естественного права. СПб., 1902.

ненным и острым вопросам был посвящен знаменитый сборник «Вехи», в котором приняли участие многие авторы сборника «Проблемы идеализма», причем четверо из них — Бердяев, Булгаков, Струве, Франк — входили в число основателей либерального «Союза Освобождения». Создатели «Вех» не были единомышленниками, но, как вспоминал впоследствии С. Франк, «мы были в разных лагерях, но тут между нами очутилась интеллигенция и мы на нее со всех сторон обрушились»¹¹. «Семь смиренных» веховцев призывали к покаянию в интеллигентских грехах «позитивизма, материализма, атеизма, интернационализма». Поскольку грешащие этими «измами» круги интеллигенции относились к философии «народнически-утилитарно-аскетически», по выражению Бердяева, они не приобрели нужный иммунитет против соблазнов политического абсолютизма и радикализма. В статье «Философская истина и интеллигентская правда» Бердяев дает точную характеристику приоритетных интересов русской интеллигенции, которая всегда тяготела к вопросам уравнительного распределения и мало интересовалась вопросами производства и творчества. Констатация типа «во имя ложного человеколюбия и народолюбия у нас выработался в отношении к философским исканиям и течениям метод заподозривания и сыска» свидетельствует об острой наблюдательности и пророческих способностях автора, поскольку сказанному еще предстояло сбыться в полномасштабном объеме. Однако диагностика Бердяева не содержит конкретный анализ источника, причин ущербности системы ценностей и установок русского интеллигент-радикала, кроме бессодержательных ссылок на «русскую историю». Тем же дефектом страдает и статья Франка «Этика нигилизма», где в качестве самой замечательной особенности новейшего русского общественного движения, определившей в значительной мере его судьбу, отмечаются его философская непродуманность и недоговоренность¹². Оба философа все-таки не

¹¹ Цит. по: Гессен В. И. В двух веках. Жизненный отчет // Архив русской революции. Берлин, 1937. XXII. С. 265. (Воспроизведено изд-вом «Терра». М., 1993).

¹² См.: Вехи. Из глубины. М., 1991. С. 19, 197.

детализировали и не конкретизировали свои обобщения. Спустя всего два месяца после выхода «Вех» издательство «Звено» выпустило книгу В. Ильина «Материализм и эмпириокритицизм», которая решительно покончила с философской и всякой другой недоговоренностью. Либеральная интеллигенция, однако, этого так и не сделала. Осуществление идеалов либерализма осталось благим пожеланием, не став широкой социальной потребностью.

Деятнадцатый век, по недоразумению названный «железным» поэтом, сподобленным увидеть первые «цветочки» двадцатого, скончался в августе 1914 г. Разом оборвалось естественное течение событий: небывалые испытания военного времени, к которым Россия оказалась материально и морально не готова, повлекли огромную страну к неминуемой катастрофе двух революций. А ведь многие профессиональные революционеры перед войной признавались, что не надеются дожить до светлого праздника Революции. Царское правительство планировало завершить перевооружение армии к 1931 г. Но человек предполагает, а бог располагает...

После патриотической эйфории первых месяцев войны, охватившей все слои русского общества, настроение масс начало меняться. Сбывались мрачные пророчества некоторых трезвых сограждан, что России непоправимо дорого обойдется участие в войне. На третьем году войны, как известно, монархия в России пала. Началось главное историческое испытание либеральной Партии Народной свободы — испытание властью. Председатель Всероссийского земского союза князь Г. Е. Львов (1861–1925) становится главой Временного правительства, член ЦК партии кадетов П. Н. Милюков — министром иностранных дел. Всего в первый состав Временного правительства входило 8 кадетов при общем составе правительства в 11 членов.

Являлся ли приход к власти либералов результатом их дальновидной стратегии и тактики, в частности, «думского штурма» царской администрации в ноябре 1916 г.? И закономерна ли утрата этой власти несколько месяцев спустя в составе уже коалиционного правительства? Не стоят ли за всем этим закулисные интри-

ги? Такие мнения до сих пор встречаются и содержат какую-то долю истины. Но думается, главная причина краха Временного правительства — деморализующий фактор изнурительной и почти проигранной войны, неспособность политических лидеров адекватно реагировать на него. Важным моментом являлась и непроработанность социальной и аграрной частей Программы партии кадетов. А вот объяснение современника, сделанное по горячим следам в 1918 г. С. Франком в статье «De Profundis» из третьей некрологической части триптиха русской общественной мысли «Из глубины»: «Почему оказались слабыми все несоциалистические, так называемые буржуазные партии России, отвечающие за укрепление и сохранение государственного единства, общественного порядка и морально-правовой дисциплины? — спрашивает Франк.— Причина заключается в чисто духовном моменте, в отсутствии самостоятельного и положительного общественного мирозерцания»¹³, т. е. привлекательной и мобилизующей последовательности идеологии (факт, отмеченный также и А. Чайновым¹⁴).

Вера в ценность духовных начал нации, государства, права и свободы остается «философски неувядающей и религиозно невдохновленной» — таков неизменившийся с 1909 г. диагноз философа. Только война своею грозностью открыла глаза даже полуслепым и, вопреки всем привычным верованиям, принудила их просто непосредственно ощутить опасность пренебрежения к этим идеям. Но от такого непосредственного, грубоэмпирического ощущения ценности этих начал еще далеко до разумного понимания их значения и еще дальше — до живого духовного усмотрения их первичного, основополагающего смысла в общественной жизни¹⁵.

Справедливая и суровая критика! Чисто отрицательные мотивы, которыми, по замечанию Франка, был проникнут вплоть до самого последнего времени наш

¹³ Вехи. Из глубины. С. 487–488.

¹⁴ См.: Чайнов А. Н. Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии (1920) // Утопия и антиутопия XX века. М., 1990. С. 1697.

¹⁵ Франк С. Указ. соч. С. 489.

либерализм: легкомысленное отношение к разрушительному нигилизму социалистических партий (в них видели скорее неразумных союзников); наивная вера в легкую осуществимость механических внешних реформ чисто отрицательного характера, в целительность простого освобождения народа от внешнего гнета власти — все эти горькие истины не утратили своего значения и ныне...

Отмеченная дважды в 1909 и 1918 гг., в периоды наивысшей политической активности и небывалых исторических возможностей либерализма, его идейная скудость и легковесность опять-таки остается необъясненной генетически. И в самом деле, что это? Наше «доморощенное» или всемирное поветрие? Классический либерализм отказался от некоторых своих принципов. Или тут сказывается узость, «размытость» социальной базы, обусловленная тем, что В. Леонтович определил как неопределенность старомосковского принципа верховной собственности государства на землю? И уж не склад ли загадочной русской души повлиял роковым образом? В «русской идее» элемент свободы выступает в обличье «вольной воли», действующей в «чистом поле», а не в поле морального закона. Случайно ли, что два крупнейших теоретика либерализма, Чичерин и Струве, оказались «чужими среди своих»? Чичерин казался Бердяеву каким-то иностранцем на русской почве; В. Розанов, назвав Струве трагическим лицом в нашей истории, задается вопросом, отчего же «он неудачен на Руси», и отвечает так: «В Струве живет идея честного порядка. Он любит Россию, но... Он любит Россию нерусскою любовью»¹⁶.

Политический период истории русского либерализма завершился в 1922 г., когда пароход «Обербургомистр Хакен» увез и последних либералов, и саму свободу (либерализм).

Не прошло и десяти лет, как либерализм и либеральный дух настолько выветрились из памяти советских людей, что старому большевику В. Невскому пришлось поломать голову, чтобы объяснить новому читателю, зачем издавать воспоминания реакционера-либерала

¹⁶ См.: Русская идея. М., 1992. С. 264, 298.

Чичерина, чье духовное наследие не было востребовано в царской России ни при его жизни, ни после его смерти.

Лишенный родной почвы либерализм в эмигрантский период живет прошлым и несбывшимся будущим. Партийные и думские лидеры И. Петрункевич, П. Милюков, В. Маклаков засели за воспоминания. Уцелевшие и эмигрировавшие авторы «Вех» и «Из глубины», пожалуй, уже не собрались бы для совместной работы. У некоторых из них нашлись идейные точки соприкосновения с большевизмом. Иные либеральные консерваторы, напротив, призывали поднять «православный меч» для разрубания гордиева узла истории России, завязанного большевиками. Более молодое поколение занялось философски-религиозным осмыслением опыта русского либерализма и возможных перспектив, хотя в ближайшие годы нечего было и надеяться на что-то. Каждого царства век — сто лет.

Еще каких-нибудь десять лет назад история русского либерализма казалась окончательно сверстанной и завершенной в «самом полном и буквальном смысле»¹⁷. Но История очередной раз посрамила прогнозы и оптимистов, и пессимистов — в одно прекрасное утро россияне проснулись и обнаружили, что империи — нет, правящая партия исчезла как мираж, а вместо «Авры» у причала покачивается белый пароход свободы.

Те, кто диалектику учил по Гегелю, не удивляются хитrostям Мирового разума. И они, конечно, спросят: не совершает ли вновь прибывшее судно регулярные рейсы?

М. А. Абрамов

¹⁷ См.: Социально-философские аспекты современного либерализма // Реф. сборник. ИНИОН АН СССР. М., 1986. С. 15.

**ВСЯ БУДУЩНОСТЬ
РОССИИ...**

К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин

ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ

Милостивый государь,

Необыкновенные политические события последнего времени вызвали чрезвычайные, небывалые явления в умственной и нравственной жизни России. Она вся, от царя до поденщика, встрепенулась от мертвенного оцепенения, в которое до сих пор была погружена, удивленными глазами измерила свое бедственное положение, и плодом этого была как бы волшебством вызванная обширная рукописная литература, предлагающая ответы на тысячи вопросов современной русской жизни. Относясь исключительно к России, эта литература почти для нее одной и представляет полный смысл, да и не может иметь всеобщего характера. Она не иное что, как горькая исповедь; но несмотря на всю щекотливость нашей национальной гордости, несмотря на всю тяжесть раскрытия перед посторонними, особливо в теперешнюю минуту, глубоких язв и болезней общественного и политического быта, редкий русский не понимает потребности, даже необходимости, обнародовать важнейшие, достойнейшие произведения современной рукописной литературы нашей.

Что же внушает эту мысль? Неужели равнодушие или даже положительная нелюбовь к отечеству? Или желание создать новые затруднения нашему правительству при теперешних и без того трудных обстоятельствах? Или, быть может, стремление найти точку опоры для оппозиции или недовольных в России? Или, наконец, надежда завязать тесные связи между революционными элементами в России и Западной Европе?

Нет! Наша любовь к родине выше всяких подозрений. Русский и изменник — два понятия, которые

между собой никак не клеятся. А что касается тайных обществ, оппозиции, революционных и разрушительных планов, все это неизмеримо далеко от теперешнего пробуждения России. Имея довольно точное понятие о мыслящей части русского общества, я могу положительно уверить вас, что в минувшее царствование умственные силы России, бессмысленно и беспощадно попираемые, были несравненно более чем теперь наклонны к освобождению себя насильственным образом. Теперь совсем не то: в самых задушевных и смелых разговорах я еще ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь выразил мысль о необходимости тайного общества, революции, ограничения самодержавной власти или что-нибудь подобное. В несколько месяцев русская мысль ожила и воспрянула, как будто стараясь вознаградить себя за потерянные сорок лет. В самом деле, она является достойною великого народа, не растрачиваясь в желчных, бесполезных сожалениях и мелкой, бесплодной злобе, она величаво и спокойно устремлена на изучение нашего прошедшего, настоящего и будущего; без малодушия, робости и преувеличения измеряет она пучину зол, в которую мы погружены, и отыскивает врачевания для нашего болеющего политического тела. Конечно, никогда еще Россия не представляла зрелища столь многозначительного и радостного. Мы каемся, а не злобствуем; видим свою вину, а не взваливаем ее на других и в одном внутреннем очищении видим путь к исцелению.

Да, не низкие расчеты и брожение разрушительных элементов заставляют выставлять перед Европой наши раны и унижение. Русская мысль, даже до сих пор, находится в весьма странном, исключительном положении, в чем и лежит ключ к разгадке, почему она бежит из родины в Европу.

С Венского конгресса, когда мы, со славою победив величайшего полководца в мире, водворили, хотя на время, хоть какой-нибудь порядок и тишину, необходимые после непрерывных и продолжительных войн; с этого самого времени мы, русские, главные виновники восстановления общего мира, были заподозрены нашим же собственным правительством в опасных и разрушительных замыслах. С тех пор мы, по замечанию одного

остроумного человека, играли печальную и позорную роль совоспитанника французского дофина: Европа бунтовала, меняла династии и формы правления, а нас за это наказывали. Система предупреждения политических преступлений дошла у нас до того, что русской мысли нельзя было дышать под невыносимым гнетом. Так для ее развития пропали целые сорок лет мира и спокойствия, когда она могла бы сложиться и окрепнуть в разумную форму.

Но этого мало, под сенью сорокалетнего террора успела возникнуть у нас, утвердиться и опутать всю Россию в свои сети алчная, развратная и невежественная бюрократия, которая, втиснувшись между царем и народом, под благовидным предлогом преданности государю и охранения его престола искусственно поддерживает разрыв между ним и позорно угнетенной страной. Эта тирания нового рода, неизвестная ни Древнему, ни Новому миру, составляла и до сих пор составляет непроницаемую среду, сквозь которую не доходит ни голос России до царя, ни мысли и намерения царя до России. Благодаря этой среде царь и Россия мало-помалу отучаются понимать друг друга, а этого только и нужно своекорыстной бюрократии.

Гибельность таких взаимных отношений государя и народа доказана теперь неопровержимыми фактами и стала ясна как день. Мы от них потеряли всю свою политическую и военную славу и значение; они произвели невежество и низкое раболепство, а эти, в свою очередь, породили современное безголовье. Теперешний государь, по-видимому, понимает это; но много пройдет времени, пока он вполне поймет, до какой степени народ оклеветан в его глазах, сокрыт от него непроницаемой завесой, называемой правительством, и в каком обезображенном виде доходят до народа самые лучшие намерения русского царя. Царь русский не знает и не может знать своего народа, потому что совершенно отделен от него и не имеет к нему никаких прямых, непосредственных отношений. Что мудреного, что он смотрит на народ как на толпу бунтовщиков, как на опасного врага, более или менее искусно скрывающего свои разрушительные замыслы? То ли еще показывали царям чиновники сквозь лжи-

вую призму своих всеподданнейших докладов и отчетов!

Каким же образом скажется русская мысль? Как восстановятся прямые отношения между царем и народом? Как поймут они наконец друг друга? Для этого одно и есть средство: прямое, откровенное выражение русской мысли посредством печатной книги или статьи, которая, будучи издана за границей, невольно обратит на себя внимание.

Потребность восстановить связь и живую, непосредственную струю между царем и народом чувствует, кажется, нынешний благонамеренный государь, который по крайней мере до сих пор не дал, по-видимому, убаюкать себя лживыми наговорами, будто бы народ его — скопище буйных сорвиголов, ждущих минуты подкопать и разрушить престол. Говорю: *кажется и по-видимому*, потому что у нас народ всего менее знает мысли царя; если государь откровенен и доверчив, то все же его мысли знает лишь бюрократическая среда, разобщающая его с народом, и она сообразует с этим свой план действий, имея вечно одну цель — как бы ловчее втянуть государя в свои исключительные интересы, заслонить от него желания и пользы народа, или, по крайней мере, заставить его пренебречь ими, их позабыть.

Так как теперешний царь, кажется, понимает это, то злонамеренная цензура, умышленно скрывающая от него истину, уже не так гордо презирает русских писателей и русскую литературу, да и вообще не так возмутительно нагла, как была в минувшее царствование; но, к сожалению, даже до сих пор ни один живой голос, ни одна правда, ни один вопль народный не могли еще проникнуть сквозь безумную цензурную ограду. Она стала только учтивее — не более; лукавый либерализм теперешнего министра народного просвещения, его лицемерное кокетничанье с русскими литераторами никого не обманывают, кроме, может быть, одного государя. Но так ужасен был гнет, под которым раздавлена русская мысль, что даже учтивые приемы цензуры кажутся правительству нашему необыкновенной уступкой. Оно как будто боится идти далее. Как знать? Может быть, государя уже успели убедить, что

на пути облегчений в русской юдоли плача достигнуты геркулесовые столбы, что мы, русские, недостойны большого простора. От создавшейся у нас с Венского конгресса бюрократии, этого непослушного органа воли государя, этого врага и ему и России, всего дурного ожидать можно.

Задыхаясь под мучительным гнетом, русская мысль ищет себе хоть какого-нибудь исхода. Поставленная между бессмысленной, скажу даже — преступной — бюрократией и невежественной массой, она не имеет, сама по себе, никакого политического значения, никакой материальной опоры, которая бы стала ее поддерживать и защищать против насилия. Существование в России сильной либеральной партии, могущей быть опасной для правительства — чистая выдумка, которая родилась после Венского конгресса, утвердилась в правительстве в течение минувшего царствования и поддерживается умышленно: людьми либерального образа мыслей — чтобы придать своему мнению некоторый авторитет и похвастаться перед иностранцами; нашими чиновниками и сановниками — чтобы удобнее и легче удерживать государей в своих руках с помощью пугала, называемого революцией, и отклонять их от всяких полезных для народа, но вредных для бюрократии нововведений. На самом деле — и это совершенно достоверно — русская мысль, представляемая горстью просвещенных и порядочных людей, не может грозить ни русскому государю, ни даже невежественной русской бюрократии; когда правительство ее от себя отталкивает, как до сих пор было, она остается бессильною и глохнет в ничтожестве и бездействии; если же оно захочет ею воспользоваться, она всегда будет ему верной, надежной, истинно полезной союзницей. Доказательства под глазами: сорок лет у нас пренебрегали мыслью, и какой же тому результат? Революции у нас от этого не было, а Россия померкла извне, замерла физически и нравственно внутри. Если правительство вздумает продолжать идти по тому же пути, ему по-прежнему нечего опасаться ни восстаний, ни заговоров, ни тайных обществ, но оно загубит страну, иссушит все ее живые соки, и положение наше, внутри и вне, будет еще мрачнее, еще достойнее слез, чем теперь. Бог,

история покажет; а люди... русские люди все-таки бунтовать не станут, потому что некому, потому что нет у нас бунтовщиков.

Вот истинное положение дел в России. Вы видите, мы с вами во многом не сходимся. Уважая в вас, от глубины души, одного из даровитейших русских писателей, совершенно беспристрастно ценя вашу любовь к общей нашей великой матери России, храня о вас самое благодарное воспоминание за вашу блистательную литературную деятельность и в высокой степени благотворное влияние на русскую мысль, в то время, когда вы еще находились в России,— мы далеко не разделяем вашего образа мыслей, далеко не сочувствуем вашей деятельности с отъезда вашего за границу. Этим — как мне ни больно выразить вам это — я высказываю не только свой личный образ мыслей, но чувства огромного большинства просвещенных и благомыслящих людей в России. Выслушайте меня спокойно, без гнева и предубеждений, *sine ira et studio*, как следует каждому русскому, когда речь идет о драгоценнейших интересах России, которую мы с вами равно любим, равно живем ее счастьем, честью, славой, ее настоящим и будущим.

Мне кажется, что вы, удалившись из России, как будто забыли все, что нас тревожит, все, на что мы надеемся и к чему стремимся. Это отчуждение есть, может быть, один из самых горьких плодов изгнания. Окружающая вас новая среда совершенно поглотила ваше внимание, ее интересы сделались вашими интересами, ее надежды — вашими надеждами, и все это вы передаете вашему перу, забывая, что в России господствуют совершенно другие цели и другие стремления. Потому-то ваше слово не находит в нас отклика. Ваши статьи читаются; о них толкуют, но сочувствия они (кроме, разумеется, мемуаров) встречают мало. Едва ли найдется у нас один истинно образованный человек, который бы поддался на ваши теории, который бы не пожалел о том, что деятельность, имеющая в виду пользу отечества, бьет совершенно мимо цели и теряется в бесплодной социальной пропаганде.

В самом деле, что может быть общего между направлением ваших статей и теми интересами, которые ис-

ключительно занимают нас в России? У нас в настоящее время кипит война, поглощающая все силы государства, война, которая расшевелила русское общество и раскрыла все внутренние наши язвы, государственные и общественные. Мы с горестью сознаем, что, несмотря на внешнее наше величие, мы перед народами европейскими все еще ученики; мы видим, что еще много и много нам предстоит работы прежде, нежели мы в состоянии будем помериться с этими могучими бойцами, владеющими всеми средствами образованного мира. А вы нам говорите, что эти грозные враги не что иное, как догнивающее тело, готовое сделаться нашей добычей! Видно, еще не совсем они сгнили, это мы слишком больно чувствуем на своих боках. У нас теперь все пришло в движение; все, что есть порядочного в обществе, устремило взоры и внимание на исправление внутренней нашей порчи, на улучшение законов, на искоренение злоупотреблений. Мы думаем о том, как бы освободить крестьян без потрясений всего общественного организма, мы мечтаем о введении свободы совести в государстве, об отменении или по крайней мере об ослаблении цензуры. А вы нам толкуете о мечтательных основах социальных обществ, которые едва ли через сотни лет найдут себе приложение, в настоящее же время не имеют для нас решительно никакого практического интереса. Мы готовы столпиться около всякого сколько-нибудь либерального правительства и поддерживать его всеми силами, ибо твердо убеждены, что только через правительство у нас можно действовать и достигнуть каких-нибудь результатов. А вы проповедуете уничтожение всякого правительства и ставите прудоновскую анархию идеалом человеческого рода. Что же может быть общего между вами и нами? На какое сочувствие можете вы рассчитывать?

Зачем выставляете вы нас перед Европой как будущих преобразователей европейского мира, как будущих водворителей теорий социализма? Видно, мало вам остается надежды осуществить их путем разума и просвещения, если вы обратитесь к силам полудиким, еще погруженным в вековую дремоту. Что нашли вы такого в русском мужике, в этом несчастном страдаль-

це, который Бог знает еще когда пробудится к сознанию своих способностей и к деятельности самостоятельной и разумной? Конечно, он умен и сметлив; конечно, нравственный его характер заслуживает уважения, и мы, русские, любим его, как основу нашей национальности. Но что же он сделал для того, чтобы можно было ожидать от него будущего возрождения человечества? И что нашли вы в русской общине, в этом полудиком зародыше общественного быта, где земля принадлежит государству, предмету вашей ненависти, а крестьянин — крепостной или немногим лучше крепостного? Вы видите в ней нечто вроде коммунизма и радуетесь этому явлению, которое как будто подтверждает ваши теории. Но такой коммунизм устроить весьма легко; нужно только, чтобы существовали землевладельцы и рабы. Вы забываете, что по тому же типу устроены у нас общины во всех помещичьих имениях и что они-то и послужили первообразом всем общинным учреждениям в России. Уж если вы хотите найти фактическое подтверждение вашим социальным воззрениям, так обратитесь лучше к общинам свободным, которые при полной независимости не знают, однако же, личной собственности. Их вы найдете множество между дикими народами. Обратитесь к индейцам, к арабам, к диким американцам, к неграм и указывайте на них, как на будущих благодетелей человеческого рода. Они еще менее образованы, нежели наши мужики, или, по-вашему, они еще менее испорчены ложным просвещением; они не имеют над собой государственного гнета, который, по вашему мнению, развращает человека; одним словом, они не носят в себе никаких исторических преданий, которые бы делали их неспособными воспринять ваши обольстительные теории. Если вы хотите быть последовательным с самим собой, так не останавливайтесь на России. Идите дальше; представьте нам негра, как существо самое неразвитое и самое угнетенное, а потому именно должностующее возродить человечество, развращенное историческим просвещением.

Дело в том, что, встречая в созданных историей формах непреодолимую преграду вашим социальным теориям, вы ищете себе успокоения в тех сферах жиз-

ни, куда не проникало еще историческое развитие. Это судьба всех теоретиков, каковы бы, впрочем, ни были их убеждения. Чувствуя себя не в силах сладить с историческими данными, вы создаете себе мечтательные теории и стараетесь столь же мечтательным образом подвести под них человеческую жизнь. Вы строите себе фантастическое будущее; в настоящем же вы полагаете свои надежды на еще неразвившиеся слои человеческих обществ, на те классы людей, в которых потому-то и можно все найти, что в них еще ровно ничего нет.

Вы кинулись в объятия западной революционной партии и вместе с нею мечтаете о низвержении существующего порядка, о разрушении исторически образовавшегося тела, о господстве низших классов народонаселения, призываемых революционной партией к обновлению мира буйной силой. Неужели вы думаете найти между нами сочувствие? Если бы вы могли на время возвратиться в отечество, вы бы пришли в отчаяние. Либералов еще вы встретите довольно много; либерализм в настоящую войну сделал даже довольно значительные успехи. Но революционеров вы не встретите вовсе. К нам революционные теории не только неприменимы: они противны всем нашим убеждениям и возмущают в нас нравственное чувство. Вы не думайте, однако же, чтобы мы стояли на точке зрения русских и западных тупоумных консерваторов. Значение революций мы понимаем; мы знаем, что там, где господствует упорная охранительная система, не дающая места движению и развитию, там революция является как неизбежное следствие такой политики. Это вечный закон всемирной истории. Но мы смотрим на это как на печальную необходимость, как на грустную сторону человеческого развития и считаем счастливым народ, который умеет избежать насильственные перевороты. Потоки невинной крови, которые льются в междоусобных войнах, возбуждаемых нетерпимостью, вызывают в нас одно чувство горести и негодования против виновников кровопролития. Сделать же из революции политическую доктрину, проповедовать мятеж и насилие, как единственное средство для достижения добра, сделать из ненависти благороднейшее чувство человека,

поставить кровавую купель непременно условием возрождения, — это, воля ваша, оскорбляет и нравственное чувство, и убеждения, созданные наукой. Ваши революционные теории никогда не найдут у нас отзвучия, и ваше кровавое знамя, развевающееся над ораторскою трибуною, возбуждает в нас лишь негодование и отвращение.

И что вы делаете из истории? Что за бесплодное отрицание прошедшего? По-вашему, человечество до сих пор шло не тем путем, каким следовало; монархи и попы умышленно заграждали от него истину и для собственной выгоды искажали в нем умственные и нравственные понятия. Так давайте же ниспровергать все существующее здание, и, обогранные кровью, начнемте работу сызнова. А почему вы знаете, что сызнова будет лучше?

Вы, социалисты, считаете себя новыми христианами, призванными к вторичному обновлению мира. Но христиане шли, укрепленные верой в Спасителя, принесшего на землю слово искупления; они в своей проповеди отрицали земное во имя небесного, откровенно им самим Сыном Божиим. А вы на что можете опереться? Или вам достаточно внутреннего убеждения в истине ваших слов? Но с какого права имеете вы самонадеянность думать, вы, чуть заметная горсть в человеческом роде, что вы единственные обладатели истины? Проходят тысячелетия медленного и мучительного развития, человечество в борьбе и страданиях вырабатывает себе жизненные начала, упорным трудом создает формы общественного быта, кровью своих мучеников и бойцов запечатлевает каждый шаг вперед, каждое завоевание мысли и труда. И вдруг после всех этих усилий и страданий являются люди, которые провозглашают, что вся предыдущая история — не что иное, как ряд обманов и заблуждений, которые отвергают все созданное доселе, призывают народы к разрушению старого здания и утверждают, что они одни сумеют воздвигнуть новое. Откуда же эти люди? Получили ли они откровение свыше? Нет, они не признают ни откровения, ни авторитетов; они опираются на одни начала человеческие и во имя этих-то, выработанных человечеством начал, отрицают все, что до сих пор

создано человеком. Не есть ли это крайняя степень противоречий? Неужели вы не понимаете, что без высшего авторитета вам нельзя говорить с такой самоуверенностью, и что для вас единственный авторитет есть человеческий род, единственное доказательство — история, что вы тогда только можете оправдать свое учение, когда покажете, что оно составляет необходимое следствие предыдущего, зреющий плод разумного развития обществ? Или вы до сих пор не пришли к убеждению, что ваше дело не отрицание, а утверждение, что всякий, проповедующий религию земную, должен не разрушать, а созидать, и в том, что уже создано, показать присутствие мысли и добра? Иначе он докажет только бессилие человека, а никого не убедит в том, что и новое учение не будет так же бессильно к водворению добра на земле, как и все предшествовавшие попытки.

Но вы, социалисты, кажется, всего этого не сознаете. Несмотря на то что вы считаете себя апостолами возрождения, вы всеми своими воззрениями принадлежите прошедшему. Вы даже не люди XIX века, а наследники благородных, но поверхностных мыслителей XVIII столетия; от них вы не ушли ни на шаг. Люди XIX века не довольствуются уже общими фразами и безотчетными верованиями. С неба они сошли на землю; от метафизики они перешли к изучению явлений; от социальных утопий к практическому приложению мысли к жизни, не путем отрицания, а путем постепенного развития. А вы все еще остаетесь при своих идеальных стремлениях и вместо плодотворной деятельности разыгрываете комедии вроде друзей мира, проповедующих прекращение войны посреди кровавых браней и междоусобий. Вы созываете сходки, ни на что не нужные и ни к чему не ведущие; всей силой ораторского красноречия стараетесь убедить Кошута¹, Маццини², Ледрю-Роллена³ и других, что у них есть единомышленники в нашем отечестве. Революционные выходцы всех стран и народов, составляющие в Лондоне ничем не властвующее правительство, по вашему ходатайству примиряются с Россией и принимают ее в свой союз. О, как мы счастливы! Как легко нам стало на душе! И кнут как-то уже не так больно ложится на

спине, и цензура как будто бы уже не так туго стягивает наш ум. Ну, признайтесь, не чистая ли это комедия? Полноте разыгрывать эти фарсы и морочить себя и других фантастическими представлениями о небывалых сообщниках. Дело нам нужно, а не громкие фразы и не мелодраматические сцены.

Вы до такой степени забыли историю, что не видите в ней даже закона постепенности, проникающего все явления. С высокомерным презрением трактуете вы все средние формы и ступени, все посредствующие звенья исторической цепи. А между тем эти средние формы составляют жизнь обществ и народов; по ним совершается движение вперед, их созидание составляет практическую задачу современной истории. Вы воображаете, что перейти от одной формы быта к другой так же легко, как переехать из Москвы в Лондон, и предлагаете нам плод своих мечтаний и размышлений для непосредственного осуществления в жизни. Это как яблоко, которое мы должны проглотить, чтобы вдруг измениться с головы до ног. Неужели же нам нужно напоминать вам, что всякий народ должен воспитаться для известной формы жизни, и что история, как природа, не делает скачков? Случаются в ней внезапные перевороты, среди которых всплывают наружу самые крайние теории, но это дело временное и, успокоившись, народ опять-таки возвращается на прежнюю точку и продолжает свое шествие, медленное и постепенное, но зато уже неизбежно достигающее цели.

Не понимаю, почему вы именно русский народ считаете несвязанным историческими формами? Неужели восьмилетнее отсутствие заставило вас забыть, что мы народ, по преимуществу привязанный к преданиям и привычкам? Вы видите в нас семя будущих социальных учреждений; но ведь для того, чтобы семя принесло плод, нужно сначала, чтобы оно развилось в целое дерево. Это историческая азбука, которую странно вам напоминать. Но отрешившись от исторической почвы, вы, по-видимому, забыли и саму азбуку. Не сумев осилить резкие и затверделые формы земной поверхности, вы отчалили ладью свою от берега и пустились в даль безграничного океана. Там на пространстве, где видны лишь небо да вода, мечты могут разгуляться на

просторе, и волшебные замки возникают один за другим перед вашим воображением. Не видя перед собою ни границы, ни преграды, мысль ваша расплывается вширь, как волна морская, но зато она бесплодна, как океан.

И не странно ли, что к подобным воззрениям пришли вы, человек мысли и науки? Полноте! Оставьте это учение Прудону⁴ с братией, оставьте его легкомысленной партии красных республиканцев, всегда готовых ринуться на разрушение и не имеющих силы для созидания; партии, которая своим безумием погубила во Франции республику и оправдала деспотизм Людовика Наполеона⁵. Да, Людовик Наполеон прав; мы можем сказать это, мы, настоящие враги его, мы, никогда не питавшие ни малейшего уважения к личным его качествам. Он прав, потому что обуздал, хотя временно, это племя, столь же неисправимое, как французские аристократы, это племя, вечно выезжающее на звонких фразах и не имеющее ни малейшей доли политического смысла. Как можете вы, русский, и особенно теперь, иметь что-либо общего с ними? Революционные доктрины тогда только могли бы пустить корни между русскими, когда бы правительство продолжало идти по прежней колее. Но, по-видимому, оно поворачивает в другую сторону и наступает новая эпоха в нашей общественной жизни. Вы сами это поняли и написали к императору Александру II⁶ письмо, исполненное благородных чувств и горячей любви к народу. Нас радует, что вы можете писать другим тоном, нежели каким вы пишете все ваши социальные статьи. Но для чего считаете вы нужным извиняться в этом письме? Неужели на вас так далеко влияние ваших западных друзей, что вы должны оправдывать перед ними единственную политическую статью, написанную с должным благоразумием? В письме своем вы изъявляете готовность прекратить свою пропаганду, лишь бы правительство сделало что-нибудь для России. Прекращать пропаганду нет надобности, но вам необходимо переменить ее тон и направление, и это вы должны сделать для России; вы должны даже принести в жертву свои убеждения, если хотите принести отечеству какую-нибудь пользу. России до социальной демократии нет дела; у нее другие

интересы; животрепещущие вопросы, поглощающие ее внимание, вращаются в другой сфере. Укажите нам с должной умеренностью и со знанием дела на внутренние наши недостатки, раскройте перед нами картину внутреннего нашего быта так, как вы отчасти делаете это в своих «Записках», и мы будем вам благодарны, ибо свободное русское слово — великое дело. Вы удивляетесь, отчего вам не шлют статей из России; но как же вы не понимаете, что нам чуждо водруженное вами знамя? Начните издание сборника другого рода, нежели ваша «Полярная Звезда», и у вас больше найдется сотрудников, и самое издание будет лучше расходиться в России, и найдет даже со стороны правительства менее препятствий, нежели в настоящее время. Но если вы хотите непременно продолжать на старый лад, то пишите лучше по-французски, ибо во всяком случае вы пишете для Франции, а не для России.

Вот вам наша откровенная исповедь, вот как мы понимаем дело.

И со всем тем, не сочувствуя теперешней вашей деятельности, решительно не становясь под ваше знамя, мы, через отсутствие всякой тени гласности в России, вынуждены искать для современной русской мысли пристанища и великодушного крова у вас. Я прибегаю к вам с просьбой напечатать и это письмо, и приложенные к нему статьи, без всяких перемен, на русском языке, и не в «Полярной Звезде», а отдельной книгой. Личное ваше благородство и честь послужат мне порукой, что вы не употребите во зло моего доверия и не захотите скрыть или исказить это письмо и приложенные к нему статьи, пользуясь преимуществами человека, имеющего право говорить и печатать все, перед тем, который в своем отечестве осужден на глубокое, безусловное молчание.

Русский либерал

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Кавелин Константин Дмитриевич (1818–1885) — публицист, историк, правовед и философ. Первоначаль-

ное образование получил в домашних условиях. С 1835 по 1839 г. учился в Московском университете, сначала на историко-филологическом факультете, а затем на юридическом. Слушал лекции П. Г. Редкина и гегельянца Н. И. Крылова. Был знаком с П. Я. Чаадаевым и М. Ф. Орловым. Испытал сильное влияние славянофилов, с многими из которых был знаком (с И. В. и П. В. Киреевскими, А. С. Хомяковым, Ю. Ф. Самаринским и др.). Впоследствии по многим вопросам вел со славянофилами полемику, что послужило основанием к зачислению его в лагерь западников, что по сути неверно, так как всю свою жизнь он придерживался идей, выдвинутых именно славянофилами. В 1846–1847 гг. формулирует основные принципы государственного управления в русской историографии («государственная школа»). В 1848 г. переезжает в Петербург, где вскоре становится профессором университета — сначала гражданского права, а затем — философии права. В 60-е годы сближается с Чернышевским и во многом разделяет позиции позитивизма.

В 70–80-е годы переключается как исследователь на изучение проблем психологии и этики. Однако, несмотря на свои позитивистские установки, доказывал наличие свободной воли у человека, признавал индетерминизм психической деятельности, полагал христианство вершиной нравственного развития человечества, а любовь к ближнему — высшим нравственным принципом.

По политическим взглядам — виднейший деятель русского либерализма 50–60-х годов XIX века. Освобождение крестьян предполагал с землей, но за выкуп. Идеи «крестьянского социализма» не принимал, считал социалистическое устройство утопией из-за неискоренимости общественного неравенства. Развивал идеи мирового, эволюционного развития общества.

Соч.: Взгляд на юридический быт Древней России. СПб., 1847; Сочинения. Ч. 1–4. М., 1859; Мысли и заметки о русской истории. СПб., 1866; Задачи психологии. СПб., 1872; Задачи этики. СПб., 1885; Собр. соч. Т. 1–4. СПб., 1897–1900; Наш умственный строй. Статьи по философии, русской истории и культуре. М., 1989.

Чичерин Борис Николаевич (1828–1904) — философ,

публицист, правовед, историк и общественный деятель. Родом из знатной дворянской семьи. Учился в Московском университете, где слушал лекции Грановского. В 1861–1868 гг. — профессор права Московского университета. Был воспитателем наследника престола при Александре II. Активный участник земской деятельности в Тамбовской губернии. В 1882–1883 гг. — Московский городской голова. Представитель русского гегельянства, выступал как против мистицизма, так и против позитивизма. Гегелевскую диалектику понимал как метод систематизации полученного эмпирического знания и принцип логического развертывания знания. Чичерин как крупный теоретик права внес существенный вклад в развитие теории морали и права. Идеальной формой государственного устройства считал конституционную монархию. Идеи Чичерина оказали известное влияние на становление идеологии партии кадетов.

Соч.: Мистицизм в науке. М., 1880; Основания логики и метафизики. М., 1894; Курс государственной науки. Ч. 1–3. М., 1894–1898; Философия права. М., 1900; Воспоминания. Т. 1–4. М., 1929–1934.

ПРИМЕЧАНИЯ

«Письмо к издателю» печатается по изд.: *Кавелин К. Д., Чичерин Б. Н.* Письмо к издателю // *Голоса из России. Сборники А. И. Герцена и Н. П. Огарева.* М., 1974. Вып. 1, с. 9–36. Об авторстве письма см.: Там же. Вып. 4, с. 44–53.

¹ *Кошут Лайош* (1802–1894) — лидер национально-освободительного движения Венгрии.

² *Маццини (Мадзини) Джузеппе* (1805–1872) — вождь республиканско-демократического крыла итальянского Рисорджименто. Основатель «Молодой Италии».

³ *Ледрю-Роллен Александр Огюст* (1807–1874) — французский мелкобуржуазный демократ, государственный деятель.

⁴ Прудон Пьер Жозеф (1809–1865) — французский социалист, теоретик анархизма, реформатор-утопист.

⁵ Людовик Наполеон (Луи Наполеон Бонапарт), Наполеон III (1808–1873) — французский император в 1852–1870 гг. Племянник Наполеона I.

⁶ Александр II (1818–1881) — российский император с 1855 г. Отменил крепостное право (1861). После неоднократных покушений убит народовольцами (1881).

Б. Н. Чичерин

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ЛИБЕРАЛИЗМА

Если мы прислушаемся к тому общественному говору, который раздается со всех концов России, и тайно и явно, и в клубах, и в гостиных, и в печати, то несмотря на разнообразие речей и направлений, мы легко заметим один общий строй, который владычествует надо всем. Нет сомнения, что в настоящую минуту общественное мнение в России решительно либерально. Это не случайное направление вытекло из жизненной необходимости; оно порождено силою вещей. Отрицание старого порядка явилось как прямое последствие его несостоятельности. Для всех стало очевидным, что без известной доли свободы в благоустроенном государстве нельзя обойтись.

Такое явление не может не порадовать тех, кому чувство свободы глубоко врезалось в сердце, кто питал и лелеял его в тишине своих дум, в сокровенном тайнике своей души в то время, когда оно изгонялось из общества как возмутительное и преступное. Свобода — лучший дар, данный в удел человеку, она возвышает его над остальным творением, она делает из него существо разумное, она полагает на него нравственную печать. В самом деле, какой поступок имеет цену в наших глазах? Каждому ли деянию приписываем мы нравственную красоту? Не тому, которое совершается по внешнему предписанию, из страха как из слепого поклонения владычествующим силам, а тому, которое вытекло из недосягаемых глубин совести, где человек наедине с собою, независимый от чужих влияний, решает, сознательно и свободно, что он считает добром и долгом. Нравственное величие человека измеряется этою непоколебимой внутренней силой, недоступной

внушениям и соблазнам, эту твердую решимость, история неуклонно следует свободному голосу правды, которую не сдвинут с места ни исступленные вопли толпы, ни угрозы, ни насилие, ни даже мучения. За внутреннюю свободу человека умирали христианские мученики. И мысль человеческая истекает из неизведанной глубины свободного разума. Та мысль крепка, плодотворна, способна действовать на волю и переходить в жизнь, которая не наложена и не заимствована извне, а переработалась в горниле сознания и является выражением свободных убеждений человека. Внутри сознания раскрывается бесконечный свободный мир, в котором, как в центре, отражается вселенная. Здесь человек — неподвластный хозяин, здесь он судит и насилие, которое налагает на него руку, и безумие, которое хочет заглушить горе разлуки. Здесь вырабатываются те идеи, которым суждено изменить лицо земли и сделаться путеводным началом для самых дальних поколений.

Свобода совести, свобода мысли, вот тот жертвенник, на котором неугасимо пылает присущий человеку божественный огонь, вот источник всякой духовной силы, всякого жизненного движения, всякого разумного устройства, вот что дает человеку значение бесконечное. Все достоинство человека основано на свободе, на ней зиждутся права человеческой личности. Как свободное существо, человек гордо поднимает голову и требует к себе уважения. Вот почему, как бы низко он ни упал, в нем никогда не изглаживаются человеческие черты, нравственный закон не позволяет смотреть на него с точки зрения пользы или вреда, которые он приносит другим. Человек — не средство для чужих целей, он сам абсолютная цель. Свободным человек вступает и в общество. Ограничивая свою волю совместной волей других, подчиняясь гражданским обязанностям, повинуюсь власти, представляющей идею общественного единства и высшего порядка, он и здесь сохраняет свое человеческое достоинство и прирожденное право на беспрепятственное проявление разумных своих сил. Общество людей — не стадо бессловесных животных, которые вверяются попечению пастуха до тех пор, пока не поступают на убой. Цель

человеческих союзов — благо членов, а не хозяина. Власть над свободными гражданами дает пастырям народов достоинство, перед которым с уважением склоняются люди, и нет краше, нет святее этого призвания на земле, нет ничего, что могло бы наполнить сердце человека таким чувством гордости и обязанности.

Идея свободы сосредоточивает в себе все, что дает цену жизни, все, что дорого человеку. Отсюда то обаяние, которое она имеет для возвышенных душ, отсюда та неудержимая сила, с которой она охватывает в особенности молодые сердца, в которых пылает еще весь идеальный жар, отделяющий человека от земли. Глубоко несчастлив тот, чье сердце в молодости никогда не билось за свободу, кто не чувствовал в себе готовности с радостью за нее умереть. Несчастлив и тот, в ком житейская пошлость задушила это пламя, кто, становясь мужем, не сохранил уважения к мечтам своей юности <...>.

В зрелом возрасте идея свободы очищается от легкомыслия, от самонадеянного отрицания, от своеволия, не признающего над собой закона, оно сдерживается пониманием жизни, приноравливается к ее условиям, но она не исчезнет из сердца, а напротив, глубже и глубже пускает в нем корни, становясь твердым началом, которое не подлежит колебаниям и спокойно управляет жизнью человека.

Целые народы чувствуют на себе это могущественное влияние идеи, как показывает история. Свобода внезапно объемлет своим дыханием народ, как бы пробудившийся ото сна. Перед ним открывается новая жизнь. Страхнув с себя оковы, он встает возрожденный. Как исступленная пифия, изрекая вещие глаголы, проповедуя горе сильным земли, он с неодолимой силой низвергает все преграды и несет зажженное им пламя по всем концам света. Но железная необходимость скоро сдерживает эти порывы и возвращает свободу к той стройной гармонии, к тому разумному порядку, к тому сознательному подчинению власти и закону, без которого немислима человеческая жизнь. Волнуясь и ропща, поток мало-помалу вступает в свое русло, но свобода не перестает бить ключом и даровать свежесть и силу

тем, которые приходят утолять духовную жажду у этого источника.

Мы, давнишние либералы, вскормленные на любви к свободе, радуемся новому либеральному движению в России. Но мы далеки от сочувствия всему, что говорится и делается во имя свободы. Часто ее и не узнаешь в лице самых рьяных ее обожателей. Слишком часто насилие, нетерпимость и безумие прикрываются именем обаятельной идеи, как подземные силы, надевшие на себя доспехи олимпийской богини. Либерализм является в самых разнообразных видах, и тот, кому дорога истинная свобода, с ужасом и отвращением отступает от тех уродливых явлений, которые выдвигаются под ее знаменем.

Обозначим главные направления либерализма, которые выражаются в общественном мнении.

Низшую ступень занимает либерализм уличный; это скорее извращение, нежели проявление свободы. Уличный либерал не хочет знать ничего, кроме собственного своеволия. Он прежде всего любит шум; ему нужно волнение для волнения. Это он называет жизнью, а спокойствие и порядок кажутся ему смертью. Где слышны яростные крики, неразборчивые и неистощимые ругательства, там, наверное, колышется и негодует уличный либерализм. Он жадно сторожит каждое буйство, он хлопает всякому беззаконию, ибо самое слово «закон» ему ненавистно. Он приходит в неистовый восторг, когда узнает, что где-нибудь произошел либеральный скандал, что случилась уличная схватка в Мадриде или Неаполе: знай наших! Но терпимости к мысли, уважения к чужому мнению, к человеческой личности, всего, что составляет сущность истинной свободы и украшение жизни, от него не ожидайте. Он готов стереть с лица земли всякого, кто не разделяет его необузданных порывов. Он даже не предполагает, что чужое мнение могло явиться плодом свободной мысли, благородного чувства. Отличительные черты уличного либерала те, что он всех своих противников считает подлецами. Низкие души понимают одни лишь подлые побуждения. Поэтому он и на средства не разборчив. Он ратует во имя свободы, но здесь не мысль, которая выступает против мысли в благородном бою, ломая

копья за истину, за идею. Все вертится на личных выходках, на ругательствах; употребляются в дело бесовские толкования, ядовитые намеки, ложь и клевета. Тут стараются не доказать, а отделать, уязвить или оплевать. Иногда уличный я прикидывается джентльменом, надевает палевые перчатки и как будто готовится рассуждать. Но при первом столкновении он отбрасывает несвойственные ему помыслы, он входит в настоящую свою роль. Опыанный и бездумный, он хватается за все, кидает чем попало, забывая всякий стыд, потерявши чувство приличия. Уличный я не терпит условий, налагаемых гостиними; он чувствует себя дома только в кабаке, в грязи, которой он старается закидать всякого, кто носит чистое платье. Все должны подойти под один уровень, одинаково низкий и подлый. Уличный либералист питает непримиримую ненависть ко всему, что возвышается над толпой, ко всякому авторитету. Ему никогда не приходило на ум, что уважение к авторитету есть уважение к мысли, к труду, к таланту, ко всему, что дает высшее значение человеку, а может быть, он именно потому и не терпит авторитета, что видит в нем те преобразовательные силы, которые составляют гордость народа и украшение человека. Уличному либералу наука кажется насилием, нанесенным жизни, искусство — плодом аристократической праздности. Чуть кто отделился от толпы, направляя свой полет в верхние области мысли, познания и деятельности, как уже в либеральных болотах слышится шипение пресмыкающихся. Презренные гады вздымают свои змеиные головы, вертят языком и в бессильной ярости стараются излить свой яд на все, что не принадлежит к их завистливой семье.

Нет, не в злобном шипении гадов, не в пьяном задоре кулачного бойца узнаем мы черты той светлой богини, которой поклоняется человек в лучших своих помыслах, в идеальных своих стремлениях, луч свободы никогда не проникся в это темное царство лжи, зависти и клеветы. Свобода обитает в области правды и света, и когда люди изгоняют ее из своих жилищ, она не прячется в подземные поры, но удаляется в сердце избранных, которые хранят для лучших дней драгоценный завет, добытый страданием и любовью.

Второй вид либерализма можно назвать либерализм оппозиционный. Но, Боже мой! Какая тут представляется смесь людей! Самые разнородные побуждения, самые разнородные типы — от Собакевича, который уверяет, что один прокурор — порядочный человек, да и тот свинья, до помещика, негодующего за отнятие крепостного права, до вельможи, вставшего в немилость и потому кинувшегося в оппозицию, пока не воссияет над ним улыбка, которая снова обратит его к власти! Кому не знакомо это критическое настроение русского общества, этот избыток оппозиционных излишеств, которые являются в столь многообразных формах, в виде бранчливого неудовольствия с патриархальным и невинным характером; в виде презрительной иронии и ядовитой усмешки, которая показывает, что критик стоит где-то далеко впереди, бесконечно выше окружающих в мире; в виде глумления и анекдотцев, обличающих темные козни бюрократов; в виде неистовых нападков, при которых в одно и то же время с одинаковой яростью требуются совершенно противоположные вещи; в виде поэтической любви к выборному началу, к самоуправлению, к гласности; в виде ораторских эффектов, сопровождаемых величественными позами; в виде лирических жалоб, прикрывающих лень и пустоту; в виде бесконечного стремления говорить и суетиться, в котором так и проглядывает огорченное самолюбие, желание придать себе важность; в виде злорадства при всякой дурной мере властей, при всяком зле, постигающем отечество; в виде вольнолюбия, всегда готового к деспотизму, и подавленности, всегда готовой ползать и поклоняться. Не перечтешь тех бесчисленных оттенков оппозиции, которыми изумляет нас русская земля. Но мы хотим говорить не об этих жизненных проявлениях разнообразных склонностей человека; для нас важен оппозиционный либерализм как общее начало, как известное направление, которое коренится в свойствах человеческого духа и выражает одну из сторон или первоначальную степень свободы.

Самое умеренное и серьезное либеральное направление не может не стоять в оппозиции к тому, что нелиберально. Всякий мыслящий человек критикует те дейст-

вия или меры, которые не согласны с его мнением. Иначе он отказывается от свободы суждения и становится присяжным служителем власти. Но не эту законную критику, вызванную тем или другим фактом, разумею мы под именем оппозиционного либерализма, а то либеральное направление, которое систематически становится в оппозицию, которое не ищет достижения каких-либо политических требований, а наслаждается самим блеском оппозиционного положения. В этом есть своего рода поэзия, есть чувство независимости, есть отвага, есть, наконец, возможность более увлекающей деятельности и более широкого влияния на людей, нежели какие представляются в тесном круге, начертанном обыкновенной практикой, жизнью. Все это невольно соблазняет человека. Прибавим, что этого рода направление усваивается гораздо легче всякого другого. Критиковать несравненно удобнее и приятнее, нежели понимать. Тут не нужно напряженной работы мысли, альтернативного и отчетливого изучения существующего, разумного постижения общих жизненных начал и общественного устройства; не нужно даже действовать: достаточно говорить с увлечением и позировать с некоторым эффектом.

Оппозиционный либерализм понимает свободу с чисто отрицательной стороны. Он отрешился от данного порядка и остался при этом отрешении. Отменить, разрешить, уничтожить — вот вся его система. Дальше он не идет, да и не имеет надобности идти. Ему верхом благополучия представляется освобождение от всяких законов, от всяких стеснений. Этот идеал, неосуществимый в настоящем, он переносит в будущее или в давно прошедшее. В сущности, это одно и то же, ибо история, в этом воззрении, является не действительным фактом, подлежащим изучению, не жизненным процессом, из которого вытек современный порядок, а воображаемым миром, в который можно вместить все, что угодно. До настоящей же истории оппозиционный либерализм не охотник. Отрицая современность, он по этому самому отрицает и то прошедшее, которое ее произвело. Он в истории видит только игру произвола, случайности, а пожалуй, и человеческое безумие. К тому же настроению, мысли принадлежит и поклоне-

ние неизведанным силам, лежащим в таинственной глубине народного духа. Чем известное начало дальше от существующего порядка, чем оно общее, неопределеннее, чем глубже скрывается во мгле туманных представлений, чем более поддается произволу фантазии, тем оно дороже для оппозиционного либерализма.

Держась отрицательного направления, оппозиционный либерализм довольствуется весьма немногосложным боевым снарядом. Он подбирает себе несколько категорий, на основе которых он судит обо всем, он сочиняет себе несколько ярлычков, которые целиком наклеивает на явления, обозначая тем похвалу или порицание. Вся общественная жизнь разбивается на два противоположных полюса, между которыми проводится непроходимая и неизменная черта. Похвалу означают ярлычки: община, мир, народ, выборное начало, самоуправление, гласность, общественное мнение и т. п. Какие положительные факты и учреждения под этим разумеются, ведает один Бог, да и то вряд ли. Известно, что все идет как нельзя лучше, когда люди все делают сами. Только неестественное историческое развитие да аристократические предрассудки, от которых надо бы избавиться, виноваты, что мы не сами шьем себе платье, готовим себе обед, чиним экипажи. Одно возвращение к первобытному хозяйству, к первобытному самоуправлению может водворить благоденствие на земле. Этим светлым началам, царству Ормузда, противопоставляются духи тьмы, царства Аримана. Эти мрачные демоны называются: централизация, регламентация, бюрократия, государство. Ужас объемлет оппозиционного либерала при звуке этих слов, от которых все горе человеческому роду. Здесь опять не нужно разбирать, что под ними разумеется; к чему такой труд? Достаточно приклеить ярлычок, сказать, что это — централизация или регламентация, — и дело осуждено безвозвратно. У большей части наших оппозиционных либералов весь запас мыслей и умственных сил истощается этой игрой в ярлычки.

В практической жизни оппозиционный либерализм держится тех же отрицательных правил. Первое и необходимое условие — не иметь ни малейшего соприкосновения с властью, держаться как можно дальше

от нее. Это не значит, однако, что следует отказываться от доходных мест и чинов. Для природы русского человека такое требование было бы слишком тяжело. Многие и многие оппозиционные либералы сидят на теплых местечках, надевают придворный мундир, делают отличную карьеру, и тем не менее считают долгом, при всяком удобном случае, бранить то правительство, которому они служат, и тот порядок, которым они наслаждаются. Но чтобы независимый человек дерзнул сказать слово в пользу власти — Боже упаси! Тут поднимется такой гвалт, что и своих не узнаешь.

Это — низкопоклонство, честолюбие, продажность. Известно, что всякий порядочный человек должен непременно стоять в оппозиции и ругаться.

Затем следует план оппозиционных действий. Цель их вовсе не та, чтобы противодействовать положительному злу, чтобы практическим путем, соображаясь с возможностью, добиться исправления. Оппозиция не нуждается в содержании. Все дело общественных двигателей состоит в том, чтобы агитировать, вести оппозицию, делать демонстрации и манифестации, выкидывать либеральные фокусы, устроить какую-нибудь шутку кому-нибудь в пику, подобрать статью свода законов, присвоив себе право произвольного толкования, уличить квартального в том, что он прибил извозчика, обойти цензуру статейкою с таинственными намеками и либеральными эффектами или, еще лучше, напечатать какую-нибудь брань за границей, собирать вокруг себя недовольных всех сортов, из самых противоположных лагерей, и с ними отводить душу в невинном свирепении, в особенности же протестовать при малейшем поводе и даже без всякого повода. Мы до протестов большие охотники. Оно, правда, совершенно бесполезно, но зато и безвредно, а между тем выражает благородное негодование и усладительно действует на огорченные сердца публики.

Оппозиция более серьезная, нежели та, которая является у нас, нередко впадает в рутину оппозиционных действий и тем подрывает свои кредиты и заграждает себе возможность влияния на общественные дела. Правительство всегда останется глухо к тем требованиям,

которые относятся к нему чисто отрицательно, упуская из виду собственное его положение и окружающие его условия. Такого рода отношение почти всегда бывает в странах, где оппозиционная партия не имеет возможности сама сделаться правительством и приобрести практическое знакомство со значением и условиями власти. Постоянная оппозиция неизбежно делает человека узким и ограниченным. Поэтому, когда наконец открывается поприще для деятельности, предводители оппозиции нередко оказываются неспособными к правлению, а либеральная партия, по старой привычке, начинает противодействовать своим собственным вождям, как скоро они стали министрами.

Когда либеральное направление не хочет ограничиваться пустословием, если оно желает получить действительное влияние на общественные дела, оно должно начать с иных начал, начал зиждущих, положительных, оно должно приноравливаться к жизни, но черпать уроки из истории; оно должно действовать, понимая условия власти, не становясь к ней в систематически враждебное отношение, не предъявляя безрассудных требований, но сохраняя беспристрастную независимость, побуждая и задерживая, где нужно, и стараясь исследовать истину хладнокровным обсуждением вопросов. Это и есть либерализм охранительный.

Свобода не состоит в одном приобретении и расширении прав. Человек потому только имеет права, что он несет на себе обязанность, и наоборот, от него можно требовать исполнения обязанностей единственно потому, что он имеет права. Эти два начала неразрывные. Все значение человеческой личности и вытекающих из нее прав основано на том, что человек есть существо разумно-свободное, которое носит в себе сознание верховного нравственного закона и в силу свободной своей воли способно действовать по представлению долга. Абсолютное значение закона дает абсолютное значение и человеческой личности, его сознающей. Отнимите у человека это сознание — он становится наряду с животными, которые повинуются влечениям и не имеют прав. К ним можно иметь привязанность, сострадание, а не уважение, потому что в них нет бесконечного элемента, составляющего достоинство человека.

Но верховный нравственный закон, идея добра, это непереносимое условие свободы, не остается отвлеченным началом, которое действует на совесть и которому человек может повиноваться по своему усмотрению. Идея добра осуществляется во внешнем мире; она соединяет людей в общественные союзы, в которых люди связываются постоянной связью, подчиняясь положительному закону и установлениям власти. Каждый человек рождается членом такого союза. Он получает в нем положительные права, которые все обязаны уважать, и положительные обязанности, за нарушение которых он подвергается наказанию. Личная его свобода, будучи неразрывно связана со свободой других, может жить только под сенью гражданского закона, повинаясь власти, его охраняющей. Власть и свобода точно так же нераздельны, как нераздельны свобода и нравственный закон. А если так, то всякий гражданин, не преклоняясь безусловно перед властью, какова бы она ни была, во имя собственной свободы обязан уважать существо самой власти.

«Немного философии,— сказал Бэкон,— отвращает от религии, более глубокая философия возвращает к ней». Эти слова можно применить к началу власти. Чисто отрицательное отношение к правительству, систематическая оппозиция — признак детства политической мысли. Это первое ее пробуждение. Отрешившись от безотчетного погружения в окружающую среду, впервые почувствовав себя независимым, человек радуется необъятной радостью. Он забывает все, кроме своей свободы. Он оберегает ее жадно, как недавно приобретенное сокровище, боясь потерять из нее малейшую частичку. Внешние условия и ограничения для него не существуют. Историческое развитие, установленный порядок, все это — отвергнутая старина; это — сон, который предшествовал пробуждению. Человек в себе самом видит центр Вселенной и исполнен безграничного доверия к своим силам. Но когда чувство свободы возмужало и глубоко укоренилось в сердце, когда оно утвердилось в нем незыблемо, тогда человеку нечего опасаться за свою независимость. Он не сторожит ее боязливо, потому что это — не новое, не внешнее приобретение, а сама жизнь его духа, мозг его костей.

Тогда лишь раскрывается перед ним отношение этого внутреннего центра к окружающему миру. Он не отрешается от последнего в своевольном порыве, но, сохраняя бесконечную свободу мысли и непоколебимую твердость совести, он сознает связь своего внутреннего мира с внешним; он постигает зависимость своей внешней свободы от свободы других, от исторического порядка, от положительного закона, от установленной власти. История и современность не представляются ему произведением бесконечного произвола и случайности, предметом ненависти и отрицания. Уважая свободу других, он уважает и общий порядок, который вытек из свободы народного духа, из развития человеческой жизни. За отрицанием следует примирение, за отрешением от начал, владычествующих в мире, — возвращение к ним, но возвращение не бессознательное, как прежде, а разумное, основанное на постижении истинного их существа и возможности дальнейшего хода. Разумное отношение к окружающему миру составляет положительный плод и высшее проявление человеческой свободы. Оно же и необходимое условие для ее водворения в обществе. Свобода не является среди людей, которые делают из нее предлог для шума и орудие интриг. Неистовые крики ее прогоняют, оппозиция без содержания не в силах ее вызвать. Свобода основывает свое жилище только там, где люди умеют ценить ее дары, где в обществе утвердились терпимость, уважение к человеку и поклонение высшим силам, в которых выражается свободное творчество человеческого духа.

Сущность охранительного либерализма состоит в примирении начала свободы с началами власти и закона. В политической жизни лозунг его: либеральные меры и сильная власть — либеральные меры, представляющие обществу самостоятельную деятельность, обеспечивающие права и личность граждан, охраняющие свободу мысли и свободу совести, дающие возможность высказаться всем законным желаниям, — сильная власть, блюстительница государственного единства, связующая и сдерживающая общество, охраняющая порядок, строго надзирающая за исполнением закона, пресекающая всякое его нарушение, внушая гражданам

уверенность, что во главе государства есть твердые руки, на которые можно надеяться, и разумная сила, которая сумеет отстоять общественные интересы и против напора анархических стихий и против воплей реакционных партий.

В действительности, государство с благоустроенным общежитием всегда держится сильной властью разве что в те моменты, когда оно склоняется к падению или подвергается временному расстройству. Но и временное ослабление власти ведет к более энергичному ее восстановлению. Горький опыт научает народы, что им без сильной власти обойтись невозможно, и тогда они готовы кинуться в руки первого деспота. Они же обличают всю несостоятельность оппозиционного либерализма. Отсюда то обыкновенное явление, что те же самые либералы, которые в оппозиции ратовали против власти, получив правление в свои руки, становятся консерваторами. Это считается признаком двоедушия, низкопоклонства, честолюбия, отрекающегося от своих убеждений. Все это, без сомнения, слишком часто справедливо, но тут есть и более глубокие причины, которые заставляют самого честного либерала впасть в противоречие с собою. Необходимость управлять на деле раскрывает все те условия власти, которые упускают из вида в оппозиции. Тут недостаточно производить агитацию; надобно делать дело, нужно не разрушать, а устраивать, не противодействовать, а скреплять, и для этого требуются положительные взгляды и положительная сила. Либерал, облеченный властью, поневоле бывает принужден делать именно то, против чего он восставал, будучи в оппозиции. Мне случилось по этому поводу слышать от знаменитого Бунзена¹ следующий характеристический анекдот, который показывает, как на то смотрят государственные мужи в свободных странах — когда О'Коннел² был выбран дублинским мэром, Бунзен, бывший тогда прусским посланником в Лондоне, спросил у сэра Роберта Пиля³, в то время первого министра: не беспокоит ли его этот выбор? «Совсем напротив, — отвечал сэр Роберт Пиль, — для усмирения демагога нет лучшего средства, как дать ему какую-нибудь власть в руки, он по необходимости становится ее защитником».

ПРИМЕЧАНИЯ

Печатается по изд.: Различные виды либерализма. Анонимное издание. М., 1862. (Авторство Б. Н. Чичерина установлено по его воспоминаниям.)

¹ *Бунзен Христиан Карл Иозас фон* (1791–1860) — немецкий ученый и государственный деятель.

² *О'Коннел Даниэль* (1775–1847) — ирландский государственный деятель, выступавший за расторжение унии между Англией и Ирландией.

³ *Пиль Роберт сэр* (1788–1850) — государственный деятель Англии.

Б. Н. Чичерин

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ВОПРОС В РОССИИ

Восточная война оставила русское общество в полном недоумении. Те, которые ждали окончательного освобождения христиан и разрешения восточного вопроса, должны были разочароваться; те же, которые не очаровывались с самого начала, не могут не видеть, что, несмотря на блистательные победы, война вместе с экономическим расстройством принесла нам и нравственное расслабление. Того одушевления, которое господствовало после крымской кампании, нет и тени. Все понимают, что внешнее положение России зависит прежде всего от ее внутреннего развития; для того, чтобы она могла исполнить предстоящие ей задачи, необходимо поднять умственный, нравственный и экономический уровни русского общества. Но как приняться за такое дело? Откуда ждать того могучего толчка и того разумного направления, которые были бы способны поставить нас на новую высоту? Правительство, бессильное в своем одиночестве, взывает к содействию общества; последнее, со своей стороны, сознавая собственное свое бессилие, всего ожидает от правительства. Для всех очевидно, что только совокупную деятельность обоих возможно искоренить гнетущее нас нравственное и материальное зло. Но для такой дружной деятельности не существует почвы. Официально не слышится ничего, кроме заявлений преданности и покорности; но в действительности, правительство и общество не знают и не понимают друг друга.

При таком положении дел, естественно, возникает мысль об установлении органа, способного соединить разрозненные силы и дать общее направление течению, идущему сверху, и течению, идущему снизу. Конститу-

ционный вопрос, дремавший некоторое время, снова выдвигается на первый план. Заглушить его нет возможности; идти вперед закрывши глаза было бы безрассудно. Всякий истинный сын отечества, всякий, кто ищет исхода из настоящего положения, обязан выяснить себе, насколько подобное преобразование у нас возможно и необходимо.

Конституционный вопрос возбужден был уже в первое десятилетие настоящего царствования, вслед за освобождением крестьян. В то время самые разнородные направления соединялись в этой мысли. С одной стороны, дворяне, лишившись крепостного права, думали этим путем сохранить обломки своих утраченных преимуществ и связать настоящее с прошедшим. С другой стороны, нетерпеливые либералы хотели воспользоваться этим случаем, чтобы с помощью возбужденных страстей провести конституционные идеи. Само правительство, по-видимому, поддавалось этому движению. Оно чувствовало себя как бы в долгу перед дворянством и думало удовлетворить возникающие требования если не дарованием настоящей конституции, то учреждением совещательного собрания или по крайней мере призывом депутатов от сословий в Государственный совет. Все умы были заняты этим вопросом; о нем явно толковали в дворянских собраниях; в печати появлялись на него прозрачные намеки.

Многие, однако, считали возбуждение его преждевременным.

Для всякого просвещенного человека не может быть ни малейшего сомнения в том, что все народы, способные к развитию, рано или поздно приходят к представительному порядку. Свобода составляет один из самых существенных элементов как общественного благосостояния, так и политического могущества, а свобода, естественно, неудержимо ведет к участию народа в решении государственных вопросов. Едва ли в настоящее время в среде образованных людей найдется хоть один защитник старых консервативных теорий, которые со злоупотреблениями свободы устраняли и самые законные ее проявления. Свобода до такой степени вошла в плоть и кровь европейских народов, факты с такой очевидностью доказали все ее значение для об-

щественного и политического быта, что даже рассуждать об этом было бы бесполезно. Воображать же, что сколько-нибудь широкое развитие свободы возможно без представительного правления, не что иное, как праздная мечта. Там, где обществу предоставлено думать и говорить об общественных делах, где оно может высказывать свои желания и требования и в выборных учреждениях, и в печати, там оно неминуемо приходит к потребности перевести свои мысли в дело и участвовать в решении важнейших для него вопросов. Мысль и воля не могут распределяться в государстве между различными органами, ибо они неразрывно связаны в самом естестве человека. В политической жизни одного нравственного влияния недостаточно. Убедением можно действовать в области науки, нравственности, религии; в государстве же, где властвует принудительная сила, где право составляет одно из основных начал, где все обязанности имеют характер юридический, всякий влиятельный орган непременно должен быть облечен правами. В самодержавии свобода только терпима; силу и прочность она имеет только там, где она сама участвует в решениях власти. Это вечный, неизменный, вытекающий из самого существа государственной жизни закон, одинаково прилагающийся ко всем временам и народам. Древние республики облекали политическое право в форму народных собраний; новые народы, рассеянные на более широких пространствах, усвоили себе форму представительства. Но существо учреждений везде одно и то же: в них выражается правомерное участие народа в решении государственных дел.

От этого закона не изъята и Россия, несмотря на то, что ее история доселе представляла мало задатков для развития политической свободы. На всем европейском материке самодержавие в течение веков играло первенствующую роль; но нигде оно не имело такого значения, как у нас. Оно сплотило громадное государство, возвело его на высокую степень могущества и славы, устроило его внутри, насадило в нем образование. Под сенью самодержавной власти русский народ окреп, просветлился и вступил в европейскую семью, как равноправный член, которого слово имеет равновесное значе-

ние в судьбах мира. Но самодержавие, которое везде играет роль воспитателя юных народов, не соответствует уже эпохе их зрелости. По существу своему оно не в состоянии поднять народ выше известного уровня. Оно может дать все, что совершается действием власти; но оно не в силах дать того, что приобретается свободой. Общество, привыкшее ходить на помочах, никогда не разовьет в себе той внутренней энергии, той самодеятельности, без которых нет высшего развития. В силу исторического своего призвания, как воспитатель, совершивший свое дело, самодержавие само ведет народ к самоуправлению. Чем более оно делает для народа, чем выше оно поднимает его силы, тем более оно само вызывает потребность свободы и этим приготавливает почву для представительного порядка.

Та же потребность возбуждается и извне соседством конституционных государств. Не только распространение либеральных идей, которым никакие китайские стены не в состоянии положить преграды, но и самая практическая необходимость ведет к водворению представительного правления. Государство, в котором задерживается общественная самодеятельность, не в состоянии тягаться со свободными странами, где все общественные силы развиваются на полном просторе и призываются к содействию общей цели. Поэтому, когда среди народов, живущих общею жизнью, одни вступают на либеральный путь, они неизбежно увлекают за собою и других. Как усовершенствования военного искусства, вводимые в одном государстве, вызывают те же усовершенствования и в соседних странах, так и в политической жизни невозможно обойтись без тех высших орудий, которые даются свободой, когда этими орудиями владеют соперники. Такое требование вытекает отнюдь не из слепого подражания иностранным образцам, а из самого существа государственной жизни, в основании которой всегда и везде лежат одинаковые человеческие элементы. Ссылаться на какие-то особенности России, которые изъедают ее из общих законов человеческого развития, опять не что иное, как пустая фантазия. Мы ничего своего не изобретем по той простой причине, что в этой области изобретать нечего. Она исследована вдоль и поперек; изведаны

цели и средства; вопрос состоит единственно в их приложении.

Из самого существа дела вытекает и то, что для России идеалом представительного устройства может быть только конституционная монархия. Из двух форм, в которых воплощается политическая свобода, ограниченная монархия и республика, выбор для нас не может быть сомнителен. Монархическая власть играла такую роль в истории России, что еще в течение столетий она останется высшим символом ее единства, знаменем для народа. Долго и долго еще она сохранит первенствующее значение в государственных учреждениях. Единственное, о чем позволительно у нас мечтать, это приобретение к ней народного представительства, облеченного действительными, а не мнимыми правами. Такова цель, которую должен иметь в виду всякий просвещенный русский человек, когда он обращается к будущему своего отечества.

Все это — положения, едва ли подлежащие спору. Несомненно, что преобразования нынешнего царствования приготовили разрешение конституционного вопроса и поставили его, так сказать, на очередь. Пока живо было крепостное право, невозможно было и думать о свободных учреждениях. Закрепленное снизу, русское общество должно было оставаться закрепленным и сверху. Но с разрешением вековых уз, с уничтожением всего исторического строя русского общества наступила новая пора. Водворение гражданской свободы во всех слоях и на всех общественных поприщах, независимый и гласный суд, земские учреждения, наконец, новая в России, хотя и скудная еще, свобода печати, все это — части нового здания, естественным завершением которого представляется свобода политическая. Невозможно сохранить историческую вершину, когда от исторического здания, которое ее поддерживало, не осталось и следа; невозможно удержать правительство в прежнем виде там, где все общество пересоздалось на новых началах. Весь вопрос заключается в том, ранее или позднее наступит пора совершить этот последний, знаменательный шаг на пути свободы. В этом отношении мнения самых просвещенных и либеральных людей могут расходиться.

Когда конституционный вопрос был возбужден вслед за освобождением крестьян, он не мог найти отзыва в тех, которые, живо сочувствуя новым преобразованиям, желали, чтобы они упрочились и пустили корни прежде, нежели приступить к дальнейшим переменам. Переворот, совершившийся в России, был так громаден, все отношения общественные и частные до такой степени выбились из прежней колеи, что нужно было время для того, чтобы общество привыкло к новому порядку вещей и переварило в себе, так сказать, всю приготовленную для него пищу. Эпохи глубоких гражданских преобразований менее всего благоприятны водворению политической свободы, которая требует от общества более или менее установившихся понятий и согласного действия. В то время Россия представляла зрелище чисто анархического брожения умов. Все прежние понятия перепутались, а новые не успели выработаться. Вся старая опытность оказалась негодною, а новая была еще впереди. Не было ни одного учреждения, которое бы осталось нетронутым, ни одного интереса, который бы не был поколеблен. И все это в обществе, которое под давлением прежнего деспотизма не успело усвоить себе ни теории, ни практики свободы. Избирать такую пору для введения конституционного порядка было бы то же, что пустить корабль по воле ветра и волн. Этим не только отвлекались силы от самой насущной работы, но вместе с тем давалась точка опоры всем разнузданным страстям и интересам; это была бы новая громадная задача, заданная России прежде, нежели она успела совладать с настоящею. Результатом подобного шага могло быть лишь усиление анархии, а вслед затем — неминуемое торжество реакции, которая могла уничтожить не только едва зарождающуюся политическую свободу, но и юные преобразования, не успевшие еще упрочиться в народной жизни.

Россия была избавлена от подобного кризиса. С высоты престола были сказаны многозначительные слова: «Спешить было бы не только вредно, но и преступно». Искусственно возбужденная агитация в пользу конституционного порядка на время утихла: взволнованные умы успокоились сами собою, и Россия мирно приня-

лась за применение дарованных ей учреждений. Крестьянский вопрос решен окончательно. В настоящее время эта первоначальная работа, можно сказать, покончена; новые преобразования сделались неотъемлемою принадлежностью народной жизни. Все свыклись с новым порядком вещей; все безропотно принялись за устройство своего быта на новых началах. Точно также и земские, и судебные учреждения в короткое время вошли уже в нравы народа. Не везде они приносят добрые плоды; многое зависит от местности, от случайного соединения людей. Но русское общество дает то, что оно может дать, и за будущность их нечего опасаться. Мы научились ими дорожить, и всякое на них посягательство было бы встречено всеобщим неудовольствием.

От этой внутренней работы не могла отвлечь Россию даже реакция, наступившая с 1866 г. Выстрел 4 апреля¹ был сигналом поворота в действиях правительства. Обнаруженное им брожение в умах молодежи требовало отчасти зоркой полиции, а еще более — нравственного руководства. Но о последнем никто не думал. Народное просвещение было передано в руки, которые способны были не излечить, а только усилить зло. Полицейская же деятельность, которая в благоустроенном государстве должна занимать второстепенное место, сделалась предметом главной заботы правительства. Русское общество было изумлено, увидев снова тайную полицию, стоящую у самого престола и распространяющую свое влияние на все отрасли управления. Некоторое время можно даже было опасаться, что на Россию обрушится новый, тяжелый гнет, который уничтожит благие семена, насажденные в первую половину настоящего царствования.

К счастью, эти опасения не сбылись. Полицейские розыски исказили, но не уничтожили созданный преобразованиями государственный строй.

Державная рука сохранила свое собственное произведение. Можно сказать, что реакция нанесла вред более всего самому правительству. При виде полицейских агентов, окружающих престол, от него отшатнулись все независимые и образованные силы; доверие было подорвано. Правительство, которое во имя вели-

ких дел, им совершенных, могло соединить всех вокруг себя, восстановило против себя значительную часть общества. Но как существенные основы нового здания оставались непоколебимы, так как реакционные меры ограничивались частными преследованиями и мелочными стеснениями, то общество, в сущности, мало этим тревожилось. Все спокойно обращали свои взоры к будущему царствованию, ожидая от него необходимого завершения нового порядка вещей.

Но России не суждено было мирно дожить до будущего царствования. Восточная война положила конец периоду медленного внутреннего развития. Она поставила русскому обществу новые, громадные задачи, которые требуют разрешения. Мы не можем ждать, если мы хотим сохранить свое место в политическом мире и сказать свое веское слово в предстоящих великих европейских событиях. Мы не можем ждать, ибо мы неизбежно придем к материальному и нравственному банкротству, если мы своевременно не примемся за работу.

Прежде всего, перед нами возникает грозный финансовый вопрос. Война не только истощила наши средства, но и вовлекла нас в крупные долги. Государству необходимы деньги; надобно открыть новые источники дохода, а где их найти? Платежная способность крестьян напряжена до крайней степени; более с них нечего брать. С своей стороны, помещики не только не богатеют, но едва поддерживают свое состояние. Значительная часть их закладывает или продает свои имения. Что касается до купечества, то последние годы были для него бедственными; настоящее же временное оживление торговли покоится на таких шатких основаниях, что на это рассчитывать нет возможности. Очевидно, что для поправления наших финансов потребуются от народа самые тяжелые жертвы. Правительство, видимо, от этого уклоняется; оно старается ограничиться паллиативными мерами. Но можно, наверно, сказать, что паллиативные меры не приведут к желанному результату. Если не теперь, то через несколько лет придется прибегнуть к коренному преобразованию налогов, а с этим сопряжено коренное изменение всего государственного строя, отмена вековых привилегий,

уничтожение сословий. С наложением новых тягостей связана необходимость дарования новых прав; с требованием денег возбуждается и требование контроля над расходами. Финансовый вопрос становится вопросом политическим.

Делая такой решительный шаг, русское правительство, равно как и русское общество, должны дать себе строгий отчет в том, что они совершают. Невозможно приступить к финансовой реформе, не выяснив тех последствий, которые она должна иметь для всей политической жизни народа.

Самодержавие без привилегированных сословий немислимо. Между бесправным народом и полноправным царем необходим аристократический элемент, который один в состоянии умерить произвол исполнительных органов и дать самой верховной власти более прочные основы, связав ее с интересами образованнейших слоев общества. Как бы ни велико было самовластие, оно всегда находит нравственную преграду в духе, требованиях и понятиях привилегированного сословия; оно принуждено уважать этот дух, потому что видит в нем только независимую силу, но и самую надежную свою опору. Часто говорят, что самодержавие крепко народною любовью; но если это только любовь необразованной массы, то она никогда не предупредит придворных революций и не даст правительству надлежащих орудий действия. Грубая сила, опирающаяся на толпу, может временно держаться, но она неминуемо падет перед невидимым напором образованных элементов, которым всегда принадлежит первенство, потому что у них одних есть разум, необходимый для управления государством.

Аристократический элемент в самодержавном правлении имеет другое весьма важное общественное значение. Это единственная среда, в которой при таком порядке могут вырабатываться чувства права, свободы, чести и человеческого достоинства. Под владычеством безграничного самовластия эти чувства должны искореняться в народе, который вследствие того развращается и падает. Привилегии служат им убежищем и спасением. В самодержавии одно только высокое общественное положение в состоянии внушить человеку

сознание права и уважение к собственному достоинству. Русский дворянин некогда обязан был всю жизнь свою служить государству; но если он нес тяжесть, если он подчинялся высшей власти, то он, с другой стороны, не терял привычки повелевать, он сознавал, что он высоко стоит над массою людей, подлежащих безграничному произволу; он знал, что ему подобает уважение; он имел свою честь, которую он отстаивал всеми силами. Когда же жалованные дворянские грамоты освободили его от обязательной службы, когда дворянство получило корпоративное устройство и выборные права, то положение его сделалось еще значительнее. Дворянин освобожден был от подати; он не отправлял рекрутской повинности; он вступал на службу и выходил в отставку по собственной воле. Одним словом, он сознавал себя свободным и полноправным человеком, насколько это было возможно при самодержавном правлении. Вольности дворянства были началом свободы в России.

Таково значение привилегированных сословий в неограниченной монархии. Привилегии составляют изъятие от тяжестей, но вместе с тем и от произвола: они дают исключительное право, но все-таки право. Ими сохраняются и развиваются в государстве те элементы, без которых не может существовать ни одно сколько-нибудь образованное общество, элементы, составляющие самый драгоценный залог человеческого развития. Поэтому, когда привилегии устраняются, они должны замениться чем-нибудь другим, высшим; иначе это будет шаг не вперед, а назад. С уничтожением привилегированных сословий открывается возможность только двух путей: к демократическому цезаризму и к конституционному порядку. Выбор не может быть сомнителен.

В настоящее время в нашем обществе сильно развито стремление к демократическому цезаризму. Всеобщее уравнивание под самодержавной властью многим представляется каким-то идеалом общественного быта. Утверждают даже, что таков дух нашего народа, что в этом заключается смысл всей русской истории. Ничего не может быть вреднее и фальшивее этих понятий: Демократического равенства мы не видим в русской

истории ни в какие времена. У нас всегда существовала общественная лестница, и лестница весьма резко определенная. В старину на вершине ее стояло боярство, понятие родовой чести ревниво оберегало каждую ступень и не позволяло низшим подниматься к уровню высших. Впоследствии боярство заменилось чиновным дворянством; дворянский дух и чиновная честь заступили место родовых притязаний. Но лестница осталась столь же определенной, как и прежде: она сохранилась и в правах, и учреждениях. Уравнение сословий никогда не было политикой наших царей. Ни в какую эпоху нашей истории мы не видим самодержавной власти, опирающейся на толпу. Первою опорой престола всегда было дворянство, а не крестьянство. А если доступ в дворянство, путем образования и службы, был относительно легок, то все же оно составляло резко определенное сословие, которое высоко стояло над бесправною массою. Невозможно говорить о демократическом равенстве в стране, где до вчерашнего дня существовало крепостное право в самых широких размерах. Крестьянин никогда не считал и не считает себя равным дворянину, это очевидно при малейшем соприкосновении с крестьянским бытом. И не только низшие, но и средние классы, которые везде в Европе являлись носителями идеи равенства, у нас едва начинают заражаться этими стремлениями. Доселе между ними и дворянством существует глубокое расстояние, которого причина заключается в различии нравов, стремлений, понятий и даже образования. Сближение сословий происходит на наших глазах; слияния далеко еще нет. А потому невозможно утверждать, что демократические идеи лежат в духе русского народа и составляют плод всей нашей истории. Народ о них ничего не знает, в истории мы их не видим, и если в настоящее время они до некоторой степени распространены в русском обществе, то это объясняется отчасти наплывом европейских идей, а еще более тем брожением умов, которое последовало за преобразованиями нынешнего царствования. Среди овладевшей нами умственной анархии чисто отрицательная идея всеобщего уравнения всего скорее могла найти себе доступ. Но эта идея является не плодом, а отрицанием истории. Ее приверженцы имеют в виду не

сохранение, а уничтожение того, что выработано исторической жизнью русского народа.

Столь же неуместна в устах наших демократов и ссылка на Западную Европу, где сословные привилегии везде исчезают перед началом демократического равенства. Демократия бесспорно занимает видное место в ряду элементов, из которых слагается политическая жизнь народов. Если для умов, глубже вникающих в существо государственных отношений, она не может представляться идеалом, то нельзя не признать в ней одну из самых сильных движущих пружин человеческого совершенствования. Но эта роль принадлежит демократии образованной, а не полудикой, свободной, а не порабощенной. Для того, чтобы демократия могла исполнить свое настоящее назначение, необходимо, чтобы она была воспитана под влиянием свободы, а первоначальное развитие свободы всегда и везде происходит в среде высших классов, которые одни имеют для этого достаточно средств и образования, которые одни способны выработать в себе сознание права и прилагать это сознание к своей политической деятельности. Поэтому низведение высших классов к уровню низших прежде, нежели совершилось воспитание демократической массы, прежде даже, нежели водворились в обществе начала политической свободы, может иметь для народной жизни самые пагубные последствия. Равенство без свободы не возвышает, а унижает людей; оно не способствует развитию умственных и нравственных сил общества, а напротив, заглушает те задатки, которые обретались в высших его слоях. Подведением всех под один уровень уничтожаются те высокие положения, которые одни служили некоторой охраной и гарантией свободы и права. В народе искусственно возбуждаются все дурные страсти, зависть и ненависть ко всему, что возвышается над толпой. Все готовы скорее идти в рабство, нежели терпеть преимущества, естественно принадлежащие высшей способности и высшему образованию. Равенство бесправия — худший из всех возможных общественных порядков; оно служит опорой самому беззастенчивому деспотизму. Подобный политический быт является иногда в истории, как временное, переходное состояние, когда неупроченная еще

демократия выдвигает всемогущего диктатора с целью раздавить своих врагов. Такова была древняя греческая тирания; таков и новый бонапартизм. Но эти неизбежные иногда создания политической борьбы и глубоких общественных потрясений не обходятся обществу даром. Мы на глазах своих видим во Франции печальные плоды такого порядка вещей, где личная воля, хотя и обставленная малоправным представительством, господствует над уравненной толпой. Результатом является всеобщее унижение умов. Источник, который производил высшие силы и способности, иссякает, и народ, стоя на краю гибели, слишком поздно видит, куда привел его опасный путь демократического цезаризма.

В законной монархии такая демагогическая политика, стремящаяся привести всех к общему уровню под царствующим над всеми произволом, совершенно невысказима. Законная монархия — не демократическая диктатура, всегда имеющая мимолетный характер. Представляя собою совокупность элементов народной жизни, она не терпит угнетения слабых сильными, но вместе с тем она всегда чувствует ближайшую свою связь с высшими слоями общества, которые одни дают ей средства управления, доставляемые образованием и необходимые в благоустроенном государстве. По глубокому замечанию Аристотеля, царство опирается на высшие классы, тирания — на низшие. Последняя есть орудие борьбы, молот в руках массы; первая есть символ прочного государственного порядка, правильного и всестороннего развития народной жизни. Поэтому законная монархия никогда не должна сознательно ставить себя в положение демократической диктатуры. Если она находит, что плод созрел, что пришло время уничтожить сословные различия, то она обязана сама, во имя верховных начал общественного блага, о котором вверено ей попечение, заменить привилегии политическими правами. Иначе царь превращается в демагога.

Такая пора наступает для России. Крепостное право, на котором с конца XVI века строилось у нас все политическое здание, уничтожено. С этим вместе поколеблено и прежнее положение дворянства. Оно распус-

кается в массе общества. Как скоро правительство приступит к неизбежному уравниванию податей и повинностей, так уничтожится и последняя черта, отделяющая его от других сословий. С проведением финансовой реформы слово дворянство остается звуком, лишенным всякого смысла, старой вывеской над пустым помещением. А так как эта реформа и предстоит нам в недалеком будущем, то очевидно, что, если мы не хотим идти путем демократического цезаризма, нам остается только примкнуть к знамени конституционной монархии.

Принять такое положение подобает прежде всего самому дворянству. Нет сомнения, что как скоро государство требует жертв, так дворянство первое обязано их нести. Но когда полагаются новые, небывалые тяжести, им должны соответствовать и новые права. Наименьшее, что можно сделать для высшего сословия в государстве, это дать ему голос в определении тех повинностей, которые оно на себя принимает. Тут недостаточно ссылаться на справедливость, утверждать, что все граждане одинаково должны нести государственные тяжести. Справедливость отнюдь не требует, чтобы те, которые носят в себе сознание свободы и права, которые в состоянии думать и говорить, подчинялись налагаемым на них тяжестям на одинаковом основании с теми, которые не способны ни к тому, ни к другому. Прокрустово ложе служит выражением не справедливости, а тирании. Еще менее можно в стремлении высшего сословия к участию в финансовом законодательстве видеть какие-либо революционные притязания. Ответствие прав обязанностям служит, напротив, самой надежной гарантией против революции, ибо в этом заключается единственное основание всякого законного порядка. Вне этого есть место только для произвола и возмущения. Наконец, только этим путем может сохраниться живая связь между прошедшим и будущим, та связь, которая служит самым верным мериллом различия между закономерным развитием и революционным движением. Русское дворянство не вправе кинуть через борт все свои исторические предания, с тем чтобы пуститься в безбрежный океан необразованной и неустроенной демократии. Россия поставила его на то высокое место, которое оно занимает, Россия вверила

ему хранение тех скудных элементов свободы и права, которые успели в ней развиться. Оно обязано их оберегать, не жертвуя ими иначе как взамен высшей свободы и высшего права. В этом состоит его историческое призвание.

Но не одно дворянство заинтересовано в деле финансового законодательства. Податный вопрос одинаково касается всех. Никто не желает, чтобы его карман опустошали без его спроса. Всякий сколько-нибудь образованный человек хочет нести общественные тяжести не иначе, как сознательно и свободно, т. е. проверив общественные нужды и убедившись в правильности употребления средств. Здесь для слепого доверия нет места. Доверие может относиться единственно к монарху в решении существенных вопросов жизни, а монарх, стоящий во главе государства, очевидно, не может сам расследовать сметы и проверять расходы. Это дело народных представителей. Таким образом по самому существу своему вопрос податный неразрывно связан с вопросом конституционным. Об этом свидетельствует вся история. Где устранялись представительные учреждения, там подати и повинности силою вещей обращались на низшие классы, которые одни не предъявляют никаких притязаний и платят все, что с них берут, по той простой причине, что они судить о требованиях не в состоянии. Высшие же классы, по крайней мере в странах, где есть малейшее понятие о свободе, изъеются от податей и повинностей, как скоро они устраняются от обсуждения сметы и от контроля над расходами. Привилегии являются тут знаком уважения к свободе и праву, наоборот, обложение высших слоев общества само собою вызывает требование представительного порядка. В Англии все конституционное развитие вытекло из податного вопроса. Право самообложения было источником всех остальных политических прав.

У нас, конечно, правительство так сильно, что оно может налагать какие угодно тяжести без опасения встретить противодействие. Пожалуй, будут даже благодарить, как сделали представители многих дворянских обществ, когда на дворянство распространена была рекрутская повинность. Но официальная благодарность

не исключает тайного ропота, и чем ближе вопрос касается кармана, тем сильнее будет неудовольствие. Налагая новые тяжести без соответствующих прав, правительство может увеличить свои материальные средства, но оно подорвет свою нравственную силу. Политика демократического цезаризма даже при видимом успехе ведет к упадку, а не возвышению общественного духа. Монарх, имеющий в виду не личное свое положение, а пользу народа, никогда на это не решится. Зная характер и предания наших государей, мы можем наверное сказать, что этого не будет. А так как финансовый вопрос стоит на очереди, то в недалеком будущем мы неизбежно должны ожидать введения у нас представительного устройства.

Но не одно только исправление печального финансового и экономического положения государства требует приобщения народных представителей к решению законодательных вопросов; к тому же ведет и необходимость серьезно приняться наконец за врачевание глубоко вкоренившегося у нас нравственного зла. Это зло не составляет особенности России. В Германии разрушительные стремления организовались в законом признанную партию, обнимающую значительную часть рабочего класса. Она имеет свои газеты и своих явно выступающих вождей. В недавнее время германское правительство сочло нужным принять против этой пропаганды самые строгие меры. Каковы будут результаты этих мер, покажет будущее. Нет сомнения, что насильно подавляемые стремления отчасти будут вогнаны внутрь и проявятся в подпольной деятельности враждебных государству тайных обществ. С другой стороны, искусно направленная энергия правительства непременно должна воздержать массу колеблющихся и способствовать выселению из государства самой рьяной части агитаторов. Но во всяком случае, если эти меры могут увенчаться успехом, то они обязаны этим единственно тому, что они являются вооруженными всем нравственным авторитетом представителей народа. Против нравственного зла одни полицейские меры бессильны: необходима нравственная поддержка со стороны общества, а вне представительного порядка эта нравственная поддержка превращается в официальную ко-

медию, лишенную всякого серьезного значения. Это мы и видели у себя. Зло, которое нам приходится преследовать, далеко не так опасно, как то, которым страдает Германия. У нас отражаются только в умах незрелой молодежи социалистические тенденции, имеющие несостоящую почву в Западной Европе. Между тем против этой пропаганды приняты самые усиленные меры. Все, что делается теперь в Германии, давным-давно производится у нас в гораздо более широких размерах. Произвольные аресты, административные ссылки, полицейские преследования, запрещения, все это расточается в таком обилии, о котором германское правительство не может и мечтать. И что же? Вся эта усиленная инквизиция, лишенная нравственной поддержки, не только не принесла желанных плодов, но произвела совершенно обратное действие: пропаганда не ослабела, а общество возмутилось. И когда правительство, почувствовавшее наконец полную несостоятельность своих органов, обратилось к представителям общества, последние отвечали оправданием Веры Засулич², оправданием, которому рукоплескала значительная часть журналистики и сочувствовала немалая доля даже образованных русских людей. Дело дошло, наконец, до того, что государственных сановников стали безнаказанно резать на улицах. Германское правительство в подобном случае обратилось к парламенту, требуя нового оружия борьбы против зла. Русское правительство, которое давно уже владеет всяким оружием, тоже обратилось к обществу, но на этот раз с чисто платоническим воззванием, на что и получило чисто платонические ответы. Представители дворянства и городов спешили заявить, что они не солидарны с убийством шефа жандармов, в чем, конечно, никто не сомневался. Сами податели адресов пожимали плечами, говоря о той странной роли, которую им приходилось разыгрывать. Вместо серьезного дела произошла рутинная церемония, и все на этом успокоилось. Только земские собрания решились откровенно отвечать на сделанный им вызов. Полтавское Собрание прямо заявило, что искоренить зло можно только совокупными действиями правительства и земств, но что для такой совокупной деятельности не существует в настоящее время законной почвы.

Такой печальный результат всех усилий правительства, без сомнения, должен быть приписан, главным образом, совершенной непригодности официальных его органов и орудий. Полиция бессильна не только предупредить, но и разыскивать совершенные среди белого дня в центре столицы политические убийства; юстиция бессильна преследовать и карать виновных; министерство народного просвещения, которому вверено нравственное руководство молодежью, бессильно иметь на нее какое бы то ни было влияние. Тут уже разрыв между правительством и обществом, между требованиями государства и действительным положением дел достигает ужасающих размеров. Всякому, кто соприкасается с нашим ученым сословием, известно, что все, что есть в нем живого и способного действовать на молодые умы, от юношей до стариков, питает непримиримую вражду к министерству народного просвещения. Оно поставило себя так, что внушить русскому юношеству какое-либо уважение к представителям правительства нет ни малейшей возможности. Если среди учащейся молодежи сохраняется еще известная доля благоразумия, то это происходит не благодаря министерству, а несмотря на министерство. Из современных наших язв нет ни одной, которая заслуживала бы такого глубокого внимания и участия, как эта печальная судьба молодого поколения, подверженного растлевающему действию руководителей русского просвещения. Но все это остается скрытым от верховной власти, которая видит только случайно проявляющиеся взрывы и не имеет ни малейшей возможности узнать то, что происходит в действительности, ибо она обретается в заколдованном круге, в котором личные стремления и интересы заслоняют собой всякий политический смысл и всякое живое участие к делу. Единственная забота людей, окружающих престол, заключается в том, чтобы предупредить по возможности взрывы и закрыть как попало прорехи, чтобы с помощью призрачного спокойствия удержаться на своих местах. О нравственном действии на общество при таких условиях, конечно, не может быть и речи. Самая возможность нравственного влияния устраняется созданием официальных призраков, которыми убаюкиваются стоящие наверху.

Без представительного порядка верховная власть никогда не выйдет из своего уединенного положения, из той обманчивой атмосферы, которою она окружена. Это одно может поставить ее в живое, а не в официальное отношение к обществу. Без представительного устройства она не найдет и людей, способных быть исполнителями тех великих задач, которые ей предстоят. Все жалуются на недостаток людей, но где их найти? Люди создаются средою, способною их произвести. Государственный ум требует не только природных дарований, но и опытности в государственных делах. Необходима среда, в которой бы вырабатывались государственные люди. В прежнее время таким рассадником было высшее дворянство, окружающее престол. Оно некогда заседало в Боярской думе. Затем великие государи Петр, Екатерина собирали вокруг себя лучшие силы земли, приобщая к старому дворянству новых людей. Просвещенный ум Александра I отразился на окружавших его государственных людях, которые обладали широкими взглядами и значительным образованием. Предания политической мудрости сохранялись непрерывно в высшем сословии. Но ныне этот источник иссяк. Нельзя не сказать, что тридцатилетнее царствование императора Николая тяжело отозвалось на образовании нашей аристократии. Вместо государственных способностей требовались, главным образом, преданность и покорность.

Широкое просвещение заменилось безграмотностью юнкерской школы или пажеского корпуса. Среда, доставлявшая России государственных людей, в настоящее время так оскудела, что трудно остановиться даже на второстепенном явлении. С тем вместе оскудела и высшая бюрократия, которая только при взаимном действии с просвещенным аристократическим сословием или с живою и образованною общественною средою способна вырабатывать в себе государственных людей. Без этого бюрократия в своем обособлении погружается в официальную рутину и в мелочные интересы; в ней водворяются или узкие консервативные взгляды, или, что еще хуже, отвлеченный и односторонний либерализм, способный только разлагать, а не созидать. В настоящее время наша высшая бюрократия представля-

ет столь же мало элементов для плодотворной государственной деятельности, как и высшая аристократия, окружающая престол.

Но и этого мало. Если бы правительство, не прибегая к представительным учреждениям, захотело обратиться к обществу, чтобы в нем отыскать людей, то и здесь оно нашло бы такую же скудость. Государственные способности и развиваются только основательным теоретическим и практическим занятием государственными вопросами, а в русском обществе даже чисто теоретическое изучение этих вопросов составляет величайшую редкость. К сожалению, мы должны признаться, что не только в высшей аристократии, но и в средних слоях общества образование понизилось против прежнего. Этому способствовали, с одной стороны, упадок наших учебных заведений и тот гнет, который так долго лежал на русской мысли, с другой стороны, тот хаос ложных понятий и, Бог знает, где подобранных сведений, которыми наводнила русское общество расплодившаяся журналистика. И это зло идет, увеличиваясь. Истинно образованные люди, окрепшие на серьезной работе, один за другим сходят в могилу, а взамен им даже на горизонте не видать появления новых сил. Преобразования нынешнего царствования в судах, в местных учреждениях, в промышленных предприятиях открыли новые, обширные поприща для общественной и частной деятельности, но самые эти интересы, приковывая к себе людей, отвращают их от более широких вопросов и тем неизбежно суживают их стремления и взгляды. В начале еще, когда русское общество с жаром кинулось на новые задачи, всеобщее воодушевление поднимало общественный дух. Но этот пыл не мог быть долговечным: он слабел по мере того, как общество свыкалось с новыми учреждениями. Рутинизм и личные интриги более и более заслоняют собой стремление к общему благу. Русское общество целиком погрязло в мелких интересах. Судьи, адвокаты, земские деятели, промышленники заняты каждый своим делом. Относительно более общих вопросов они довольствуются тем, что им дают газеты, а это — самый жалкий способ воспитания общественного духа. Во всех странах мира масса газет представляет довольно безот-

радное явление: это, можно сказать, обратная сторона свободы. И чем необразованнее общество, чем менее оно привыкло к политической жизни, тем зло представляется в худшем виде. Та бездна лжи, невежества и легкомыслия, которая этим способом изливается на общество, поистине невообразима. Но там, где существуют представительные учреждения, обыкновенно из общей массы выделяются несколько органов, которые получают высшее значение. Они становятся глашатаями политических партий, получают направление от их вождей и сами собирают вокруг себя общественные силы. В представительных государствах газеты перестают уже быть единственными руководителями общественного мнения. На первый план выдвигаются выборные люди, которые не только разглагольствуют о государственных делах, но сами принимают в них участие, люди, которые могут удержаться на своем месте только в силу высших способностей. Где этого нет, там всякий самозванец, обладающий достаточной смелостью и несколько бойким пером, становится не только представителем общественного мнения, но и воспитателем общества. Для того, чтобы написать книгу, способную выдержать критику, нужна работа, нужны ум, знание, талант; для газеты все это излишне. Фельетонист, никогда ничему не учившийся, ничего путного не знающий, основывает газету, вкривь и вкось толкует обо всем, и все это, ежедневно воспринимаясь без труда, мало-помалу усваивается привычкой. Общественная мысль спускается все ниже и ниже. Люди перестают смотреть на вещи своими глазами, а полагаются единственно на то, что им постоянно твердят единственные существующие органы политической жизни.

Таково печальное положение русского общества. Вывести его из этой низменной атмосферы, поднять его на новую умственную и нравственную высоту, можно только поставив перед ним более широкие и возвышенные задачи, нежели те, которые занимают его в настоящее время. Одних чисто теоретических интересов, которые иногда приковывали к себе общественное внимание, теперь уже недостаточно: они потеряли свое обаяние для современных умов. Необходимы практические цели, которые поставили бы гражданина лицом к лицу

с высшими жизненными вопросами, с образом отечества, а таковые могут представить единственно учреждения, привлекающие народ к участию в решении государственных дел. Одна политическая свобода способна вдохнуть в русское общество новую жизнь, воспитать в нем политический смысл, устранить развращающее влияние газет, наконец, создать такую среду, в которой могут вырабатываться государственные люди. Перед народным представительством неспособность ни единой минуты не в состоянии будет удерживать министерский портфель. Со своей стороны, правительство в этом живом союзе с обществом почерпнет новые силы и обретет самую надежную опору. Для всякого, кто беспристрастно вглядывается в современное положение России, введение представительного порядка представляется единственным исходом. Завершение воздвигнутого в нынешнее царствование здания силою вещей становится необходимостью. Этот вопрос стоит на очереди и должен быть разрешен в более или менее близком будущем.

Но ставя себе такую задачу, создавая орган совокупной деятельности всех государственных сил, русское правительство и русское общество отнюдь не должны ожидать, что в этом они немедленно обретут лекарство от всех угнетающих нас зол. Так же как и все созданные на наших глазах учреждения, народное правительство не более как форма, которая должна наполниться живым содержанием, а содержанием наполнить ее весьма нелегко. Мы не можем скрывать от себя, что мы весьма мало приготовлены к такому делу. При низком уровне нашего образования, при ужасающем недостатке в людях, при том хаосе понятий, который бродит в наших умах и господствует в нашей печати, можно даже прийти в некоторое уныние. Представительство могло бы еще идти правильным порядком, если бы правительство в состоянии было руководить обществом на этом новом пути. Но, к сожалению, правительство столь же мало приготовлено к этому, как и самое общество. В среде его нет людей, способных исполнить такую задачу. А между тем задача необходима, ибо каждая сторона порознь оказывается несостоятельной. Только дружным действием правительства и общества

мы можем предупредить материальное и нравственное банкротство. Но, вступая на неизведанный еще путь, мы должны сказать себе, что нам предстоит не радостная перспектива свободного и мирного развития, а новый, тяжелый труд, который поглотит лучшие силы России. Мы должны будем вести упорную борьбу не с внешними врагами, а с самими собою, с невежеством, с дикими понятиями, разлитыми в обществе, с укоренившимися веками раболепством, с одной стороны, с легкомысленным либерализмом — с другой. Но этот труд не пропадет даром, он один может поднять Россию на ту высоту, которая подобает ее истории, ее внешнему положению и той нравственной силе, которая таится в недрах народного духа.

Необходимо, однако, заранее подготовиться к такому делу. Если для созыва представительства мы станем дожидаться наступления кризиса, а пока будем довольствоваться современной рутинной, мы будем застигнуты врасплох и не в состоянии будем справиться с затруднениями. Государственный ум видит цель издали и готовит для нее орудия. Русскому обществу полезно пройти через школу прежде, нежели оно будет призвано к решению важнейших касающихся его вопросов. Такой школой может служить приобщение выборных от губернских земских собраний к Государственному совету и публичность заседаний последнего. Этим способом и выборные, и общество, и печать будут втянуты в самую сущность дела. Не имея еще решающего голоса, общество привыкнет к обсуждению политических вопросов и будет в состоянии составить себе более ясные понятия о целях и средствах государства, нежели возможно для него в настоящее время. В этом отношении подобное учреждение заслуживает предпочтение перед отдельным совещательным собранием из выборных от земства. Соединение выборных с людьми опытными в государственных делах скорее может способствовать развитию в них политического смысла. Но необходимо твердо держаться мысли, что это не более как школа, которая должна служить только переходом к настоящему представительству. Иначе весь смысл учреждения затемнится и оно не произведет ничего, кроме разочарований.

Современное состояние русского общества вполне благоприятно для такого нововведения. В нем не господствует дух оппозиции: оно в настоящее время ничего не просит. Оно печально смотрит на свое безотрадное положение и не знает, за что приняться. Всякий почин со стороны правительства будет принят с благодарностью. Но если бы после всех тяжелых жертв, которые потребовала от нас война, после всех напряженных и обманутых ожиданий не сделано было ровно ничего, то положительно можно сказать, что неудовольствие будет идти, возрастая, и то, что в настоящую минуту может быть только делом свободной инициативы правительства, скоро явится как требование общества. Правда, подобным требованиям не следует придавать у нас слишком большого значения. Сила правительства так велика, что оно в состоянии подавить всякое неудовольствие. Но увеличивающийся разрыв между правительством и обществом в то время, как всего более требуется дружная их деятельность, не может послужить к пользе отечества. Россия вправе надеяться, что правительство не захочет стать в такое положение. Монарх, который правит ее судьбами, всем своим царствованием доказал свою готовность делать все, что нужно для блага вверенного ему народа. Мы верим, что он завершит воздвигнутое им здание, как скоро он убедится, что это для России необходимо.

Конечно, в истории народа не может быть более торжественной минуты, как та, когда власть, управлявшая им в течение веков, сросшаяся со всей его жизнью, сознает наконец, что времена переменялись, что созрели новые исторические плоды и что пришла пора себе самой положить границы и призвать подданных к участию в государственном управлении. Наступила ли для нас эта пора? Мы убеждены, что мы к этому идем и не теряем надежды видеть воочию то, что доселе представлялось только в смутных мечтаниях.

Закончим анекдотом из классической древности. Известно, что спартанский царь Феопомп сам предложил и провел ограничение царской власти эфорами. Когда его жена укоряла его за то, что он власть, завещанную предками, передает умаленной потомкам, царь отвечал: «Не умаленной, ибо более прочной».

ПРИМЕЧАНИЯ

Печатается по изд.: *Чичерин Б. Н.* Конституционный вопрос в России. (На правах рукописи.) СПб., 1906.

¹ 4 апреля 1866 г. Д. В. Каракозов стрелял в Александра II.

² *Засулич В. И.* (1849–1919) — деятель русского революционного движения народолюбцев, затем — член группы «Освобождение труда».

К. Д. Кавелин

ЧЕМ НАМ БЫТЬ?

(Ответ редактору газеты «Русский мир» в двух письмах)

В газете «Русский мир» напечатан в течение 1874 г. (начиная с марта и оканчивая августом) ряд передовых статей, под заглавием «Чем нам быть?». В этих статьях излагается целый систематически обдуманый и выработанный проект коренного переустройства наших сословий и местного управления, на началах, противоположных преобразованиям нынешнего царствования. Хотя автор, судя по его словам, и ожидает возражений, но это не более как насмешка с его стороны над злощастной русской печатью. При теперешней (1875 г.) нашей цензуре отвечать ему в России нет никакой возможности. От того, без сомнения, статьи «Русского мира», затрагивающие важнейшие наши внутренние вопросы, и встречены почти молча, почти без отзыва.

Опасаясь, чтобы невольное молчание русской печати не было принято за знак согласия с автором или приписано непобедимой убедительности его выводов, я считаю долгом перед родиной и теми из моих соотечественников, которые не разделяют мыслей редактора «Русского мира», отвечать ему. К великому моему огорчению, я вынужден печатать свой ответ за границей, а не у себя дома. Будучи совершенно убежден, что мой образ мыслей по крайней мере столько же благонамерен и охранителен, как автора статей «Русского мира», я тем не менее ни в каком случае не могу рассчитывать на такую же снисходительность ко мне цензуры, какую она оказала «Русскому миру».

Та же причина заставляет меня скрыть свое имя. Политическая благонадежность составляет у нас, с некоторого времени, монополию взглядов, которых я не

разделяю, которые считаю вредными и даже опасными для России и верховной власти; а при отсутствии судебных гарантий для политических преступников и нарушителей цензурных правил, судьями моими стали бы те, против кого я спорю.

Письмо первое

С напряженным вниманием и возрастающим интересом прочитал я в «Русском мире» ряд статей, в которых определяется наше теперешнее тяжелое положение и указываются средства, как из него выйти. Эти статьи, по своей обдуманности и последовательности мыслей, резко выдаются посреди невольной пустоты теперешней русской периодической печати. Они представляют не только программу преобразований, но вместе и крайне интересный комментарий правительственных распоряжений за последние десять лет. Для очень многих и для меня в том числе, эти статьи были целым откровением. Многие непонятное и загадочное в наших обстоятельствах, в административных и законодательных мерах последнего времени, разом разъяснялось для меня по прочтении этих статей. Я понял, что программа предполагаемой новой ломки наших внутренних порядков родилась не внезапно в голове какого-нибудь сотрудника газеты, а давно решена в высших правительственных сферах, давно и последовательно проводится в нашей администрации и законодательстве, и, как делалось во Франции при Второй империи, теперь только возвещается публике официозно, чтобы подготовить ее к предстоящим государственным мероприятиям. Все в этих статьях наводит на такую мысль. Административный произвол и гнет цензурного ведомства почти отучили нас от правдивого и смелого печатного слова. Рассуждать о политических предметах мы с некоторого времени не смеем; тем изумительнее было встретить на страницах русской газеты откровенное и свободное обсуждение одного из самых щекотливых внутренних русских вопросов, недвусмысленное порицание нашей внутренней политики и обвинение распоряжений по военному ведомству, до того сильное и резкое, что с

ним могут сравниться по тону разве выходки «Московских Ведомостей», которые в последнее время что-то тоже прикусили язык. Автор статей «Русского мира» говорит, как власть имущий. Для него цензурное ведомство делает исключение из правила, которому неуклонно следует, — подавлять в печати всякую живую мысль, всякое искреннее выражение мнений и взглядов, как бы они ни были умеренны и скромны. Чем же иначе, как не солидарностью со взглядами правительства, мог автор приобрести неоценимое право говорить, что думает, — право, всем нам данное в нынешнее царствование, но потом опять отнятое?

В том, что «Русский мир» является в настоящем случае официальным органом правительства, особенно утверждает меня поразительное согласие мыслей, развиваемых в статьях, со стремлениями, которые начали обнаруживаться в нашей администрации и законодательстве еще года за три до 4 апреля 1866 г. и которые с этого несчастного дня стали выступать все яснее и яснее. Общий их смысл, как и программы, обнародованной в «Русском мире», есть отрицание преобразований 60-х годов. В упомянутых статьях этой газеты недвусмысленно, с едва сдерживаемой досадой и горечью, говорится о порядке дел, созданном у нас со времени освобождения крестьян, о крестьянском и земском самоуправлении, о мировой юстиции, о местной администрации и бюрократии. Автор статей уверен, что сделанные у нас преобразования «были в некоторых частях своих слишком теоретичны, а потому не вполне совпадали с естественным течением русской истории»; что «выработанный историей русский культурный слой был во многих отношениях пожертвован отвлеченным идеям бессловности, т. е. низшим сословным группам, представляемым на западный образец, никогда не существовавшим на русской почве» (№ 108); что «в начале реформ имелось, кажется, в виду заквасить развитыми умственными силами русскую всесословность на американский образец» (№ 111). Наша коренная болезнь, говорит автор, это — обезличение и разброд, происходящие от того, что дворянство, единственное связное и культурное у нас сословие, утоплено и разведено преобразованиями нынешнего царства-

ния в массе черни, тогда как прочность правительства находится в теснейшей зависимости от связности культурных слоев, разрываемой революцией, — чернью, которая живет вне культурного слоя (№ 89). Бессословности и происходящей от того разъединенности приписывается, что земское дело у нас не принялось, что дарованные нам льготы оказались «мертворожденными» (№ 95). Народ наш, по убеждению автора, не признает демократического равенства и всесословности; их проповедают лишь семинаристы, выходящие толпами в чиновники (№ 99), и к которым, главным образом, автор применяет презрительное название фризового пролетариата. Нашему народу, говорит он, неизвестно полицейское самоуправление на швейцарский лад (№ 79). На разные лады и во многих местах развивается тема, что у нас между крестьянством и господами нет розни; что крестьяне в своего брата не верят, полагаются больше на правду господ, а господином считают не какого-нибудь забредшего на их сторону студента, а своего местного, коренного помещика (№ 81, 108, 157). По мнению автора, всесословная волость необходима, главным образом, для того, «чтоб высвободить русский народ из-под мужичьего управления, становящегося для него нестерпимым» (№ 81). Трогательное доверие и единодушие между дворянством и народом разрушено реформами 60-х годов, произведенными ненавистной автору левой стороной русских мнений и бюрократией, составленной с низу, как сказано, из семинаристов, вопящих о демократическом равенстве и всесословности. Чем ближе личный взгляд человека подходит к левой стороне русских направлений, тем меньше самостоятельности в его мысли. Бывшие славянофилы признаются правой стороной; но серьезный смысл их трудов, как уверяет автор, не за их теориями и практическими заключениями, а за их анализом русских понятий конца воспитательного периода, каким признается период русской истории от Петра Великого до нашего времени (№ 79); в упрек же ставится славянофилам то, что они пришли на деле почти к тем же заключениям, к каким и позднейшие либералы «с чужих слов», а именно, что они «искали спасения в сокровищах стихийной мудрости русского простонародья» (№ 81). Что касает-

ся до бюрократии, то она представляет «известное обеспечение благонадежности и способности только в высших слоях, тех именно, которые ведут управление можно сказать теоретически, не соприкасаясь с жизнью прямо» (№ 120). Прямые слуги верховной власти, надежные и сознательно верные более всякого чиновничества, это дворяне (№ 157); но у нас параграфы закона вырабатываются начальниками отделений. В виде образца теперешней мировой юстиции приводится приговор мировых судей по делу Энкен, а в виде образца наших присяжных — «крадущие и просящие милостыни присяжные из крестьян» (№ 81).

Вывод из такого обзора элементов русской жизни и управления, из этой критики преобразований шестидесятих годов, вытекает сам собою. Дворянство есть единственное наше учреждение культурное, связанное и наследственное, и в этом смысле оно должно быть привилегированным слоем, должно занимать подобающее место в государственном устройстве, служить ядром русской политической и общественной жизни, не захватывая ее, впрочем, в свою исключительную собственность (№ 108). Все земское самоуправление, властные гражданские должности, суд и военная служба должны находиться в дворянских руках «если и не исключительно, то более чем преимущественно» (№ 134). Такого привилегированного положения наше дворянство достойно вполне. «К нему власть могла всегда, по всякому поводу, отнестись со всяким разумным требованием, в полной уверенности, что это требование будет исполнено немедленно и с сочувствием, хотя бы вынуждало к большим жертвам» (№ 157). Но это сословие должно быть преобразовано. Надобно «чтоб доступ в него снизу был не слишком затруднен и открывался не только лицам, повышающимся в государственной службе, но и другим культурным званиям; чтобы ряды его раздвигались для известных размеров и видов богатства и для умственных заслуг, чтобы достойные люди из культурной среды могли лично группироваться около потомственной привилегии» (№ 108). Дворянству в новом составе и обязательно служилому, представляющему известный ценз (для потомственных дворян не менее 1000 рублей годового дохода, для прочих членов сосло-

вия гораздо выше) с присоединением качеств (значительного чина, высокой ученой степени), должны быть исключительно переданы в уездах вся власть, все местное земское самоуправление (№ 108, 111): сельская полиция, тюрьма, надзор за неблагонадежными людьми, сбор податей. Ему же должно принадлежать управление волостями. Должности волостного начальника и мирового судьи соединяются в одном лице. В эту должность избираются местные помещики, живущие в волости или близ нее, а головы из крестьян суть их помощники. Полицейская власть переходит к начальникам волостей (№ 115). Теперешнее земское самоуправление в уездах и губерниях упраздняется и заменяется дворянским, с устранением в уездах коронной администрации от всякого вмешательства в земские дела. Роль администрации ограничивается в уездах утверждением или назначением должностных лиц из местных жителей (эти лица могут быть увольняемы от должности только по Высочайшему повелению), преследованием виновных перед судом и приостановлением мер, несогласных с видами правительства, впредь до решения свыше (№ 115).

Соответственно с этими атрибутами, дворянство организуется весьма сильно. Оно имеет право избирать в должности по своему усмотрению, «без всякой навязанной ему мерки». Оно может всякого принимать в свою среду и всякого исключать, причем выражается желание, чтоб исключение из числа избирателей «отзывалось и на других его правах». Лицо, хотя бы и удовлетворяющее всем требованиям закона, принимается избирателями в свою среду не иначе, как голосованием. Отменено такое голосование может быть только верховною властью. (Здесь, конечно, говорится об отдельных случаях, а не об общей мере.) С тем вместе избирательный ценз по образованию совершенно прекращается (№ 115). Все властные должности занимаются дворянами, с исключением приказных; точно так же дворяне никогда не опускаются до приказных должностей (№ 134). Губернский предводитель дворянства пользуется совещательным голосом в «высшей правительственной среде». Губернские съезды дворянства имеют право ходатайствовать пред верховною властью о жела-

тельных изменениях в законах и пользуются «потребной свободой» взаимных сношений (№ 120). Высшие гражданские должности в службе замещаются земскими деятелями, сначала хотя бы в областях (№ 134). Этими мерами исполнится требование автора, чтобы «направление дел было изъято из рук канцелярских учреждений». «Уравновесить две силы — бюрократическую и земскую, — происходящие из различных источников, выражающие совсем иные отношения правительства к народу, даже другой возраст государства, вносящие в общее дело дух прямо противоположный, — совершенно невозможно». Из этого автор последовательно выводит, что центр тяжести должен быть перенесен из чиновничества в общество (№ 237). Согласно с тем рекомендуется сокращать по возможности бюрократические учреждения, а сбережения обратить на пользу земства назначением бесплатным земским должностям пособия от государства «в полезных размерах» (№ 134). При таком значении, роли и власти дворянства, оно, разумеется, должно отличаться от массы народной и от «перерастающих чернорабочий слой» степенью своего образования. Наука в полном ее значении должна стать привилегией высшего сословия; черни же, простому народу, остается в удел одна грамотность; а перерастающим чернорабочий слой — одно техническое и ремесленное обучение. С этою целью правительственные стипендии, раздаваемые ныне «кому попало, должны быть обращены исключительно на образование дворянства, а прочим сословиям должно быть предоставлено не более одной стипендии на классическую гимназию» (№ 126).

Всякому, кто хоть сколько-нибудь следил за тем, что у нас делается со времени освобождения крестьян, эта программа коротко знакома; нового в ней только то, что она теперь впервые опубликована во всеобщее известие, по всем видимостям с одобрения правительства*.

* Рассказывают, что редакция «Русского мира», состоящая под покровительством графа Воронцова-Дашкова¹, лица, приближенного к Наследнику, получила недавно, в виде субсидии на издание этой газеты 25 000 рублей. Неужели это правда? Что мысли, выраженные в статьях: «Чем нам быть», составляют программу придворной партии,

Бывший министр внутренних дел, родоначальник теперешнего направления нашей внутренней политики, и на словах, и в своих распоряжениях неуклонно проводил ту же программу. С 1863 г., когда мирное разрешение крепостного вопроса стало несомненным, он громко начал выражать глубокое презрение к губерниям, в которых, к их несчастью, дворянства или почти, или вовсе нет; он систематически стал разрушать и убил институт мировых посредников, который на своих плечах вынес мирный исход освобождения крестьян. Где только мог, статс-секретарь Валуев правдами и неправдами урезывал права бывших помещичьих крестьян на земли, бесспорно и исстари им принадлежащие, нередко уступленные или проданные им их бывшими владельцами. Все статьи Положения 19 февраля, которые можно было толковать в пользу и против крестьян, он постоянно толковал во вред им, в пользу помещиков. Выбором губернаторов и членов губернских по крестьянским делам присутствий, насколько от него зависело, он дал другой оборот ходу крестьянского дела на местах, ослабил и исказил дух Положений 19 февраля. Достаточно было выразить дворянский образ мыслей в смысле программы «Русского мира», заявить ненависть и презрение к крестьянам, чтобы попасть в члены губернских присутствий и в губернаторы; сочувствие же к крестьянам преследовалось бывшим министром внутренних дел как признак политической неблагонадежности и антимонархического образа мыслей. Где только статс-секретарь Валуев мог выразить свое недоброжелательство к крестьянам, он его выражал самым недвусмысленным образом. С каким-то непонятым злорадством он относился даже к голодающим мужикам. Всем памятно его действия во время голода в Архангельской губернии. Единомышленники его пошли далее: они систематически выморили голодом половину Холмского уезда Псковской губернии. Такой образ действий с голодающими крестьянами, по-видимому, возведен в админи-

правляющей теперь (1875 г.) Россией, об этом мы знали давно. Но что им сочувствуют и высшие сферы — это было для нас неожиданною и прискорбною новостью, которой не хочется верить.

стративный принцип, судя по недавним распоряжениям самарского губернатора Климова.

Тот же взгляд и та же система проводились бывшим министром внутренних дел и в цензурном управлении. Он не брезгал никакими средствами, чтоб подавить в нашей печати выражение направления, благоприятного крестьянам, и искусственно создавал органы, поддерживавшие программу, обнародованную теперь в «Русском мире». Одна петербургская газета, за свое дворянское направление сильно читавшаяся в западных губерниях, получила субсидии; редакции другой газеты, лишенной за сочувствие к преобразованиям 60-х годов права бесцензурной выписки иностранных газет и журналов, дано знать, что она преследуется за сочувствие к мужикам; ей предлагалось написать хоть одну статью в пользу дворянства, чтобы получить назад все отнятые у нее права. Бывшим министром внутренних дел создана «Весть», всем памятный орган крупных землевладельцев. Передовые статьи этой газеты, поразительно сходные с программой «Русского мира», как известно, внушались министерством внутренних дел, нередко составлялись в самом министерстве и даже выносились прямо из кабинета министра. Редактор «Вести» В. Д. Скарятин² был деятельным членом Холмского земства, получившего в России печальную известность заморением голодною смертью половины мужиков Холмского уезда. Всякое сочувствие к крестьянам, всякое хотя бы самое умеренное и справедливое порицание дворянства в газете навлекало на себя предостережение, приостановку или прекращение издания. Славянофильские органы подвергались одной судьбе с прочими, и программа «Русского мира» объясняет, почему они ставились на одну доску со своими врагами. Вина их заключается только в том, что они выражали большое сочувствие к мужикам.

Всесословные земские учреждения, народившиеся при статс-секретаре Валуеве³ и по странной игре случая вверенные его опеке и покровительству,— не избегли участи мировых учреждений и печати. Бывший министр внутренних дел не скрывал глубокого к ним нерасположения, и не будучи в силах переустроить их по-своему, убил их административными и законода-

тельными мерами. Новый порядок обложения купечества сборами в пользу земства, новый порядок делопроизводства в его собраниях, огромные права, предоставленные их председателям, и, к довершению всего, подчинение земств цензуре губернаторов, рядом с крайне недоброжелательным отношением последних и министерства к земским учреждениям и их ходатайствам, что выражалось на каждом шагу в единичных действиях и в общих распоряжениях,— все это задушило все-сословную земскую жизнь и деятельность почти в самую минуту их зарождения.

Что касается до мысли о различных степенях обучения для различных слоев общества и об открытии одному привилегированному сословию доступа к высшему образованию, то она деятельно и явно проводится теперешним министром народного просвещения. Под благовидным предлогом усиления классического образования поступление в университеты и медицинскую академию до того затруднено, что они пустеют по недостатку учащихся, а из гимназий воспитанники тысячами выбрасываются на улицу и за неимением занятий, не зная куда деваться и что начать, идут пополнить ряды разносителей прокламаций и возмутительных брошюр. Ученье до того горько, что юноши и дети, не дожидаясь его сладких плодов, вешаются, застреливаются, топятя. Но граф Толстой гораздо последовательнее своих товарищей по министерству, и не спешит сделать мужиков грамотными. Деньги, отпускаемые государством, идут не на открытие новых школ и поддержание существующих, а на размножение инспекторов. Многие из них вместо того, чтобы способствовать увеличению числа училищ, по возможности мешают их открытию и пользуются всякими предложениями, чтобы закрывать те, какие есть*.

Обстоятельства благоприятствовали придворной пар-

* Ссылаюсь на следующие факты: в одной губернии инспектор так грубо отнесся к помещику, устроившему сельскую школу на свой счет, за какую-то перегородку, что помещик прогнал его и закрыл школу. В другой губернии инспектор рекомендовал смотрителю училищ закрывать плохие школы под предлогом неимения в виду способных учителей. Если б печать не была у нас так стеснена, то эти темные дела всплыли бы наружу. Теперь они скрываются под спудом, как в худшие времена нашей вынужденной немоты.

тии в проведении программы, обнародованной в «Русском мире». Прошлое царствование, из страха революции, задавило, с 1849 г., университеты, гимназии, литературу и всякое выражение самостоятельной мысли в чем бы то ни было. Слабые зачатки серьезного и солидного знания, насажденные с таким трудом графом Уваровым, были, вследствие того, истреблены. Изучение науки заменилось чтением запрещенных брошюр; место просвещенной мысли, невозможной без некоторой свободы, заступила самая поверхностная болтовня обо всем на свете. С таким отсутствием солидного знания и большим запасом либеральных фраз натолкнулись мы на восточную войну и перешли в нынешнее царствование. Унизительный мир и внутренние непорядки, завещанные новому времени, не могли не накопить много горечи в сердцах людей. С переменой царствования ожили надежды на лучшее будущее; мысли дано несколько простора; в публике и правительственных сферах стали громко говорить о необходимости коренных реформ и поднят был вопрос об освобождении крестьян. При таком положении дел после долгого, искусственного застоя брожение умов не могло не быть сильным, и как везде и всегда не обошлось без прискорбных увлечений и крайностей, которые были тем естественнее, что мы встретили новое время с большим запасом горечи и с крайне слабым запасом знания, мысли и практической опытности. Важные интересы общественные, материальные и нравственные, затронутые освобождением крестьян, еще усилили брожение; а вдобавок одновременно с тем подготавливалось Польское восстание, разразившееся в начале 1863 г.

Известная клика, состоявшая из горсти людей, ловко воспользовалась этими обстоятельствами. Брожение истолковано ею в глазах власти как революционное движение. При помощи искусной подтасовки, люди, сочувствовавшие преобразованиям, смешаны в один разряд с увлекавшимися юношами. Мало-помалу вопрос был чудовищно извращен: кто сочувствовал новым порядкам, вводимым правительством, тот стал слыть за революционера, противника верховной власти; а те, которые противились преобразованиям, выданы за друзей порядка и правительства.

Сначала партия, группировавшаяся около бывшего министра внутренних дел, действовала осторожно, исподтишка. Необходимость преобразований была слишком очевидна, чтобы можно было вдруг уверить власть в их зловредности. Передергивать надо было исподволь, пользуясь увлечениями прессы и юношества, а между тем под рукой подбирать единомышленников. Крупные землевладельцы, захваченные врасплох освобождением крестьян, возможности которого не верили до конца, представляли для видов клики самую удобную среду и самый обильный материал. Статс-секретарь Валуев ласкал их, вместе с ними порицал реформы, поддерживал в этом слое надежды на лучшее будущее видами на последующую отмену ненавистных преобразований и на введение конституции в дворянском смысле. Подзадоренные и поддержанные им, крупные землевладельцы ораторствовали в земских и дворянских собраниях, а министр внутренних дел пользовался их красноречием, чтобы дискредитировать в глазах власти пользу реформ вообще и земских учреждений в особенности.

Но один в поле не воин, говорит пословица. Чтоб придворная партия могла организовать и забрать власть в свои руки, ей нужно было захватить все министерские портфели. Мысль эта проводилась в высших сферах под тем благовидным предлогом, что правительство при министерстве, состоящем из лиц с различными взглядами и направлениями, не имеет необходимого единства и силы, что нужно министерство однородное, нечто вроде европейского министерского совета, с премьером во главе. Злосчастное 4 апреля 1866 г. подошло как нельзя больше кстати для этих целей. Благодаря ему почти однородное министерство образовалось в смысле придворной партии. Два чрезвычайно важных поста — шефа жандармов и министра народного просвещения — замещены ее членами. Мало-помалу в ее же руки перешли министерства юстиции, путей сообщения и государственных имуществ. Министерство внутренних дел еще прежде замещено было, после выхода статс-секретаря Валуева, членом той же клики. Таким образом, мечта о компактном министерстве почти осуществилась.

Пополнив свои ряды и скомпрометировав окончательно в глазах власти и преобразования 60-х годов, и людей, которые их провели и поддерживали, наполнив администрацию исключительно своими приверженцами, задавив всякое выражение мнений в печати, партия могла считать свое положение обеспеченным и действовать открытее и решительнее. План ее, проступавший сначала только в отдельных чертах, созрел вполне для осуществления, и было уже приступлено к его исполнению. Знаменитая комиссия для исследования положения сельского хозяйства в России должна была подготовить введение дворянской конституции сверху, а программа «Русского мира», новосозданного органа клики после падения «Вести», очевидно, была предназначена к тому, чтоб подготовить публику к выработанному графом Шуваловым⁴, может быть, при содействии редакции «Московских Ведомостей», проекту преобразования местного управления в империи в том же дворянском смысле. Выход его и графа Бобринского⁵ из министерства, кажется, приостановил осуществление этих планов. Надолго или навсегда — это покажет время.

Ниже я разберу основания программы «Русского мира» и данные, на которые она опирается. Но какова бы она ни была, несомненно, что она служит только предлогом для чисто личных видов клики. Чтобы в этом убедиться, стоит только сравнить слова с делами. Придворная партия ненавидит бюрократию будто бы за то, что с нею несовместимы гражданская и политическая свободы. Судя по программе, водворение во власти крупного землевладения должно начать в России эру законности, возможной свободы, личных гарантий, просвещения. Но вот уж десять лет, что власть находится почти нераздельно в руках партии, которая проводит эту либеральную программу, и что же мы видим? Никогда, со времен Бирона⁶, такой нестерпимый гнет не тяготел над Россией, никогда личность не была менее обеспечена, произвол администрации не царил так безнаказанно, литература и мысль не были в таких тисках, школа и воспитание — в таком жалком положении! Мы дошли до того, что сожалеем о прошлом царствовании! Литература и наука сочли бы за

благodeяние восстановление предварительной цензуры. Оказывается на поверку, что ненавистная бюрократия, какова она ни есть, все-таки менее притеснительна, произвольна и беспощадна, чем придворная клика, у которой либеральные фразы и конституция не сходят с языка.

Ничто не развращает так народа в корень, как двуличность правительства. Живой этому пример мы видим на Франции. С укреплением в России придворной партии, с легкой руки статс-секретаря Валуева, ложь и обман всосались как яд в нашу администрацию, по образцу Второй французской империи. С 1863 г. наше правительство исподволь, но неудержимо, разделяет то, что сделано в первую половину нынешнего царствования. Если бы правительство прямо, открыто, честно заявило новую программу, то всякий по крайней мере знал бы, чего она хочет, и мог сообразно с тем действовать. Но придворная клика, забрав власть в свои руки, не смела этого сделать. Она действовала втихомолку, как тать ночью, как министры Второй империи, служащие образцом нашим. Все законы удержаны — они по букве действуют; все учреждения с виду оставлены без перемены; а на деле, в силу циркуляров, тайных приказов и личных инструкций, нигде не записанных, смысл и дух законов и учреждений стал совсем другой, противоположный первоначальному назначению и букве. Те, которые живут в Петербурге и имеют возможность знать лично или по слухам то, что происходит в правительственных сферах, давно уже видят эту перемену и отлично понимают, что у нас теперь больше, чем когда-нибудь, закон — мертвая буква, которую само правительство ни в грош не ставит. Но поистине ужасно положение частных лиц и чиновников, живущих в провинции, в глуши, и до которых не долетают слухи о том, что во вторую половину нынешнего царствования вменяется в преступление и преследуется то, что предписывается законами, изданными в первую половину, как долг верноподданного. Особенно беспомощно в этом отношении положение темной массы мужиков и полуграмотных или безграмотных маленьких людей. На эти слои общества лицемерие и двуличность правительства действуют самым губительным,

растлевающим образом. Человек уверен, что исполняет свой долг, следуя закону; непосвященный в программу клики, он воображает, что этим обеспечивает за собою место и кусок хлеба для себя и семьи; а его именно за точное выполнение закона и выгоняют из службы! У нас и без того мало уважения к закону, и в этом наше несчастье, а теперешняя правительственная система искореняет в массах и тот небольшой страх перед законом, какой уцелел каким-то чудом при наших порядках. Преследование за исполнение закона, ненавистного придворной клике, конечно, делается не прямо; противное было бы и рискованно, да и слишком наивно; а к тому же цель как нельзя лучше достигается косвенными путями. Виноватого в исполнении закона обходят наградами, к нему придираются, ошибки его раздуваются в преступление по должности, начальство ему не благоволит, его оскорбляют. Если все это не действует и перевести или выгнать его из службы, с некоторою благовидностью, никак нельзя, то есть еще весьма удобный случай от него отделаться: упраздняется место, которое он занимает. Так уволены многие неприятные бывшему министру внутренних дел мировые посредники, пока нельзя было, как впоследствии, устранить их от должности без церемоний и помимо Сената. Напротив, лица, приятные министерству, удерживаются на службе, несмотря на вопиющие дела. Придворная партия, искусная в интригах, умеет только клеветать на бюрократию, подкапываться под то, что другие делают, разрушать обдуманые учреждения. Создать она ничего не умеет. Получив в свои руки власть, она оказывается неспособною завести хотя бы только правильный ход административной машины. Ее это и мало интересует, она этим не занимается, предоставляя делам идти, как они себе хотят. Никто теперь и не управляет делами. Мы живем в полной анархии. Деятельно ведутся только интриги.

Последствия такого образа действий придворной клики и лицемерного нарушения ею закона, служащего людям и руководством в поступках, и ограждением их личного и материального положения, не замедлили обнаружиться. Бесправие, небывалый хаос в администрации, необеспеченность никого и ни в чем, безнака-

занность самых наглых нарушений прав, медленность в удовлетворении несомненных и законнейших требований,— все это производит всеобщие неудовольствие и ропот, которые раздаются все громче. Правительство потеряло всякое уважение и всякое доверие. В его справедливость и мудрость никто больше не верит. Самое горестное то, что интриги клики, о которых огромное большинство не имеет понятия, вызывают охлаждение и недоверие не к ней, а к верховной власти, которую она представляет, именем которой действует. Пишущий эти строки не раз имел, к глубокому прискорбию, случай лично удостовериться, что простой народ, до сих пор свято чтивший имя царя, считавший его земным богом, теперь, видимо, к нему охладевает и ему приписывает тяжесть своего положения. Положение его, действительно, стало в последнее время нестерпимо тяжело. Никто о темной массе не заботится, не к кому ей обратиться за добрым словом и помощью; всякий только пользуется ее невежеством и спешит поживиться на ее счет. Губернаторы, исправники, мировые посредники взыскивают с народа подати с беспощадностью татарских баскаков, не обращая внимания на средства и удобства плательщиков, не соблюдая правил, установленных законом в обеспечение за недоимщиком по крайней мере возможно выгодной продажи его имущества на уплату недоимки. Розги при взыскании податей в таком же ходу, как при блаженной памяти окружных государственных имуществ. Губернаторы не только не смотрят за тем, чтоб исправники и посредники не выходили из границ закона, но ни о чем больше и не говорят им, как о беспощадном взыскании податей во что бы то ни стало. Как же не роптать темным массам, с которых правительство тянет последнее, не заботясь больше ни о чем.

Точно хищная орда напустилась эта клика на Россию, легкомысленно раздражая всех и все и рассчитывая на испытанное долготерпение русского народа. Но и оно, как все на свете, вероятно, тоже имеет свои пределы. Если у нас нельзя ожидать революции, то возможны, как показывает история, смутные времена, вызываемые интригами и бесправием олигархов. Такие времена бывали безобразнее всяких революций.

Всего прискорбнее то, что кары, насланные на Россию с воцарением придворных интриганов, делаются во имя исторических и политических софизмов, которые и опровергать-то совестно,— так они отзываются мудростью гвардейского офицерства, нашедшего продажного или уж чересчур наивного книжника и писаку, чтоб придать нелепостям грамотную форму и уснастить их блестящими мнимой учености, столь дешевой в наше время. Политические мечтания придворной клики не имеют курса в России, кроме тесного петербургского кружка и немногочисленных его приверженцев в Москве и кое-где в провинции. Восхищаться ими и строить на них свои надежды и планы могут только остзейские бароны и польские паны, живущие староевропейскими, а не русскими преданиями.

В статьях «Русского мира» не раз провозглашается, что воспитательный период нашей истории кончился. К несчастью, это не так. Стоит вникнуть в программу и высказанные ею мотивы, чтобы в этом убедиться. Соображения, на которых программа построена, взяты не из живой русской действительности и не из ее прошедшего, а из иностранных, преимущественно английских книг. Автор программы горько упрекает нашу так называемую левую сторону мнений в том, что она продолжает пережевывать заграничные взгляды. Но программа грешит тем же и столько же, если не больше. Положительно или отрицательно, мы продолжаем и по сей день пробавляться европейскими образцами и системами, точно так же, как и встарь. Программа «Русского мира» есть такое же книжное измышление, с помощью иностранных представлений, как наши теории на манер Фурье и европейских союзов рабочих, и не имеет с положением дел в России ничего общего. Случайное сходство отрывочных фактов, которое можно отыскать, обращаясь куда угодно,— в Азию и С.-Американские Штаты, к диким племенам и просвещенным народам,— одинаково сбивает с толку автора статей «Русского мира» с нашими несчастными юношами, спасающимися от латыни в бакунинские объятия.

Отрицательная сторона статей «Чем нам быть?» во многом очень справедлива, хотя она могла бы быть

полнее и коснуться многого, что обойдено автором благоразумным молчанием, отчасти страха ради иудейска, а еще больше ввиду специальной цели газеты. Мы действительно обезличены, мы и в самом деле в разброде, особенно наши мнения. Теперь не назовешь двух людей, которые были бы согласны между собою, хотя бы в существенных пунктах. Вся Россия, как справедливо выражается автор, представляет какой-то студень — нечто вроде моллюска или даже протоплазмы. Ничто у нас не сложилось, не скристаллизировалось; есть только намеки на элементы и органы общественной жизни, но ничего выработанного, определившегося нет. По таким намекам можно догадываться скорее о том, чего у нас не будет, чем о том, во что сложится и определится наше общественное и политическое тело, очевидно, новой формации, не подходящее ни под один из известных типов. Все это так. Отсюда следует, кажется, вывести, что надо, не мудрствуя лукаво, приглядываться к жизни этого политического и общественно-го эмбриона, чутко и зорко следить за его собственными склонностями и расположениями и осторожно им удовлетворять, не предрешая ничего. Так диктует здравый смысл и в воспитании детей, о которых мы тоже не знаем, что из них выйдет впоследствии. Всякие деспотические, крутые меры, заранее составленные программы воспитания народов и людей именно по этой причине уже изгнаны из политики и педагогики. До сих пор нас гнули и крутили то на византийский, то на польский, то на голландский, шведский, остзейский, немецкий, французский и английский лады. С провозглашенным окончанием воспитательного периода все это должно бы кончиться. В первые десять лет нынешнего царствования похоже было на то, что, измученные и изломанные на разные заграничные лады, мы наконец начнем жить сами по себе, на свой собственный лад. Но эта надежда не исполнилась. Автор программы подогревает старый соус и приглашает, по книжным соображениям, сочинить привилегированный класс в уездах на манер английского и предоставить исключительно ему всю нашу будущую судьбу и развитие, с устранением сословности и коронной администрации. Исторически данное ядро такого класса он находит в нашем

дворянстве. Вот тема, вот исходная мысль. Без воссоздания наследственного и привилегированного дворянства в новом составе, с политическими правами, нет нам, по мнению автора, никакого спасения, а от воссоздания его он ожидает для нас всякого благополучия. Вся ошибка наших реформ, в 60-х годах, заключается, как он уверяет, в том, что дворянство было ими распугано, разогнано и уничтожено как сословие.

Но когда же, спрашивается, в продолжение всей русской истории, наше дворянство обнаруживало хотя бы тень связной, совокупной общественной жизни? В Новгороде и Пскове, в Прибалтийском и Западном краях, в малороссийском казачестве и Польше мы видели и отчасти видим и теперь высшие классы, действующие сообща, связно, преследующие известные политические и общественные цели. Но собственно в России, в бывшем Московском государстве, в теперешних внутренних губерниях, никогда не было ничего похожего. Существование у нас аристократических элементов автор отрицает, но зародыши дворянского сословия ему кажутся несомненными. Но где эти зародыши? Автор жалуется, что видит дворян, но не видит дворянства. Таков, однако, сверху донизу весь русский быт. У нас были бояре и не было никогда боярства; были, есть и будут духовные, купцы, мещане, ремесленники, крестьяне, но никогда не было и, по-видимому, не будет духовенства, купечества, мещанства, крестьянства в смысле действительных сословий. Все наши разряды, не исключая дворянства, означали род занятий, общую повинность, тягло или службу, но никогда не имели они значения общественного организма, общественной формации с задатками политической или общественной связной жизни. Это было совершенно невозможно по самому способу образования русского государства и по свойству нашей верховной власти. Автора сбивают с толку сословные формы, заимствованные из Европы, в которые нас одели в XVIII веке, вместе с камзолом, треугольной шляпой и шпагой. Одно время нам действительно казалось, что новая одежда пристала нам как раз к лицу, но это было недоразумение, которое произошло только оттого, что мы переряживались как малолетние дети, не понимая хорошенько, что делаем,

и которое разъяснилось очень скоро. Оказалось, что мы соединяли с новым костюмом совсем не то понятие, какое он собою выражал, и вносили в него свое, доморощенное. Как только мы стали сколько-нибудь понимать себя, тотчас же сделалось ясным глубокое противоречие между навязанным или навеяннм и естественным, тем, что мы есть на самом деле. Нет ни одного мыслящего, просвещенного русского человека, который, будучи знаком с политическими и общественными вопросами, чувствовал бы себя легко и свободно в своем сословном, так называемом общественном разряде. Никому эти разряды не по сердцу, никто в них не укладывается, всех они тяготят и теснят. От богатого дворянина до крестьянина, все вкусившие от плода образованности относятся отрицательно, иронически, чуть не враждебно к сословной среде, в которой родились и из которой спешат выбраться. Нет, мы по природе не тот народ, который умеет жить посословно или поразрядно. Стоит взглянуть на нашу литературу всех времен: про какой общественный разряд, про какое сословное общество она отзывалась иначе, как с злой иронией? Это потому, что ни одно из наших сословий или званий, созданных законом или родом занятий, никуда не годится в смысле общественной единицы, организованного общества, хотя в каждом из них можно встретить весьма достойных, вполне развитых, образованных, порядочных и честных людей.

Наше дворянство не составляет исключения из этого общего правила. И до Петра Великого⁷, когда оно было замкнутым, служилым разрядом, разделенным на множество наследственных «чинов», и после Петра, когда оно преобразовано по европейскому образцу в высшее сословие, наследственное же, но пополнявшееся выслугой и пожалованием, наше дворянство выставляло много почетных, достойных и талантливых людей на всех поприщах. Наполняя и после отмены обязательной службы, по привычке и преданию, высшие и средние государственные, гражданские и военные должности, большинство дворянства волей-неволей приняло европейские обычаи и нравы и стало причастно европейской образованности. В качестве служилого класса и будучи сравнительно наиболее просвещенной средой,

оно было главным представителем и деятелем преобразования. Но никогда, ни разу, от начала до наших дней, дворянство не играло этой видной и почетной роли как сословие, как общественная единица, даже не как собрание губернских или уездных общественных групп, а всегда, постоянно как среда, из которой выходит образованное, деятельное меньшинство, честно и преданно служившее своему отечеству и делу образования; но служило оно не в духе той среды, из которой вышло, а напротив, наперекор, вопреки ей. Это меньшинство в деятельности своей никогда не выражало дух, желания, стремления дворянского сословия, а напротив — дух, требования и стремления государства, которого они были слугами, которое их возвышало, обогащало и поддерживало.

Со времен Петра III⁸ и Екатерины II⁹ до последних преобразований дворянство, можно сказать, держало в своих руках Россию. Половина империи была им закреплена, местная полиция и местный суд принадлежали также ему; коронная администрация, сверху донизу, состояла почти исключительно из дворян. Все высшие и средние должности и места в войске занимались тоже почти исключительно дворянами. Будь в дворянской среде хоть тень связности, хоть малейшая наклонность сложиться в общественную или политическую единицу, это бы сказалось в чем-нибудь. Оно сказалось в упорном, цепком отстаивании крепостного права; но на попытки организовать в общественное тело, с политическим оттенком, занять более или менее самостоятельное место среди других элементов, укрепить за собою и по возможности развить свои корпоративные права как общественной единицы, — на все это через долгую историю нашего дворянства нет и намека. Остзейцы, поляки и ополяченные дворяне западных губерний воспользовались своими правами и положением совсем иначе. Я и не думаю ставить нашему дворянству в укор, что оно не походило на остзейское или польское; слава Богу, что оно таким не было. Я только доказываю, что оно играло у нас роль как среда, а не как политический и даже не как общественный элемент, — как слой, а не как организм, даже не как зародыш организма. Эти бесспорные факты опроверга-

ют теорию «Русского мира» в самом корне. То, из чего не могло развиваться политического или общественного тела при самых благоприятных обстоятельствах, не может сложиться в такое тело, когда дует совсем другой ветер. Поляки тоже все еще надеются восстановить свое государство. Но если они не сумели или не смогли сохранить его, когда оно существовало, то как мечтать им об этом теперь, когда оно пало? То же самое и по тем же причинам можно сказать и «Русскому миру», мечтающему у нас о дворянстве в смысле политического или общественного сословия. Мысль эта — книжная, выдуманная с пером в руке, а не живая, вызванная действительными фактами и потребностями. Во имя ее можно делать у нас много бед, замедлить наше общественное развитие, затемнить на время наше сознание, сбить с толку власть и правительство, отвлечь их от их прямой задачи и дела, но создать из этой мысли что-нибудь на пользу России никак нельзя. Чего природа, жизнь, история не дали, того никакие человеческие усилия не дадут. Мы можем только развить, воспитывать, совершенствовать существующее; создавать небывалое из ничего не в нашей власти.

Мы, русские,— большие самохвалы и краснобаи, но нельзя сказать, чтоб мы были особенно изобретательны. Наладим песню и тянем ее веки, все одну и ту же. Кто-нибудь один выдумает красное словцо, зная, что оно только вполовину правда, или даже вовсе неправда, и другие сто лет будут его повторять. Кто-то сочинил, очевидно, на французский манер, что «дворянство есть опора престола и отечества», что «государь — первый дворянин», что «дворянство за царя и отечество кровь свою проливало», и вот все мы повторяем эти фразы всласть, и что всего забавнее, повторяем в уверенности, что в них заключается нечто, исключительно принадлежащее дворянству, составляющее предмет только его гордости, чести и славы. Но опору отечества и престола, сколько известно, составляют и купцы, и мужики, и чиновники, и духовные, по крайней мере столько же, сколько и дворянство; кровь свою проливают за царя и отечество, уж конечно, не одни дворяне, а феодальное представление о царе-дворянине вовсе нам чуждо. В народной сказке сказывается, что Иван Грозный¹⁰ был

крестьянский парень Ванюха, выбранный на царство в Москве, но о царе-дворянине нет ни малейшего понятия в народе. Царь у нас для всех сословий и званий царь, а не для одних дворян. Дворянству, как служилому классу, было естественно и удобно оттирать другие звания и выставлять на вид свои заслуги преимущественно перед всеми прочими. Но ведь в сущности ни власть, ни сами дворяне не принимают этих фраз за чистые деньги. Обе стороны отлично понимают, что в устах дворянства такие уверения не больше как самохвальство и не без расчета на царские милости, а со стороны власти — простой комплимент, из которого ничего не следует. Смешно и странно, когда люди мыслящие и ученые вдруг принимают эти фразы за нечто серьезное, верят им, как выражениям будто бы действительных фактов. Выставляют, например, заслуги дворянства как сословия в спасении отечества в 1812 г. Но ведь не одно же дворянство спасло Россию! Спасали его все, от мала до велика, от царя до последнего мужика. Какая же тут особенная заслуга дворянства? Теперь вошло в моду говорить и повторять, что дворянство совершило беспримерный в истории подвиг самоотвержения, уничтожив собственными руками крепостное право в лице мировых посредников и принеся на алтарь отечества свое материальное благосостояние. Подождали бы по крайней мере, пока вымрет поколение, видевшее своими глазами, как происходило освобождение крестьян, и тогда бы пустили в ход эту самохвальную фразу! Освобождение крепостных, как и все великие преобразования в России, совершено незаметным меньшинством, в ту минуту, когда власть была расположена это сделать. Дворянство как сословие было тут решительно ни при чем. Что касается огромного большинства дворян, то они всегда относились к этому преобразованию крайне враждебно, мешали ему сколько было возможно и при Александре I¹¹, и при Николае¹², и в нынешнее царствование. Оно, это большинство, сколько могло, тормозило освобождение, урезывало землю у крестьян на местах, урезывало цифры их надела в государственном совете, уступило царской воле крайне неохотно и до сих пор продолжает вздыхать по крепостном праве, где и когда может срывая душу на

мужике. Дворяне, освоившиеся со свободою крестьян, примирившиеся с новым положением дел, и теперь еще далеко не составляют большинства. Ссылаются на то, что главные деятели реформы были, в огромном большинстве, дворяне; это бесспорно; но при этом забывают, что деятели эти составили в дворянстве незаметное меньшинство, что они были для дворянства предметом ненависти, что это меньшинство призвано было к отмене крепостного права не по выбору или назначению самого дворянства, а по выбору и назначению власти и правительства, которое заботилось о том, чтобы в члены губернских присутствий и мировые посредники попали люди, расположенные к делу; но и это, при всем старании, удалось не вполне, — так незначительно было меньшинство, сочувствующее освобождению. Последствия блистательно доказывают справедливость того, что я говорю. Когда бывший министр внутренних дел, враждебно относящийся к отмене крепостного права не на остзейский манер и по направлению своему вполне выражающий стремления и надежды большинства дворянства, не только перестал поддерживать меньшинство, но начал его теснить и преследовать, оно исчезло, затерялось в массе. Все знают, каковы были новые мировые посредники в сравнении с первыми и до какой степени в их руках дело освобождения исказилось в самом своем основании. Нет, не дворянское сословие самоотверженно и великодушно отказалось от крепостного права! Деятели освобождения призваны были правительством из меньшинства дворянской среды, заявившего себя против крепостного права и вследствие того ставшего предметом преследований со стороны огромного большинства дворянского сословия. Между тем и другим, я надеюсь, большая разница.

В «Русском мире» говорится и повторяется, что преобразования 60-х годов уничтожили дворянство, распустили его в восьмидесятимиллионной массе мужиков; что дворянство, распуганное и разогнанное из своих поместий, разбежалось в города и за границу, забросив свои владения и хозяйства. Все это будто бы сделалось к прискорбию крестьян, которые и теперь больше верят своим местным помещикам, чем чиновникам и своим выборным. Из этих уверений выходит,

что реформы местного быта, совершенные в нынешнее царствование, были совсем не нужны, не вызывались никакими потребностями. Сельское хозяйство процветало, дворяне жили в своих поместьях, мужики были исполнены к ним доверия, ходили к ним судиться. Словом, все обстояло благополучно,— и вдруг, ни с того, ни с сего начались реформы (подразумевается, конечно, по наущению злоумышленников, врагов дворянства и власти), которые все это благополучие поставили вверх дном вопреки народным желанием, ко вреду мужиков и хозяйства и к разорению помещиков. Отсюда начало всех зол, абсентеизм просвещенного сословия, упадок сельского хозяйства, о котором так много и так красноречиво умеет рассказывать статс-секретарь Валуев, и господство невежественной черни в провинциях, невозможное и нестерпимое для культурных слоев.

Я понимаю, что известная клика находит расчет нашептывать все это власти и по возможности вставлять ей очки дворянского большинства. Власть не знает России и судит по бумагам, которые клика ей докладывает. Но зато она, эта клика, до сих пор благоразумно не публиковала своих докладов и всячески старается довести печать до немоты, боясь, чтобы нескромные ее разоблачения не порвали хитро сплетенных нитей ее лжи и интриги. Но видно, с нею случилось по пословице: кого Бог хочет наказать, у того разум отымет. В уверенности, что положение и власть ее совершенно упрочились, она зарвалась и проболталась. Самонадеянность клики до того выросла и развилась, что она решилась выступить со своими лживыми уверениями и обманами печатно. Теперь механика этой лжи благодаря «Русскому миру» у всех на глазах, и всякий мог бы уличить в ней придворных интриганов у нас дома, не прибегая к заграничным печатным станкам, если б наша печать не была обречена на молчание. Всякий ребенок знает, что теперь, как до реформ 60-х годов, дворянство остается во главе местного управления; что суд и заведование мужиками, сосредоточенные в руках мировых судей-дворян и мировых посредников, тоже дворян, по-прежнему удержаны за дворянством; что дворянская организация осталась нетронутой; что уезд-

ные земские управы почти все, а губернские — все без исключения, где только есть дворянство, составлены из дворян; что председатели земских собраний, с огромными полномочиями, какими они облечены по инициативе бывшего министра внутренних дел, суть предводители дворянства; что где только есть дворяне, там крестьянство не занимает должностей и не играет ни малейшей роли, а если выборные его и попробуют заявить свое мнение, несогласное с мнением дворянского большинства, то придворная клика тотчас же ссылает их административным порядком, как было еще недавно с Молиным в Самаре. К крайнему сожалению, крестьянство и до сих пор не играет в нашем местном самоуправлении никакой роли; вся власть еще безраздельно сосредоточена в руках дворянства, которое распоряжается ею как хочет, раздает места, делает раскладку повинностей, судит и рядит. Если бы крестьянство не было совершенно пассивно, то, может быть, в некоторых уездах и люди выбирались бы лучше, и земские деньги на постройку зданий и починку дорог расходовались бы разумнее и бережливее, и на сельские школы отпускалось бы их больше, и раскладки повинностей производились бы уравнительнее и справедливее. Есть, без сомнения, и такие местности, где несмотря на то, что всеми делами орудует одно дворянство, дела идут по возможности хорошо, разумно и справедливо. Но здесь и там все зависит от того, каково дворянство, которое, повторяю, и по закону, и на факте, соединяет в своих руках всю власть. Где же, спрашивается, растворение культурного слоя в мужицкой массе? Где господство, или хоть преобладание черни в местном управлении? Утверждать это могут одни недобросовестные люди или круглые невежды, не имеющие понятия о том, что делается в России. Будь в дворянстве хоть тень связности, о которой мечтает «Русский мир» и во имя которой придворная клика опрокидывает реформы 60-х годов, оно, при теперешней деятельной и сильной поддержке со стороны правительства, давно бы сложилось в сильнейшую сословную корпорацию, вредную и опасную по своему духу и для народа, и для власти, как в Польше. К счастью нашему, в нашем дворянстве нет и не было даже и тени связности; дворянство, как сосло-

вие, продолжает падать, и в смысле привилегированного класса, конечно, никогда более не восстановится, чтобы ни делала котерия наших выродившихся олигархов.

Абсентеизм дворянства на местах и упадок помещичьих хозяйств — факты несомненные, но смысл их совсем не тот, какой придает им «Русский мир».

В конце минувшего царствования и начале нынешнего абсентеизм за границу был невозможен, потому что выезд за пределы империи был чрезвычайно затруднен сперва мерами правительства, потом войной, а после войны тем, что драконовские правила о поездках за границу смягчались мало-помалу. Но главное — мы ожили надеждами, нам представилось, что дела будет довольно у себя, а чтоб его делать, надо было оставаться и жить дома. Первая половина нынешнего царствования вполне оправдывала этот взгляд, и абсентеизма не было. Но когда произошел поворот в правительстве, когда оно начало мало-помалу разделявать реформы, стеснять дарованные права, и земство, и печать, тогда все, что было горячо, принялось за дело, за работу, охладело, махнуло рукой и разбрелось куда попало. Не для чего оставаться на местах. Кроме того, провинции опустели и потому, что большинство дворян оказалось вполне неспособным заняться хозяйством дельно и серьезно, — что в нем укоренилась привычка, воспитанная крепостным правом, жить на дармовщинку и жуировать, не обременяя себя мыслью и трудом, что оно необыкновенно легкомысленно и беззаботно, как все праздные люди, отнеслось к новому положению вещей, созданному отменой крепостного права. Мы подсмеивались над ветреностью поляков, не замечая, что сами не уступаем им в этом ни на волос. Вся разница в том, что польское дворянство, располагавшее судьбами Польши, погубило ее; наше же дворянство, не имея, к счастью, политических прав, погубило только самое себя. Неумение дворян делать что-либо, совершенная их несостоятельность и беспомощность вошли у простого народа в пословицу. Не по средствам роскошь, самые беспутные затеи и мотовство дворянского класса всем известны и памятны. Везде банки и поземельный кредит обогатили людей, дали им средства уплатить долги,

улучшить свое хозяйство, удвоить и утроить свое состояние; только у нас они разорили дворянство, ввели его в неоплатные долги. Понятно, что при таких условиях отнятие дарового труда разорило большинство дворян. Выкупные свидетельства вместо того, чтоб идти на улучшение хозяйства, на постановку его на новую ногу, сообразно с изменившимися условиями, были прожиты в городах и за границей, съедены и пропиты, проиграны в карты, употреблены на балы, женщин, наряды. Вот что распугало и разогнало большинство дворян из провинций, а вовсе не введение нашей смиренной и безгласной черни в местные земства.

Я говорил до сих пор о безобидном, добродушном, хотя и легкомысленном, не приготовленном к труду большинстве дворян. Затем немало было и таких, которых реформы 60-х годов действительно выжили из их имений. Не умея свыкнуться с отменой крепостного права, с тем, что уж нельзя тиранствовать над дворовыми и мужиками, некоторая часть дворянства срывала сердце на рабочих, всячески теснила, обсчитывала народ, не скрывала к нему презрения и ненависти и вызвала отместку: к таким дворянам не шли на работу и в службу, им делали все во вред, наконец, с отчаянья и злобы поджигали их дома, житницы и усадьбы. Эта часть дворянства жалуется и теперь на новые порядки, разоряется и кричит, что в провинции нельзя от них жить.

Но кроме этих видов абсентеизма существует у нас еще один, политический, о котором «Русский мир» мудро молчит. Иные дворяне и живут по деревням, хозяйничают, ладят с народом, приспособились к новым порядкам, не жалуется на них, — но систематически воздерживаются от всякого участия в местных общественных делах и управления с тех пор, как придворная клика начала царствовать в России, преследовать людей независимых и поддерживать большинство, враждебное совершившимся реформам. Эта, теперь подавленная и устранившаяся от дел часть дворянства, составляющая незаметное меньшинство, талантливая, честная, независимая, мыслящая, всплывет опять, как только царство олигархов кончится, и явится спрос на живые силы, которые теперь всячески оттираются на

задний план. Эта часть дворянства ясно понимает, что создать высшее привилегированное наследственное сословие по рецепту «Русского мира» и дать ему общественные и политические права — значит окончательно сдать массы народа в руки худшей части населения — разбогатевших кулаков, железнодорожных тузов, бывших откупщиков, взяточников, награвивших себе состояние, словом, всякого рода проходимцев, награвших себе руки около казны, народа, или по акционерным делам, на бирже и в спекуляциях. Таково было бы большинство проектируемого программой «Русского мира» дворянства, о котором эта газета уверяет, что народ больше верит ему, чем коронным чиновникам. Народ, раздавленный поборами, которые против прежнего увеличились в пять и в восемь раз и взыскиваются с небывалой жестокостью, не верит больше никому и ничему, даже самой власти, в которую он еще недавно слепо верил. Он видит, что освобождение не облегчило его участи, а напротив, скорей ее ухудшило. Прежние посредники, защищавшие его права и интересы, заменились людьми или совершенно безучастными к его доле, или обратившими свою власть в помещичью, худшего сорта; он видит, как при взыскании с него податей и недоимков продается его имущество за бесценок, благодаря совершенному бессердечию полиции; как с легкой руки бывшего тульского губернатора Шидловского взыскание недоимков, вопреки закону и справедливости, обращается на бабьи сарафаны и бабью собственность; он видит, как помещики и их приказчики совершенно безнаказанно обижают и теснят его, и ему не к кому обращаться за помощью. В крестьянине мало-помалу складывается убеждение, что вся администрация, казенная и общественная, дворянская и земская, только для того и существует, чтобы обирать его, а для защиты его, бедного и темного человека, нет никого.

Вот плоды той внутренней политики, какая у нас водворилась с воцарением придворной клики. Во имя химеры классического образования наши университеты падают, и молодежь, толпами выгоняемая из них и из гимназий, обращается в безумных пропагандистов бессмысленных брошюр и прокламаций. Во имя химеры

привилегированного дворянства искажаются великие реформы нынешнего царствования, и нашему развитию насильственно дается искусственное направление, противное тысячелетнему ходу русской истории, ослабляются власть и доверие к ней народа, устраняется из администрации просвещенное меньшинство, которое во все наши лучшие эпохи шло впереди и стояло на первом плане, подавляется русская мысль, налагается печать молчания на наши уста. Неужели это может долго продолжаться, и неужели можно защищать такой порядок дел, как пытается «Русский мир»? Этому не хотелось бы верить! Наука, мысль, теория идут на службу олигархии только в эпохи разложения государства и народов. Мы, надо надеяться, еще не дошли до этой степени упадка. Пока мы, по-видимому, только испорченные, очень дурно воспитанные дети, а не развращенный, изверившийся в себе народ.

Письмо второе

Только люди, не имеющие понятия о теперешней России, или придворные интриганы могут утверждать, что создание привилегированного сословия из остатков разорившихся дворян, разбогатевших невежественных торгашей-кулаков и всякого рода аферистов может возродить нашу местную жизнь и благосостояние, заменить теперешний разброд правильной организацией, вдохнуть в обезличенных людей нравственный характер и умственную состоятельность. Высшее местное сословие, культурное и обладающее на факте привилегией, сложится само собою, при теперешнем земском устройстве, созданном реформами 60-х годов, если только не будут теснить земства, исказить и распатывать его сверху. Если бы правительство и его местные органы смотрели за строгим соблюдением закона, то местная жизнь не замедлила бы выдвинуть из себя высший культурный слой, составленный из элементов всех бывших и существующих теперь искусственных сословий, разрядов и званий. Сюда вошли бы и обломки старого служилого дворянства, и крупное землевладение, и капиталы, и способности, — словом, все то, из чего и

теперь слагается и чем обновляется господствующий культурный класс в Англии и Североамериканских Штатах. Но интриганам совсем не этого хочется. Они боятся создания и упрочения у нас такой среды, которая была бы довольно влиятельна, чтобы противодействовать ее проискам и олигархическим замашкам. Ей нужно название, а не самое дело. Она только прикрывает свои виды программой, которую с возможной благовидностью излагает «Русский мир». Ее настоящая цель, напротив, не дать сложиться ничему прочному, влиятельному на местах, чтобы было удобно ловить в мутной воде рыбу и беспрепятственно проводить олигархическую конституцию в России, — конституцию, немислимую при существовании в провинциях солидного, истинно консервативного, просвещенного высшего класса. Вся дезорганизация, весь произвол, весь мрак, все беззаконие идут к нам не из провинции, не из уездов, а из столиц, из среды придворных интриганов, которые вставляют очки власти, мечтают держать все в своих руках и править именем власти в своих собственных интересах. Царствующая теперь в России котерия, разобравшая большую часть министерских портфелей, пронырливая, лукавая, безнравственная и невежественная, — вот где наше зло и источник наших неурядиц.

Как на исход из хаоса и беззакония, в которых мы находимся, указывают обыкновенно или на революцию, или на политические гарантии. Автор статей «Чем нам быть?» отвергает, и весьма справедливо, оба способа в применении к России. Эта часть статей и места, где говорится о существе и значении верховной власти у нас, бесспорно, лучшее из всего, что сказал «Русский мир». Особенно вопрос о верховной власти, как она выработалась в России исторически, поставлен совершенно верно и правильно. Политическая революция у нас, к счастью, невозможна, потому что в основе русского государства нет взаимно враждующих элементов. Социальная революция — худший из всех видов революций — к великому нашему благополучию, тоже невозможна благодаря Положениям 19 февраля 1861 г. как ни искажены они в практическом применении, благодаря стараниям бывшего министра внутренних дел. Невозможность революций у нас есть потому наше

счастье и благополучие, что даже там, где они возможны и представляются единственным выходом из запутанного положения, они по своим последствиям составляют зло чуть ли не худшее того, которое ими устраняется. Примеры у всех под глазами. Нам грозят во всяком случае не революции, а смуты, которые искусственно вызываются бессмысленным управлением, беспомощностью невежественных, полудиких масс, задавленных поборами и бесправием, и в то же время систематическим раздражением имущих и образованных слоев, которое сближает их в недовольстве с массами. Интриганы, правящие теперь в России, относятся самым легкомысленным образом к явлениям современной русской жизни, дают мысль, дают молодежь, толпами ссылают недовольных, не подозревая, что раздувают пламя, которое хотят тушить.

Конституционные поползновения, идущие и из образованных слоев общества и из придворной клики, у нас совершенно бесплодны и только показывают нашу политическую незрелость и незнание России. Конституция только тогда имеет какой-нибудь смысл, когда носителями и хранителями ее являются сильно организованные, пользующиеся авторитетом, богатые классы. Где их нет, там конституция является ничтожным клочком бумаги, ложью, предлогом к самому бессовестному, бесчестному обману. Конституция, как она выработалась в Европе, есть договор между народом (собственно, между высшими сословиями) и правителем. Где оба равносильны, там дело идет хорошо. Но где одна из сторон слаба, там властвует на деле та из них, которая сильнее, и она предписывает законы. Мы видели, как во Франции шайка разбойников и бандитов овладела государством и двадцать лет безнаказанно держала власть в своих руках, делая ужасы и прикрываясь конституцией, в которой все было бесстыдною ложью. Сама по себе, помимо условий, лежащих в строе народа и во взаимных отношениях различных его слоев, конституция ничего не дает и ничего не обеспечивает; она, без этих условий,— ничто, но ничто вредное, потому что обманывает внешним видом политических гарантий, вводит в заблуждение наивных людей.

У нас многие мечтают о конституции, всего более те,

которые надеются с ее помощью забрать власть над государством на французский наполеоновский манер, в руки нескольких семейств, с устранением всего народа. О верхней камере я слышал много разговоров; о нижней придворная клика благоразумно смолчит.

При всеобщем демократическом характере верховной власти в России, на который весьма верно указывает «Русский мир», при отсутствии у нас испокон века каст и замкнутых сословий, не имеющих ничего сходного с общественными группами по занятиям, ни с тягловыми служебными разрядами, созданными законом, как было у нас до Петра Великого, ни революции, ни конституция у нас немыслимы. Насущный наш вопрос совсем не политический, а административный. Нам нужны не новые преобразования взаимных отношений между сословиями, не политические обеспечения против исторически данной верховной власти. Все, что нам нужно и чего хватит на долгое время,— это сколько-нибудь сносное управление, уважение к закону и данным правам со стороны правительства, хоть тень общественной свободы. Огромный успех совершится в России с той минуты, когда самодержавная власть ускромнит придворную клику, заставит ее войти в должные границы, принудит волей-неволей подчиниться закону. Гнейст, глубокий знаток английской политической жизни, давно уже указывал на зло, происходящее для страны от господства в ней праздных, невежественных, развращенных, своекорыстных кружков из высших классов, толкущихся около двора и живущих царскими подачками и милостями. Он советовал совершенно устранить эти опасные элементы от государственного управления, предсказывая в противном случае великие несчастья и стране, и власти. Мы испытываем теперь на себе всю справедливость этих предостережений. Эти кружки, забравши силу, исподволь взяли назад почти все, что сделано у нас доброго в первые десять лет нынешнего царствования, и довели до того, что власть и народ перестали понимать друг друга. Пока теперешний порядок дел продлится, пока Россия, преобразованная снизу, останется прежнею сверху, до тех пор нельзя ожидать ничего доброго. Крепостное право отменено в гражданском быту, а в

нашей системе управления оно как было дано историей, так и осталось до сих пор нетронутым. Но чтобы власть могла преобразоваться с отменю крепостного права в правильную, хотя и неограниченную европейскую монархию, совлечь с себя свои обветшалые, полуазиатские, полукрепостные формы, для этого нужны прочные, самостоятельные государственные учреждения, составленные из лучших людей страны. Без этого центральная власть при самых лучших намерениях роковым образом будет подпадать под влияние и господство придворных интриганов, которые заинтересованы в том, чтобы напештывать ей только то, что им выгодно, и скрывать то, что им вредно. У нас теперь единство власти есть фикция, мечта: его в действительности вовсе не существует. Правители, как все люди в мире, непременно кого-нибудь да слушают, непременно действуют под чьим-нибудь влиянием. Весь вопрос в том, кто оказывает это влияние и как оказывает? При теперешней нашей системе управления влияние могут иметь одни лица, принадлежащие к известному придворному кругу. Из этой среды поневоле берутся министры. Соединенные в комитете министров, они представляют те же самые придворные элементы. Государственный совет наполняется неспособностями или людьми выжившими из лет, и потому это по первоначальному назначению почтенное, но впоследствии искаженное государственное учреждение не может иметь никакого влияния и существует в виде декорации. Правильного государственного учреждения, довольно самостоятельного и влиятельного, которое, не имея конституционного характера, но и не боясь министров, могло бы служить перед неограниченным русским монархом представителем интересов страны и народных нужд, стремлений и желаний,— нет в России. Естественно, что при таком положении дел одна придворная обстановка и придворные кружки держат в руках судьбы нашей внутренней политики, законодательства и администрации. На всякое правильное самостоятельное государственное учреждение, хотя бы оно и не имело никаких политических атрибутов, смотрят у нас как на орган, опасный для самодержавной власти. Придворной клике выгодно поддерживать такой взгляд, потому

что она потеряла бы при существовании самостоятельного государственного учреждения свое теперешнее влияние на дела, не могла бы вести свои интриги под покровом тайны и не могла бы так безнаказанно вставлять власти очки и делать так бесстыдно ложные и обманные доклады. Все эти приемы камердинеров и дворовых людей доброго старого времени потеряли бы свое магическое действие и свое теперешнее государственное значение.

Я глубоко убежден, что только правильно и сильно организованное государственное учреждение административного, а не политического характера, могло бы вывести нас из теперешнего хаоса и бесправия и предупредить серьезные опасности для России и власти, на которые нас насильственно и неудержимо толкает всеильное господство придворной клики. С таким учреждением до сведения верховной власти были бы доводимы правильным образом факты и события в том виде, в каком они действительно совершаются и как они понимаются всеми, а не с теми урезками, искажениями и произвольными толкованиями, с какими котерия представляет их в собственных интересах. Тогда верховная власть знала бы по крайней мере все не односторонне, из одних личных докладов, как теперь, а в различных редакциях, под различным освещением, и могла бы с полным разумением склониться в пользу того или другого взгляда, выбрать то или другое направление дел и внутренней политики. Такое учреждение создал Петр Великий в Сенате взамен Боярской думы. История этого учреждения, усиление, падение и восстановление его власти неразрывно связаны с колебаниями нашей внутренней политики и отношениями верховной власти к олигархии. Учреждение Сената при Петре было сильным ударом, нанесенным боярству. Но после Петра при его слабых преемниках придворная олигархия снова подняла голову. По мере того, как она усиливалась или ослабевала, значение Сената падало или возвышалось. В царствование Екатерины II Сенат упал окончательно и никогда больше не восстанавливался в прежнем значении. Падение Сената в такое даровитое, умное, блестящее и плодотворное царствование, шедшее по стопам Петра Великого и довершавшее его дело, было непосле-

довательностью, которая объясняется обстоятельствами вступления Екатерины II на престол, шаткостью верховной власти после Петра и временным, вследствие того и другого, усилением придворной олигархии, которая легко могла бы обратить Сенат в свой орган, в орудие своих планов, как видно из замыслов Панина¹³. Но уже при Александре I потребность в правильном центральном государственном учреждении выразилась с особенною силою в учреждении Государственного совета, который в начале заменил собою Сенат Петра Великого. Государственный совет, как известно, составлял лишь звено в проекте коренных преобразований всех наших государственных учреждений, задуманном при Александре I. С изменением взглядов правительства, особенно при Николае I, Государственный совет тоже утратил значение. Личное управление одержало верх, министерские доклады оттеснили и подавили правильный законный ход государственных дел, и высочайшие повеления по докладам министров, циркулярные министерские распоряжения заменили правильное законодательство. Опять придворные кружки, их тайные нащептывания и интриги надолго, до нашего времени, остановили правильное развитие внутренней жизни России. В начале нынешнего царствования, после несчастной Восточной войны, казалось, будто такому печальному ходу дел будет, однажды навсегда, положен конец. Ряд благотворных общих и частных мер и преобразований дал стране вздохнуть и высказаться. Но именно вследствие того, что снизу все было преобразовано, а сверху все оставлено нетронутым, благие начинания имели мало успеха и оборвались в самом начале. Ржавый, никуда негодный механизм наших устарелых государственных учреждений не мог сдержать напора придворных интриг. Последнее десятилетие выказало до очевидности, что без коренного переустройства на новых началах наших высших государственных учреждений, и из них прежде всего учреждений административных, у нас все будет ходить ходуном, хаос, бесправие, необеспеченность закона никогда не прекратятся, и мы вечно будем, как теперь, обезличены и в разброде.

В этих видах на первом плане стоит у нас создание

административного или правительствующего Сената, но совсем иначе организованного, чем теперешний I департамент Сената.

Главное значение административного Сената, равного Государственному совету и совершенно независимого от министра юстиции, должно быть правительственное. Он должен быть прочно и сильно организован и иметь всю необходимую самостоятельность. Цель его учреждения — дать единство управлению государства, положить конец бюрократическому произволу, служить перед верховною властью выражением потребностей и нужд государства и страны в противовес темным закулисным интригам придворной клики и ее своекорыстными наущениям. Этой важной и трудной задаче должно соответствовать устройство этого учреждения и его атрибуты.

Для выполнения своей задачи предполагаемый административный Сенат должен быть учреждением коллегиальным, с числом членов не менее того, из какого составлен Государственный совет.

В административном Сенате должны быть представлены все элементы государства, ибо соединение их необходимо для выражения перед верховною властью нужд и потребностей государства и страны. С этой целью треть членов административного Сената должна состоять из лиц, назначаемых непосредственно верховною властью, треть — назначаться по выбору губернских земств, треть — избираться самим Сенатом. Избранные становятся сенаторами без утверждения. При таком составе в Сенате будут представлены и администрация, и провинции, и, наконец, такие элементы и интересы России, которые не входят в два первые разряда. Сверх этих членов никто не может быть сенатором и пользоваться правами этой должности.

Если б оказалось невозможным ввести в состав Сената одновременно по одному выборному от каждой губернии, то следовало бы установить между губерниями, однажды навсегда, известную очередь для замещения выбывающих сенаторов новыми выборными из провинций.

Необходимо, чтобы в члены Сената призывались не выбранные уже председатели губернских земских

управ, а лица, особо избираемые для заседания в Сенате, так как для той или другой должности требуются совсем различные условия и способности.

Что касается до лиц, избираемых самим Сенатом, то необходимо, чтобы права и власть его в этом отношении ничем не были стеснены или ограничены.

Административный Сенат обновляется в своем составе не вдруг, а ежегодно одною третью, чтобы в нем большинство всегда состояло из членов опытных, знакомых с делами и порядком их ведения. Таким образом, каждый член сената назначается или избирается, например, на три года; но по истечении этого срока он может быть назначен или избран вновь на такой же срок.

В продолжение всего времени пребывания своего в должности сенатор не может занимать никакой другой ни в государственной, ни в общественной, ни в частной службе. Он не может быть также удален из Сената иначе, как по судебному приговору за уголовное преступление. За выражение своих мнений в заседаниях Сената он не подлежит преследованию и ответственности.

Члены Сената, выбывшие до истечения трехгодичного срока, замещаются на остальной срок новыми, по назначению или по выбору.

Члены Сената за все время пребывания своего в должности получают определенное содержание, без различия назначаемых верховною властью от выборных.

Таковыми мерами будут вполне обеспечены за членами административного Сената все условия, необходимые для образования прочного, самостоятельного государственного учреждения.

Внутренняя организация Сената должна быть предоставлена ему самому. Он же может и изменять ее, смотря по надобности, удобству и указаниям опыта. От него самого зависеть будет — разделиться на департаменты или составлять по всем делам одно общее собрание, распределять занятия между своими членами, образовывать специальные комиссии для предварительной подготовки дел, определять порядок заседаний и делопроизводства и пр. Все дела докладываются сенаторами. Избрание, определение и увольнение секрета-

рей и чиновников канцелярии принадлежат самому Сенату.

Гласность рассуждений и прений административного Сената я не считаю необходимой. При полной свободе членов выражать свои мнения, не подвергаясь никакой ответственности и при других личных гарантиях членов Сената, гласность его рассуждений при нашей падкости к популярничанью и эффектам могла бы скорее вредить, чем приносить пользу деятельности этого государственного учреждения. Чем меньше будет для членов повода рассчитывать на ораторский успех за стенами Сената, тем дельней и основательней будут их рассуждения.

Председатель Сената есть Государь Император. Первоприсутствующий, председательствующий в Сенате в отсутствие Императора, утверждается им из числа двух или трех кандидатов, избираемых Сенатом.

При такой организации административный Сенат будет учреждением прочным, значительным и достаточно высоко поставленным, чтобы не подчиняться ничьим влияниям, кроме непосредственных велений государя.

Атрибуты власти административного Сената должны соответствовать его назначению в составе наших государственных учреждений.

Комитет министров есть учреждение устарелое, бесполезное и при теперешнем своем составе вовсе не достигающее цели. Оно подлежит упразднению, тем более, что серьезные дела этого учреждения уже отошли в совет министров.

Первый департамент Сената слишком бессилен, чтобы держать администрацию в должных границах и сообщать ей необходимое единство. Он тоже подлежит упразднению.

Затем Государственный совет с отделением от него судебной власти есть учреждение по преимуществу законодательное. Административные дела, ныне ему представленные, вовсе ему не свойственны.

Административный Сенат, как высшее административное государственное учреждение, должен соединить в себе все дела и власть, разделенные теперь между Государственным советом, комитетом министров и пер-

вым департаментом правительствующего Сената. Маловажные из этих дел, которые лишь случайно ведаются теперь высшими государственными учреждениями, должны быть предоставлены решению министерств и управляющих отдельными частями по принадлежности. Это легко выяснится при проектировании органического закона об административном Сенате.

Необходимо, чтобы отчеты министров и главных управлений передавались на рассмотрение этого учреждения и чтобы ему предоставлено было право требовать от всех министерств и управлений отдельными частями доставления сведений и разъяснений, какие он признает нужным от них потребовать. Он имеет также право приглашать к участию в своих занятиях с совещательным голосом все те лица, которые, по его соображениям, могут быть для него почему-либо полезными.

Наконец, административному Сенату должно быть предоставлено право, по собственному почину и собственной властью, производить посредством своих членов ревизию министерств и управлений отдельными частями, а также мест и учреждений, им подчиненных.

Одним из главных атрибутов административного Сената должно быть право представлять верховной власти, на ее усмотрение, соображения свои о ходе различных отраслей государственного управления и о необходимых общих законодательных и административных мерах, касающихся исключительно внутреннего состояния государства. От верховной власти будет уже зависеть — дать этим соображениям дальнейший ход или оставить их без последствий.

Административный Сенат, как государственное учреждение в стране, управляемой неограниченною монархической властью, имеет только совещательную, а не решительную власть. Заключение его в виде ли общих соображений, или проектов общих мер и предположений, или определений по текущим делам, приводятся в исполнение не иначе, как с высочайшего утверждения. Только изложенные выше атрибуты административного Сената, не будучи ни общими мерами, ни решениями, а лишь способами и средствами для исполнения лежащих на нем обязанностей, предоставляются его власти и не требуют утверждения.

Сам административный Сенат не исполняет своих решений, утвержденных верховной властью. Но ему должно быть предоставлено право наблюдать и настаивать на точном их исполнении, употребляя для того те из законных способов, которые он признает наиболее целесообразными и удобными. Как эти способы, так и право входить по исполнению его решений в сношения с кем следует, должны быть предоставлены его непосредственной власти.

Таково должно быть, в главных и общих чертах, учреждение, которого у нас недостает и которое, по моему убеждению, могло бы мало-помалу дать нам связность и излечить нас от обезличения. Хаос и путаница в управлении государством и в наших головах происходит единственно от того, что нет цельности и связности в нашем высшем государственном управлении. Самодержавный государь, будь он гений, не в состоянии теперь один вести и направлять все дела в малейших их подробностях и по всем отраслям управления в такой обширной империи, как Россия; он не может подметить и вовремя остановить явные козни и тайные интриги своекорыстных людей, проводящих в государственных делах свои частные и личные виды. Такая задача по плечу только многочисленному, сильно организованному, самостоятельному и влиятельному государственному учреждению, снабженному необходимой административной властью, которое по своему высокому положению могло бы непосредственно представлять государю, на его усмотрение, свои виды и соображения по внутреннему управлению государством. Если б такое учреждение у нас существовало, верховная власть имела бы для обсуждения положения и хода дел в империи рядом с отзывами и докладами лиц, заинтересованных представлять все только в известном, для них благоприятном свете, мнение и отзыв учреждения, непричастного, по личному своему составу и положению, ни администрации, ни проискам и интригам, и потому способного беспристрастно, в интересах страны и власти, обсудить дело или вопрос не с одной какой-либо, а со всех возможных сторон. Сравнивая между собой различные отзывы по одному и тому же предмету, государь мог бы составить себе о нем

полное и ясное понятие и направлять дела империи так или иначе, по своим соображениям. Теперь же, при отсутствии центрального государственного административного органа, независимого от министерств, нет и не может быть в управлении единства и целостности; каждый министр и каждое главное управление тянут государственную колесницу в свою сторону, толкуют закон как им нравится, более или менее искусно или бесцеремонно его обходят и нарушают по своим видам, нередко прямо противоположным видам верховной власти и почти всегда — благу страны. Отсюда — полный хаос и безответственность перед законом; никто не знает, как и что считать за закон и как его понимать, по пословице: «не довернешься — бьют, перевернешься — бьют». Как же при такой безурядице быть связности в головах и последовательности в действиях отдельных лиц? Мы видим на каждом шагу, что награждаются люди именно за то, что нагло, бесстыдно нарушают закон, а преследуются те, которые стоят за него и строго его исполняют. Общественный и политический разврат, который у нас поразителен, есть неизбежное следствие такого порядка дел. Мы не проходили через революцию, как Франция, а политически и граждански развращены столько же, если не больше, и по той же самой причине, происходящей там от беспрестанных революций, здесь — от совершенной дезорганизации государственного механизма, отжившего свой век. Никто у нас не верит в силу закона и ни во что его не ставит; меньше всего уважают его те, кто облечен властью.

Мне возразят, что Сенат, с предполагаемыми административными атрибутами, без политических прав, не в силах будет побороть зло, потому что решения его не будут обязательны для верховной власти, которая точно так же может осудить его на бездействие, преобразовать на манер существующих теперь высших государственных учреждений, как она, дав крестьянские, земские и судебные учреждения, дав в известной мере свободу печати, вскоре сама же исказила их и взяла назад дарованные права.

Такой взгляд выражает гораздо больше глубокое недоверие к власти, растущее у нас, к несчастью, не по

дням, а по часам, чем правильную оценку нашего положения. Политические гарантии не создаются учреждениями; они в них только выражаются. Ни одна конституция в мире не создала политической свободы; она только закрепила существующую в законную форму. У нас нет элементов, которые могли бы создать закон или учреждение, обязательные для верховной власти. Хорошо ли это или дурно — это другой вопрос, но так оно на самом деле; следовательно, и толковать о конституции, навязанной верховной власти, нечего. Путаница в наших понятиях происходит главным образом от того, что мы, зная отсутствие у нас условий политической свободы в европейском смысле, несмотря на то, ее ищем, придумываем разные способы создать ее, и никакие неудачи не раскрывают нам глаз. Однако простой здравый смысл должен бы, кажется, подсказать, что где нет элементов для политической жизни, там никакие человеческие усилия не в состоянии их создать. Нельзя и предвидеть, как и когда такое наше положение изменится. У нас все власти соединены в руках самодержца, и потому немыслимы политические учреждения, которые бы его ограничивали или стесняли. При таких условиях ход наших внутренних дел не может измениться к лучшему до тех пор, пока сами русские правители не поймут, что их внутренняя политика ошибочна, что органы управления государством устарели, не соответствуют своему назначению, а должны быть заменены новыми; что для самой верховной власти выгоднее господство закона, чем придворных интриганов; что люди просвещенные, честные и независимые, может быть, не так приятны, но зато надежнее, чем пронырливая лакействующая дворня, плутующая и обманывающая со своекорыстными целями; что для верховной власти в России опасны не те, которые прямо высказывают свои мнения, хотя бы и несогласные с желаниями и взглядами государя, а те, которые с видом рабской покорности втихомолку и во мраке подкапывают законы и власть. Пока всего этого высшее правительство не поймет, до тех пор никакие учреждения не помогут. Напишите завтра конституцию, даже вырвите ее у верховной власти, и послезавтра такая конституция на деле обратится в пустое слово, или

будет взята назад, и огромное большинство этого не заметит, пожалуй, еще порадуетя.

Административный Сенат предлагается в этом ряде идей. Как уже сказано, он ни в каком случае не может и не должен быть политическим учреждением. Его организация и атрибуты рассчитаны единственно на то, чтобы высшее внутреннее управление государством получило единство и правильность, чтобы высшее административное учреждение в государстве имело и право и возможность, не стесняясь никакими личными соображениями и не боясь придворных интриганов, работающих во тьме, под покровом тайны, блюсти за исполнением закона и представлять государю вещи, как они есть в действительности. Выбор в административный Сенат лучших людей, вне административных и придворных сфер, ввел бы в высшее управление полезные для него элементы и силы, которые теперь оттерты и скрываются под спудом. Этим и ограничивается назначение предполагаемого административного Сената. Все другое было бы пустой фантазией.

Но кто поручится, скажут мне, что правительство будет внимать голосу этого учреждения, а не придворных проныр; что завтра оно в самостоятельном учреждении не заподозрит зародыша ограничения его власти; что прямой, честный голос этого учреждения не будет признан за оппозицию и противодействие верховной самодержавной власти? А если все это возможно, то стоит ли предлагать преобразования, которые сегодня будут введены, а завтра взяты назад, как было на наших глазах со столькими и столькими полезными мерами?

Может быть, все это так и будет. Всего вернее, что установление административного Сената с тем устройством и значением, как он здесь предполагается, будет отвергнуто как мера радикальная и революционная, или же введется правительствующий Сенат по образцу теперешних наших чиновничьих, бездыханных высших государственных учреждений. Все это будет означать, что рак, который пожирает русское государство и русское общество, не сознается центральной властью, которая теперь одна только в силах его вылечить. Пройдет еще несколько времени и болезнь усилится до того,

что зло, которое теперь видят немногие, но уже все чувствуют, делается очевидным для всех и каждого. Тогда верховная власть ходом вещей вынуждена будет сделать то, что теперь пока было бы делом государственной предусмотрительности. Может быть также — и это вероятно, — что внешние события раньше естественного хода вещей вскроют наши язвы, и мы снова за них поплатимся, как поплатились в Восточную войну, на этот раз, конечно, еще ужаснее, еще унижительнее, чем тогда. Во всяком случае, я других путей, кроме собственного убеждения верховной власти в необходимости коренного преобразования наших государственных административных учреждений, не вижу и не могу себе представить. Предлагая меру, которая мне, по крайнему разумению, кажется возможною и наиболее соответствующею цели, я исполняю только долг человека, горячо любящего свое отечество. Осуществятся ли мои желания ему блага или нет — это уже не мое дело и не в моей власти.

ПРИМЕЧАНИЯ

Печатается по изд.: *Кавелин К. Д.* Собр. соч. СПб., 1898. Т. 2. С. 863–908.

¹ *Воронцов-Дашков И. И.* (1837–1916) — граф, государственный деятель.

² *Скарятин В. Д.* — публицист. С 1863 г. редактировал крепостническую газету «Весть».

³ *Валуев П. А.* (1814–1890) — граф, русский писатель и государственный деятель.

⁴ *Шувалов П. А.* (1827–1889) — граф, государственный деятель, консерватор.

⁵ *Бобринский А. П.* (1826–1894) — представитель известной фамилии Бобринских, граф, министр путей сообщения в 1871–1874 гг.

⁶ *Бирон Эрнст Иоганн* (1690–1772) — граф, герцог Курляндский (1737), фаворит императрицы Анны Иоанновны. После ее смерти — арестован, сослан. Возвращен в Петербург Петром III. Восстановлен на курляндском герцогском престоле Екатериной II.

⁷ *Петр I Великий* (1672–1725) — русский царь (с 1682 г.), император (с 1721 г.).

⁸ *Петр III Федорович* (1728–1762) — российский император с 1761 г.

⁹ *Екатерина II Великая* (1729–1796) — российская императрица с 1762 г.

¹⁰ *Иван IV Грозный* (1530–1584) — Великий князь всея Руси (с 1533 г.), первый русский царь (с 1547 г.).

¹¹ *Александр I* (1777–1825) — российский император с 1801 г.

¹² *Николай I* (1796–1855) — российский император с 1825 г.

¹³ *Панин Н. И.* (1718–1783) — граф, русский государственный деятель и дипломат. Участник дворцового переворота 1762 г. Воспитатель Павла I. Автор нескольких конституционных проектов.

ЗАПИСКА МОСКОВСКИХ ЛИБЕРАЛОВ гр. ЛОРИС-МЕЛИКОВУ, НАЧАЛЬНИКУ ВЕРХОВНОЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

Тягостное положение России в настоящее время происходит оттого, что в русском обществе образовалась партия, действующая весьма неразумно и вступившая в борьбу с правительством при помощи средств, которым не могут сочувствовать благомыслящие граждане. Эта борьба обнаруживается рядом насильственных действий, направленных против властей. Спрашивается, как помочь этой беде?

Прежде чем дать ответ, надо раскрыть истинные причины зла. Цель настоящей записки — показать:

1) что главная причина, почему борьба с правительством приняла такую форму, заключается в отсутствии у нас условий для свободного развития общественного мнения и свободного приложения общественной деятельности;

2) что зло не может быть вырвано с корнем одними репрессивными мерами;

3) что существующие общественные условия, при которых самые настоятельные нужды населения остаются неудовлетворенными, развивают общее недовольство, которое, за отсутствием средств для свободного выражения, неизбежно выражается в насильственных формах;

4) что причины не могут быть устранены одними административными мерами, но требуют дружного содействия всех жизненных сил общества.

I

Противоестественная форма, в которую вылилась борьба с правительством, зависит от отсутствия всяких

путей для свободного и нормального выражения общественного недовольства. Путь для него закрыт с тех пор, как оно крайне стеснено в обсуждении правительственной деятельности, и это стеснение подкрепляется предостережениями, прекращением изданий и целым рядом тяжких кар в виде запрещения розничной продажи, печатания объявлений, вконец сокрушающих печать.

Вопросы первостепенной важности прямо изъеются цензорами из области газетных обсуждений в тот самый момент, когда они более всего интересуют общество. Не далее прошлого года такое запрещение коснулось вопросов педагогики, именно — классической системы образования и нового университетского устава. Такая важная реформа, как университетская, обсуждалась секретно и хранилась в тайне от общества. Много есть таких вопросов, о которых печати разрешается говорить с особенной осмотрительностью, что на языке цензоров почти равносильно полному запрещению. Газетам не дозволяют даже сообщать факты, неприятные для правительственных органов. Газета «Голос», например, недавно была лишена на месяц права печатать объявления за то, что сообщила о незаконном заключении в тюрьму раскольников архиепископов. Понятно, что при этом печать должна или молчать, или лицемерить, или прибегать к аллегорическому языку, а этот язык деморализует литературу и часто напрасно волнует общественное мнение: с одной стороны, читатели всегда ищут истинного мнения писателя между строк, а с другой — никогда не верят газетным восхвалениям правительства, приписывая их лицемерию.

Свободой печати пользуются только представители крайних мнений, каковы, с одной стороны, «Московские Ведомости», а с другой — подпольные издания.

Другой повод для развития революционной деятельности лежит в вынужденном молчании земств. Примеры полтавского, черниговского и других земских собраний 1879 г. показывают, что голоса народных выборов тотчас же заглушаются, как только они решаются обратиться к правительству с советом. Земства все более и более лишаются доверия власти, которая, стараясь опираться на бюрократию, беспрестанно поручает

рассмотрению присутствий по крестьянским делам вопросы, подлежащие решению земства. Правительство создало уездных и губернских гласных и ставит этих общественных выборных под надзор председателя, не ими избранного, в лице предводителей дворянства, многие из которых служат только ради чинов или в расчете на административную карьеру.

Правительство часто относится с презрением и невниманием к ходатайствам самым законным и уважительным. Из протоколов земских собраний видно, что множество таких ходатайств не удостоилось даже ответа. С таким же пренебрежением относится оно и к печати. Газеты и журналы нередко высказывали по разным вопросам внутреннего управления мнения определенные, основанные на точных научных данных, но их заключения никогда не удостоивались внимания. Примером этого может послужить вопрос о железнодорожных тарифах. Когда в 1878 г. тарифы были обнародованы, печать настоятельно указывала на их неправомерность и обременительность, и они все-таки были приняты, как бы для того только, чтобы в скором времени оправдать все предсказания печати. Вообще, правительство не придает никакого значения точным исследованиям ученых, и это особенно заметно на вопросах экономического и финансового законодательства, менее всего доступных бюрократическим методам решения.

Как результат вышеизложенного является общее впечатление, что правительство не желает слышать голоса народа, не выносит правдивой критики своих ошибок, пренебрегает мнениями компетентных людей и преследует только собственные цели, не совпадающие с нуждами населения. Вследствие этого широко распространилось мнение об антагонизме населения с органами правительства, и тут взгляд образованного общества замечательно сходится со взглядами простого народа. Крестьянин почитает царя, как Бога, но не верит в чиновников, которые, по его наивному выражению, «кругом обошли царя». Точно так же и образованные классы, глубоко почитая монарха, видят в отдаленном от народа бюрократическом механизме корень существующего зла. Замечается отсутствие доверия к прави-

тельству, и это доверие не возродится, пока администрация будет обнаруживать недостаток знаний, нравственной силы и какого-нибудь идеала. Ничто так не унижает и не раздражает общество, как сознание, что оно находится в подчинении у людей, не внушающих ни уважения, ни доверия, и потому все попытки власти восстановить свой авторитет будут безуспешны, хотя бы она и стала утверждать, как это и делают ее официальные органы, что порицания, направленные против них,— суть порицания самой императорской власти. Подобная софистическая уловка ясна для самого ограниченного разума и только усиливает раздражение.

Насильственное подавление недовольства вредно еще и в другом отношении. Оно приучает население скрывать свои мнения, лелеять их втайне и снисходительно смотреть, если кто-нибудь станет осуществлять их и нелегальными способами. Так создается одно из важнейших условий пропаганды — дух мятежа. Чувство преданности к престолу слабеет в тех, кто при иных условиях гнушался бы мятежом.

В организованном обществе нельзя игнорировать ни мысли, ищущей свободы выражения, ни практической энергии, отыскивающей поля для своего применения. Чем эти побуждения строже стесняются в своих легальных формах, тем быстрее они принимают нелегальный характер. Наружно это выражается отсутствием гармонии между стремлениями общества и предназначениями правящей власти, а более серьезно и заразительно — в форме незаконных протестов. Если общество не может заявлять власти о своих нуждах публично, то более энергичные члены его страстно набросятся на тайную деятельность и утратят привычку достигать цели разумными способами. Вначале это движение охватит самые пылкие головы, но впоследствии должно будет проникнуть и в более глубокие слои, так как последние не находят поприща для выработки в себе лучших идеалов.

II

В настоящее время господствует мнение, что зло может быть искоренено одними репрессивными мера-

ми. Многие думают, что пока следует сосредоточиться исключительно на этих мерах, а когда они приведут к желанным результатам, то время не уйдет для дальнейшего развития общественной жизни. Но одними репрессиями никакой недуг не может быть излечен. Мало того, репрессивные меры не только не излечат существующего зла, но еще создадут новое зло в лице неизбежного их спутника — административного произвола. Возможно, что при данных условиях общество вынуждено будет примириться с бесконтрольным отправлением власти высших властей, но произвол вверху порождает и произвол внизу. Каждый исправник, становой, урядник или жандарм имеют свои планы спасения государства и при осуществлении их ставят себя выше законов и учреждений. Таким образом, правительство разрушает одной рукой то, что создает другой, и окончательно подрывает уважение к власти, показывая публике пример своего бессилия перед своими собственными агентами. Сверх того власть, дающая себе право произвольно преследовать всякого, расчищает дорогу лозунгу: «кто не с нами, тот против нас», чрезвычайно опасному в руках правительства, так как он причисляет к врагам государства людей, в сущности мирных и полезных, только потому, что они не доверяют администрации. Недавно была наброшена тень, без всякого серьезного повода, на лучшие элементы нашего общества; был предпринят крестовый поход против образованных классов, и вина этого движения падает на правительство. Казалось, было забыто, что образованный класс, на который налагалось клеймо, есть продукт русской же истории, что само правительство с Петра Великого способствовало созданию этого злополучного класса и до настоящего времени не переставало поощрять развитие умственных способностей русского общества. Те, которые стремятся вооружить против интеллигентных сил разнузданные страсти, забывают, что страсть есть оружие обоюдоострое, которое, будучи направлено в одну сторону, может под влиянием непредвиденного импульса легко направиться в сторону противоположную. К тому же следует помнить, что поощряя страсти, административный произвол тем самым подрывает чувства законности, и без того очень

слабые в России, и вместе с тем приводит органы власти к частным пререканиям между собой, которые крайне вредны для процесса оздоровления народной жизни. Только непоколебимое верховенство закона и может направить, очистить и привести в гармонию органы административных властей. Но и помимо всего этого гнетом нельзя подавить человеческую мысль. Убедительным доказательством этому могут служить предшествовавшее царствование (с 1825 по 1855 гг.), а также и недавние годы. Идея народного представительства, например, сделала в последнее время огромный шаг вперед и пробила себе путь даже в самые глухие губернии, несмотря на то, что не только публичные обсуждения, но и частные беседы на эту тему были абсолютно воспрещены. За неимением свободной печати идеи эти стали пропагандироваться путем устной передачи. Примеры распространения такими путями религиозных ересей слишком уже известны, чтобы о них распространяться; но это же явление повторилось теперь и с идеями политическими. Разум человеческий, подвергнутый стеснению, приобретает особенную остроту и восприимчивость, он ловит на лету тончайшие намеки и поражается явлениям, которых при других условиях даже и не заметил бы. Это-то и придает такой вес изданиям подпольной печати. Кому же не известно, как быстро потерял влияние «Колокол» и т. п. издания, когда русской печати была дана сравнительно большая свобода?!

При настоящем положении вещей репрессия не может дать ожидаемых от нее результатов, так как ей невозможно найти даже объектов для своего применения. Разве возможна война, когда нет в поле неприятеля?

При современном положении оппозиция правительству не исчерпывается деяниями немногих известных личностей; она носится в воздухе и таится в сердцах общества. Можно строгими мерами подавить нескольких выдающихся лиц, но на их место будут выдвигаться новые бойцы. Наконец, репрессия, возбуждая в стране постоянную тревогу своими предостережениями об угрожающих опасностях и постоянной сменой чрезвычайных мер, отвлекает внимание от истинных нужд и

тормозит в стремлении улучшить положение страны. Вместо того, чтобы идти вперед, страна живет изо дня в день. Как не смотреть на репрессию, как на временную меру в години возбуждения; она всегда оказывается бессильной дать ожидаемые от нее результаты.

III

Самую яркую черту современного положения России составляет крайнее неудовольствие на невозможность свободно высказываться. Все образованное общество без различия сословий, положения и убеждений чувствует себя крайне неудовлетворенным, и из этого чувства и развивается существующая агитация.

1) Первая и наиболее важная из неудовлетворенных потребностей общества есть потребность деятельности. Она поощряется и побуждается умственным движением, начавшимся в прошлом и продолжающимся в нынешнем царствовании. Еще до начала последнего она уже сложилась и в литературе, и в обществе в форму идеала национальной жизни, требующего осуществления. Идеал этот имел в основе неприкосновенность личных прав, свободу мысли и слова и правительственную систему, которая обеспечивала бы все это. Реформы первой половины настоящего царствования придали законченность и устойчивость этому идеалу, освятив его одобрением сверху. В то же время эти реформы создали новые социальные условия, потребовавшие новых социальных учреждений, в которых этот идеал даже получил практическое применение. Старый правительственный механизм оказался негодным для руководства новыми сложными силами и мог действовать только при свободном и независимом содействии общества, регулировавшего и контролировавшего его.

Вследствие этого стремления населения к самостоятельному участию в развитии национальной жизни получили некоторое применение, и правительство должно было с ними считаться. К сожалению, администрация отнеслась враждебно к этому соучастию. В тот момент, когда общество, пробужденное, с одной стороны, движением собственной мысли, а с другой — условиями времени, стало искать государственной деятель-

ности, администрация начала воздвигать ему препятствия на этом пути. Если правящий механизм в его существующей форме исключает прямое участие в правлении большинства тех, для кого такое участие составляет первое право и твердое желание, то, значит, этот механизм нуждается в преобразовании. Правительство же вместо этого только усиливается разрушить учреждения, которые способны были бы облегчить это преобразование. Русское общество все более и более укрепляется в убеждении, что такое обширное государство, как наше, с его сложной социальной жизнью не может быть управляемо исключительно чиновниками. Земские собрания с каждым годом образуют все большее и большее число людей, способных к политической деятельности, а между тем эти собрания систематически притесняются. Их постановления подвергаются цензуре губернатора, их право устанавливать налоги для покрытия собственных расходов стеснено; они заседают под председательством предводителей дворянства, дисциплинарная власть которых все увеличивается; право заведования устроенными ими школами отрицается; на их просьбы и ходатайства не обращают внимания; важные земские вопросы решаются помимо них административными «присутствиями», и губернатор уполномочен аттестовывать благонамеренность избранных населением представителей. Неизбежным последствием этого являются опасения, что земские собрания, долженствовавшие быть независимыми органами местного самоуправления, скоро вырождаются во второстепенные присутствия местной администрации. Эта система последовательных притеснений все-таки не может подавить стремления общества к независимой политической деятельности, но только внедряет хроническое недовольство и делает из администрации скорее служительницу интересам бюрократии, чем интересам народа.

2) Другая потребность в личной безопасности. Необходимые условия для нормального существования современных обществ составляют: неприкосновенность жилища, свобода от произвольных обысков и арестов, ответственность правительственных лиц за незаконное лишение свободы и соблюдение всех предписываемых

законом формальностей гласного состязательного судопроизводства. Общество не может мириться с административными ограничениями судебного процесса, каков бы ни был их характер. Административное вмешательство всегда создает произвол; оно показывает, что правящая власть не хочет сама подчиниться установленным ею законам и ищет удобного случая, чтобы нарушить и нелицеприятие суда и свободу личностей, с которыми имеет дело. Каковы бы ни были мотивы такого вмешательства, оно не имеет оправдания в глазах общества и служит лишь ослаблению авторитета власти. Нелицеприятие суда нарушается уничтожением независимости судей; законы, предписывающие неменяемость последних, лишаются всякого смысла данной администрации властью перемещать судей по своему усмотрению с одного поста на другой.

До чего мало доверия к существующему способу избрания судей и как небрежно замещаются вакансии, можно видеть из недавнего примера в Москве; публика шла в суд, как в театр, для забавы над невежеством и шутовством одного судьи, назначенного министром юстиции помимо другого кандидата, представленного самим судом. Люди, легко относящиеся к жизни, потешаются над такими фактами, но люди более серьезные глубоко ими огорчаются, а в обоих случаях последствием является потеря уважения к правительству. Большое число процессов совершенно изъято из юрисдикции даже и этих судов. В почти неограниченной области политических преступлений, где черты, отделяющие дозволенное от недозволенного, столь изменчивы и неуловимы и где поэтому лишение свободы должно бы быть обставлено всевозможными гарантиями, господствует порядок вещей, нарушающий все понятия о судопроизводстве и стоящий в прямом противоречии с самыми элементарными принципами справедливости. Вор и убийца не могут быть арестованы и обысканы без разрешения правительственного лица, отвечающего за свой поступок в случае жалобы пострадавшего; в делах же политических существует иной порядок.

В последние 10 лет полиция по простому подозрению или ложному доносу пользовалась правом врывать в дома, вмешиваться насильственно в сферу частной жиз-

ни, читать чужие письма, заключать подозреваемых в тюрьмы, держать их там по месяцам и, наконец, подвергать их инквизиторским допросам, не сообщая им даже, в чем они обвиняются. Немало таких арестованных, по ошибке прошедших через подобные испытания, были выпущены на свободу. В глазах известного общества и правительства такие страдальцы не считаются оправданными и восстановленными в своих правах, а опасными членами общества, отмеченными печатью неблагонамеренности. В глазах же другой части общества они становятся мучениками и даже героями. Часто бывает, что жизнь этих людей уже разбита в пух и прах. Гробовая тайна политических процессов в противоположность с публичностью обыкновенных, безграничная власть тайного обвинителя в противоположность со строгим соблюдением законности при обыкновенном судопроизводстве подрывают чувства законности и прибавляют горючего материала к раздражению, пылающему в сердцах не только самих преследуемых, но и большей части общества. При отсутствии законодательства, определяющего границы политических преступлений и ограничивающего власть ведающих их учреждений, никто из лиц образованного класса не может считать себя обеспеченным от политических преследований и, следовательно, не может отделаться от вечно пресущего, унижительного и раздражающего сознания, что он решительно бесправен.

Более произвольна система административной без судебного разбирательства, которая особенно широко практиковалась за эти последние 5 лет. Как дух закона и основные принципы справедливости не допускают наложения наказания без суда, по сотни, а иногда и тысячи лиц ежегодно подвергаются самому тяжкому наказанию, какому только может подвергнуться образованный человек, а именно — удалению своего местожительства и от друзей единственно в административного распоряжения, ни на чем не основанного. Высланные таким образом лица даже не знают, как долго продлится их наказание, и этим лишаются даже утешения, в котором не отказывается и уголовному преступнику, так как последний знает срок своей кары. Друзья политического изгнанника тоже

остаются в неведении относительно вины, за которую он пострадал, часто он и сам не знает этого, но и он, и его друзья хорошо понимают, что вина эта не могла быть доказана, ибо в противном случае обвинение было бы предъявлено суду. Обнародование закона об административной высылке сопровождалось объяснением, что она есть необыкновенная, милостивая мера, имеющая целью облегчить наказание молодых, подпавших вредному влиянию преступников, заменив для них ссылкой те более строгие кары, которым они подвергались бы, если бы обвинение было проведено формальным судом. Однако же, когда московское Дворянское собрание стало ходатайствовать, чтобы всякому осужденному к административной высылке было предоставлено просить о судебном рассмотрении его вины, то это ходатайство было оставлено без удовлетворения.

3) Новая причина общего недовольства правительством лежит в настоящем положении судебной части и местного самоуправления. В начале настоящего царствования идеалы русского общества встречали поощрение даже у Верховного правителя империи, но при первых же шагах к их осуществлению администрация высказала недоверие к обществу. Вслед за обнародованием таких, например, законов, как земское положение и судебные уставы, начались и урезывания их. Все уже перечисленные нами ограничения власти земских собраний, исключительные приемы преследования за политические проступки, система административных высылки, изъятие политических преступлений от суда присяжных и передача их специальным судам — все это есть ограничение и лишение прав, заранее дарованных. Эти урезывания начались тотчас же по вступлении в действие новых законов и производились постепенно так, что не могут быть признаны случайными. Проследите, например, последовательность отступления, совершенного нами от порядка вещей, созданного новыми судебными уставами, до принятого ныне способа ведения политических процессов. Сначала эти суды были независимы и руководствовались единственно своей юрисдикцией; потом к присутствию в них были назначены чины III-го отделения, затем равновесие власти нарушилось в пользу III-го отделения и, наконец,

весь авторитет и вся ответственность сосредоточились в руках жандармов. Эти и подобные факты ясно рисуют отношение правительства к своим реформам. Такое отношение побудило общество выступить на защиту дорогих ему учреждений, и вот правительство и общество вместо того, чтобы братски содействовать делу реформ, начали враждовать друг с другом. Общество часто за это обвиняли, и, может быть, оно и заслужило иногда порицание, но порицатели не должны забывать, что в государстве, где правительство всемогуще, ему следует выказывать и больше самообладания.

4) Все происшедшее с представительными учреждениями и судебным ведомством произошло и с печатью, и еще, может быть, в худшей форме.

Законом 1865 г. были дарованы нашей печати некоторые права в виде уничтожения в определенных случаях предварительной цензуры и введения судебного разбирательства по проступкам печати, но этот Закон, благодаря разным стеснительным мероприятиям, скоро стал мертвой буквой. Существующая система предварительной цензуры, покоящаяся на административном произволе, имеет один существенный недостаток: она не может установить правил, ясно определяющих, что и в каких случаях должно быть запрещено печати и считаться преступлением. Поэтому и сами цензоры жалуются, что им иногда в одно и то же время приходится получать выговор за пропуск книг и статей, очевидно невинных, и такой же выговор за недопущение статей и книг, очевидно зловердных.

Есть еще и другая несправедливость, возмущающая общество. Часто бывает, что изъятие какого-нибудь вопроса цензурным предписанием из области литературного обсуждения не препятствует писателям правительственного лагеря обсуждать его со своей точки зрения, резко нападая на противников, в то самое время, как последние, связанные предписанием, не могут не только что выразить, но даже выяснить причины своего молчания. Иллюстрацией этого может послужить, например, вопрос о классическом преподавании в наших школах. Стеснение печати и ограничение свободы слова могут еще иметь некоторое оправдание в странах, где правящая власть чувствует свою относи-

тельную слабость перед обществом; но, как хорошо известно, власть правительства у нас громадна. Если такое правительство боится гласности, значит, оно должно что-то скрывать от общества — такое заключение неизбежно вытекает из настоящего положения печати.

Потребность в свободе слова всего более ощущается в периоды недовольства, но и кроме того, эта потребность в русском обществе крайне несостоятельна. Русский народ переживает серьезный кризис своей истории, кризис экономический, социальный, политический.

Только свободный обмен мыслей может ослабить трудности такого переходного периода. Если для борьбы с этими трудностями правительство избирает путь, несогласный с общественными симпатиями, то одна только печать может послужить средством успокоения естественной тревоги и раздражения. Отказываясь выслушивать мнения ее, правительство не только обнаруживает недоверие к собственным силам, но и лишает себя средств узнать взгляды тех, с которыми оно вступило в борьбу. В общественном организме могут существовать потребности и силы, совершенно неизвестные правительству и которые могут захватить его врасплох, что и случилось в настоящее время. Администрация и теперь не в состоянии открыть, где находятся враги общественного порядка, и даже сомнительно, чтобы ей были известны их способы действия, ибо, уничтожая гласность, она сама окружила все это атмосферой тайны и мрака. При отсутствии свободы слова враги правительства должны оставаться неизвестными и для самого общества.

Неудовлетворенное стремление общества к свободе слова есть один из главных источников существующего недовольства. Всякий человек, в силу закона своего интеллекта, ищет обмена мыслей с другими, дабы убедить их или быть убежденным ими. Состязание необходимо для жизни мысли, и его можно уничтожить только с самой мыслью. Ограничение же свободы обсуждения не уничтожает энергии мысли, а, напротив, сообщает ей бóльшую интенсивность и сосредоточенность, и если оно препятствует столкновению умственному, то зато приводит к столкновению социальному и политическому.

Недовольство, проникшее в русское общество, как результат ошибочного направления правительственной внутренней политики, может быть устранено только при участии самого общества. Довольно и беглого взгляда на положение страны, чтобы убедиться, что наступило время, когда следует призвать к деятельности все здоровые силы России. Потребности империи постоянно растут. Государственный бюджет удвоился в последние 20 лет и был бы еще больше, если бы удовлетворение настоятельных нужд империи не откладывалось с году на год. Последняя война (1877—1878 гг.) вызвала чрезвычайные издержки, большая часть коих и до сих пор еще не покрыта. Стране становится совсем невозможно при настоящей системе налогов выдержать даже в течение 5 лет непомерную и постоянно растущую тяжесть государственных обложений. Хотя новые выпуски бумажных денег и временное промышленное оживление, последовавшее за войной, помогли правительству в эти два года свести баланс без дефицита, но на такой благоприятный результат нельзя рассчитывать в будущем и даже в текущем году. Всякому ясно, что наша система налогов нуждается в преобразованиях, но не в таких, которые состоят в простом замещении одного налога другим, а в фундаментальном преобразовании всей системы, в равномерном распределении тяжести налогов на все классы общества. Но и этого мало. Не принесет пользы и такая реформа, если при этом не возрастут благосостояние народа и его производительные силы.

Всякий, близко наблюдавший домашний быт нашей провинции, знает, что население не богатеет, а беднеет. Именно в настоящий момент одна треть империи страдает от недоедания, а в некоторых местах свирепствует настоящий голод. В южных губерниях зерновой жук грозит новым опустошением, и в очень многих губерниях дифтерит и другие эпидемии опустошают население.

Наша мануфактурная промышленность, по удостоверению компетентных лиц, начинает приходить в упадок, а в близком будущем нам угрожают и другие кризисы. Во внешней торговле соперничество Соединенных Штатов отнимает у нас с каждым годом все более и более рынков. По всем отраслям экономической

жизни распространяется болезненное чувство недоверия, парализующее производительные силы страны. И это чувство — не временный эффект, оно глубоко коренится в сознании факта, что наш правительственный механизм не отвечает изменчивости и возрастающей сложности потребностей большого государства. И ныне, как в старое доброе время, центральное правительство ревниво не допускает общество к участию в национальной жизни и берет на себя трудную задачу думать и работать за него. Задача эта была тяжела, даже когда народная жизнь шла давно проторенным патриархальным путем, к которому привыкли и общество и правительство; но этот порядок вещей в последние годы подвергся таким переменам, которые, может быть, не выпадали еще на долю ни одной страны в пределах одного поколения. Освобождение крепостных преобразовало радикально всю экономическую жизнь крестьян и земледельцев. Железные дороги создали новые индустрии, уничтожив много старых, и сосредоточили благосостояние целых губерний в руках железнодорожных воротил. Банки и разного рода финансовые учреждения выросли в большом количестве и тесно связали различные части империи взаимными обязательствами и задолженностью. Все эти изменения, осложнения и дополнения другими в том же роде создали повсюду тысячи вопросов и потребностей, прежде неизвестных, и так переплели между собой интересы отдаленных местностей, что замедление или неправильная постановка вопроса в одном пункте производят влияние на другие, самые отдаленные. Всякая местная нужда или бедствие, засуха ли, или хлебный жук, беспорядки на железных дорогах, эпидемии, эпизоотии и промышленный застой, не утрачивая своего местного значения, отзываются на всей империи, как целом.

Никакая администрация, даже если бы она обладала сверхъестественной мудростью и энергией, не в состоянии будет справиться с бесчисленными вопросами и задачами, возникающими в такой усложнившейся жизни, при отсутствии общественного самоуправления. Целый ряд нужд и ходатайств или остаются совершенно неудовлетворенными, или удовлетворяются плохо, без принятия во внимание местных интересов, или,

наконец, вызывают серию бессистемных и друг с другом противоречащих мер. Такое обхождение с народными нуждами подрывает доверие к власти и внушает недоверие к ней.

Единственное средство вывести страну из ее настоящего положения заключается в создании независимого собрания из представителей земств и в предложении этому собранию участия в управлении нацией и в выработке необходимых гарантий для прав личности, свободы мысли и слова. Такая свобода вызовет к деятельности самые способные силы общества, пробудит дремлющую жизнь народа и разовьет все обилие производительных ресурсов государства. Свобода лучших самых строгих репрессивных мер будет способствовать исчезновению анархических элементов, враждебных государству. Свободное обсуждение докажет ошибочность их теорий, а могучая и здоровая деятельность заменит настоящее повальное недовольство, отнимет у них поле для их пропаганды.

Русские не менее болгар созрели для свободных учреждений и не могут не чувствовать глубокого унижения, оставаясь так долго под опекой. Стремление к подобным учреждениям, хотя и вынужденное скрываться и отчасти задушенное репрессивными мерами, тем не менее находит себе выражение в земских и дворянских собраниях и в печати. Дарование таких учреждений и созыв представителей общества воскресит силы нации, а также доверие к правительству и ее собственной будущности. Когда русское общество охотно бросилось в недавнюю войну, то оно при этом инстинктивно сознавало, что в освобождении родственных национальностей лежит залог и его собственной свободы. Неужели же этим желаниям и надеждам не суждено никогда осуществиться?

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Издателем «Записки московских либералов графу Лорис-Меликову» был Джордж Кеннан, американский писатель и путешественник. Родился в 1845 г. В 1864—

1865 г. возглавлял экспедицию телеграфной компании, исследовавшей линию от Охотского моря до Берингова пролива, и в 1870 г. издал описание своего путешествия («Кочевая жизнь в Сибири»). В 1870–1871 гг. по поручению журнала «Century» объехал Юго-Восточную Россию и некоторое время жил в Дагестане. В 1885–1886 гг. по поручению того же журнала объехал Северо-Восточную Россию и Сибирь для изучения системы русской ссылки. Пользуясь покровительством властей, Кеннан вместе с художником Фростом получил возможность посетить важнейшие места ссылки. Здесь его внимание особенно привлекло положение политических ссыльных, и в 1890–1891 гг. в «Century» он опубликовал ряд страстных обличительных статей, появившихся в 1891 г. отдельным изданием под заголовком «Сибирь и ссылка».

Эта книга, переведенная на многие языки, произвела на Западе потрясающее впечатление, которое не могли ослабить русские официальные опровержения. В 1901 г. Кеннан приехал в Петербург, но должен был его немедленно оставить по требованию администрации... В 1910 г. во время международного тюремного конгресса в Вашингтоне Кеннан выступил в «Нью-Йорк таймс» с суровой критикой заявления, сделанного американским журналистам русским главноуправляющим тюремным ведомством, стремившимся представить в розовом свете положение русской тюрьмы и ее заключенных. Умер Д. Кеннан в 1924 г.

«Последнее заявление русских либералов» впервые издано им в Женеве в 1890 г. В России опубликовано в Ростове-на-Дону в 1906 г. с предисловием С. Сватикова.

«Записка московских либералов...» печатается по изд.: Кеннан Дж. Последнее заявление русских либералов. Р-Д., 1906.

М. А. Абрамов

Р. И. Сементковский

К ИСТОРИИ ЛИБЕРАЛИЗМА

Все сильнее проявляющееся в нашем обществе нерасположение к традиционному либерализму и консерватизму имеет широкое общеевропейское или даже мировое основание. Если содержание общественной и политической жизни в значительной степени перестало исчерпываться у нас враждою между либералами и консерваторами, если борьба между этими двумя партиями и разнообразными их фракциями сузилась, ведется вяло и как бы нехотя, если возникло, расширилось и начало преобладать новое течение, увлекающее за собою либерализм и консерватизм, то совершенно то же явление наблюдается и в других странах нашего материка и остального цивилизованного мира.

Мы так свыклись с традиционными понятиями либерализма и консерватизма, что с трудом даем себе отчет в этом новом преобладающем и всеильном общественном и политическом течении. Но даже люди, не расположенные отрешиться от взглядов и понятий, имеющих для них прелесть привычки и связанных со многими, быть может, дорогими для них воспоминаниями, чувствуют, что надвигается и уже отчасти надвинулась могучая волна, что почва, в которой прежде коренились социальные и политические убеждения, расширилась, что жизнь ставит многие требования и запросы, на которые они отвечать не в состоянии,— словом, даже эти люди, принадлежащие к прежним поколениям, сознают необходимость пересмотра основных принципов, которыми они руководствовались в течение своей жизни. Вместе с тем возникает недружелюбное или презрительное отношение к традиционным лозунгам; политические партии видоизменяются, а некото-

рые даже совершенно исчезают; только очень упрямые умы, умышленно закрывающие себе глаза на действительность, отстаивают свои прежние взгляды и понятия, защита которых доставила им известность и обаяние; большинство же прислушивается к новым требованиям жизни и старается уяснить себе их истинное значение.

Повторяем, что тут речь идет не об одной России. В какую страну мы ни заглянем, везде наталкиваемся на одно и то же явление. Вера во всемогущество политических форм и центральных государственных учреждений исчезает; она заменяется сознанием необходимости отстраивать здание общественного и государственного благополучия снизу, с самых основ народной жизни. Все более и более умами овладевает мысль, что помимо этой работы у основ народной жизни ни экономические, ни социальные, ни политические успехи не будут прочны, что благосостояние не подвинется вперед, что свобода во всех ее видах не будет обеспечена, пока мы не проникнемся сознанием, что вопрос далеко не исчерпывается политическими формами, и что истинный прогресс зависит от умения пользоваться этими формами и совершенствовать их на почве практических требований жизни. У нас этот перелом в политическом настроении общества совершился недавно под влиянием катастрофы 1 марта 1881 г. На Западе он стал проявляться гораздо раньше, но, к сожалению, большинство наших общественных деятелей не обратили на это явление никакого внимания. Мы, русские, как известно, мало самостоятельны в нашей политической мысли, перенимаем ее у западных народов и, в погоне за усвоением чисто внешним образом плодов западной цивилизации, не вдумываемся в общее значение мировых событий и изменения условий народной жизни. Увлекаясь какою-нибудь парадоксальною, хотя бы и блестящею, теориею, сулящей роду человеческому спасение, мы к удивлению своему затем убеждаемся, что даже те народы, у которых мы ее заимствовали, относятся к ней весьма скептически и нисколько сами не расположены осуществлять ее в жизни. Мы по большей части вследствие недостатка самостоятельности совершенно неспособны отличать в западных учениях и по-

рядках то, что в них есть солидного и долговечного, от призрачного и скоропреходящего. Таким образом мы то забегаем вперед и вынуждены потом отступить назад, то терпим горькие разочарования и в обоих случаях наносим себе значительный вред, по-пустому растрачивая ценные силы. В сфере занимающего нас вопроса мы более или менее упустили из виду происходивший на Западе процесс совершенного видоизменения политической борьбы с тех пор, как она нашла себе яркое выражение в Революции 1789 г. и в ее отзвуке, волнениях 1848 г.

Оба эти события были проявлением старого либерализма в отличие от нарождающегося нового. «Старый либерализм,— говорит один свободомыслящий французский публицист,— занимался только организацией центрального правительства; новый изыскивает прежде всего общие условия свободы и признает их *необходимыми* и *возможными* при различной организации центрального правительства». Действительно, либеральная программа, как ее обыкновенно понимают, сосредоточивается преимущественно со времен Монтескье на формах правления и на парламентаризме. И вот мы видим, что эта программа, составляющая долгое время как бы символ веры всякого истинного либерала, утрачивает популярность в самых разнообразных политических лагерях. Теперь не только люди науки, но и практические деятели, подчас весьма радикального образа мыслей, сомневаются в возможности обеспечить свободу путем осуществления двух основных пунктов старой либеральной программы. Поэтому весьма интересно и поучительно проследить, насколько исторические факты и научные исследования оправдывают этот скептицизм.

Истинное значение Великой французской революции, благодаря новейшим исследованиям этого грандиозного исторического события, выясняется все более и более. Беспристрастный исследователь не может не заметить на рубеже XX столетия, что это событие носит как бы двойственный характер, что оно, с одной стороны, имело последствия весьма устойчивые, сделавшиеся достоянием всех цивилизованных народов, с другой — последствия призрачные, сильно повредившие

усвоению себе другими народами того, что было в нем ценного и неизбежного. Великая французская революция знаменует собою одновременно и политический, и социальный, и экономический переворот. Теперь уже окончательно выяснилось, что первый оказался весьма непрочным: уже во время этого переворота родился Робеспьер¹, установился террор, и политическая свобода оказалась немедленно упраздненной. Затем возникли многие другие правительства, вплоть до правительства Наполеона III, при которых политическая свобода во Франции далеко не процветала. Одновременно, однако, произошли социальный и экономический перевороты, которые не только не оказались эфемерными, но составили прочное достояние французского народа. По мере того, как социальные и экономические принципы, нашедшие себе выражение во Французской революции, вошли, так сказать, в плоть и кровь французского народа, как просвещение проникло в народные массы, как сословные привилегии были не только юридически, но и фактически устранены, как социальное равенство делало успехи и в экономической жизни свобода восторжествовала, — словом, по мере того, как эта другая сторона великого переворота осуществлялась на деле, и политические успехи Франции приняли устойчивый характер. Главный объект борьбы во время революции была хартия. Общественное мнение было убеждено, что помимо хартии нет спасения; к ее завоеванию были направлены все помыслы, все усилия. И что же мы видим? Франция завоевала себе много разных хартий, но от этого политическая свобода не двинулась вперед, и только когда французский народ, вследствие социальных и экономических своих успехов, научился пользоваться хартиями, вложить в них определенное фактическое содержание, картина политической жизни Франции изменилась, но только после вековой кровопролитной борьбы, сопряженной с бесчисленными жертвами.

Быть может, еще более разительный пример этого рода представляет страна, которую называют колыбелью политической свободы, — Англия. Она запаслась хартией еще в XIII веке. Тут потребовалось не одно, а несколько столетий, чтоб обеспечить политическую сво-

боду. Вообще, призрачность свободы, обеспечиваемой бумажными конституциями, до такой степени бросается в глаза в наше время, что давно уже более глубокие исследователи государственной жизни задались вопросом о реальных гарантиях свободы. Этот вопрос имеет громадную литературу; но мы, к сожалению, с нею все еще мало знакомы, или не придаем ей большого значения, и почерпаем наши политические взгляды в более доступных книжонках и брошюрах, отличающихся парадоксальностью или решительностью в суждениях, но по большей части еще всецело основанных на давно отживших свое время теориях и разных метафизических принципах. В самом деле, наука давно выяснила, что представление о политической борьбе, как оно господствует в умах громадного большинства людей, несостоятельно, что прогресс в государственной жизни обусловливается вовсе не непрерывными переворотами или революциями, что эта сторона вопроса является лишь одним из проявлений более широкой борьбы, и что если она обращает на себя особенное внимание, то только потому, что резче бросается в глаза. При более глубоком изучении исторических фактов, при более всестороннем их анализе мы приходим к выводу, что под политической борьбою следует разуметь борьбу общественных классов между собою, другими словами, что то, что обыкновенно называют народом, почти никогда не является народом в истинном значении этого слова, и что, с другой стороны, государственная власть не является отвлеченным принципом, выступающим во всеоружии присвоенного этому принципу могущества, а нуждается для своего торжества опять-таки в поддержке того или другого общественного класса. Самое поверхностное знакомство с историею Англии убеждает нас уже в правильности этого взгляда. Так называемая Великая английская хартия была вынуждена у королей баронами и, так сказать, являлась договором в среде одного высшего общественного класса, захватившего политическое, социальное и экономическое влияние в свои руки. Тотчас же начинается борьба между этим классом и остальными более или менее влиятельными слоями общества. Славное в летописях Англии царствование Эдуарда I² знаменует собою первую победу горо-

жан над баронами, и если королевская власть тогда усилилась, то только благодаря союзу с горожанами, т. е. с буржуазией. Что далее представляет собой история Англии в течение следующих веков, как не непрерывную борьбу между общественными классами, сиющими захватить государственную власть в свои руки и этим обеспечить свое социальное и экономическое преобладание? Если бы сами общественные классы, совокупность которых и составляет народ, действовали единодушно и не враждовали между собой, то, конечно, Великая хартия, завоеванная еще в XIII веке, не осталась бы в значительной степени мертвою буквою в течение нескольких столетий, пока, наконец, большинство английского народа не достигло той степени просвещения и той политической зрелости, которые одни обеспечивают устойчивую свободу.

Почти через те же стадии развития прошло и установление политической свободы во Франции. Борьба между общественными классами составляет главное содержание ее истории. Еще задолго до Французской революции буржуазия приобрела во Франции значительное влияние. Королевская власть опиралась на нее, чтобы подчинить себе самые влиятельные общественные классы: феодалов и духовенство. Но разница между Англией и Францией заключается в том, что в первой благодаря раннему развитию системы местного самоуправления народ был поставлен в возможность полнее охранять свои интересы против произвола других общественных классов. Эта же более совершенная система местного самоуправления способствовала упрочению чувства законности, и оба обстоятельства, вместе взятые, предохранили Англию от такой внезапной и грандиозной катастрофы, какою была Французская революция 1789 г. Но по существу это не изменяет основного характера факторов, вызвавших бесконечные политические потрясения и там, и здесь. Противопоставлять государственную власть и народ, реакцию и прогресс, как единственные факторы политической истории,— мысль совершенно несостоятельная; гораздо правильнее говорить о борьбе разных общественных классов с различными и часто прямо противоположными социальными и экономическими интереса-

ми и о склонности государственной власти основывать свое могущество на поддержке наиболее влиятельного из этих классов. Само собою разумеется, что государственная власть, по основной своей идее, не мирится с таким неестественным союзом, так как она призвана охранять интересы всех общественных классов равномерно, и мы не знаем примера в истории, когда подобный союз не привел бы в конце концов к политической катастрофе.

Самой яркой и грандиозной катастрофой этого рода и была Французская революция. Третье сословие, т. е. буржуазия, восстало против королевской власти, добиваясь первоначально только участия в решении государственных дел. Но созданная ею конституция рушилась благодаря ударам, нанесенным ей другими партиями. Какие же это были партии? Французские историки склонны говорить о народе. Но нам кажется, что о народе в данном случае говорить трудно. Провинция долго находилась в полном неведении относительно событий, происходивших в Париже. К тому же историки сходятся в том основном положении, что народ, вследствие крайнего своего невежества, мог разве вызвать резню, но дать стране сколько-нибудь устойчивую организацию он не был в состоянии. Государственная власть сосредоточилась первоначально в руках буржуазии, а затем городских жителей вообще, или, точнее говоря, большинства городского населения. Только в этом смысле можно говорить о народе, и дальнейшие события показали, что даже и этот сравнительно более просвещенный народ мог вызвать только резню, но упрочить свободу он решительно не оказался способным. Началось жестокое преследование сперва аристократии, потом всех просвещенных элементов общества. Наступила эра Маратов, Дантонов, Робеспьеров. О свободе тут не могло быть и речи, а вместе с тем выяснилась и вся призрачность легенды о народном свободолюбии. Кончилось дело тем, что городская народная масса, завладев государственной властью, возбудила против себя общее недовольство, и вскоре восторжествовал военный диктатор. Повторилось то, чему свидетелями были и Древний мир, и Средние века, и что продолжается и до наших дней: там, где народная

масса не располагает просвещением, где она не привыкла властвовать сама над собою, где нет элементарных условий господства свободы, там о демократии, в истинном смысле этого слова, не может быть и речи — возникнув сегодня, она погибнет завтра, и народное правление превратится в диктатуру.

Поэтому правильнее смотреть на Французскую революцию как на торжество наиболее просвещенного в то время общественного класса — буржуазии, которая, однако, не сумела сохранить в своих руках власть, отчасти вследствие недостаточного политического опыта, отчасти же вследствие своих слишком отвлеченных политических принципов, не соответствовавших низкому умственному цензу народной массы, и вынуждена была уступить ее полуобразованной городской черни. Но когда установилась диктатура и Франция вернулась к нормальной государственной жизни, т. е. когда эра внутренних потрясений окончилась, так называемое третье сословие заняло выдающееся положение в государстве. Создание империи было возможно только при его содействии, и одним из основных государственных принципов Наполеона I³ было строгое соблюдение революционного начала, благодаря которому он сам достиг власти, именно — пользование для государственных целей всеми просвещенными элементами, которых более всего насчитывалось именно среди третьего сословия.

Первая империя пала вследствие внешних военных поражений, но социальный и экономический строй, установленный Наполеоном I в строгом соответствии с принципами Французской революции, не только не исчез, а напротив, восторжествовал, несмотря на многообразные попытки его упразднения. Попыток этих было много. Сперва надеялись, что по крайней мере в области государственной удастся восстановить дореволюционные порядки. Но опыт скоро выяснил, что основать государственный строй на главенстве духовенства и аристократии уже невыносимо. Франция была до последней степени утомлена и истощена наполеоновскими войнами, она жаждала мира и спокойствия, и тем не менее все царствование Людовика XVIII⁴ и Карла X⁵ было не чем иным, как совершенно очевидным доказа-

тельством призрачности этой надежды. Следовала попытка основать твердый государственный строй на господстве третьего сословия, но и эта попытка, как известно, не увенчалась успехом, и Наполеон III, вполне осознав ошибку своих предшественников, уже прямо провозглашает своим принципом, что только то правительство прочно, которое основывает свое влияние на благополучии народных масс. Крушение Второй империи, подобно крушению Первой, вызвано было внешними неудачами: Ватерлоо соответствует в этом отношении Седану. Теперь, когда прошло более двадцати лет со времени падения Второй империи, мы невольно удивляемся, что ее современники так плохо оценивали основную ее силу. Как бы велики ни были ошибки, совершенные Наполеоном III, основной его государственный принцип знаменовал собою несомненный прогресс сравнительно с прошлым, и только благодаря этому верному принципу Франция при Наполеоне III могла достигнуть того внешнего блеска и внутреннего благосостояния, о которых свидетельствуют ее международное влияние в то время и небывалое развитие народного богатства, выразившееся в возможности как бы шутя перенести катастрофу 1870 г. и выплатить пятимиллиардную контрибуцию. Если, тем не менее, искать причину крушения Второй империи во внутреннем положении, то мы должны будем согласиться, что демократический принцип во многих отношениях все еще оставался не вполне осуществленным. Наполеон III часто прибегал к подтасовке народной воли, не давал ей проявляться с безусловной свободой и, прибегая к плебисцитам, пускал в ход разные административные приемы, чтобы народная воля проявилась в желательном направлении. Но если подобного рода подтасовки народной воли были возможны, то только потому, что сам народ еще не дорос до вполне сознательного отношения к своим политическим правам, словом, он не умел еще пользоваться свободой, и мы, следовательно, и тут приходим к заключению, что истинная демократия возможна только там, где народ располагает просвещением и политической зрелостью.

Нет, вникая в смысл исторических событий, мы решительно не можем согласиться с тем распространен-

ным, но неверным взглядом на вещи, будто политическая борьба по существу своему исчерпывается борьбою между властолюбием и свободолюбием. Вернее формулировать основное содержание этой борьбы в смысле стремления наиболее просвещенного и влиятельного класса завладеть политической властью для обеспечения своих интересов. Уж на что французская конституция 1791 г. казалась современникам проявлением воли вполне свободного народа! А между тем вот что была эта конституция на самом деле: «Установленные конституцией 1791 г. условия свободы, равенства, общей конкуренции могли удовлетворить буржуазию, но не народ. Вот почему эта конституция была уже непопулярна в день своего обнародования. Все прения, предшествовавшие этому первому конституционному акту, сильно раздражили французских пролетариев, и тотчас же явились ораторы и писатели, которые объяснили народу, что его обманули; что он сражался, проливал кровь и взял Бастилию, чтобы доставить своим врагам политические права, при помощи которых они собирались вновь его поработить или привести, выражаясь языком самой конституции, к состоянию “пассивности”; что быть бедным при новом строе означает совершенно то же, что быть крепостным или вассалом при прежнем строе; что надо установить положительное равенство, равенство социальное; что политическое равенство было новшеством, задуманным исключительно на пользу богатой буржуазии; что только последняя находила в образовании, социальном влиянии, кредите средства выдержать конкуренцию с прежними привилегированными сословиями, превращенными в “активных граждан”, избираемых и избирателей. Таков был голос бедного люда»...

Это говорит один из наиболее беспристрастных и глубоких исследователей французской государственной жизни. Мысль его сводится к тому, что Французская революция вначале составляла только перемещение государственной власти из одного общественного класса в другой и выродилась в демагогию вследствие политической неразвитости народных масс. Следовательно, несмотря на многие различия в политической истории Англии и Франции, мы и тут, и там имеем дело с

общим явлением, именно — с постепенным переходом государственной власти от высших общественных классов к низшим; притом постоянно повторяется и то явление, что если данный класс захватывает власть раньше, чем в нем самом сложились условия, необходимые для умения пользоваться свободой, то его влияние оказывается эфемерным; кроме того, повторяется еще и то явление, что даже при существовании этих условий политическое влияние данного класса не может быть устойчивым, если он не умеет примирять своих интересов с интересами большинства населения. Только став на эту точку зрения, мы в состоянии будем верно понять и оценить политическую борьбу, происходящую в цивилизованном мире. В последнем указанном нами явлении содержится и залог устойчивости самого правительства; только то правительство может быть устойчивым, которое имеет в виду интересы большинства, которое не связывает своей участи с судьбой данного общественного класса и пользуется ими всеми для достижения общенародных целей. Тут мы в наших соображениях уже вступаем на почву практической политики, т. е. умения правительства пользоваться в данное время силами, таящимися в тех или других общественных классах, для достижения общегосударственных целей. Но если оставаться на принципиальной почве, то мы можем сказать, что только то правительство имеет шансы на продолжительное существование, которое не отождествляет интересов того или другого класса с государственными интересами, а твердо помнит основное правило политической мудрости, что государство существует для всего народа, а не для какого-нибудь отдельного класса. Во всех странах цивилизованного мира этот принцип прокладывает себе дорогу к жизни, и все крупные политические события являются в той или другой форме его проявлением. О Западе мы достаточно уже говорили, чтобы выяснить нашу мысль; в России он проявился в борьбе с удельными неурядицами, с боярами, с государственным и социальным влиянием духовенства, в упрочении и торжестве принципа самодержавия. Иван Грозный представляется нам воплощением деспотизма; но его государственная деятельность имела глубокий смысл, и, быть может, судь-

ба России была бы совершенно иная, если бы политическому влиянию боярства не был нанесен смертельный удар. Это прекрасно понимают новейшие польские историки, которые, выясняя причины падения Польши, указывают как на основную на всемогущество магнатов и слабость королевской власти.

Следовательно, мы видим, что союз между государственной властью и тем или другим общественным классом не служит неизбежно причиной внутренних потрясений, но не менее верно, что если этот союз вырождается, т. е. если государственная власть превращается в орудие данного общественного класса для достижения его сепаратных или своекорыстных целей, то политическая катастрофа раньше или позже неизбежна. Равным образом она неизбежна, если данный общественный класс, захватив государственную власть в свои руки, не располагает достаточной политической зрелостью, чтобы примирить свои сепаратные интересы с интересами общегосударственными. История Англии представляет этому бесконечные примеры; это вполне подтверждается и историей Франции, в частности же грандиозным переворотом, который мы называем Великой французской революцией. Тогда государственной властью завладела буржуазия и вынуждена была уступить ее низшим слоям городского населения. Последнее вовсе не оказалось подготовленным управлять государственными делами: возникла военная диктатура, затем последовал возврат господства аристократических и клерикальных элементов, власть снова перешла в руки буржуазии и, наконец, после целого ряда государственных переворотов, сопряженных с бесчисленными жертвами и кровопролитием, начало слагаться при Наполеоне III демократическое управление, которое развилось и упрочилось при Третьей республике. Тут только народная масса оказалась достаточно зрелой, чтобы без особенных потрясений восторжествовать над всеми попытками возврата к прошлому, проявившимися в форме демагогии во время Коммуны, монархической Реставрации при Мак-Магоне, цесаризме в лице пресловутого генерала Буланже, бесчисленных попыток пересмотра конституции со стороны радикальных элементов, стремления восстановить политическое

влияние духовенства со стороны клерикальных. В прежнее время все эти попытки удавались; теперь же они становятся столь же безнадежными, как были бы попытки английских партий возобновить период гражданских войн времен Тюдоров и Стюартов.

Можно сказать более: чем независимее была государственная власть от влияния разных общественных классов, тем реже происходили внутренние потрясения или междоусобные войны. Если в этом отношении сравнить Пруссию с Англией и Францией, то все выгоды оказываются на стороне первой. Она достигла тех же культурных успехов, не испытав и сотой доли страшных внутренних потрясений, которыми переполнена история Англии и Франции. Вообще независимость государственной власти от общественных классов более всего обеспечивает внутренний мир страны. Это явление можно проследить с глубокой древности вплоть до наших дней, и поэтому недаром в политической теории признается бесспорным принципом, что нормальное течение народной жизни вполне обеспечено только в том случае, если государственная власть стоит выше партий, какого бы происхождения они ни были — социального, экономического или религиозного.

Все нами сказанное может многим показаться политической ересью, а между тем мы напомнили читателям только основные выводы, к которым пришла государственная наука в лице таких своих знаменитых представителей, как Моль⁶, Штейн⁷, Гнейст⁸. Но беда в том, что, обсуждая политические вопросы и считая себя даже компетентными в их решении, мы признаем совершенно излишним заглянуть в серьезные исследования по государственным наукам. Это требует труда, а трудиться мы не любим, и поэтому оказывается, что мы очень легкомысленны в наших суждениях, и что выводы, давно установленные в науке, могут представляться нам парадоксальными, и наоборот, парадоксы — непреложной истиной. Мы любим говорить о либеральной партии, о либерализме; недавно мы пережили время, когда казалось — либерал и порядочный человек были синонимы. Теперь в устах многих либерал — чуть не бранная кличка; но нам кажется, что и в то время, и теперь наши понятия о либерализме были весьма смут-

ны, и что как тогда, так и теперь мы все еще стоим на давно устаревшей точке зрения конца прошлого века, времен Французской революции, когда еще всецело общество противопоставлялось правительству, когда данный общественный класс признавался носителем политической и всякой другой мудрости и свысока относился ко всем другим элементам народной жизни. Эта точка зрения привела, как к последовательному своему выводу, к систематической оппозиции, причем либералом признавался только тот, кто находился в оппозиции. Это считалось почти единственным верным признаком для причисления данного деятеля к либеральной или консервативной партии. При таком поверхностном взгляде на дело вполне понятно, что в русской жизни получился весьма потешный маскарад: так как порядочным человеком мог быть только либерал, а быть либералом — значило находиться в оппозиции, то нас обуяла страсть протестовать во что бы то ни стало. Стоит только вспомнить все это, чтобы понять, как поверхностны были наши взгляды на либерализм: одна мода сменялась другой, смотря по тому, откуда дул ветер; сознательность целей, твердость плана, понимание государственных и общественных интересов отсутствовали.

Допустим, что протест — вещь хорошая; но, тем не менее, надо же знать, во имя чего протестовать. У многих ответ готов: во имя свободы, во имя народных прав, во имя благополучия народа. Все это, конечно, должно быть нам свято, и не найдется двух просвещенных людей, между которыми тут могло бы существовать разномыслие. Но ведь и во время Французской революции свобода признавалась верховным принципом: во имя этой свободы казнили короля, казнили аристократов, затем жирондистов, а потом и всех подозрительных людей для того, чтобы в конце концов восстановить военную диктатуру. В Англии бароны, а затем общины добились дарования хартии также во имя свободы. Велика ли, однако, была свобода во время вековых междоусобных войн, господствовавших в этой стране? Значит, недостаточно желать свободы и народного благополучия, недостаточно протестовать, недостаточно даже проливать кровь за свободу: как всякое

земное благо, она дается человечеству лишь с большой затратой сил при напряженном труде, значительном уменьшении и способности ее сохранять за собой. Только очень легкомысленные люди могут думать, что завоевать свободу — значит навсегда ее обеспечить за собой.

Когда мы говорим о свободе, мы думаем о парламенте. Но и тут представления нашего общества отличаются неясностью и крайне поверхностным отношением к западноевропейскому опыту. Родина парламентаризма — Англия. Из этой страны все европейские народы через посредство Франции ознакомились с конституционным режимом или усвоили его себе. Но затем выяснилось, что французские писатели, сообщившие нам первоначальные сведения о конституционном строе, брали из английской жизни только то, что соответствовало их политической тенденции, и умышленно игнорировали многое другое. О многом же они не сообщали по незнанию с сложным английским законодательством, которое очень трудно было изучить ввиду полного отсутствия кодификации и подготовительных трудов в самой Англии. До появления в печати изумительных трудов Гнейста, т. е. до второй половины текущего столетия, никто не привел английского законодательства в систему. Брали из английской жизни только то, что лежало на поверхности, что бросалось в глаза: подобные публицисты походили на тех иностранных путешественников, которые, побывав в Петербурге, воображают, что познакомились со всей Россией. Но предоставим слово Гнейсту. «Английское административное право составляет неизвестную часть английского строя государственного. Поэтому наши конституционные теории разрабатываются без знания *законных оснований гражданской свободы*. Состав верхней и нижней палаты, активное и пассивное избирательное право, способы созыва парламента, внутренние его распоряжки, его влияние на формирование министерств занимают европейское общество со времен Монтескье. Но между парламентом и государственной властью стоит самоуправление. Общество, за исключением непродолжительных периодов энтузиазма, *никогда не умело приносить в жертву приобретенную им власть постоянным и высшим государственным задачам*. Отсюда по-

стоянные столкновения, междоусобные войны, кровопролития, которые тормозили правильный ход дел. Только благодаря самоуправлению, английское государство спаслось от катастрофы. Но это самоуправление, основанное на административном праве, оставалось долгое время в Европе неизвестным. И до сих пор значение его оценено далеко не в должной мере». Дело в том, что система английского местного управления, как столь компетентно, с такой громадной эрудицией, выяснил Гнейст, предполагает *не столько права, сколько обязанности*, и во все времена представляла школу, в которой вырабатывались административные деятели, те общественные элементы, которые несли на себе все бремя управления страной. Если они дорожили своими правами, то не только в интересах свободы, но и в интересах обеспечения благополучия страны. И вот эта система местного управления более всего обеспечила гражданскую свободу в Англии. Общественный класс, пользовавшийся социальным влиянием вследствие экономического достатка, никогда не упускал из виду, что он *обязан* трудиться на пользу общества и государства. Если он требовал прав, то нес в то же время и тяжелые обязанности. Нам нечего останавливаться на этом вопросе, так как всякому образованному человеку хорошо известно, какими умелыми и самоотверженными местными администраторами были английские мировые судьи, принимавшие на себя все бремя управления без всякого другого вознаграждения, кроме сознания исполненного общественного долга. Там, где действует такой класс общественных тружеников, существуют и необходимые условия для процветания гражданской свободы; в странах же, где граждане требуют только прав, а обязанностей никто нести не хочет, там и раз установленная гражданская свобода быстро исчезает.

Другую сторону парламентского режима оттенил весьма метко и глубоко, хотя, может быть, и против воли, горячий сторонник парламентаризма, знаменитый публицист и экономист Джон Стюарт Милль⁹. В своем известном труде «О представительном правлении» он выступает защитником представительства общественных интересов и находит, что нет иного средства организовать это представительство, как путем

создания парламента. Исходя из такого принципа, он логически приходит к выводу, что надо учредить уездные, городские, сельские парламенты и, кроме того, конечно, общегосударственный парламент. Но, как глубокий политический ум, Милль понимает, что управлять страной при помощи этой системы парламентов нет возможности, не вызывая общего хаоса, вследствие противоположности интересов и недостаточной компетентности в выборе исполнительных органов. Поэтому он говорит: «Чрезвычайно важный принцип хорошего управления в свободном государственном строе заключается в том, чтобы исполнительные органы не избирались ни самим народом, ни его представителями». Вообще собрания могут быть лишь совещательными учреждениями. «Прогресс современного общества» заключается в сознании, что парламент непригоден ни для управления страной, ни для законодательной деятельности. Вавилонское столпотворение парламентских прений до того «уродует всякий законопроект всевозможными поправками», что хороший закон становится все менее возможным. Поэтому Милль требует, чтобы все существующие законы подверглись кодификации, а новые законы разрабатывались назначаемым правительством учреждением, чтобы всякое ходатайство об издании нового закона предъявлялось этому учреждению, а дело парламента ограничивалось бы только тем, чтобы отвергнуть или одобрить выработанный закон в целом его виде. «Единственная задача представительного собрания состоит собственно только в том, чтобы определить, какой из двух или трех партий предоставить исполнительную власть, а сама партия затем уже решает, какому вождю доверить управление делами».

Таким образом, высказанная нами мысль вполне подтверждается соображениями знатока английского государственного строя Гнейста и теоретика политического строя современного общества Джона Стюарта Милля. Оба в сущности приходят к тому выводу, что та или другая политическая организация является не основным вопросом, а, так сказать, производным. Отсюда получается дальнейший вывод, что свобода обеспечивается не столько политической организацией, сколько подготовленностью большинства граждан к

управлению страной. Думать, например, что республика обеспечивает свободу, значит не считаться с фактами и с уроками истории. В древности республика мирилась с рабством подавляющего большинства граждан. В Спарте один свободный гражданин приходился на 25 рабов, в Афинах — на 4. В Средние века в республиках было по временам гораздо меньше свободы, чем в государствах с другою формой правления. Новое и Новейшее время вплоть до наших дней представляет массу разительных примеров этого рода. Конечно, французский народ при Первой и Второй республиках был гораздо менее свободен, чем английский при монархической форме правления на аристократическом основании. Испанский народ в республиканские периоды менее всего пользовался свободой; напротив, республика у него всегда совпадала с военной диктатурой. На чрезвычайно характерный пример этого рода мы указывали несколько месяцев тому назад в статье «Революция бакалавров» («Исторический Вестник», январь 1892 г.). Бразильский государственный переворот 1889 г. привел к крушению монархии и к замене ее республикой. Радикальная партия в союзе с плантаторами захватила государственную власть в свои руки, и свобода несколько не оказалась более обеспеченной; напротив, пришлось установить военную диктатуру с подавлением всякой свободы в стране: число войск более чем удвоено, число жандармов более чем утроено, и тем не менее во всей стране царствует анархия, и государство распадается.

Если встать на эту точку зрения широких исторических фактов, если внять голосу мыслителей, наиболее потрудившихся над разъяснением вопроса, какие условия обеспечивают гражданскую свободу, то мы будем далеки от чрезмерного увлечения политическими формами, от погони за мнимой свободой, устанавливаемой насильем. Желать свободы — значит желать условий, при которых она может быть обеспечена. Мы видели, что эти условия заключаются не в захвате власти тем или другим общественным классом, а в способности народа управлять самим собой. Невозможно и даже просто смешно думать, что тот, кто не умеет владеть собой, может быть свободен. Если это правило оправ-

дывается в частной жизни, то тем более оно применимо к жизни общественной и государственной. Владеть же собой — значит уметь подчинять свои слова и действия рассудку, значит по возможности ясно видеть цель и стремиться к ней всевозможными средствами. Когда в обществе таких людей много, то общественная жизнь складывается правильно, и успехи ее всегда значительны. Недаром все политические мыслители сходятся в том взгляде, что первым условием политической свободы является свобода в частной и общественной жизни. Кто нетерпим в частных отношениях, тот будет деспотом в общественных и государственных; кто ставит свою личность, свою волю очень высоко и презрительно относится к личности и воле других, тот свободолюбия не проявит, хотя бы он придерживался на словах самых либеральных убеждений. Таким образом, частная добродетель лежит в основании добродетелей общественной и политической, и как бы мы ни распинались за свободу на словах, мы будем недостойны и не заслужим ее до тех пор, пока не будем проявлять ее по отношению к тем, кто от нас зависит или с кем мы пользуемся одинаковым положением в обществе и государстве.

Все это нами постоянно упускается из виду, и вот почему наш либерализм представляется столь сомнительным и бесплодным. Ни в одной стране мира нет так мало свободолюбия в частных отношениях, как у нас в России. Нам надо много поработать над собой, чтобы русский либерализм перестал быть фразой, а превратился в дело. Не менее надо поработать и для того, чтобы покончить с целым рядом политических софизмов, с которыми мы свыклись, благодаря погоне за «последними словами» и нерасположению заручаться солидными знаниями. Очень мы желаем быть передовыми людьми и вследствие этого постоянно оказываемся людьми отсталыми. Постепенные, медленные успехи политической науки ускользают от нашего внимания. Лет тридцать тому назад мы очень интересовались политическими и социальными вопросами, схватили на лету то или другое последнее слово и носимся с ними до сих пор, забывая, что в течение тридцати лет «последние слова» давно перестали быть «последними», и что

даже тогда они уже не соответствовали действительности. Так, между прочим, мы застыли на представлении о борьбе между консерваторами и либералами, продолжаем думать, что вернее всего обеспечивают свободу те, кто умеет громче всего выкрикивать либеральные фразы, а наиболее вредит свободе тот, кто не менее громко выкрикивает консервативные фразы. А между тем стоит только с некоторым вниманием приглядеться и к нашей, и к западноевропейской жизни, чтобы убедиться, что либерализм и консерватизм, а тем более простое провозглашение либеральных и консервативных принципов, давно уже не играют той роли, какую они, может быть, играли тридцать лет тому назад. Даже так называемые либеральные и консервативные партии всюду понемногу исчезают. В Англии о виггах и тори давно уже не слышно. Консервативная партия, правда, существует, но она в иных отношениях оказывается либеральнее либералов. Виги совсем исчезли из обращения и распались на две партии: гладстоновскую и так называемых унионистов. Во Франции существуют и радикалы, и оппортунисты, и орлеанисты, и бонапартисты, и даже буланжисты, но при образовании этих партий играли роль не консерватизм и либерализм, а более реальные интересы. В Германии национальное представительство распалось на множество партий, и опять-таки все они группируются около совершенно иных интересов, чем прежний либерализм и консерватизм. Главная по численности партия — клерикалы — преследует исключительно религиозные интересы; затем следуют консерваторы, но уже далеко не в прежнем смысле защитников правительства, а как представители крупного землевладения, часто находящиеся в прямой оппозиции с правительством; либералы распались на национал-либералов, еще недавно бывших главной опорой правительства, и свободомыслящих; народилась влиятельная партия социалистов, защищающих, как известно, совершенно иные интересы, чем голое противодействие правительственным начинаниям; есть партия защитников империи, народа, польская, датская, эльзасская, ганноверская, партия антисемитическая и группа народных представителей, не принадлежащая ни к одной из существующих партий. Словом, как в

Англии и во Франции, так и в Германии народное представительство распалось согласно с преобладающими интересами данного времени на множество партий, — и все они ведут реальную политику, т. е. то примыкают к правительству, то вступают в оппозицию, смотря по тому, сочувствуют ли или не сочувствуют той или другой мере. Таким образом народное представительство является представительством *интересов* в отличие от прежде преобладавшего представительства политических *принципов*, и вместе с тем вполне оправдывается теоретическое положение Дж. Ст. Милля, что общегосударственный парламент не способен управлять страной, что прямое его назначение заключается в том, чтобы выяснять интересы отдельных групп населения, и что задача правительства состоит в объединении этих интересов соответственно благу всего народа или государства. Нечего и указывать на то, что вследствие такого положения дел, сложившегося фактически во всех государствах, излюбленный принцип либералов-доктринеров о народовластии представляется принципом весьма сомнительного достоинства. В теории этот принцип очень заманчив; на практике он почти неосуществим, если исходить из предположения, что народовластие должно обеспечить общую свободу. Уже Милль, а вместе с ним и многие другие английские исследователи избирательной системы в ее форме, наиболее подходящей к идеальному народовластию, т. е. в форме всеобщей подачи голосов, по возможности без всякого исключения, задумывались над разными системами, которые могли бы предотвратить полное подавление меньшинства большинством. Но до сих пор в этом отношении ничего состоятельного не придумано. Современные государства поставлены в совершенно иные условия, чем государства античного мира с их незначительным числом граждан, объединенных общностью политических, экономических и социальных интересов. По мере того, как эти интересы усложнялись, как возникали новые группы граждан, поставленных в различное имущественное и социальное положение, политический строй и в древности постепенно изменялся: перед ним возник вечно открытый вопрос, как создать ту политическую силу, которая доставляла бы торжество закону в

борьбе противоположных или расходящихся интересов и примиряла бы их к пользе общенародной и общегосударственной. Этот вопрос в значительной мере остается открытым и до сих пор: наиболее полно он решается в тех странах, где просвещение, а вместе с ним способность подчинять, когда это нужно, свои частные интересы общим, достигли наибольшего своего развития. Там только народовластие может считаться обеспеченным, другими словами, свобода процветает там, где каждый гражданин умеет уважать свободу других. Где этого условия нет, там для нормального течения народной и государственной жизни необходима сила, которая заставляла бы не желающих принимать во внимание интересы своих сограждан или всего народа подчиняться установленным законам.

Либерализм и консерватизм в той форме, в какой они проявлялись с конца прошлого столетия, находятся в явном упадке. Это были принципы крайне отвлеченные, можно даже сказать, метафизические. Чем более развивается наука, чем шире и глубже становится политический опыт, тем быстрее исчезают лозунги, которыми увлекались общества под влиянием теорий кабинетных людей. Реальные интересы начинают всюду одерживать решительную победу над отвлеченными принципами, не основанными на строго проверенном фактическом материале. С этой точки зрения западный либерализм и консерватизм также верно обречены на коренное видоизменение, как наше славянофильство и западничество, продукты отвлеченного мышления, метафизической философии, скорее поэтического творчества, чем трезвого разума окружающей нас действительности. Создавать на бумаге стройные политические системы — не значит еще понимать действительную жизнь; столь же мало значит понимать ее, если мы будем просто с чужого голоса провозглашать лозунги вроде народовластия, самобытности, подражания западным образцам и т. д. Когда речь заходит о народовластии, мы должны в точности спросить себя, какие элементы в состоянии им воспользоваться; в противном случае может оказаться, как выясняют столь многочисленные примеры, что мнимое народовластие превратится в господство таких общественных элементов, ко-

торые располагают наибольшею способностью подчинить себе остальные. Там, где нет государственной власти, стоящей выше отдельных общественных классов, нет и условий, необходимых для мирных реформ. Этим в значительной степени и объясняется тот бросающийся в глаза исторический факт, что социальная реформа, потребовавшая самых значительных жертв со стороны господствовавших классов общества, совершилась наиболее мирно в государствах, пользовавшихся наименьшею политической свободой*. Мы говорим об освобождении крепостных и рабов. Теперь всем цивилизованным странам предстоит решение другого, во многих отношениях не менее трудного вопроса, именно — как приобщить освобожденные народные массы прочным образом к цивилизации, благами которой мы пользуемся. И тут нарушение весьма существенных интересов неизбежно. Пролетариат — фабричный, городской, сельский — должен исчезнуть. Это непреложное требование времени во всем цивилизованном мире. Народилась таким образом новая первостепенная задача, имеющая очень мало общего с прежними основными стремлениями либералов и консерваторов. Если тут идет речь о свободе, то в совершенно ином смысле, чем прежде. Надо создать имущественные отношения, обеспечивающие мирное развитие народной жизни, несмотря на существование парламентаризма или даже вопреки ему. Что это так, видно из того факта, что рабочий вопрос угрожает всем странам, какова бы ни была их форма правления. И тут политическая свобода может оказаться плодотворною только в том случае, если население умеет ею пользоваться, т. е. если оно способно нести необходимые жертвы для обеспечения общенародных интересов. Если же этого условия нет налицо, то должна существовать сильная государственная власть, независимая от разных общественных классов, для того, чтобы провести эту реформу твердо, последовательно, без нарушения внутреннего спокойствия, и не поставленная в необходимость прибегать к внешней войне, чтобы отвлечь внимание от грозного

* Стоит только сравнить Францию, Соединенные Штаты, Россию и Бразилию, чтобы в этом убедиться.

внутреннего вопроса. С этой точки зрения весьма любопытно для нас и царствование молодого германского императора, старающегося решить рабочий вопрос в этом направлении. Вдумываясь в германские события, мы воочию убеждаемся, что с прежними понятиями о либерализме и консерватизме нельзя себе уяснить смысла политических событий. Германское правительство не угождает ни либералам, ни консерваторам; его деятельность невозможно оценить ни с либеральной, ни с консервативной точек зрения, потому что основная цель, которой оно добивается, является целью, не имеющей ничего общего с отживающими свое время отвлеченными принципами: она всецело коренится в реальном требовании времени, в вопросе о том, как практическими средствами прийти на помощь обездоленным современного общества, как устранить последствия господствовавшего в течение веков социального и имущественного неравенства. Плохую услугу оказывают своему отечеству те немцы, которые, дорожа общенародным благом, тем не менее вступают в борьбу с правительством, полагая, что необходимые реформы могут произвести только они сами, или требуя всего, когда осуществление и незначительной части их требований наталкивается почти на непреодолимые препятствия со стороны рейхстага. Между тем такого рода оппозиция — очень распространенное явление не только в Германии, но и в других странах, и объясняется она ложно понятым либерализмом, в сущности озабоченным вовсе не делом, не достижением положительных целей в народной жизни, при помощи всех существующих лиц и средств, а желанием захватить власть в свои руки, чтобы по-своему и весьма часто с выгодой для себя управлять государственными делами с подавлением свободы своих противников. Этого рода либерализм встречается, к сожалению, еще нередко, как нередко встречается и консерватизм, выдающий себя за защитников общегосударственных интересов, а в сущности преследующий своекорыстные цели. У нас, в России, таких либералов и консерваторов, быть может, больше, чем где-либо. Они составляют язву нашей общественной жизни и могли народиться у нас в таком обилии потому, что само общество требовало от своих руково-

дителей не разъяснения фактических условий для достижения положительных целей, а провозглашения громких лозунгов. В числе последних одно из главных мест занимало так называемое народовластие, которое в сущности сводилось к перемещению власти в сторону тех, кто его требовал. Приведенные нами справки, исторические и научные, быть может, убедят читателя, что в наступающем столетии под либерализмом будут понимать нечто совершенно иное, чем в XIX веке. Чрезмерное пристрастие к форме всюду заменяется вдумчивым отношением к содержанию, создающему те или другие формы. Наука и опыт в равной мере убеждают, что данная политическая организация далеко не равносильна обеспечению свободы. Так, например, парламентаризм, как мы видели, не избавил ни Англии, ни Франции от вековых потрясений и страшного кровопролития; республика, с другой стороны, не всегда являлась синонимом свободы, иногда наоборот, порожидала страшный гнет. Мало того, чрезмерное пристрастие к политическим формам нередко тормозило успехи свободы. Яркий пример этого рода представляет наше отечество. Теперь, на расстоянии четверти века со времени великих реформ прошлого царствования, мы, умудренные горьким опытом, прониклись объективным сознанием, что если бы мы не так сильно дорожили политическими формами, если бы мы не требовали всего, когда нам было дано так много, если бы мы направили все наше внимание на то, чтобы зрелой и выдержанной деятельностью навсегда закрепили за собой достигнутое, то мы вернее послужили бы делу свободы, чем систематической оппозицией, злобным брюзжанием и бесконечными протестами. Кому мы служили этой оппозицией: народу или самим себе? Тяжелое положение нашего крестьянства дает на этот вопрос печальный ответ. К тому же сознанию приходит просвещенное общество и в других странах. Надо во что бы то ни стало поднять уровень духовного и материального благосостояния народа, — вот требование, вытекающее с непреложной силой из вынесенного нами в XIX столетии опыта. Только те страны, которые вняли или внимают этому требованию, верно обеспечивают за собой гражданскую свободу, а успешное и быстрое исполне-

ние этого требования возможно только при помощи всех исторически сложившихся сил и средств. В исходе XIX столетия мы яснее, чем когда-либо, видим пропасть, разделяющую интеллигенцию и народ, чувствуем, что мы по большей части только прикрываемся народным знаменем, а служим в сущности самим себе. Поэтому либерализм должен видоизмениться, и главная его задача будет отныне не протест, а компетентная и выдержанная деятельность, направленная к поднятию уровня народного благосостояния. Таков будет, по нашему разумению, новый либерализм, — либерализм XX века.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Сементковский Ростислав Иванович (1846–1919) — писатель*. Род. в дворянской семье. Окончив курс в СПб. немецком Петропавловском училище, поступил на юридический факультет СПб. унив., был оставлен при унив. по кафедре полицейского права и, выдержав экзамен на степень магистра, в начале 70-х годов читал некоторое время лекции государственного права в училище правоведения. С 1873 г. специально посвятил себя публицистической деятельности, сначала в «Новом Времени» ред. Трубникова, затем в «Финансовом Обозрении», «Биржевой Газете», «Телеграфе», «Новостях», где в 1880–1890 гг. вел иностранный отдел. В 90-х годах является деятельным сотрудником «Ист. Вестн.» и «Нивы», где ежемесячно помещает критические заметки под заглавием «Что нового в литературе». С 1897 г. состоит редактором «Нивы». Ряд статей С. помещает также в «Русской мысли», «Наблюдателе», «Вопросах философии и психологии», «Неделе» и др. Человек очень разностороннего образования, С. писал статьи по вопросам государственного права, политической экономии, внешней политики, философии, эстетики, критики, истории литературы и, кроме того, напи-

* Брокгауз Ф. А., Эфрон И. А. Энциклопедический словарь. СПб., 1900. Т. XXIX. С. 437.

сал несколько беллетристических произведений. В отдельном издании появились: «О влиянии золотых пошлин на наше сельское хозяйство» (1876), «Польская библиотека» (1882), переводы и статьи по польскому вопросу, «В ожидании войны» (СПб., 1887), «Девичьи сны» (1888, 2-е изд., 1897, повесть), «Евреи и жидаы» (1890, 2-е изд., 1897, повесть), «Наш вексельный курс» (1892). Для «Биографической библиотеки» Павленкова С. написал биографии Бисмарка, Дидро, гр. Канкрин, Кантемира и Каткова (к обращению в публике не допущена). В 1871 г. вышел его перевод «Науки о полиции» Роберта Моля. Под редакцией и с вступительными этюдами С. появились книги: Бутса «В трущобах Англии» (1891), Буажильбера «Крушение цивилизации» (1891), Карно «История Французской революции» (1893), Маркса Нордау «Вырождение» (1894), Леруа-Болье «Евреи и антисемитизм» (1894), Лакомба «Социологические основы истории» (1895), Крживицкого «Антропология» (1896), Полана «Психология характера» (1896), Милля «Представительное правление» (1897), Прэнса «Организация свободы» (1897), Кейра «Характер и нравственное воспитание» (1897) и др. К «Собранию сочинений Лескова» (1897) приложена вступительная статья С. Сторонник умеренно-прогрессивных начал, С. — враг партийных крайностей и одинаково резко выступает как против Каткова, так и против идей 60-х годов. В противовес широким программам последних, он прищипывает к теории «маленьких дел», как лучшего способа обоснования русской культуры на прочном, практически осуществимом фундаменте. С. — сторонник самой широкой терпимости по отношению ко всем народностям, входящим в состав русского государства, но вместе с тем он придает большое значение задачам укрепления русского престижа и внешнего могущества России. Он один из первых (еще в конце 70-х годов) высказал мысль о франко-русском союзе, которую с особенною настойчивостью проводил в политическом отделе «Новостей» и в отдельно изданной, под псевдонимом Ратов, книге «В ожидании войны». Книга тотчас была переведена на французский язык и привлекла к себе большое внимание как французской, так и (очень враждебное) немецкой печати.

ПРИМЕЧАНИЯ

Статья «К истории либерализма» печатается по изд.: Сементковский Р. И. К истории либерализма // Исторический вестник. 1893. Т. LI. Февраль. С. 481–501.

¹ *Робеспьер Максимилиан* (1758–1794) — деятель Великой французской революции.

² *Эдуард I* (1239–1307) — английский король с 1272 г. из династии Плантагенетов.

³ *Наполеон I Бонапарт* (1769–1821) — французский император с 1804 по 1814 г. и с марта по июнь 1815 г.

⁴ *Людовик XVIII* (1755–1824) — французский король в 1814–1815 и 1815–1824 гг.

⁵ *Карл X* (1757–1836) — французский король в 1824–1830 гг.

⁶ *Роберт фон Моль* (1794–1875) — известный немецкий юрист.

⁷ *Штейн Лоренц* (1815–1890) — немецкий юрист, экономист и социолог.

⁸ *Гнейст Рудольф* (1816–1895) — немецкий юрист и политик.

⁹ *Милль Джон Стюарт* (1806–1873) — английский философ, экономист.

М. М. Ковалевский

УЧЕНИЕ О ЛИЧНЫХ ПРАВАХ

Подобно другим вопросам так называемого общего государственного права, и подлежащий нашему рассмотрению отразил на себе влияние противоречивых учений о природе верховенства или суверенитета. Со времен Бодена, т. е. с XVI в., упрочился доселе разделяемый немецкими учеными взгляд на неограниченность власти, какой государство располагает по отношению к своим подданным.

Никто, помимо его самого, не может быть судьей границ своих полномочий, учит в наши дни известный гейдельбергский проф. Йеллинек, воскрешая тем самым знаменитое положение Томаса Гоббса, современника Кромвеля и первой английской революции.

Против этой доктрины в лагере более французских, чем немецких писателей еще раздается по временам слабый протест, принимающий обыкновенно форму запоздалых ссылок на право, зарожденное в разуме и сердцах людей, право, данное им от природы, право естественное. Как первичное, оно не допускает существования рядом с ними других прав, кроме производных. Неограниченность государственного суверенитета при нем немыслима. Государство располагает лишь теми правами, какие необходимо было вверить ему в интересах конечного естественного закона.

Обе теории, одинаково априорные, а по тому самому — односторонние и ложные, определили собою характер и господствующих учений о природе личных прав. Та доктрина, которая отправляется от признания, что суверенитет государства беспределен, очевидно, не может допустить существования у граждан других прав, кроме созданных государством. К этому сводится в

конце концов учение Йеллинека, который видит в конституции и провозглашаемых ею индивидуальных вольностях или субъективных правах продукт добровольного самоограничения государства. Никакая конституция для государства не обязательна, а с нею падают и обеспеченные ею права личности.

Иначе смотрят на дело последние эпигоны распространенной в XVIII в. доктрины естественного права. По их мнению и в полном соответствии со взглядами Джона Локка, как созданное в интересах защиты врожденных человеку права свободы и собственности, государство не может поднять на них руку, а его верховенство является по отношению к ним ограниченным. Личные права имеют независимый от государства источник и так же мало могут быть созданы, как и отменены исходящим от него законом.

Между этими двумя резко противоположными точками зрения есть место для третьей. Она состоит в признании, что право и государство вытекают из одного источника, преследуют одну задачу, отвечают одной и той же потребности — человеческой солидарности. Требования, какие последняя предъявляет в разное время, изменчивы и непостоянны. Они предполагают, смотря на обстоятельства среды и личной подготовленности индивидов, входящих в состав государства, то большую самостоятельность с их стороны, то большую опеку над ними. Отсюда расширение или, наоборот, сужение индивидуальных прав, в прямом противоречии с сужением или расширением пределов государственного вмешательства.

Точка зрения, которая видит в праве, в том числе и конституционном, одно создание государства, очевидно, допускает возможность полного упразднения индивидуальных гарантий в интересах целого. Народное спасение, или государственная необходимость со времен древних признавались оправданием всякого произвола правительства по отношению к подданным. В таком оправдании отказывает государству защищаемая нами точка зрения; она не допускает противоречия между государством и правом и видит в первом выполнителя требований последнего. Государство не может поэтому, в интересах самосохранения, упразднить лич-

ные права, так как признание их является таким же требованием общественной солидарности, как установление самого факта государственного общежития. С другой стороны, признание общего источника и права, и государства, и их тесного взаимоотношения делает совершенно праздными рассуждения о каких-то прирожденных людям правах, которыми они пользовались якобы в каком-то естественном состоянии и от которых они отказались только наполовину при создании государства. Сравнительная история права заменила несуществующую категорию естественного состояния родовым бытом, в котором права личности, как и в государственном состоянии, но с несравненно большим трудом, уживаются с общим и ежечасным контролем не только со стороны старейших, но и со стороны всей совокупности родственников.

Место положительного закона занимает несравненно более проникающий в сферу частной инициативы обычай. Он регулирует то, чему каждый, под страхом быть извергнутым из рода, должен верить и чему не верить, и что каждый, под страхом такого же последствия, должен делать и не делать в своих отношениях с родственниками. Но за границами рода, по отношению ко всем так называемым чужеродцам, свобода самоопределения личности более или менее неограниченна; я говорю: более или менее, так как ничем не сдерживаемое насилие при системе солидарной ответственности могло бы повлечь для рода невыгодные последствия, которых он и старается избежать, извергая из своей среды частных нарушителей спокойствия в сфере межродовых отношений. Насколько государство древних сохранило в себе черты этих родовых порядков, настолько о нем и можно говорить как о подчиняющем личность обществу, или, как выражался еще Бенжамен Констан, как о поглощающем ее в интересах целого. Нет, поэтому, ничего удивительного в том, если сфера гражданской деятельности более стеснена в древнейший период римского и афинского государства при сравнительно большей политической свободе, нежели в позднейшую эпоху при значительном упадке этой свободы. Видимое противоречие разрешается очень просто: родовые основы быта, еще крайне прочные в начальный период

древнего государства, расшатываются и падают в позднейшую эпоху его существования.

Фюстель де Куланж прав поэтому в общем понимании им так называемого античного государства, или *city antique*; но он ошибочно объясняет его основами явления позднейшего порядка, ничего не имеющего с ними общего, как, например, столкновения, пережитые римскими партиями в эпоху Мария и Суллы, эпоху, когда преторским эдиктом и толкованиями юристов уже были признаны начала индивидуализма в сфере гражданских отношений. Те самые причины, по которым античное государство в большей мере стесняло собою личность, чем современное, объясняют нам и меньшую свободу самоопределения индивида в древнегерманском, например, франкском обществе, несмотря на уцелевшие в нем обломки вечевых порядков. Родственная солидарность, сказавшаяся в общем преследовании нарушителей интересов родовых групп, налагала на их членов ежечасные обязанности по отношению к этим группам, а это связывало свободу самоопределения личности в гораздо большей степени, чем в современном государстве. Ошибка анархистов и состоит в том, что они рисуют себе догосударственное состояние более или менее в том виде, в каком представлял его себе Руссо, сомневавшийся, однако, не менее их в том, чтобы оно когда-либо существовало. Когда взамен этого естественного состояния и подчиняясь очевидности самого факта существования до государства родовых порядков, Эли Реклю¹ или Кропоткин² пытаются нарисовать картину отношений, лишенных еще центрального руководства публичной власти, они видят только одну сторону их: проявление общественной солидарности, и закрывают глаза на те последствия, которые для индивида вытекают из такого широкого понимания ее требований. Если принять во внимание, что этот последний не может ни вступить в брак, ни разойтись с женой, ни простить ей измены иначе, как следуя во всем родовому обычаю, постоянно приносящему в жертву его личные чувства интересам целого, то можно будет усомниться в том, чтобы родовая среда была той сферой неограниченной независимости личности, какой рисуют себе догосударственное состояние сторон-

ники упразднения государства. В действительности государство, в своей постепенной эволюции, представляет непрестанное расширение сферы индивидуальной самодеятельности. Вот почему и сумма так называемых личных прав постепенно возрастает, как мы будем иметь возможность убедиться в этом при изучении данных положительного законодательства по вопросу об индивидуальной свободе в ее разнообразнейших проявлениях. Нам легко будет представить доказательства того, что в прошлом допускались государством только некоторые проявления этой свободы, и притом в таких границах, которые делали почти невозможным выражение ее в каких-либо актах. Наоборот, с момента упрочения так называемого правового порядка государство, нимало не отказываясь от роли проводника культурных начал в общество и поэтому расширяя даже сферу своего контроля за личностью,— в вопросах ли общественной гигиены, или в других, выдвинутых поступательным развитием знания,— в то же время предоставляет ей возможность свободного проведения своих требований до момента, когда эти требования входят в коллизию с интересами общества и принимают форму нарушения установленного им права. Другими словами, государственная опека над личностью носит характер не столько предупреждения, сколько пресечения; полицейская ответственность заменяется судебной. Эта точка зрения выступила бы с большей очевидностью, если бы мы рассмотрели в отдельности развитие законодательства по вопросам о личной свободе, свободе совести, свободе печати, свободе сходов и ассоциаций и т. д. Мы сделаем это в нашем дальнейшем изложении, но пока, чтобы не быть голословным, укажем на такие, например, факты, как существование в полицейском государстве у правительственных агентов права нарушать спокойствие домашнего очага в интересах предупреждения преступлений обысками, вскрытием частной корреспонденции, административными ссылками и т. д. Наоборот, в правовом государстве господствует принцип, так картинно выраженный лордом Чатамом: жилище каждого есть нерушимая твердыня, в которую сам король не может проникнуть без согласия живущих в ней. Это начало ни-

сколько не устраняет ни судебной ответственности лиц, нарушивших установленный порядок, ни прав общества обезопасить себя от подобных же нарушителей в будущем. Судебная ответственность в правовом государстве проводится даже с несравненно большей широтой и последовательностью хотя бы уже потому, что она существует для всех одинаково: для правительственных агентов, как и для их подвластных.

Возьмем, с другой стороны, свободу совести. В XVI и XVII вв., когда впервые поставлен был в области законодательства вопрос о ее признании, самые смелые требования не шли далее заявления, что свобода самоопределения должна быть признана во «внутренней области», т. е. в сфере мышления, в смысле свободы верований и желаний, но не во внешней области, в сфере активного осуществления этих верований и желаний — путем публичного культа и определенной церковной организации. В настоящее время обе сферы одинаково открыты свободному самоопределению личности, но под условием не нарушать требований общественного порядка и охраняющего их права.

Перейдем к выражению мыслей в печати. Система предупредительных мер, как-то предварительная цензура, требование залога от издателей и т. д., сменилась правом привлекать к суду за всякую обиду и за всякое нарушение охраняемых законом личных интересов. Преследование может быть направлено против каждого, кто причинил эти обиды или нарушил эти правоинтересы с помощью печатного станка. Сфера судебной ответственности даже расширяется по мере того, как исчезает привычка самосуда, вызванная недоверием к деятельности государственных судов и выражавшаяся в тайных расправах (*Vehmgerichte*), в самосуде или линче, наконец, в дуэли. В этом отношении характерно различие английских и французских привычек. В Англии, где благодаря исконной несменяемости судей последние пользуются безграничным доверием и почетом в обществе, самосуд в форме дуэли давно не находит общественного признания. Потребовать возмещения вреда и убытков за личное оскорбление, нанесенное путем печати, в Англии покажется столь же отвечающим правовому сознанию нации, сколько во Фран-

ции — несовместимым с честью, требующей якобы решения дела с помощью частного поединка.

Возьмем свободу сходок. Законодательство о них начинается с требования, чтобы два-три лица не смели без спросу сходиться на улице или в местах публичных собраний, а завершается судебной ответственностью одних только лиц, нарушивших на сходках общественный порядок.

О параллельной эволюции права петиций — слово, для которого на русском языке нельзя найти другого подходящего термина, кроме «челобитий» — термина, освященного нашим историческим прошлым, — можно судить по тому, что на первых порах запрещено было предъявление их иначе как за подписью определенного законом числа подателей и непременно в установленные правительством учреждения. Право петиций признавалось и кое-где еще признается даже исключительной привилегией известных сословий, а не общей гражданской вольностью. Некоторые предметы изъяты из его сферы; челобитчик не должен касаться изменения существующих общественных и политических порядков, самое поднятие о них речи в челобитьи приравнивается к преступлению. Современное государство отказывается постепенно от всякого ограничения определенной цифрой числа лиц, подписавшихся на петиции: оно признает за каждым право высказывать в петициях свои верования и желания по любому вопросу и в сообществе с любым числом одномыслящих с ним людей. Петиции, скрепленные тысячами подписей, дозволены не менее массовых митингов. И чем значительнее число лиц, высказавшихся в пользу известного требования, тем больше вероятия имеется, что это требование будет принято во внимание народным представительством и вышедшим из его среды министерством. Так называемая «платформа», т. е. письменный документ, выражающий собою желание массовых митингов, приобрела в наше время значение одного из деятельных факторов в изменении существующих основ законодательства, общественного и политического порядка.

Но это обстоятельство нисколько не мешает привлечению петиционеров к судебной ответственности в слу-

чае нарушения ими в тексте их петиции охраняемой государством чести граждан. Если произвольное даже число лишь вздумает в своем челобитьи возвести на то или другое лицо — будет ли им правительственный агент или обыкновенный подданный государства, — обвинение в несуществующем поступке или преступлении, этому лицу всегда открыта возможность привлечь виновников к суду, и, доказав ложность обвинения, потребовать от них возмещения вреда и убытков, причиненных ему их диффамацией или клеветой. Проводимая здесь точка зрения может найти проверку на любом вопросе, в котором интересы целого входят в столкновение с интересами свободы или самоопределения личности. Возьмем, например, то, что привыкли называть термином свобода печати. Она, очевидно, не более как выражение более общего начала, свободы труда, которая, в свою очередь, есть одно из проявлений свободы личности. За границами правового государства свобода стачек не признается; но не допускающие ее правительства в то же время не пожелают нести ответственности перед общественным мнением за непризнание ими свободы труда. Они, напротив, выдают себя за ревнивых охранителей этой свободы против тех, кто якобы нарушает ее, и чем же? Силою убеждения. Еще на моей памяти склонение к стачке неучаствующих в ней рабочих наказывалось, и где бы вы думали? В самой Англии, причем законодатель считал себя, ввиду этого, ревнителем свободы труда. Точка зрения правового государства — государства, являющегося таковым на деле, а не по имени только, — и на этот раз сказывается в замене предупреждения пресечением. Едва сила убеждения сменится физическим насилием, возникает основание требовать вреда и убытков, и суд призывается к восстановлению нарушенного права.

Из сказанного ясно, что в наших глазах гарантией признания так называемых личных прав является возможность призыва в суд всякого, кто бы он ни был, причиняющего вред и убытки своими действиями, не согласными с законом. Основу личных прав составляет таким образом судебная ответственность, ответственность как частного лица, так и чиновника, ответственность всех и каждого, от мала до велика, кто с добрыми

даже намерениями превысил бы предоставленные ему законом правомочия. Понятно поэтому, что я буду считать личные права более обеспеченными в такой стране, как Англия, — где нет, по крайней мере в наши дни, никакого письменного акта, их перечисляющего, но где правительственный агент в такой же мере, как и простой гражданин, призывается к ответу перед одним и тем же обыкновенным судом за превышение власти, как и за нарушение частных прав, — нежели в наполеоновской Франции, в которой Конституция заключала в себе, правда, особую Декларацию прав человека и гражданина, но, в силу той же Конституции (в силу знаменитого 75 параграфа), нельзя было суду рассмотреть жалобы на чиновника без предварительного разрешения Государственного совета.

Следует ли из сказанного, что всякое формальное обещание, принятое законодателем, не посягать на личную свободу и другие вольности граждан, кажется мне не только ненужным, но и вредным? Ничуть не бывало: есть такие моменты в народной жизни, когда происходит перелом в ее направлении, когда новое становится ребром к старому и полезно бывает напомнить, что старое отошло в область прошедшего. В такие моменты декларации прав имеют свое основание. И вот почему я не могу согласиться с той критикой, какой подвергает Бентам известную французскую Декларацию прав человека и гражданина, забывая, что задолго до Французской революции его соотечественники не раз обращались к такой же записи завоеванных ими вольностей, начиная с Великой хартии 1215 г. и оканчивая Биллем о правах 1689 г. Бентам — не один противник Декларации прав человека и гражданина: ранее того момента, когда, в известном сотрудничестве с Дюмоном, он объявил провозглашенные ею начала анархическими софизмами, его соотечественник, известный Бёрк³, уже поднял клич против Конституции 1791 г., главным образом ввиду вошедшей в ее состав Декларации прав. В наши дни Карлейль⁴ более или менее повторил нападки обоих писателей, вышучивая деятельность французских учредителей, декларирующих мнимые вечные истины для всех народов земного шара. Какие же опасности представляет собою, по мне-

нию этих писателей, акт, объявляющий те или другие вольности предшествующими во времени положительным законам и превосходящими их в достоинстве? Серьезное, что я нахожу в их критике, лежит в том, что основы правильного государственного сожития изменчивы, так как подчинены общему ходу развития нашего самосознания и нашей культуры, что настоящее поколение не вправе навязать грядущим неизменных и неизменных устоев. Но это сводится только к требованию, чтобы учредительные законы, к числу которых относятся и всякие декларации прав, и заключающие их конституции, не выделялись произвольно из ряда других законов, изменить которые вправе самодержавный народ и уполномоченные им законодатели. Это вовсе не значит, чтобы декларация прав, перечисляющая завоеванные народом вольности, напоминающая ежечасно о том, из-за чего загорелась борьба и что достигнуто было победой, не способна была сделаться надежным средством для обеспечения новым порядком той поддержки общественного мнения, без которого им трудно было бы обойтись, не имея на своей стороне традиций унаследованных привычек, создаваемого одним временем «легитимизма». Декларации прав находят, таким образом, свое оправдание в обстоятельствах времени, среди которого они возникли. Но с наличием или отсутствием декларации нимало не связан вопрос о признании или непризнании личных прав. Что в том, если законодатель объявит в тексте конституции, что я не могу быть задержан иначе, как в силу специального приказа об аресте и на достаточном основании, если в то же время конституцией будет удержано право давать или не давать согласие на судебное преследование задержавшего меня произвольно правительственного агента, если в той же конституции или в отдельных законах будет признана возможность временной отмены личных гарантий по случаю провозглашения военного положения, большого или малого? Все это — явления, которые не придуманы для целей аргументации, а которые целиком взяты из жизни, из векового опыта приостановки действия так называемого Habeas corpus в пределах Британской империи, в частности в Ирландии, где, как показано между про-

чим в книге Вл. Дерюжинского, временные отмены законодательства о личном аресте становились настолько частыми, что трудно было не считать их в течение целых годов общим правилом. В Декларации прав многие, по преимуществу заграничные, публицисты не раз хотели видеть своеобразное проявление французского формализма и французского пристрастия к дидактике. Деятелей Учредительного собрания, как и деятелей Конвента, обвиняли и обвиняют в увлечении громкими и, в сущности, пустыми фразами, пышными по виду, бедными по содержанию, фразами о прирожденности равенства и свободы, о сидящем в недрах нации верховенстве и т. д. и т. п. Но такие же фразы, например о праве людей на жизнь и на счастье, можно встретить и в американской Декларации независимости. Те, кто прибегал к ним, были, однако, людьми практически-ми, а не ревнителями отвлеченных начал модной в их время политической философии Руссо. Фразы, которые нам кажутся пустыми и бессодержательными, в то время, когда они впервые были написаны, выражали собою социальное и политическое кредо народных масс. В устах американцев 70-х годов XVIII века право на жизнь и счастье означало нечто вполне практическое: оно было равнозначительно с желанием обеспечить благо собственных граждан и собственной родины, а не отдаленной метрополии, к выгоде которой направлено было и произвольное обложение американцев поборами, и вынужденный отказ их от свободы самоопределения как в политической, так и в экономической сфере. Точно так же для деятелей Учредительного собрания, как и для членов Конвента, внесших лишь слабые изменения в текст Декларации прав, заявление, что люди рождаются свободными и равными в правах, означало нечто весьма положительное, а именно: отмену сословных различий и монополий и конец правительственному произволу, а провозглашение нации верховной было равносильно переносу в руки народа той свободы самоопределения, которая дотеле признавалась за одним только королем. Оно означало конец правительственной опеки, автономию личности и общества. Немецкие публицисты весьма узко понимают задачи, какие ставили себе обвинители Франции: для

профессора Йеллинека⁵, например, Декларация прав человека была только снимком с однохарактерных актов, включенных американцами в текст их Конституции. Никто более меня не склонен говорить об американофильстве людей 1789 г., но с той оговоркой, что оно уживалось у них с англomanией и что обе тенденции носили на себе отпечаток действительных нужд и потребностей самой французской нации. И в Англии, и в Америке французы находили то, что было самим им на потребу: они открывали в них конец произволу сверху, самоуправление обществ, отсутствие сословий и связанных с ними монополии и привилегий, крушение всяких преград для самостоятельного развития личности. Эти начала в такой же степени, как в Англии и Америке, отстаивались французскими мыслителями, из которых многие, по всей вероятности, никогда не имели перед глазами текста американских конституций и деклараций. Монтескье и Руссо, равно и их предшественники, начиная от Спинозы и Локка и оканчивая Жюссье, провозглашали те самые принципы, которые нашли себе полное и частичное применение по ту сторону Ла-Манша, или в заокеанических владениях Англии. Политическая мысль этих писателей в свою очередь сложилась под влиянием векового опыта у древних и новых народов. Всякий раз, когда та или другая нация отказывалась от так называемых «необходимых» вольностей, от участия в решении собственных судеб, она сама становилась жертвою насилия и произвола бюрократии, а составляющие ее граждане — бесправными подданными так называемого полицейского, т. е. чиновничьего государства. Когда в XIII веке англичане впервые редактировали тот прототип всяких деклараций, каким надо считать Великую хартию вольностей, они не видели другого средства порвать с произволом правительства, кроме тех же гарантий личности, какими озабочены были в 1789 г. деятели французского Учредительного собрания. Недаром же на протяжении веков демократическая партия, вызванная к жизни первой английской революцией и известная современникам под названием левеллеров или уравнителей, воспроизводит на своем знамени ту же Великую хартию и обеспеченные ею права свободно рожденного

англичанина. Составленный одним из ее вожakov Джоном Лильберном манифест под заглавием «Соглашение английского народа» («Agreement of the people of England») является таким же отвлеченным политическим катехизисом, каким англичане не прочь признать Декларацию прав человека и гражданина. Он не меньше ее выражает, однако, действительные запросы гражданства. Говорить о том, что французы списали свою Декларацию с американских образцов, так же бездоказательно, как говорить о заимствовании ими начал, провозглашенных Лильберном в его Соглашении. Профессор Бутми, анализируя виргинскую Декларацию прав, более других признаваемую Йеллинеком за прототип французской, на каждом шагу показывает ее существенные отличия от последней. Каждый из двух документов отразил в себе и психический образ их составителей, и печать времени. Но, в свою очередь, профессор Бутми неправ, когда в противовес Йеллинеку старается доказать согласие Декларации 1789 г. с основным учением Руссо. Как бы противоречиво ни было последнее, несомненно, однако, что оно не отправляется от признания неотчуждаемых личных прав, а наоборот, от факта их отчуждения в руки народа в момент создания государства. Последнее может, конечно, оставить людям, и согласно доктрине Руссо, известную свободу самоопределения; но никто, как само государство, не является судьей того, где именно должна быть проведена граница между его всевластием и автономией личности. Теория неотчуждаемых прав, признание которых обязательно для государства, идет, разумеется, не от Руссо, а от Локка и его ближайших предшественников, английских уравнивателей середины XVII века. Она не вяжется с учением о неограниченном суверенитете нации, как последнее, в свою очередь, не согласно с провозглашаемым Декларацией и взятым ею напрокат у Монтескье принципом разделения властей. Но все эти с трудом уживающиеся рядом начала — только отражение той общей политической доктрины, которая сложилась к эпохе Французской революции и в которой искусственно примирены были английский конституционализм и американская демократия, черты готической монархии с присущим ей разделением

плостей между сословиями и неограниченность народного верховенства. Профессор Эмен, а за ним некоторые русские и французские исследователи, поставили мне в вину нежелание, по примеру Тэна, видеть во французском обществе 1789 г. одновременно два противоречивых течения: одно — идущее от Монтескье, другое — считающее своим родоначальником Руссо. Я продолжаю думать, что оба течения слились в одно целое и потекли одним руслом. Только этим и можно объяснить внутренние противоречия таких актов, как Декларация прав человека и гражданина, — противоречия, не замеченные ее ближайшими родственниками, но которые невольно бросаются в глаза каждому, кто попытается возвести провозглашенные ею начала до их первоисточника. Если, таким образом, Декларация прав должна считаться отражением установившейся к концу века политической доктрины, то ничто, однако, не мешает нам признать, что мысль о ее составлении была примером американцев. В самой Америке декларации прав возникли четверть века ранее, а именно — в 1776 г., под влиянием отпадения от Англии и необходимости соответственно реформировать учреждения, обращая их из монархических в республиканские. В течение одного 1776 г. четыре штата: Виргиния, Пенсильвания, Мэриленд и Северная Каролина — предложили своим вновь принятым конституциям особые билли о правах, более напоминающие своим содержанием французскую Декларацию прав человека и гражданина, чем знаменитый акт, которым английский парламент, вслед за второй революцией в 1689 г., счел нужным закрепить свои победы над самовластием монарха. К упомянутым четырем штатам, введшим в состав своих конституций особые перечни личных прав и вольностей, присоединяются в ближайшие два года еще два, Вермонт и Делавэр, в 1780 г. — Массачусетс, а в 1783 г. — Нью-Гэмпшир*. Ранее других задалась во Франции мысль о подобной же Декларации избиратели некоторых губерний, или «генералитетов», в том числе Немурского и Парижского. В наказе первого, в

* *Иеллинек*. Декларация прав человека и гражданина. СПб., 1902. С. 25.

составлении которого участвовал знаменитый физиократ Дёпон⁶, знакомый с содержанием американских биллей о правах, как и в наказе одного из округов столицы, мы находим уже образцы такого перечня существенных и неотъемлемых прав человека и гражданина: Учредительному собранию оставалось только последовать этому примеру. В самом Собрании предложение вышло от Лафайета⁷, и в этом обстоятельстве Иеллинек видит доказательство тому, что французы, как он выражается, вознамерились скопировать американцев. Совершенно справедливо Бутми отвечал на такое заявление, говоря, что в речи, произнесенной по этому поводу Лафайетом, последний ни единым словом не обмолвился насчет того, что примером для него служат американские билли о правах. Об этом заходит речь только впоследствии, в мемуарах франко-американского героя, написанных много лет спустя. Но чего Бутми не отметил, это то, что в числе лиц, говоривших в пользу составления Декларации прав, был известный епископ Бордо и будущий министр Учредительного собрания де Сиссэ. В речи же последнего прямо говорится о том, что пример таких деклараций пришел французам из-за моря. «Эта благородная мысль, возникшая всего ранее в другом полушарии,— говорит в своем обращении к членам конституционного комитета епископ Бордо,— должна была прежде всего пустить корни в нашей среде»*. Люди, предлагавшие Собранию издать Декларацию, видели в этом средство связать руки правительству и сделать невозможным с его стороны всякий поворот назад. Лафайет прямо развивал эту мысль, говоря: «Необходимо выразить истины, из которых бы вытекли все наши учреждения,— истины, которые бы в будущих трудах наших, как представителей нации, служили руководящей нитью, непосредственно ведущей к самому источнику права, естественного и общественного»**. Одно уже это обстоятельство ясно показывает, что, приступая к составлению Декла-

* См.: Блум. Комментарий к Декларации прав человека и гражданина. Изд. 2-е. СПб., 1902. С. 12.

** Текст этой речи появился в *Point du Jour*, журнале, издаваемом Баррером^h. См.: Предисловие *Comptayré* к «Комментарию» *Blum'a*. С. 20.

рации прав, деятели Учредительного собрания преследовали задачи чисто практические. А что расчет их был правилен, показывает то, что раз королем учрежден был текст Декларации после октябрьских событий, все пути к контрреволюции были отрезаны, и конституционной грамотой осталось только развить те начала, которые нашли выражение себе в акте 1789 г.

В какой мере Декларация была выражением общих всем передовым людям XVIII века политических и общественных идеалов, можно судить при сопоставлении ее с тою, которая принята была Конвентом и вошла в состав Конституции 1793 г. Деятели Учредительного собрания были монархисты: Камил Демулен⁹ заявил, что до революции 10 августа во Франции нельзя было насчитать и 10 республиканцев. В члены Конвента, наоборот, попали только республиканцы; хотя они и распались затем на жирондистов и якобинцев, но в составлении Декларации 1793 г. равно приняли участие и те, и другие, так что на нее можно смотреть, как на выражение идей, общих обеим партиям. И что же оказывается при сопоставлении текста обеих Деклараций? Деятели 1793 г. Луи Блан¹⁰ старался представить нам, как прямых предшественников тех партий, которые в наши дни отрицают принцип частной собственности; а между тем в выработанной ими Декларации буквально значит, что «право собственности состоит в возможности для человека распоряжаться по выбору своими имуществами, капиталами, доходами и продуктами личной предприимчивости, и что никто не может быть лишен малейшей части своей собственности помимо его согласия и только в том случае, когда этого потребует общественная необходимость; но и такая экспроприация может произойти только под условием предварительного и справедливого вознаграждения» (стр. 17 и 21 текста Декларации, принятой Конвентом в заседании 29 мая 1793 г.). Дело в том, что до заговора Бабёфа¹¹ и так называемых «Ераух» во Франции наиболее радикальные требования не шли далее наделения землю по возможности большого числа лиц. Аббат Фуше¹² высказал эту мысль, настаивая на проведении так называемого аграрного закона, который имел отдаленного предшественника в законе римского три-

буна Лициния¹³ и преследовал не упразднение начала частного владения землею, а размножение числа мелких собственников. Нельзя сказать также, чтобы Декларация 1793 г. заключала в себе признание права на труд: в ней говорится только об обязательной помощи неимущим. Но это принцип, практическое осуществление которого дано было еще в XVI веке в Англии законодательством Елизаветы. В Декларации 1793 г. этот принцип выражен к тому же крайне условно и более в смысле нравственного правила, проведение которого в жизнь предоставляется последующим законам, нежели юридической нормы. Вот буквально, что гласит на этот счет ст. 23: «Публичная помощь — священный долг. Закону надлежит определить ее границы и способ применения». Декларация 1793 г. увеличивала число если не естественных, то гражданских прав правом каждого получать образование. В этой статье отразилось влияние агитации, поднятой знаменитым Кондорсэ: принцип, открывающий каждому доступ к образованию, выражен в Декларации в форме обязательства общества обеспечить каждому из своих членов возможность получить образование (ст. 22). Если прибавить к этой статье заключительный параграф, в котором составители Декларации только делают тот необходимый вывод, какой гораздо ранее французов сделан был американцами и, за 500 лет до них, самими англичанами, — вывод, вытекающий из противоположения незыблемых прав и отрицающего их поведения правительства, — вывод, что «восстание против произвола есть священный долг», то можно будет сказать, что Декларация 1793 г. тогда повторила собою содержание той, какую французы впервые обнародовали четырьмя годами ранее*. Самый принцип равенст-

* О праве восстания против правительства, нарушающего права народа, говорится открыто в тексте американской Декларации независимости. Но гораздо ранее этого бароны, восставшие против Иоанна Безземельного¹⁴ в 1215 г. и добившиеся от него выдачи Великой хартии вольностей, сочли нужным внести в ее текст угрозу, что при нарушении сделанных в ней обещаний они подымут против короля войну и захватят его замки, щадя только жизнь самого монарха и его семейства. И в Билле о правах от 1689 г., при изложении причин, поведших англичан к изгнанию династии Стюартов, молчаливо признано право сопротивления.

на, который Декларацией 1793 г. поставлен в число шести признаваемых обществом прав человека, рядом со свободой, безопасностью, собственностью, социальной гарантией (?) и сопротивлением угнетению, провозглашен был еще в 1789 г. Правда, это сделано было в менее торжественной форме и без того определения самого понятия равенства, которое в позднейшей по времени Декларации (Декларации 1793 г.) не оставляет ни малейшего сомнения насчет того, что речь идет только о равенстве прав, или равенстве формальном. «Равенство,— говорит вторая статья,— состоит в том, чтобы каждый пользовался равными правами». Нельзя поэтому видеть в Декларации 1793 г. существенного изменения начал, поставленных выше законов и признанных обязательными для самих творцов Конституции. Политическая доктрина XVIII века продолжала оставаться неизменной несмотря на прошедший во Франции республиканский переворот, и предлагаемые ею общественные устои и личные гарантии были те же, что и четыремя годами ранее.

Всякая декларация неотъемлемых прав личности может сделаться тормозом для дальнейшего политического развития, если считать ее содержание раз навсегда установленным. Несомненно, что в наши дни к числу требований, предъявляемых гражданином к государству и государством к гражданину, присоединилось много таких, о которых не думали деятели ни 1789, ни 1793 гг. Будем ли мы иметь дело с передовыми радикалами, не только не сочувствующими расширению правительственного вмешательства, но даже открыто враждующими с ним, вроде Герберта Спенсера¹⁵, или с людьми, склонными, наоборот, к принятию начал государственного социализма,— мы у всех одинаково встретим то общее, что обещания, данные декларациями прав XVIII века, кажутся им недостаточными и неполными. Никто из индивидуалистов, может быть, не пошел так далеко в критике, как Герберт Спенсер. В его трактате о справедливости, представляющем собою только дальнейшее развитие положений, высказанных им еще в «Социальной статике», Спенсер требует признания за человеком «права на целость и неприкосновенность его органов», откуда вытекает не-

обходимость вознаграждения за всякий вред, причиненный им хотя бы и неумышленно. Все обязательства предпринимателя по отношению к рабочим, в том числе и страхование их от несчастных случаев, прямо обнимаются этим принципом. С другой стороны, право на пользование естественными орудиями труда — понятие настолько широкое, что из него вытекает и право каждого на пользование земельными богатствами в силу первоначального выкупа недвижимой собственности государством*. А такого положения, очевидно, трудно было ждать от систематического противника государственного вмешательства, каким можно было считать автора знаменитого этюда «Индивид против государства». С другой стороны, те, кто, подобно Ритчи, Ларноду и Компейре, встают против мысли ограничить сферу воздействия правительства на общество и сражаются с тем «административным нигилизмом», какой Гексли находил в теории Герберта Спенсера, не менее решительно признают, что декларации XVIII века не удовлетворяют более современников. Список необходимых вольностей завершается для них тем же правом искать и добиваться счастья, о котором говорили американские билли о правах и Декларация независимости, и намек на которое мы находим в 1 статье французской Декларации прав от 1793 г., говорящей об «общем благополучии, как о цели, преследуемой жизнью сообща». «За исключением самых упорных сторонников в их наиболее индивидуалистической форме все согласятся в том, что благополучие граждан должно входить в задачи правительства»**. Но из этого непосредственно вытекает разрыв с системой невмешательства, с теорией *laissez faire*, и готовность пойти навстречу дальнейшей трансформации общества, параллельной с изменением в его мыслях, чувствах и идеалах жизни***. Ритчи не говорит нам более определенно, в чем должна состоять эта трансформация, но из общего характера его доктрины можно вывести то заключение, что он не прочь признать, с известными

* Принципы этики. Т. II. С. 64 и след., и 91.

** Natural Rights. С. 274.

*** Ibid. С. 275.

ограничениями, право на труд и некоторые другие требования, что, очевидно, внесет иное содержание и в текст декларации. Не больше определенности в том, что говорит на этот счет и Ларнод в своем предисловии к переводу монографии Иеллинека. «Декларация прав,— пишет он,— вся проникнута индивидуализмом. Государства в ней почти не видно. В этом отношении Декларация является чем-то устарелым и факты действительности нередко грубо опровергают ее. Государство расширило свою роль и продолжает стремиться к дальнейшему ее расширению; принцип обязательности ежедневно проникает в общественные отношения и в такие сферы, в которых о его присутствии сто лет назад не могло быть и помину. Не одна школа и военная служба сделались обязательными: заботливость о будущем из нравственного обязательства становится все более и более юридическим. Волей-неволей приходится признать, что Декларация прав не предвидела таких трансформаций. Но авторы Декларации не могут быть сделаны ответственными за то, что они не имели в виду ни машинизма, ни индустриализма, ни роли пара и электричества, перевернувших вверх дном как производство и обмен, так и условия материальной жизни и экономические отношения людей, а следовательно, и право, которое в конце концов не более, как форма, в которую облакаются эти отношения. Некоторые из принципов, провозглашенных Декларацией, несомненно устарели. Люди, восстающие против недавних реформ, уже проведенных, или только предложенных, протестующие против них ввиду их несогласия с теми или другими параграфами деклараций, очевидно, попадают на ложную дорогу. Возможно, что общественный и политический порядок, над которым изощрялась мысль членов Учредительного собрания, исчезнет бесследно, залитый глубокою волною, из-под которой воспрянет новое человечество. Социализовавши армию, правосудие, законодательство, преподавание, государство социализирует, может быть, со временем и известные ветви производства, и даже всю их совокупность. Все это не представляется невозможным: нет ничего менее научного, как верить в неподвижность общественной и политической жиз-

ни»*. Компейре, в свою очередь, говорит: «Декларация не упоминает о братстве, третьем из великих начал республиканцев. Братству, как обязанности, соответствует право на помощь; Декларация не говорит о нем, так как понятие человеческой солидарности было еще неясно сознаваемо в конце XVIII века. Только в некоторых выражениях Декларации 1793 г. можно найти намек на него: так, в следующем месте: “Все общество находится в угнетении, когда один из его членов вправе на него жаловаться”»**.

Но и независимо от чрезмерного индивидуализма деклараций XVIII в., отвечавшего, впрочем, совершенно понятному в то время желанию избавиться от правительственной опеки, эти документы не делали еще и всех тех выводов, какие вытекают из признания за личностью свободы самоопределения. Декларация 1789 г. не говорит о праве ассоциаций, праве, которое есть не более как одна из форм самоопределения личности. И это объясняется не случайностью, а тем предрассудком, от которого в это время не могли отрешиться даже самые смелые умы, вроде Тюрго и Адама Смита. Невыгоды цехового устройства и вызванного им товарищества рабочих (так называемых *compagnons*) породили в Тюрго*** и в Адаме Смите разделяемое всеми их современниками нерасположение ко всякого рода корпорациям, казавшимся им государством в государстве. Автор трактата о «Богатстве народов» не прочь выразить ту мысль, что последствием рабочих ассоциаций являются только, как он говорит, заговоры против промышленников, т. е., по-нашему, стачки, нарушающие нормальный ход производства, а следовательно, и затрудняющие обмен.

Деятелей 1789 г. не раз обвиняли в том, что Декларацию прав гражданина они не восполнили декларацией его обязанностей. Попытка в этом смысле сделана была позднее, в 1795 г., в Конституции республики. Так, Декларация 1795 г. в своей 2 статье объявляет, в

* Ibid. С. XI—XII.

** Ibid. С. 28—29, предисловие к «Комментариям» Блума.

*** Враждебность Тюрго к корпорациям вызывалась еще его борьбой с принципом неотчуждаемости церковной собственности и монополизацией монастырскими корпорациями лучших земель Франции.

полном соответствии с евангельской моралью: «Не делайте другим того, чего бы не желали себе; делайте другим то благо, которое вы желали бы иметь от них», и статья 5: «Никто не может считаться гражданином, если он одновременно не добрый сын, не добрый отец, не добрый брат, не добрый муж, не добрый друг». Профессор Компейре справедливо говорит по поводу подобных заявлений, что им не место в политическом акте. Национальное собрание — не церковный собор и не академия нравственных наук. Ему нет повода вмешиваться в оценку человеческих поступков, пока в них нет посягательства на защищенные законом интересы. Деятели Учредительного собрания были поэтому правы, не касаясь частной области добродетелей и предоставляя совести каждого заботиться об их сохранении. Упрек в том, что они не снабдили текста Конституции особой декларацией обязанностей, кажется профессору Компейре не заслуживающим большого внимания, как если бы кто вздумал обвинять их в том, что они не озаботились установлением государственной религии. Предписываемая государством нравственность может касаться исключительно общественных обязанностей, а эти последние не упущены из виду Декларацией. Каждое из предложенных ею ограничений к личным правам предполагает собственную обязанность. Все те, которые обнимаются понятием справедливости, требуют уважения к чужой жизни, свободе, чести, собственности. Все эти обязанности молчаливо признаются при перечислении прав человека и гражданина*.

О значении, какое Декларация прав имела вне пределов Франции, можно судить по тому, что с большими или меньшими изменениями она воспринята была в тексте не одних французских конституций. Профессор Йеллинек совершенно прав, говоря: «Благодаря Декларации сложилось во всей его широте в положительном праве представление о субъективных правах граждан по отношению к государству. Это представление дотоле было присуще одному только праву естественному»**. Вот приблизительный перечень тех стран, которые по-

* Предисловие к изданию Блюма. С. 27–28.

** *Jellinek*; французское издание. С. 3.

следовали примеру Франции и включили в свои конституции список личных прав гражданина: швейцарская конституция 1848 г.; бельгийская, титул II; конституция Пьемонта, сделавшаяся конституцией объединенного Итальянского королевства; датская конституция 1848 г., подвергшаяся переменам в 1886 г.; австро-венгерская 1867 г.; испанская конституция 1869 г. Все содержат в себе упоминание о личных правах граждан по образцу того, какие сделаны были деятелями Учредительного собрания в 1789 г.* Представленный список не может считаться исчерпывающим. Ряд американских конституций, возникших после 1789 г., несомненно руководствовался при редакции Билля о правах данным Францией примером. Что же касается последней, то в ней нельзя назвать ни одной конституции, кроме современной, которая не заключала бы в себе декларации прав, нельзя сделать исключения даже для Конституции Второй империи 1852 г. Ведь и она заявляет о своей готовности признать, подтвердить и гарантировать великие принципы, провозглашенные в 1789 г. и которые составляют основу публичного права французов.

В отличие от только что упомянутых стран и конституций, имперская Конституция Германии не заключает в себе ничего подобного декларации прав, точно так же как и ее ближайший прообраз, Конституция северогерманского союза. А между тем большинство конституций отдельных стран, вошедших в состав Империи, содержит в себе подобные декларации; так, например, прусская от 31 января 1850 г. К числу конституций, не снабженных декларацией прав, надо отнести и федеральную Конституцию Соединенных Штатов северной Америки. Но она восполнила этот пробел дополнительными статьями, проведенными Конгрессом в самом начале XIX ст.; ряд их закончился теми, которые, отменив рабство негров, упрочили вместе с тем в Америке начало гражданского равенства.

Наконец, о древнейшей из всех европейских конституций, об английской, нельзя сказать, чтобы она давала признание личным правам граждан в каком-нибудь

* *Compteuré*. С. XXXIII.

писаном тексте, их специально перечисляющем. Отдельные права провозглашаемы были в подтвержденных правительством грамотах. В начале XIII столетия Великая хартия вольностей от 1215 г. может считаться чуть ли не первым актом, обеспечивавшим личную свободу от всякого правительственного произвола. Статут 1679 г., известный под названием Habeas corpus act, только принимает практические меры к проведению в действительность этой свободы. Письменную передачу находят также некоторые англичане и в позднейших законодательных актах, например, в Билле о правах 1689 г., отменившем права короля освобождать тех или других лиц от действия законов и судов, а следовательно, признавшем принцип формального равенства всех граждан. Но из всего этого не следует, чтобы в Англии личные права находили себе признание в особой декларации, а тем более могли считаться созданными, как во Франции, изданной правительством или парламентом грамотой. Они не имеют другой основы, кроме общего принципа господства закона, единого и неизменного, к каким бы лицам он ни применялся, к частным или должностным. Забота о соблюдении закона поручается общим судебным установлениям даже в том случае, когда одной из сторон является правительство и его агенты. Говоря о господстве закона в Англии, мы имеем в виду не одни изданные парламентом статуты, но и те судебные приговоры, которые служат еще в большей степени, чем наши кассационные решения, правилом для однохарактерных случаев, или так называемыми прецедентами. Отношение английского права к личным вольностям весьма ясно изложено профессором Дайси в его известном труде «Закон конституции» или, точнее, «Вступление к изучению закона конституции». «Господство закона,— пишет Дайси,— составляющее основной принцип нашей конституции, имеет тройное значение, или может быть рассмотрено с трех различных точек зрения. Оно означает, во-первых, решительное устранение административного произвола — в форме ли королевской прерогативы, или широкой дискреционной власти правительства. Англичане управляются законом, и только законом. Человек может подвергнуться наказанию за

нарушение закона, а не за что другое. Господство закона означает далее равенство всех перед его лицом, т. е. одинаковое подчинение всех классов общему закону страны, применяемому ко всем обыкновенными судами, и ни к кому — судами специальными. В этом смысле господство закона устраняет мысль об изъятии чиновников и других лиц от обязанности повиноваться тому же закону, или быть подсудными тому же суду, что и прочие граждане. У нас нет ничего подобного той подсудности специальным административным судам, какая существует во Франции, как нет у нас и особого права, защищающего чиновника в большей степени, чем прочих граждан. Понятие, лежащее в основе такого особого закона, именуемого законом административным и признаваемого во многих странах континента, сводится к допущению, что спорные случаи, в которых одной из сторон является правительство, или его служители, не подлежат ведению общих судов и могут быть решаемы специальными судами, т. е. более или менее административными учреждениями. Такое понятие совершенно не известно английскому праву и не примиримо с нашими традициями и нашим обычаем. Наконец, в-третьих, господство права может служить у нас формулой для выражения того факта, что нормы, составляющие в других странах часть конституции, не являются у нас источником личных прав, а только отражают на себе порядки, проводимые нашими судами. Общие принципы права благодаря деятельности судов и постановлениям парламента распространены были и на корону и ее служителей»*. Последнее заявление специально касается рассматриваемого нами вопроса о личных вольностях. Оно находит себе подтверждение при рассмотрении тех порядков, какими в Англии обеспечена свобода самоопределения как в сфере физических, так и в сфере нравственных проявлений личности. Статут, которым ограждается личная свобода англичан, статут *Habeas corpus*, в сущности признает только общее правило ответственности перед обыкновенным законом и обыкновенным судом всякого правительственного агента за произведенное им произволь-

* *Dicey*. The law of the Constitution. 5-е издание. С. 193—195.

ное задержание. Таким считается арест в силу приказа о задержании не определенного лица, а целой категории лиц, и не на основании ясно указанного обвинения, а со ссылкой на общую их тенденцию. Приказ такого характера, под названием «общего воронга» (*general warrant*), законом не допускается. В каждом закономерном полномочии на производство ареста должно быть обозначено лицо, которому поручено привести приказ в исполнение; лицо, против которого направлено задержание; а если дело идет об уголовном преступлении — и причины лишения свободы. Практические последствия, вытекающие из таких порядков, — возможность судебного обжалования несогласного с законом ареста, мало этого — возможность безнаказанного сопротивления лицу, незаконно производящему задержание. Если сопротивление поведет к убийству арестующего, такое убийство будет поставлено в вину задерживаемому только в том случае, если окажется, что жертва была снабжена начальством специальным «воронгом», а не общим; в противном же случае судами будет признано, что сопротивлявшийся находился в условиях необходимой обороны ввиду незаконности сделанного на его свободу нападения. Агент, таким образом, не может сослаться в оправдание своего незаконного действия на приказ начальства, а судьи дают средство защиты против нарушения свободы самоопределения независимо от того, значительно ли или незначительно это нарушение.

Если от физических проявлений свободы мы перейдем к ее нравственным проявлениям, то увидим, что в Англии свобода устного, письменного или печатного слова ограждается не особым законом, а признанием того общего положения, что обиды, причиненные кому-либо, будет ли то частное лицо, или государство и его агенты, с помощью ли устного, письменного или печатного слова, судятся и караются, как и всякие прочие обиды, на основании общего закона и общими судами. Никакой власти не предоставлено предупреждать наступление этих обид с помощью тех средств, какими служит требование особых залогов от издателей журналов и газет, или еще предварительная цензура книг, брошюр и периодических изданий. Эти положения от-

крыто высказаны английскими судьями, например, лордом Мансфилдом и лордом Элленборо. Первый говорит: «Свобода печати состоит в праве предавать рукопись тиснению без предварительного разрешения и неся законную ответственность». «Английский закон,— заявляет в свою очередь лорд Элленборо,— закон свободы. Согласно этому у нас не требуется предварительного разрешения, но напечатанный что-либо подлежит уголовному преследованию, как и за всякий другой акт, заключающий в себе нарушение закона»*. Современное положение вопроса о свободе нравственных проявлений личности вполне верно охарактеризовано Оджерсом следующими словами: «Каждый у нас может говорить, писать или печатать что вздумается, но раз им сделано дурное употребление из этой свободы, он подлежит наказанию. Если им возведено обвинение на частное лицо, подвергшийся диффамации может требовать возмещения убытков. Если, с другой стороны, путем слова, письма и печати произведена государственная измена или сделано посягательство на добрые нравы, виновный подлежит уголовному преследованию»**.

Рассмотрим теперь, с той же точки зрения, английскую судебную практику по вопросу о том, что в континентальных законодательствах обыкновенно обнимается понятием права митингов и петиций. «Англичанину,— справедливо говорит Дэйси,— неизвестно специальное право собраний для политических или иных целей; английские суды видят в собрании не более как осуществление признаваемой за каждым свободой личной и свободы слова. Поэтому они рассматривают любое вмешательство публичных властей с целью прервать митинг как нарушение индивидуальных прав лиц, на него собравшихся, как нападение на всех и каждого из них в отдельности»***. Из этого не следует, однако, что частные лица, сошедшиеся на митинг, не подлежат никакой ответственности в том случае, если митингом произведено будет нарушение мира. Но их ответственность будет личной. С них будут взыскиваться, как за

* Дэйси. Указ. соч. С. 237, 238.

** Odgers. Libel and Slander. Введение. С. 12.

*** Дэйси. Указ. соч. С. 258 и след., 431.

насилие или trespass, на основании общего закона и перед общими судами. Эта мысль наглядно выступает в некоторых решениях; из них вытекает, что незаконность собрания обусловливается исключительно сознательным нарушением им мира*. «Публичный митинг, — пишет Дайси, — угрожающий спокойствию, благодаря поведению лиц, в нем участвующих, например, ввиду того, что они отправляются на собрание вооруженными, вызывая тем благоразумные опасения в мирных гражданах, согласно юрисдикции английских судов признается митингом незаконным. Но митинг, который только потому делается источником нарушения мира, что встречает незаконное противодействие со стороны других, не может считаться по этому самому незаконным. Судьям пришлось высказаться по этому вопросу по случаю столкновения, происшедшего между членами “армии спасения” и их противниками (Skeleton Army). Члены “армии спасения” были предупреждены об ожидавшем их нападении и тем не менее пошли на собрание. Мировые судьи Вестона-на-Маре, где произошло столкновение, постановили обвинительный приговор против отдельных членов митинга, не пожелавших разойтись по требованию полиции. Приговоренные обжаловали это решение перед судом “королевской скамьи”; последний, признавая их претензию справедливой, освободил их от наказания, объявляя, что никто не может быть осужден за совершение законного акта, даже в том случае, если ему известно, что последний встретит противодействие и поведет других к совершению акта противозаконного»**. Прилагая это правило, мы можем сказать, что все собрания, имевшие целью в эпоху войны англичан с бурами высказать недовольство английской политикой, хотя и рассеиваемы были толпою, от этого еще не становились незаконными и не могли подать повода к преследованию лиц, принимавших в них участие. Для понимания различия между отношением английского права к митингам и отношением к ним континентальных законодательств необходимо также отметить, что характер незаконности митинг не

* Ibid. С. 434.

** Ibid. С. 263.

приобретет от того, что он запрещен властями; префекту полиции или министру внутренних дел достаточно будет во Франции не разрешить известного собрания, а лица, в нем участвующие, попали в положение подлежащих преследованию; ничто подобное немислимо в Англии. «Из постановлений английских судов видно, — говорит Дайси, — что письменный приказ, отнесенный в смысле запрещения митинга государственным старейшином по внутренним отношениям, т. е. по-нашему старейшином внутренних дел, не обращает законного митинга в незаконный»*. Даже в том случае, когда по своему характеру или по месту свершения митинга вызывает справедливые опасения в том, что по его действием его будет нарушение мира, ни правительство, ни судьи не могут в Англии принять мер, препятствующих его осуществлению. «Люди благоразумные, — пишет Дайси, — могут порицать тех, кто вызвал такое собрание, но закон дает свою санкцию даже этому крайнему выражению свободы собираться, которая вне границ Англии едва ли бы могла быть терпима». Заключение, какое Дайси делает на основании английской судебной практики об условиях, при которых митинг может считаться незаконным, а лица, в нем участвующие, подлежащими наказанию, изложено в следующих четырех положениях: 1) когда люди собираются с намерением совершить нарушение мира или, собравшись без такого намерения, нарушают этот мир; 2) в том случае, когда на митинг сходятся с целью совершить преступление, прибегая для этого к силе; 3) в том случае, когда самое собрание происходит в условиях, позволяющих соседству иметь серьезные основания опасаться, что мир будет нарушен, Дайси вводит еще один элемент в определение этого третьего случая: именно тот, что лица, испытывающие такое опасение, люди твердые и храбрые; 4) незаконным митингом считается такой, который собирается с целью породить недовольство между подданными, вызвать презрение к конституции и к правительству, законно установленному, или вообще с целью осуществить или подготовить публичный заговор. Но этот последний, четвертый, случай еще вызывает разно-

* Ibid. С. 264.

речия и не вполне установлен судами. Дайси предлагает подвести его под следующее общее понятие: считать незаконным митинг, предметом которого будет принять решение нарушить общественный мир*. Итак, опирающаяся на прецеденты практика английских судов по вопросу о митингах подтверждает ту общую точку зрения, по которой свобода самодеятельности в сфере физических и нравственных проявлений личности поставлена в Англии под защиту общего закона, а не специально признаваемых конституцией вольностей.

При отсутствии в английском законодательстве чего-либо подобного той статье Декларации прав, которая говорит о равенстве граждан перед законом, практика судов обеспечивает это равенство в большей степени, чем на континенте, в частности, чем во Франции. Равенство перед законом — то же, что отсутствие изъятий от применения общего законодательства и от подсудности общим судам для известной категории граждан. Такие изъятия существовали во Франции до революции не только для чиновников, но и для членов высшего дворянства, а также для жителей тех или других провинций и городов, пользовавшихся особыми привилегиями. В настоящее время они продолжают держаться в интересах армии и чиновников.

Иначе представляется дело в Англии, где семьи, старшие представители которых на правах пэров королевства заседали и заседают в палате лордов, никогда не освобождались от подчинения нормам общего права и от подсудности общим судам королевства. До времен Вильгельма и Марии¹⁶ в Англии не существовало постоянной армии; имелись только земские ополчения, или милиция, в которую попадали в силу жребия и которая только в наши дни составляется из добровольцев. Не могло быть поэтому речи о подчинении особой дисциплине, отличной от общей гражданской обязанности повиноваться властям, пока их веления не заключают в себе нарушения закона.

Можно ли сказать, что установление постоянной армии вызвало в этом отношении радикальную перемену? Нет, так как в Англии служащие в войске призыва-

* Ibid. С. 435—436 и 265.

ются к исполнению данных им по службе приказов только в том случае, когда, по всем видимостям, эти приказы не заключают в себе нарушения закона. Это положение не раз высказываемо было английскими судами. Дайси резюмирует их практику на этот счет в следующих положениях. Солдат в Англии подлежит тем же обязанностям, что и всякий другой подданный; как в гражданских, так и в уголовных делах, не касающихся непосредственно его службы, он несет ответственность перед общими судами. Он может быть привлечен к суду в случае убийства даже тогда, если последнее предписано было ему начальством, и не освобождается от наказания, раз будет установлено, что приказ был незаконен и он имел возможность дать себе отчет в его незаконности. Той же общей подсудности подлежат солдаты и в случаях воровства*. При всяком столкновении военной и общегражданской подсудности перевес остается на стороне последней. Так, если солдат был приговорен или оправдан по обвинению в том или другом деянии перед общим судом, он не может быть привлечен к ответственности за него впоследствии перед судом военным. Но то же нельзя сказать и наоборот: оправдание или обвинение его военным судом за убийство, воровство или другое деяние не устраняет возможности рассмотрения дела снова общим судом.

Это прямо следует из текста Закона об армии 1881 г. Не меньше значения имеет то обстоятельство, что при ответе в общих судах за возведенное против него обвинение в незаконном действии солдат не может сослаться в свое оправдание на приказ старшего. Этот пункт требует дальнейшего пояснения. Приведенное правило нисколько не отрицает обязанности солдата повиноваться всякому законному приказу военного начальства. Его ответственность начинается там, где приказ в его собственных глазах должен носить характер беззакония. Положение солдата таким образом на практике, говорит Дайси, может сделаться весьма затруднительным: не раз было замечено, что он рискует быть расстрелянным военным судом за неповиновение приказу и пове-

* Исключение представляет только свобода их от личного задержания при воровстве на сумму менее 30 фунтов [Дайси. С. 282].

шенным обыкновенным судом с присяжными за повиновение ему. Судами установлено, что исполнение приказа начальника задержать или подстрелить во время мятежа народного предводителя, не совершившего никакого преступления, но заподозренного в измене, может иметь последствием уголовную ответственность для солдата. Судья Стифен, толкуя установившуюся практику, проводит тот взгляд, что приказ, данный старшим, оправдывает поведение младших, раз имеется вероятность у приводящих его в исполнение в достаточной его обоснованности. Он объясняет это примером. Начальство дает приказ стрелять в толпу, собравшуюся на улице, из опасения, что мир будет нарушен в ближайшем будущем. Солдаты не имеют основания считать такой приказ достаточно обоснованным; но толпа обратилась к насилию, и солдаты получают приказ стрелять в нее. В этом случае солдат получает приказ достаточно обоснованным. Учение о том, говорит Стифен, что солдаты всегда обязаны повиноваться ближайшему начальству, может сделаться опасным для самой военной дисциплины, так как оно оправдало бы поведение солдат, стреляющих в полковника по приказу капитана или покидающих поле сражения по приказу любого офицера. Несомненно, что эта ответственность перед двумя начальниками и двумя судами может поставить военного в затруднительное положение; но столкновение легко разрешается, во-первых, возможностью помилования со стороны короля, а во-вторых, благодаря тому, что военные суды всегда остаются под контролем судов обыкновенных. Этот контроль сказывается не только в том, что обыкновенным судам предоставлено открывать обвинение в насилии, незаконном задержании, непреднамеренном и преднамеренном убийстве, против военных судей и вообще военных властей, совершающих беззаконие, но и в том, что гражданский суд вправе требовать от содержателя тюрьмы освобождения преступника, в силу приказа Habeas corpus, в том случае, если судьям кажется, что его задержание военными властями и в силу военного закона было произведено неправильно*.

* Ibid. С. 285-289.

Что касается другой категории лиц, пользующихся изъятиями от общей подсудности в континентальных странах, — чиновников — то они лишены ее по авторскому праву; это надо понимать, во-первых, в том смысле, что в Англии не существует особых судов, так называемых административных и представляющих по своему составу не столько судебное учреждение, сколько орган исполнительной власти, члены которого не пользуются даже несменяемостью — этим необходимым условием независимости судей от правительства. Всякое преступление и всякий проступок, как и всякое нарушение прав, связанное с причинением вреда и убытков, виновником которого является правительственный агент при исполнении своих служебных обязанностей, подлежат разбирательству обыкновенных судов и подводятся под общие нормы права, установленные законом или судебным прецедентом. Еще менее известно англичанам существование целой категории решений, принимаемых административными властями, решений, которые по закону считаются бесспорными, т. е. не подлежащими области так называемой *jurisdiction gracieuse*, в отличие от *jurisdiction contentieuse*. В таких делах не представляется другого средства, кроме обращения к начальству с ходатайством об изменении решения, принятого подчиненной властью. Наконец, неизвестно англичанам и то требование, которое заключал в себе знаменитый 75-й параграф консульской Конституции, оживленный Второй империей и который был отменен не ранее Третьей республики. Параграф этот требовал предварительного разрешения Государственного совета для призыва чиновника к судебной ответственности. В таком разрешении Совет мог отказать, и такой отказ считался окончательным.

Соображая все сказанное, мы вправе прийти к тому заключению, что принцип господства в Англии закона обеспечивает ее гражданам пользование личными правами не в меньшей, а даже в большей степени, чем включение в текст континентальных конституций особой декларации прав человека и гражданина.

Но если в Англии личные права граждан пользуются защитой судов против отмены или нарушения их административной практикой, то из этого не следует, что бы

те же права поставлены были в условия, не позволяющие парламенту, как органу законодательной власти, занести на них руку. Из самого понятия о всемогуществе парламента, как и из отсутствия в Англии, согласно этому, всякого различия между основными, учредительными или конституционными законами, и законами обыкновенными, необходимо вытекает то последствие, что английский парламент ежечасно вправе применять меры к упразднению личных вольностей. Его практика за протекшее столетие, как показывают, между прочим, Патерсон, а за ним и русский ученый Дерюжинский, представляет не один пример отмены так называемого Habeas corpus act, так, например, в эпоху ирландских движений. Против такой отмены у лица, от нее потерпевшего, не имеется никакого средства защиты. Английскими судьями не был бы принят иск, доказывающий, что та или другая норма закона, как нарушающая вместе с интересами и права частного лица, не должна найти применения. Это, разумеется, не означает того, чтобы сами судьи, пользующиеся в Англии большой свободой внутренней оценки и толкования прилагаемых ими законов и прецедентов, не могли уклониться от санкционирования своим решением норм, в их глазах не отвечающих требованиям права. Я вполне понимаю поэтому те заявления, какие делают некоторые английские законоведы, объявляющие, что на практике личные права граждан находят в судьях защиту и от попыток случайного и временного непризнания их законом (разумеется, только при нормальном течении государственной жизни, а не в эпоху внутренних мятежей и связанной с ними отмены Habeas corpus act.). Тем не менее в английском государственном строе, меньше чем в любом из тех, которые выделяют в особую категорию основные законы, требуя для них отмены или изменения усиленного большинства, за гражданином признается право искать в судах защиты против посягательств на его личные права со стороны законодательной власти. Такое право признается пока лишь в одной стране — в Соединенных Штатах Америки — ввиду существования в ней особой системы обжалования перед судами тех статей или параграфов нового статута, которые заключают в себе

нарушение основных или учредительных законов, т. е. федеральной Конституции и конституций отдельных штатов. Американский публицист Берджесс (Burgess) в своем недавнем трактате о «Политической науке и конституционном праве» [Т. I. С. 178] справедливо говорит по этому поводу следующее: «Согласно американским государственным порядкам, суверенитет нации, стоящий над правительством, наделен правом определять природу и отстаивать границы индивидуальной свободы против всяких захватов власти, разумея под нею одинаково и исполнительную, и законодательную». «Суверенитет этот, под которым, очевидно, надо разуметь суверенитет всего государства или нации, наделил центральные суды, — пишет Берджесс, — правом интерпретировать нормы конституции, обеспечивающие личные вольности и права. Он даровал этим судам право отстаивать эти вольности от произвольных действий столько же законодательной, сколько и исполнительной власти. Конституционную обязанность последней составляет подчинение этим решениям судов в отношении к личным правам. Они призваны применять законы только в полном согласии с этими решениями. При нарушении этой обязанности правительству не грозит, однако, другая опасность, кроме привлечения его к ответу по обвинению нижней палаты конгресса, в силу так называемого *impeachment*»*. Если бы, прибавляет Берджесс, законодательная и исполнительная власть сошлись в противодействии судебной, или законодательная не приняла бы мер к удержанию исполнительной в пределах ее обязанностей путем придания ее агентов суду, суверену, стоящему над Конституцией (читай: народу), открылась бы возможность внести в нее те изменения, которые бы сделали немислимыми для органов власти пренебрегать намерениями Конституции (по отношению к защите личных прав). Берджесс настаивает на том, что нельзя более полно и систематично обеспечить неотъемлемые права граждан, как это сделано в Соединенных Штатах. К обжалованию перед судами действий чиновников и законов, не согласных с Конституцией, присоединяется в Америке «обращение к самому

* Конституция Соединенных Американских Штатов. Ст. 2, § 4.

суверену в том случае, когда все прочие гарантии оказываются недостаточными». На основании этого американский публицист объявляет, что по вопросу о защите личных прав конституционные законы Америки определили европейские. Из этих последних одна германская конституция, по его мнению, сделала попытку приблизиться к американскому образцу. Говоря это, Берджесс имеет в виду, что в статье 3 этой Конституции всем подданным, к какому бы из союзных государств они ни принадлежали, обеспечена свобода поселения и ремесленной деятельности, право занятия публичных должностей, право приобретения земельной собственности и пользования гражданскими правами наравне с уроженцами, причем властям запрещается всякая попытка к ограничению такой правоспособности. Но, в отличие от американской конституции, немецкая не поручает защиты этих вольностей от посягательств законодательной власти имперскому суду*. Этому заявлению не противоречит факт существования в Германии в лице этого трибунала верховного административного суда. Он создан не Конституцией, а особым Законом 1877 г. Если он бессилён отстоять личные вольности против законодательной власти, то гарантии, представляемые им немецким гражданам против власти исполнительной, несомненно, весьма существенны. Что же касается законодательной власти, то по отношению к ней единственным интерпретатором является сам имперский Сейм или рейхстаг, т. е. никто не может признать его законодательных решений не подлежащими исполнению ввиду неконституционности их. Некоторые германские публицисты, в числе их Лабанд, полагают, что окончательная интерпретация законов с точки зрения их конституционности принадлежит в Германии никому другому, как императору**. В отличие от американских порядков, мы не находим в Германии права палат начать судебное расследование против органов исполнения по случаю нарушения ими принципа индивидуальной свободы. Наконец, не имеется в Германии и того средства вызвать изменение в Консти-

* Ср.: *Laband. Das Staatsrecht des deutschen Reiches. T. 1. S. 551.*

** См.: *Лабанд. Указ. соч. T. 1. С. 549.*

туции, благоприятное обеспечению индивидуальных прав, с помощью созыва конституционной конвенции, какое мы находим в Америке, так как, согласно 78-й статье Конституции, перемены в органических законах производятся одним рейхстагом путем издания новых норм. Соображая все сказанное, Берджесс приходит к тому заключению, что в Германии на основании Конституции личные вольности не находят гарантий против законодательной власти. Он менее прав, утверждая, что то же может быть сказано и по вопросу о защите этих прав по отношению к правительственным властям. Когда тот же писатель объявляет, что во Франции не имеется и следа конституционных гарантий индивидуальной свободы, то это, очевидно, нужно понимать только в том смысле, что суды не призваны в ней быть интерпретаторами Конституции, единственным истолкователем которой являются сами палаты. К тому же, изменения в Конституции, клонящиеся к упрочению индивидуальной свободы, могут быть произведены во Франции только по инициативе самой законодательной власти. Ст. 8 Конституции 1875 г., или точнее «органического закона о публичных властях», гласит буквально следующее: «Палаты вправе признать в силу решений, принятых большинством голосов, по собственной инициативе или по предложению Президента республики, что есть основание к пересмотру конституционных законов. Раз последует такое признание, палаты соединяются воедино в Национальное собрание для пересмотра Конституции. Решения, клонящиеся к отмене существующих учредительных законов и к изданию новых, принимаются абсолютным большинством голосов Национального собрания. Эти решения могут касаться всяких вопросов, кроме изменения республиканской формы правления».

Если Берджесс признает, что во Франции не имеется никаких гарантий личных вольностей и по отношению к администрации, то ввиду существования в ней отличных от обыкновенных судов административно-судебных инстанций, в которые и поступают жалобы, вносимые частными лицами на чиновников. Исполнительная власть, пишет он, по своему усмотрению определяет и устраняет от должности quasi-судей, которые и решают

препирательства, возникающие между частным лицом и правительственными властями при исполнении последними закона. Частному лицу поэтому не представляется, думает он, другого средства обеспечить свои индивидуальные вольности против злоупотребления администрации, кроме обращения к законодательной власти; но последняя бессильна призвать президента к ответственности за действия, направленные против личной свободы, за исключением того случая, когда эти действия приобретают характер государственной измены. Утверждая это, Берджесс имеет в виду § 2 статьи 6 Органического закона 1875 г., объявляющий, что президент ответственен только в случае государственной измены (*haute trahison*). Так как все акты президента, подобно актам английского короля, скрепляются его министрами, то на них и падает действительная ответственность: единственное, чего можно добиться во Франции в случае нарушения правительством личных прав, это смены кабинета и привлечения членов его к суду, как за преступление.

Сопоставляя с американскими порядками английские, тот же Берджесс справедливо замечает, что парламент не ограничен в своей власти ни признанием индивидуальных прав, ни фактом существования судов. Правда, он предоставил своим статутом обширную сферу для индивидуальной свободы и поставил суды стражами ее, так как освободил судей от всякой зависимости от исполнительной власти в деле отправления их должности. Но от парламента зависит упразднить, буде он того пожелает, всякие следы личной свободы, как ему же предоставлено отменить суды и удалить любого судью с занимаемого им поста путем обвинения его нижней палатой перед верхней, или же в форме прямого адреса к королю. Из всего этого следует, думает Берджесс, что индивидуальная свобода принята под охрану Конституции только в Соединенных Штатах Америки; во всех же остальных ее существование стоит в зависимости от закона.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Ковалевский Максим Максимович (1851–1916) — правовед, историк, социолог и политический деятель. Родился в Харькове, в состоятельной дворянской семье. В 1868 г. с золотой медалью окончил гимназию. В том же году поступил на юридический факультет Харьковского университета, который окончил в 1872 г. с ученой степенью кандидата *прав.* С мая 1877 г. — магистр государственного права, а в сентябре того же года получает звание доцента. В 1880 г. он защитил докторскую диссертацию на тему: «Общественный строй Англии в конце Средних веков». С декабря 1880 г. — ординарный профессор Московского университета по кафедре государственного права. Уволенный из университета (1887 г.), уехал за границу. Ученый достойно представлял русскую юридическую науку за рубежом: читал курсы лекций в Стокгольме, Брюсселе, Оксфорде, Париже, Чикаго, Сан-Франциско, участвовал во многих международных конгрессах социологов и историков, издает ряд статей и книг. Его произведения охватывают вопросы социологии, этнографии, истории государства и права, русского и иностранного государственного и административного права, истории хозяйства, истории семьи, истории политической мысли, национальный, рабочий и аграрный вопросы, вопросы литературоведения. По возвращении в Россию в 1905 г. преподавал в Петербургском университете, Психоневрологическом и Политехническом институтах.

В 1899 г. он избирается членом-корреспондентом Российской Академии наук, а в 1914 г. — ее ординарным (действительным) академиком по вновь учрежденной кафедре государственоведения. Из иностранных научных учреждений, почетным членом которых был Ковалевский, следует назвать Французский институт (Академия нравственных и политических наук), Общество по истории Французской революции, Тулузскую академию законодательства, Итальянское Общество по изучению отечественной истории.

Ковалевский внес большой вклад в историческую науку. Сам о себе он говорил, что на две трети является историком учреждений и идей.

Ковалевский один из крупнейших отечественных социологов-позитивистов. В рамках позитивистской идеологии в России конца XIX — начала XX вв. существовало множество направлений: органическое, социально-дарвинистское, психологическое, биосоциальное, этико-социологическое, плюралистическое и др. Ковалевского надо относить к представителям социологического плюрализма. В отличие от многих социологов консервативного и реакционного направлений он отстаивал идею исторического прогресса, поступательного развития общества, выводя его из стремлений человеческого духа ко все более глубокому пониманию общности, солидарности интересов людей.

Ковалевскому принадлежит огромная заслуга в теоретической разработке и практическом применении сравнительного метода при изучении истории права. В науке применялись термины «сравнительное законодательство», «сравнительное правоведение», «сравнительная история права». Ковалевский предпочитал термин «историко-сравнительный метод»¹. В основе данного метода лежит сопоставление, сравнение нескольких развивающихся обществ для того, чтобы выявить черты сходства, даже тождества, или, напротив, различия между ними.

В России наибольшее распространение получила историческая ветвь сравнительного правоведения². Чаще всего прибегали к сравнению в области истории государства и права. Сопоставление русского законодательства с западноевропейским либо вовсе отсутствовало, либо делалось с большой опаской, так как получалась картина, весьма невыгодная для России. В то время как на Западе существовала формальная политическая свобода, были приняты конституции, а кое-где утвердился республиканский образ правления, в России царили абсолютистские порядки. Поэтому проповедь с университетских кафедр идей либерального конституционализма пресекалась властями и учебным начальством. На это и намекал Ковалевский, когда писал: «У нас боятся сравнительного метода».

¹ Ковалевский М. М. Историко-сравнительный метод в юриспруденции и приемы изучения истории права. М., 1880.

² Тилле А. А., Швецов Г. В. Сравнительный метод в юридических дисциплинах. М., 1978. Изд. 2-е. С. 24.

В соответствии с установками позитивизма, Ковалевский исповедовал концепцию факторов³, полагая, что государство и право в одинаковой мере и одновременно обусловлены экономикой, идеями, психологией, знаниями, влиянием открытий и приспособлений, раздражаний. Какой-либо один фактор — биологический, географический, экономический — не позволяет получить истинный взгляд на общество. Он писал: «Говорить о центральном факторе, увлекающем за собою все остальные, для меня то же, что говорить о тех каплях речной воды, которые своим движением обуславливают преимущественное ее течение». С другой стороны, в каждой отдельной сфере общества имеется единственная главная причина изменений, которая присуща только определенной области социальной жизни⁴. Так, главным двигателем экономической эволюции Ковалевский считал рост народонаселения. Иными словами, развитие — в данном случае экономическое — зависит от биосоциального характера.

Ковалевский в своих социологических трудах проводил идею солидарности, объединившую в прошлом народы и государства. Последовательными стадиями развития этой идеи (чувства) он называет сознание родового единства, патриотизм, космополитизм. Средствами обеспечения общественной солидарности и создания «замыренной среды», в которой устранена борьба, установлены мир и взаимопонимание, взаимозависимость и общность интересов, являются государство и право⁵. Право создается всем обществом. Оно встречается всюду, где есть общежитие, какую бы форму оно ни принимало⁶. В данном случае Ковалевский разделяет взгляды таких представителей учения солидаризма, как О. Конт, Л. Буржуа, Л. Дюги и др.⁷

Ковалевский принадлежал к той группе ученых-пра-

³ Сорокин П. Теория факторов в социологии М. Ковалевского // М. М. Ковалевский. Ученый, государственный и общественный деятель, гражданин. Пг., 1917.

⁴ Ковалевский М. Очерк развития социологии в конце XIX и начале XX века. С. 50.

⁵ Ковалевский М. Социология. СПб., 1910. С. 63.

⁶ Ковалевский М. Общее учение о государстве. СПб., 1909. С. 46.

⁷ Зорькин В. Д. Позитивистская теория права в России. М., 1978. С. 128.

поведов, которые отстаивали теорию правового государства (П. Новгородцев, Л. Петражицкий, Ф. Кокошкин, В. Гессен, С. Котляревский). Он развивал тезис, что только с позиций социологической трактовки права можно обосновать связанность государства правом. Решительно осуждал положения юридического позитивизма, будто право есть явление, производное от государства. Рассуждать так — значит оправдывать государственный деспотизм. Он писал: «Возможность признавать правом сегодня одно, а завтра другое, и признавать государственной изменой сегодня одно, а завтра совершенно обратное, показывает те практические последствия, которые вытекают из несвязанности государства им самим же издаваемым правом»⁸.

Вместе с тем Ковалевский не идеализировал правовое государство и не считал, что на нем политическое развитие заканчивается. «Народовластие подменяется господством парламентского большинства, а исполнительная власть настолько усиливается, что становится независимой от этого большинства. Свобода граждан не обеспечивается материально и носит формальный характер. Правительство же служит не столько интересам всего народа, сколько интересам тех классов, которые сосредоточивают в своих руках капитал и земельную собственность»⁹. В перспективе Ковалевскому виделось устройство общества на принципах самоуправления и конституции.

В 1905 г. Ковалевский организовал «партию демократических реформ», стоявшую близко к партии «конституционных демократов (кадетов)», но более правую, чем последние. Впрочем, его партия к 1907 г. уже «не подавала признаков жизни»¹⁰. Неофициальным органом партии была газета «Страна», выходившая в 1906–1907 гг.

Ковалевского можно отнести к правому крылу русского либерализма и конституционализма. Он отри-

⁸ Ковалевский М. М. Общее учение о государстве. С. 50–51, 59–60, 63–64.

⁹ Цит. по: Куприц Н. Я. Из истории государственно-правовой мысли дореволюционной России. М., 1980, С. 157.

¹⁰ Дякин В. С. Самодержавие, буржуазия и дворянство в 1907–1911 гг. Л., 1978. С. 116.

цательно относился к революционным событиям лета 1905 г., оценивая происходившее в России как «погром», тогда как многие слушатели Высшей русской школы общественных наук в Париже считали революцию «справедливым возмездием русского народа своим вековым угнетателям»¹¹. Ковалевский, как и все либералы вообще, полагал, что общество может быть преобразовано не революционным, а эволюционным путем. По его словам, «современное понятие эволюции отвергает возможность переворотов»¹².

Ковалевский был избран членом I Государственной думы, а в 1907 г. — членом Государственного совета. В составе этих «законодательных палат» он действовал довольно активно, выступая в качестве то докладчика, то члена комиссий. С возвращением в Россию возобновилась его педагогическая деятельность. Он стал читать ряд курсов в высших учебных заведениях Петрограда.

Ковалевский умер 22 марта 1916 г. В массе некрологов и телеграмм, в том числе из-за рубежа, выступлений, посвященных памяти Ковалевского, его смерть оценивалась как огромная потеря не только для русской, но и мировой науки. Похоронен он был в Петрограде. На задней стенке гранитного памятника сделана надпись: «Историку и учителю права, борцу за свободу, равенство и прогресс». Этим определением точно охватывается жизнь и деятельность выдающегося русского ученого.

Е. А. Скрипилев

Соч.: Общинное землевладение. Ч. 1. М., 1879; Современный обычай и древний закон. Т. 1–2. М., 1886; Первобытное право. Вып. 1–2. М., 1886; Происхождение современной демократии. Т. 1–4. М., 1895–1899; Современная социология. СПб., 1905; От прямого народоправства к представительному и от патриархальной монархии к парламентаризму. Т. 1–3. СПб., 1906; Очерк происхождения и развития семьи и собственности. М., 1939.

¹¹ Ковалевский М. М. Моя жизнь // История СССР. 1969. № 4. С. 63.

¹² Ковалевский М. М. Очерк происхождения и развития семьи и собственности. М., 1939. С. 18.

ПРИМЕЧАНИЯ

Печатается по изд.: Ковалевский М. М. Учение о личных правах. М., 1905.

¹ *Реклю Жан Элизе* (1830–1905) — французский географ и социолог. Член I Интернационала, примыкал к бакунистам.

² *Кропоткин П. А.* (1842–1921) — князь, русский революционер, теоретик анархизма, географ и геолог.

³ *Бёрк Эдмунд* (1729–1797) — английский философ, публицист партии вигов.

⁴ *Карлейль Томас* (1795–1881) — английский публицист, историк, философ.

⁵ *Иеллинек (Еллинек) Георг* (1851–1911) — видный немецкий правовед.

⁶ *Дёпон (Дюпон де Немур Пьер Самюэль)* (1739–1817) — французский экономист, представитель школы физиократов.

⁷ *Лафайет Мари Жозеф* (1757–1834) — маркиз, французский политический деятель, участник войны за независимость в Северной Америке. Сторонник конституционной монархии.

⁸ *Баррер (Барер де Вьезак)* (1755–1841) — французский политический деятель, адвокат.

⁹ *Демулен Камил* (1760–1794) — деятель Французской революции, журналист, друг и соратник Дантона. Казнен якобинцами.

¹⁰ *Блан Луи* (1811–1882) — французский утопический социалист, реформист.

¹¹ *Бабёф Гракх* (1760–1797) — французский коммунист-утопист.

¹² *Фуше Жозеф* (1759–1820) — аббат, деятель Великой французской революции. Министр полиции Франции (1799–1802, 1804–1809, 1815).

¹³ *Лициний Столон* (IV в. до Р. Х.) — римский трибун. Вместе с Секстием провел законы, устанавливающие максимальную норму земельных наделов и обязательное назначение одного консула из плебеев в древнеримской республике (367 г. до Р. Х.).

¹⁴ *Иоанн Безземельный* (1167–1216) — английский

король с 1199 г. Подписал в 1215 г. Великую хартию вольностей.

¹⁵ *Спенсер Герберт* (1820–1903) — английский философ-эволюционист, социолог, автор «Системы синтетической философии».

¹⁶ *Вильгельм Оранский* и его жена *Мария II Стюарт* совместно правили Англией с 1689 по 1702 г.

МЕЖДУ ВОЙНОЙ
И
РЕВОЛЮЦИЕЙ

С. А. Котляревский

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЕМОКРАТИИ

Искусство социального прогноза не принадлежит к числу тех, которые пользуются в настоящее время особым доверием; но история XX века завещала западноевропейским народам несколько предположений об их будущей судьбе, которых не поколебали разочарования и уроки скептицизма. Эти предположения основаны уже на слишком очевидных показаниях нашего социального опыта: они уже стали уверенностями. Самым прочным из таких предположений является идея, что будущее развитие западноевропейских народов всецело совершится под знаком демократии: это слово является как бы достовернейшим лозунгом. Мысль представляется большинству наших современников настолько несомненной, что наряду с ней можно было бы поставить лишь уверенность в будущем безостановочном развитии положительного знания. Насколько обширен и прочен тот материал, на котором строятся эти заключения? Надо сознаться, он внушительен и по времени, и по пространству, которое он охватывает: политическая демократия уже завоевана или предполагается завоеванием завтрашнего дня.

Когда Токвиль в своем гениальном анализе американской демократии обращал внимание современников на неизбежность этого процесса, Гизо с парламентской трибуны еще не колебался характеризовать всеобщее право голоса как бессмысленную утопию, созданную с агитационными целями. «Никогда не наступит день для всеобщего права голоса,— говорил он.— Никогда не настанет день, когда все человеческие существа, каковы бы они ни были, могут быть призваны к осуществлению политических прав». Этот день не заста-

вил себя долго ждать, он наступил на другой день после низвержения Июльской монархии; всеобщее право, на этот раз не оправдавшее надежд его сторонников, не исчезло с политического горизонта Европы; оно сделалось принадлежностью политического устройства Франции и Германии. Аристократическая Англия открыла свободный доступ в парламент и в местное самоуправление рабочему классу; гегемония джентри, столь характерная для Англии начала XIX века, разрушена до основания. Всякое неравенство начинает рассматриваться как несправедливость; к бельгийскому «множественному праву» (vote plural), обеспечивающему добавочные голоса представителям достатка и образования, относятся как к институту буржуазному, несовместимому с духом демократии. Еще смелее в организации политической демократии новые страны, подобные Австралии, которым нечего разрушать и можно созидать на девственной почве. Даже юная конституция Японии потерпела существенное изменение: там значительно понижен первоначальный ценз и введено всеобщее пассивное право голоса. С каждым годом широкие массы населения ложатся все большим и большим весом на чашку политических весов.

Эти соображения вполне подтверждаются, если мы от организации политической власти перейдем к ее деятельности, к ее законодательству. Социальная политика XIX века быстро и неизменно шла в направлении все большей демократизации. Рабочий вопрос и аграрный вопрос стоят на первом месте в программах всех партий, всех оттенков: консерваторы и либералы, клерикалы и свободомыслящие не отстают друг от друга в обещаниях направить социальную заботливость государства на интересы трудящихся масс. Программа либеральных экономистов, требовавших от государства лишь полного простора для естественной игры интересов и сил, не способна уже никого привлекать. Надо сознаться, что если существующее в разных странах Западной Европы социальное законодательство далеко не дает всего, что обещают обыкновенно перед выборами депутаты, то дает весьма многое: нормальный рабочий день, страхование от несчастий, пенсии престарелым, охрану рабочего труда, заботу о поддержании

мелких землевладельцев-крестьян, защиту арендаторов от собственников,— все это и стало и признано нормальными обязанностями государственной власти, и если последняя запаздывает с ними, она быстро встречается с проявлениями опасного недовольства. Никакая партия, никакая группа не могут обеспечить себе жизнеспособности, если они не считаются в достаточной мере с интересами масс.

Нельзя, конечно, ожидать, чтобы эти социально закономерные процессы рассматривались наблюдателями современного общества с тем холодным академическим беспристрастием, с которым натуралист созерцает вечные процессы природы. Менее всего здесь возможно было в чистоте соблюсти завет Спинозы¹, убеждавшего не плакать и не радоваться, а понимать. Выступление на авансцену современной истории связывалось с целым рядом исторических ассоциаций и личных переживаний. Классическое воспитание сохранило столько образов, воплощавших неприглядные стороны демократии; вспоминаются Терсит² и Клеон³ и не освобождается даже Перикл⁴ от упреков в вульгарной демагогии. Не меньше образов дает римская древность, а переходя к более новым временам демократии, ее привлекают к ответственности за Жакерию⁵ и движение лигеров⁶, за якобинцев⁷ и Коммуну 1870 г.⁸ Создается представление о ее громадной разрушительной силе, которой несколько не соответствует способность к положительному творчеству.

Навстречу этим историческим воспоминаниям идет и социальная наука. Она предостерегает видеть в этих явлениях нечто временное и случайное; по многократно повторявшемуся взгляду ее многих представителей не последнего калибра, дело лежит в роковых свойствах человеческой толпы, попадая в которую индивидуум обречен на ослабление умственной жизни и одичание нравственного чувства. Толпа безрассудна и жестока; в ней сохраняются психологические переживания первобытного человека, которые давно искоренены в сознании культурного индивидуума; толпа, наконец, по существу, легко становится преступной. А что есть демократия, как не господство толпы? И вот социальная наука призывает к суровому ответу все учрежде-

ния человеческого общества, так или иначе отражающие демократическое начало; она склонна отказываться в смягчающих обстоятельствах и парламентаризму, и всеобщему праву голоса, и суду присяжных. С крайним скептицизмом смотрит она и на народную школу, от которой в ее глазах лишь дилетантский оптимизм или метафизический предрассудок могут ожидать просвещения этой массы. Эти чувства и мысли, рассеянные во многих образцах современной социологической литературы, получили наиболее яркое выражение у Ренана⁹: грядущая демократия есть грядущее царство Калибана. Сказка великого поэта изображает его в рабском служении у мудрого Просперо¹⁰: в действительности сам Просперо будет всецело зависеть от благосклонности Калибана. Демократия угрожает всем возвышенным историческим воспоминаниям, всякой умственной тонкости и оригинальности; но ее гегемония — несомненный факт, и человеческая культура должна суметь ужиться с ней, как она — худо ли, хорошо ли — уживалась, например, с католической церковью.

Много боящихся, много сомневающихся, но несравненно больше надеющихся. Обвинениям, которые высказывают против масс историки и социологи, они противопоставляют ту простую истину, что лишь массы являются субъектами исторического процесса. Свобода и благосостояние миллионов, а не отдельных привилегированных групп, это и есть общечеловеческая свобода и благосостояние. Раздавленный беспощадными внешними силами раб должен постепенно обратиться в человека — таков нравственный смысл истории, которого не должен затемнять блеск аристократических цивилизаций. Всякая декларация прав, устанавливая принципы человеческой свободы, должна устанавливать их для всех. С этой точки зрения всякая историческая привилегия осуждена на гибель — не только нивелирующим социальным процессом, но и растущим нравственным сознанием людей: демократия есть не только господствующий факт современной жизни, но и незыблемая норма. Когда падут социальные преграды между отдельными классами и останется лишь неравенство духовных дарований, тогда только

проявятся массы пропадающих во мраке нужды талантов и гениальностей. Поэтому кто искренно дорожит человеческим прогрессом, тот должен приветствовать победы демократии: эти победы возвещают невиданный расцвет духовных сил в человечестве. Важен каждый шаг на этом пути, и первая необходимость для современного государства — это раскрыть широко дверь всем своим согражданам, дать им всеобщее право голоса. Власть должна принадлежать избранныкам масс — ибо как иначе она может обеспечивать их интересы?

Как ни различны идеи и чувства, которые лежат в основе каждого из этих воззрений, в одном отношении последние сходятся — именно, в признании бесповоротного, так сказать, характера за современным демократическим движением. И противникам, и защитникам демократии представляется одинаково невероятным, чтобы из существующей демократии выросла новая олигархия, чтобы всеобщее право голоса уступило место узкому цензовому порядку. Это едва ли более вероятно, чем возвращение крепостного права или цеховой системы. Между тем нет ничего более трудного для воображения, чем представить себе поток будущего текущим как бы в противоположную сторону сравнительно с настоящим. Обладаем ли мы достаточно долгим опытом действия и развития демократических учреждений, чтобы позволить себе с некоторой уверенностью прогноз? Не влияет ли и на нас трудность мыслить это противоположение существующего и грядущего?

Нельзя оспаривать законности этих вопросов и возможности этих сомнений. В своем «Опыте о народоуправстве» Генри Мэн¹¹ прямо указывал, что уверенность в будущей прочности демократии есть совершенный предрассудок. Демократический строй весьма недавнего происхождения, а относительно прочности его достаточно вспомнить историю южноамериканских республик, если не брать избитого примера калейдоскопической смены конституций, которую пережила Франция с 1789 г. Таких доказательств внутренней непрочности не давали ни абсолютная монархия, ни феодальная аристократия. И далее Мэн в своем анализе

указывает на ряд политических потребностей и необходимостей, с которыми крайне трудно ужиться демократии. Во всяком случае нельзя одной верой преодолеть эти сомнения. Исторический опыт с несомненностью показывает угрожающую близость демократии и деспотической диктатуры. Нивелировка общественных групп подготавливает среду, в которой власть цезарей не находит никаких преград. В политической истории Европы плебисцит связан с утверждением не народной свободы, а всемогущества Наполеона I и Наполеона III. Выбитое из рамок исторических традиций общество переживает глубокие нервные потрясения, и наступает момент, когда за покой и порядок оно готово передать и так трудно приобретенное право распоряжаться собственной судьбой. Если к этому присоединяется блеск военной славы, обаяние человека, побеждающего внешних врагов и в надеждах современников могущего победить внутреннее неустройство, то опасности для демократии бесконечно увеличиваются: она делается добычей того, кто захочет и сумеет ее взять. Инстинкт самосохранения — индивидуального и группового — глубже всех исторических традиций и наслоений, он лежит на дне человеческой природы и в известные минуты истории заглушает все. Вот почему не одна болезненная мнительность способна видеть над установившимися, казалось бы, формами демократического порядка угрожающий призрак цесаризма. Вопрос о том, при каких условиях основателен подобный страх, — это вопрос о предпосылках прочности демократического строя.

* * *

Нет отрасли психологии, более требующей разработки и менее разработанной, чем психология общественных состояний, связанных с той или другой организацией власти. Различные политические сочетания существуют не только как типы, подлежащие изучению государственной наукой, но и как известные, переживаемые каждым сочленом общества события. Более глубокое проникновение в эту область, может быть,

дало бы путеводную нить и к разрешению того таинственного и основного вопроса о происхождении и сущности человеческой власти, без которого невозможно истинно научное изучение политической жизни. Мы не будем здесь пытаться дать исчерпывающую характеристику психологии демократического общества. Нам представляется важным лишь выяснить, так сказать, то преломление, которое претерпевают в атмосфере демократического и демократизирующегося общества потребности и интересы, присущие современному культурному человеку. Определяя точки возможных столкновений с этими потребностями и интересами, мы подготовляем ответ на вопрос об условиях прочности демократии.

В основе демократической концепции государства лежит идея народного суверенитета. XVIII век проявил ее разрушительный аспект; в XIX веке она стала созидающим началом. Каковы бы ни были теоретические возражения против этой идеи юристов и социологов, несомненно, с ней связаны такие могущественные и глубокие настроения, что без них остается совершенно непонятной жизнь современного демократического государства. Всякий политический деятель должен апеллировать к этим настроениям, он не должен подавать повод к подозрению, будто он не признает права народа руководить собственной судьбой. Самый деспотизм старается получить санкцию от суверенной демократии, и в борьбе партий решается вопрос, кому принадлежит полное и неискаженное истолкование воли народа-суверена. Эти чувства — соответствуют ли они политической реальности или опираются на фикции — гораздо несомненнее и сильнее, чем соответствующая теория народовластия, и, бесспорно, для демократических учреждений их наличие является незаменимой гарантией — тем, что заставляет рассматривать государственную форму не как нечто, наложенное сверху, вызванное игрой исторической случайности. Но бесспорно и то, что в интересах самосохранения демократического государства это чувство нуждается в коррективах. Абсолютный суверенитет есть абсолютный произвол, прихоть момента; прошлое в нем бессильно связать будущее — и так как для каждой данной

минуты настроения обладают несравненно большей способностью объединять человеческие массы, чем мысли, то пределом здесь является суверенитет общественных настроений. История Афинской демократии, как и история Французской революции дают примеры этой лихорадочной изменчивости общественных настроений, при которой как будто перестают действовать задерживающие центры. Демократическое правительство, более чем какое-либо другое, испытывает подобное психическое заражение, которое дает отдельным настроениям такую непреодолимую импульсивность; и притом эти настроения, как внушенные, могут вовсе не отражать истинного духовного облика народа. Демократия, подобно толпе у тела Цезаря¹², может облечь санкцией своего суверенитета и слова Брута¹³, и слова Антония¹⁴.

Корректив против опасности был найден среди этих самых демократических обществ: именно там развилась мысль противопоставить всемогуществу суверенного государства совокупность защищенных личных прав. Декларация прав состоит в несомненном противоречии с идеей народного суверенитета, но политическое самосохранение, не останавливаясь перед этой формальной непоследовательностью, должно стремиться к их соединению. Не случайно декларация получила свое первое выражение в американских государствах, которые на деле осуществили теорию демократического договора. В эпоху обсуждения национальным собранием прав «человека и гражданина» высказана была мысль, что не менее важна декларация обязанностей, чем декларация прав. Сознание обязанностей есть, бесспорно, один из необходимейших устоев демократии — но надо сказать, что права, перечисляемые в декларациях, и суть обязанности демократического государства — обязанности не переходить известных граней и обеспечить вообще неприкосновенность этих граней. В постоянной тяжбе между государством и индивидуумом силы слишком неравны: власть всегда сумеет вынудить у подвластного ей сочлена исполнения своих требований, и напоминание об обязанностях более необходимо для нее, чем для отдельного незащитного гражданина.

Исследователи конституционного права неоднократно указывали на тот факт, что в новейших конституциях декларация прав часто опускается: она стала слишком общим местом. Если бы такому теоретическому признанию вполне соответствовало искреннее проникновение общественными началами, провозглашенными в декларациях, мы могли бы без всякого опасения смотреть на возрастающее могущество государственного механизма в демократии. К сожалению, не всегда так бывает на деле: история борьбы с конгрегациями во Франции за последние годы слишком настойчиво напоминает, как трудно для демократии в пылу политической борьбы не переступить сферы, защищенной декларацией прав «человека и гражданина». И тем не менее *im Großen und Ganzen* направление процесса несомненно: декларации эпохи Французской революции еще не знают такого насущного права, как права собраний и союзов: *esprit de corps* считается слишком опасным для беспрепятственной деятельности государственной власти, а не считалось опасным оставить членов государственного союза беззащитными, не сплоченными перед лицом власти. Изменились формы и изменились идеи: возрождающееся учение о естественном праве дает философское обоснование декларациям, и принципиальное отрицание свободы совести и слова, союзов и собраний представляется каким-то нарушением политического приличия.

Декларация прав важна для каждого индивидуума; но особенно она важна для «меньшинства». Именно последнему существенна защита свободы его совести от возможных посягательств господствующего исповедания, свободы его слова — от подозрительной недоверчивости большинства, свобода собраний и союзов, которая одна дает возможность сплотиться и не быть раздавленным в политической борьбе. Либерализм всегда был более свойствен политическому меньшинству, чем большинству: сколько исповеданий, пока за ними стояло меньшинство, выставляло лозунг общей для всех свободы, чтобы, достигнув господствующего положения, заменить его лозунгом подавления всех иначе мыслящих! Между тем демократия вся построена на идее господства большинства: согласно известному положению Рус-

со¹⁵, остающиеся в меньшинстве не только должны подчиниться воле большинства, но должны признать свое заблуждение: истинная их собственная воля не может противоречить общей воле! И вот одно из главных условий прочности демократии заключается в том, чтобы эта власть большинства не применялась со всей тиранической полнотой, чтобы у нее были пределы. Декларация прав есть спасительный корректив к сознанию собственного суверенитета, присущего всякой демократии.

Но, очевидно, права меньшинства не обеспечиваются одним, хотя бы и самым торжественным, провозглашением свободы и прав гражданина. Та атмосфера, правовая и моральная, которая создает в данном обществе автоматическое, так сказать, признание начал декларации, и является в конце концов высшей гарантией действительного ее соблюдения, но в создании этой атмосферы играют видную роль известные учреждения: внеюридические и юридические гарантии подкрепляют друг друга.

Новейшие демократические партии обычно выставляют желательнейшей формой государственного устройства господство единой палаты, избранной всеобщим, равным, тайным и прямым голосованием на возможно короткий срок. Не говоря о несомненных государственных опасностях однопалатной системы, доказанных всего лучше историческим опытом Франции, мы не можем не коснуться воззрения, лежащего, по-видимому, в основе этой программы,— воззрения, что прочность демократии связана с наибольшим напряжением, так сказать, демократического принципа, как он осуществляется в системе данных учреждений. Между тем представительство хотя бы единой палаты не есть еще самая демократическая форма, далее в этом направлении идут плебисцит, референдум и т. п. Несомненно, демократичнее в республике избирать президента всенародным голосованием, чем парламентом; и однако французская демократия видит в установлении первого порядка серьезнейшую опасность для собственного существования. Идея однопалатной системы предполагает, что всеобщее право голоса дает идеально чистое отражение интересов и потребностей наиболее круп-

ных общественных групп, т. е. именно тех интересов и потребностей, которые более заслуживают удовлетворения. И здесь практика далеко не оправдывает теории. Представительное собрание, созданное на основе всеобщего права голоса, вотирует меры узкоклассового характера. Германский рейхстаг вотирует премии в пользу кучки крупных аграриев, за которые в виде высоких цен на хлеб, созданных повышением пошлин, будет платить вся народная масса. Да и самое признание всеобщего права голоса как нравственной необходимости нисколько не требует фанатического признания его непогрешимости. Демократический принцип требует, чтобы вторая палата не образовывала привилегированной корпорации, чтобы она так или иначе восходила к народному избранию; но самое существование ее нисколько не противоречит сущности демократической идеи. Можно сказать обратное: отсутствие якобинских посягательств на свободу и самостоятельность общественных групп и союзов, отсутствие крайней централизации, почти неизбежной при однопалатной системе, привлечение к политической жизни разнообразных социальных сил — все это составляет условие жизнестойкости и прочности демократии. К ним же принадлежат известные формы, обеспечивающие данное государственное устройство от слишком частых пересмотров — тем более необходимые, чем ограниченнее власть законодательного органа; существование судебных гарантий, останавливающих исполнение законов, которые нарушают основы государственного устройства и т. п. В этом смысле нельзя достаточно высоко ценить деятельность американского Верховного Суда. Вообще влияние и авторитет судебных учреждений представляются одним из необходимейших устоев демократического строя. Должно укорениться убеждение, что есть начала, перед которыми останавливается даже изменчивая воля законодателя, что существуют основные формы свободы и неприкосновенности человеческой личности, на которые не простирается народный суверенитет, — и эта мысль должна быть воплощена в судебной защите этих неотчуждаемых прав. Наконец, все вообще, что обеспечивает права меньшинства — пропорциональное представительство, местная

децентрализация и т. п. — все это является ценным для жизнеспособности демократии, для того, чтобы она не выродилась в тиранию и этим путем не дошла до самоуничтожения.

Не одни формы государственного устройства должны здесь приниматься во внимание; содержанием для этих форм является социальная политика, преследуемая данным государственным союзом. Совершенно ясно, какие задачи должна преследовать в демократическом государстве эта политика. В нее должно входить все, что поднимает благосостояние трудящихся масс и охраняет труд; идеальной целью является падение тех стен, которые отделяют в современном обществе буржуазный и пролетарский элементы. Демократическая политика исходит из предпосылки, требующей обеспечить за каждым весь плод его труда; она борется поэтому против всяких эксплуатирующих общественных элементов; но выше этого права для нее должно стоять другое начало — обеспечение за каждым условий человеческого существования. Бесспорно, последнее может явиться для современной демократии лишь идеальной, регулятивной нормой — но первый шаг по этому пути сделан: достаточно указать на законодательство о престарелых и нетрудоспособных в австралийских колониях.

Итак, для социальной политики основным мотивом является обеспечение интересов большинства; но и здесь, как и в области организации политической власти, демократии угрожает опасность совсем игнорировать интересы меньшинства. Конечно, в области материальной их никак нельзя признать столь же незыблемыми и неотчуждаемыми, как в области духовной, и едва ли кто-нибудь решится в настоящее время утверждать, что право собственности столь же священное и неотчуждаемое право индивидуума, как свобода мысли, совести и т. п. Никакая социальная реформа в пользу масс не может совершиться без более или менее чувствительных пожертвований со стороны различных социальных групп, всегда составляющих меньшинство; тем не менее важно, чтобы, ограничивая исконные права этого меньшинства, власть всегда сознавала, что она ограничивает их во имя известных высших целей,

и принимала меры к тому, чтобы общественная группа, затронутая мероприятиями, в возможно меньшей мере чувствовала свое право нарушенным. Нет сомнения, например, что демократическое государство не может оставаться равнодушным к распределению земельной собственности, не может смотреть на землю, как на простой предмет купли-продажи. Оно должно содействовать увеличению площади крестьянской собственности, регулировать арендные отношения в духе, благоприятном для экономически слабой стороны; оно не может остановиться перед неприкосновенностью частновладельческих латифундий, раз ощущается острая нужда в земле. Но правовой характер подобной экстрополяции требует всегда денежного ее эквивалента-выкупа: необходимо принять во внимание право землевладельца, вложенный им труд и капитал; иначе получается конфискация, а ничто не развивает такого количества ненависти и ожесточения против власти, как сознание себя жертвой ее произвола. Конечно, размеры выкупа не могут быть предоставлены усмотрению землевладельца: он должен определяться учреждениями, представляющими интересы всего населения. Выкуп и есть признание старого права, которое должно уступить хотя и более новому, но высшему, обеспечивающему главные интересы главной массы населения.

С другой стороны, социальная политика демократии должна носить, так сказать, общий характер, распределяя жертвы по возможности равномерно. Стоя на принципе покровительства народному труду, она не может создавать прогрессивного рабочего законодательства и в то же время ничего не делать для обеспечения земледельческого класса и обратно: капиталист и земледелец — оба должны нести необходимо материальные жертвы, связанные с социальными реформами. Вот почему теория Генри Джорджа¹⁶, предлагающая государственной власти распорядиться имуществом землевладельца и оставить нетронутым фабриканта, вводит в социальную политику крайне опасное начало. Фактически, конечно, мы постоянно видим в конституционных государствах стоящим у руля государственного корабля то класс землевладельцев, то класс крупных

промышленников, и их интересы являются могущественными определяющими моментами законодательств; но такое классовое направление должно быть чуждо демократическому государству, которое не может отступать от принципа всеобщего блага. Лишь таким образом его социальная политика будет опираться на достаточный нравственный авторитет, лишь в этом случае государственная власть может развить широту почина в социальном творчестве и смелость эксперимента в направлении постепенного обобществления хозяйственной жизни страны. В сознании имущих классов укореняется убеждение, что деятельность государства лишь следует естественному и неизбежному ходу вещей, вводя в спокойные и правильные формы решение спора, который иначе мог бы окончиться лишь столкновением наличных сил и насильственной борьбой, внося в этот спор вечные начала справедливости и достоинства человеческой личности.

* * *

Мы старались показать, какая система правовых понятий и идей должна соответствовать демократическому государству. Ими, однако, не исчерпываются психологические предпосылки его прочности.

Неоднократно указывалось на роковое противоречие между демократическим строением общества и его способностью усваивать высший научный дух и научное развитие. «Переберите в своей памяти,— говорит Мэн,— великие эпохи научных открытий и социальных переворотов в течение последних двух веков и посмотрите, что случилось бы, если бы всеобщее право голоса существовало в эти критические минуты. Всеобщее право голоса, которое теперь изгнало свободную торговлю из Америки, конечно, запретило бы механический ткацкий станок, механическую молотилку, григорианский календарь; оно вернуло бы в Англию Стюартов¹⁷. Оно изгнало бы католиков голосами толпы, которая сожгла дом и библиотеку лорда Мансфельда¹⁸ в 1780 г.; оно изгнало бы диссидентов голосами толпы, которая сожгла дом и библиотеку Пристли в 1791 г.¹⁹ В основе

этого списка лежит мысль о недоступности для масс народа высших умственных операций и научных методов; высокая умственная культура представляется всегда аристократической. Отсюда, казалось бы, вывод должен вести вовсе не к отрицанию демократии, а к установлению власти “духовной аристократии”. Гегемония науки в человеческом обществе не есть гегемония числа, но она не есть также гегемония рождения и состояния. Если измерять ценность каждого общественного строя количеством шансов, которые при нем выпадают на долю наиболее одаренных натур, то едва ли можно оспаривать, что демократия в этом смысле есть наилучше приспособленная форма».

Нельзя, однако, отрицать, что психологии демократического общества присущи известные предрассудки против утонченной умственной культуры, как и против экзотических течений в искусстве. Есть, очевидно, мысли и настроения, которые не по плечу среднему человеку, являющиеся для демократического общества своего рода «мерой всех вещей». Непонятное же всегда легко представляется излишним, а излишнее — вредным. Подобный грубоватый утилитаризм может являться несомненной опасностью для демократии в том смысле, что он отчуждает от нее тонкие умственные организации и понижает ее духовный уровень, создавая противоречие между служением обществу и служением истине, создавая среди наиболее богато одаренных членов общества своего рода интеллектуальный аскетизм. Поэтому нигде не имеет такой общественной важности уважение к науке и к духовным благам, как именно в демократии. Для этого прежде всего необходимо гарантировать полную свободу научного исследования и творчества, искореняя вредный предрассудок, будто существуют какие-то ортодоксальные истины, обладающие монополией научности. Создание такой ортодоксии составляет тяжкий грех современной социал-демократии, который всегда будет глубоко ослаблять качественно ее духовные силы, если она от него не избавится.

Свобода исследования предполагает свободу преподавания. Известно, какие возражения, бурные по форме и серьезные по содержанию, вызывает этот прин-

цип в католических странах. Клерикальная опасность толкает демократическое государство к тому, чтобы наложить свою тяжелую руку на школу и создать государственную монополию. Какие бы неудобства ни вытекали из принципа свободы преподавания, как бы он ни усиливал враждебные демократии организации, сам по себе принцип этот так драгоценен, что всякое его ограничение несомненно хуже этих неудобств. Менее всего приличествует демократии принимать на себя роль какой-то светской теократии и определять, какие научные истины подлежат поощрению и какие — осуждению. Она должна усвоить идею научной относительности, сообразно которой истина вчерашнего дня может сегодня оказываться заблуждением, а истина сегодняшняя может быть разрушена завтра. Вот почему она должна предоставить самые широкие возможности распространению разных духовных течений, не давая повода заподозривать собственный нейтралитет; это даже важнее, чем материальная помощь научному образованию. Может быть, поэтому демократическое государство должно стремиться не столько к развитию государственной школы с неизбежно присущим ей бюрократизмом, сколько всячески поощрять частную инициативу, однако не упуская из вида другой великой своей задачи — чтобы ни один сочлен общества не вступил в жизнь без образовательной подготовки. Требуется великий государственный такт, чтобы примирить свободу преподавания и обязательность обучения: для прочности демократического строя задача эта имеет первостепенную важность. Невежественная демократия есть лучшая почва для тирании и диктатуры.

* * *

Если всякая форма общественной организации, кроме оценки ее целесообразности, подлежит еще суду нравственному, то нельзя не сказать, что для современного нравственного сознания демократия имеет великие преимущества перед другими формами общежития, построенными на привилегиях известных групп

населения. Наше чувство шокируется правовым неравенством; имущественный ценз, открывающий доступ к политическим правам, ощущается как несправедливость, и недалеко то время, когда политическое неравенство будет признаваться за такую же аномалию, как неравенство перед гражданским и уголовным законом. Идея демократии имеет за себя великую нравственную санкцию, в рядах ее защитников находятся тонко организованные и чуткие натуры, которыми менее всего руководят личные выгоды и оппортунистические соображения, и этот момент имеет громадную важность для прочности демократии. Еще более чем нарушение права и пренебрежение образованием угрожает ей потеря нравственных устоев, ибо она в них нуждается больше, чем какая-либо другая форма человеческого общежития. В самом деле, для демократии недостаточно одно механическое повиновение граждан государственному закону; от них требуется большее, чем соблюдение закона, большее, чем согласование с нормами права, требуется такая степень солидарности и подчинения своих интересов общему благу, которая не может охватываться никакой правовой нормой. Пусть будет признано за каждым право на весь целиком плод труда — демократия должна обеспечить нечто большее, обеспечить за каждым членом общественного союза условия, достойные человеческого существования. Нужно, чтобы каждый отказывался в пользу других от части своего права, чтобы строгий учет сделанного и полученного смягчался чувством коллективной связи, заставляющим переживать чужое лишение и страдание, как свое собственное. Лишь при условии этом возможен переход от демократии политической к демократии общественной. Формула Сен-Симона²⁰ «каждому по его способностям, каждой способности по ее заслугам», если бы она сделалась законом распределения материальных благ в обществе, построенном на начале социальной справедливости, весьма скоро привела бы к захвату этих благ более сильными и более одаренными и вновь создала бы общественные классы с их неравенством и с их взаимной борьбой. Природа не знает равенства, и установить его может лишь напряженная моральная деятельность. Если же вместе с

теоретиками социал-демократии видеть в классовом интересе последний определяющий стимул исторического хода, то всякое будущее общественное устройство, организованное во имя классового интереса, хотя бы и самого широкого, явится исходным моментом для образования новых классов с их неравными силами, с противоположными интересами, и социальная Фемида снова повернет колесо общественной жизни из «царства свободы» в «царство непобедимости». В конце всей социальной борьбы с муками и страданиями — *restitutio in integrum*.

Как всемогущество народного суверенитета требует противовеса в создании неотчуждаемой области личных прав, так эти последние должны свободно ограничиваться чувством солидарности: область этого чувства всегда шире, чем область права, и при самом широком понимании социально-правовых задач государства нельзя ожидать и даже желать исчезновения этой разности; только незащищенные внешней властью моральные нормы могут служить коррективом к защищаемым этой властью нормам права, а без такового корректива само право рано или поздно под влиянием новых социальных конъюнктур осуждено на разрушение. Индивидуализм, отвергнувший всякое обязывающее начало к совместной жизни членов общества, расчищает путь к полному отрицанию прав индивидуума со стороны общества. Демократия невозможна без выработки сочленами общественного союза привычки защищать свое право, но она непрочна без другой привычки — не использовать этого права до конца. Как нравственная основа демократического строя, глубже справедливости лежат чувства симпатии и сострадания. Мы не можем мыслить общество в стадии «царства свободы» иначе, как при великом, несоизмеримом с тем, что есть теперь, развитии этих чувств. Иначе даже обобществленное производство не избавит от появления новых форм социального угнетения. Утверждать это — не значит утверждать вопреки печальному историческому опыту чудодейственную силу за увещанием и нравственными проповедями; это значит лишь признавать, что величайшее экономическое противоречие современной культуры не может быть разрешено

без коренного нравственного изменения человеческой личности. Об этом менее всего следует забывать тем, кто в «трезвом реализме» Бернштейна²¹ видит лишь продукт мещанской психологии, угрожающий понизить тон и отнять подъем у великого социального движения наших дней.

Являются ли моральные предпосылки конечными, не опираются ли они сами на нечто иное? Здесь уже мы вступаем в область вопроса о санкциях нравственности. Несомненно одно: стимулы ограничения личного эгоизма — а это последнее и является главным жизненным условием для развивающейся демократии — могут быть даны не в одной нравственности. Более чем своим ближним человек на протяжении истории принес жертву своим богам или своему Богу. Бесконечно разнообразна психология этих жертв — начиная от чисто коммерческого расчета на принципе *do ut des*, проявляющегося в разных жертвенных и молитвенных тарифах, которые нам оставило и семитическое многобожие, и средневековое единобожие — и кончая теми тонкими, неуловимыми чувствами зависимости от высшей силы, высшего разума, высшей любви, которые влекли человека к культу «дальнего» и к пожертвованию настоящим ради вечного. Здесь мы не должны обманываться внешним единством организации, формы; как сложен, например, в современной католической церкви, которая извне представляется столь цельной и единой, круг тех мыслей и чувств, на которых она держится. В ней мы встречаемся со всеми оттенками религиозного понимания — начиная от почти первобытного фетишизма до самого одухотворенного индивидуализма, — но из всех этих разнообразных источников вырабатывается одно чувство глубокой солидарности — взгляд, что личные силы не принадлежат человеку, а некоторой высшей и пребывающей организации — церкви; дарования и темпераменты, как и материальные богатства не принадлежат всецело их обладателю; они имеют одно назначение — расходоваться *ad majorem gloriam Dei* — сколь разнообразное содержание ни вкладывается членом католической церкви в слова *gloria Deus*. И надо сознаваться, католическая церковь дала высокие примеры того, как ин-

тенсивно может развиваться и чего может достигнуть человеческая солидарность. С этой стороны, с католицизмом, как организацией, в современной Западной Европе можно сопоставить лишь социализм, в котором Моммзен, подводя итоги своего жизненного опыта, признал, несмотря на все свое с ним расхождение, крупнейшую моральную силу современной Германии. Социал-демократическое движение при всем своем теоретическом материализме сильно своим религиозным подъемом, своей верой в осуществление идеала, несомненно выходящего за пределы, доступные утверждению исторической эмпирии. Инстинкт духовного самосохранения партии сказался в той ожесточенной борьбе, которую вызвал Бернштейн, несмотря на логическую силу своей аргументации. Его взгляд угрожал отнять у социал-демократии те ее конечные надежды, без которых завоевания постепенных улучшений в жизни мало, слишком мало дают жаждущему освобождения.

Способна ли демократия жить одним будничным интересом, одним развитием действующих друг на друга сил? Бесспорно, демократические учреждения могут действовать и в той психологической атмосфере, которая окружает современное государство, но в таком случае эта формальная демократия едва ли будет соответствовать представлению о демократии подлинной, где из ее посылок выведены все следствия. Не раз указывалось, что всеобщее право голоса далеко не дает тех результатов в смысле демократического представительства, которых от него ожидали, что и при нем торжествует классовая гегемония и интересы немногих в ущерб массам. На самом деле, нетрудно видеть, насколько идея равенства, как постулат политической жизни, мало соответствует эмпирической действительности; и едва ли можно дать другое философское обоснование этой идее, кроме чувства зависимости всех людей от Высшей Силы. Божественное начало возвышается над человеческой жизнью на недостижимую высоту, и в отражении его стираются различия ценности бытия каждого человека. Точно так же и идея солидарности, другой великий принцип демократии, основывается на коллективной связи всех живущих, живших и имею-

щих жить, возвышающейся над сменой человеческих поколений, выводит нас за пределы области эмпирической. Для последней не существует ни единства человеческого рода, ни единства исторического процесса — идея, совершенно справедливо изгнанная из современной исторической науки; но эти идеи существуют в их религиозном аспекте, и в этом смысле им предстоит великое будущее.

И наконец, для демократии необходимо иметь в себе вечный источник социального вдохновения, радости общественного творчества. Она необходимо должна ослабить внешний стимул принуждения и соответственно усилить внутренние стимулы свободной работы на счастье и благо общее. Что может дать обоснование этим стимулам, кроме напряженного и яркого религиозного чувства?

Современная Америка представляет пример того, что может дать демократии свободное развитие религиозной жизни. Много жестокого и неприглядного представляет американская жизнь, но все-таки нигде так не сказывается мощь социальных потенций религии, как именно здесь. И характерно, здесь мы совсем не видим той религиозной демагогии, которая требует, как своих устоев, фанатизма, нетерпимости и суеверия. Религиозная история Америки представляет картину постоянно расширяющейся терпимости; признаны разнообразные формы и символы, под которыми предчувствуется единство содержания. Здесь глубокий контраст с религиозным фанатизмом, для которого догма и форма все; последний часто вступал в союз с демократией, часто принимал даже идею народного суверенитета. В самой психологии этого фанатизма есть несомненно много общих черт с представителями политического якобинства. Клерикальная демократия в смысле подавления личной свободы идет впереди даже демократии якобинской.

Если будущее представляет развитие и углубление демократического принципа, то и религия будущей демократии едва ли может быть религией определенной формы или установленной догмы. Ее связующая сила — в тех чувствах пиетета и благоговения, которые присущи человеку перед Непознаваемым, Бо-

жественным. И эти чувства достаточно яркие, достаточно богаты творческими силами, чтобы создать и бесконечное разнообразие символов, и форм. Одухотворение человеческой жизни — вот истинная предпосылка начала «царства свободы»; нельзя его себе представить без религии, создающей союз земного и небесного, о котором говорит апостол: «Мы ждем по Его обету новых небес и новой земли, в которых живет правда».

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Котляревский Сергей Андреевич (1873–1940), историк, юрист, депутат I Государственной думы от Саратовской губернии. Окончил историко-филологический факультет Московского университета. По окончании курса — приват-доцент по кафедре всеобщей истории. В короткое время защитил диссертации: магистерскую «Францисканский орден и римская курия XIII и XIV вв.» (1901) и докторскую «Ламменэ и современный католицизм» (1904). В связи с подъемом общественного движения и повышенным интересом к политико-юридическим вопросам, Котляревский выдержал экстерном экзамены на юридическом факультете и написал две новые диссертации: «Конституционное государство. Опыт политико-морфологического обзора» (1907) и «Правовое государство и внешняя политика» (1909). Покинув историко-филологический факультет и будучи утвержден министром народного просвещения на кафедре государственного права, Котляревский читает вместе с тем лекции по государственному праву и в других высших учебных заведениях Москвы. Из его четырех диссертаций наибольшую ценность представляет последняя, которая при общей скудости русской юридической литературы, не отличаясь особенной глубиной, все же является несомненно полезным исследованием. В 1912 г. Котляревский выпустил новую книгу: «Юридические предпосылки русских основных законов», в которой старался осмыслить хаотические противоречия русского обновленного строя и сближал

«самодержавно-конституционный» строй России с западными конституциями. По своим теоретическим взглядам Котляревский находился в идейном родстве с авторами «Вех» и тяготел к метафизическим и религиозно-мистическим проблемам и построениям. Даровитый писатель, владеющий и живым, и быстрым пером, он много и по самым разнообразным вопросам писал в «Русской Мысли», «Московском Еженедельнике», «Русских Ведомостях» и других периодических изданиях. На общественное поприще Котляревский вступил в качестве земского гласного в Саратовской губернии и участвовал в земских съездах. Был членом кадетской партии, входя в состав ее ЦК с момента ее образования и примыкая к правому крылу.

После Февральской революции 1917 г.— комиссар Временного правительства по делам иностранных и иноверных исповеданий, а с июля 1917 г.— товарищ оберпрокурора Синода и товарищ министра вероисповеданий. После октябрьского переворота участвовал в подпольной деятельности. Один из авторов сб. «Из глубины» (1918). В 1920 г. привлекался к суду по делу так называемого «Тактического центра», был приговорен условно к тюремному заключению на 5 лет. Впоследствии работал в Московском университете, был членом Института Советского права.

М. А. Абрамов

Соч.: Что может дать антропогеография для истории? М., 1900; Сущность парламентаризма. М., 1913; Власть и право. Проблема правового государства. М., 1915; Война и демократия. М., 1917; Оздоровление // Из глубины. Сб. статей о русской революции. М.—Пг., 1918; СССР и союзные республики. М., 1924.

ПРИМЕЧАНИЯ

Статья «Предпосылки демократии» печатается по изд.: Котляревский С. А. Предпосылки демократии // Вопросы философии. 1905. Кн. 77. № III—IV. С. 104—127.

¹ *Спиноза Бенедикт Барух* (1632–1677) — нидерландский философ-пантеист.

² *Терсит* — персонаж эпической поэмы Гомера «Илиада». Простолюдин.

³ *Клеон* (ум. 422 до Р. Х.) — лидер радикального крыла афинской демократии.

⁴ *Перикл* (ок. 490–429 до Р. Х.) — лидер афинской демократии, стратег (444/443–429, кроме 430 г.).

⁵ *Жакерия* — крестьянское антифеодалное восстание во Франции в 1358 г.

⁶ *Лигеры* — возможно, имеются в виду диггеры-копатели, захватывающие пустоши во время Английской революции.

⁷ *Якобинцы* — члены якобинского клуба в период Французской революции.

⁸ *Коммуна 1870 г.* — Парижская коммуна, рабочее и мелкобуржуазное правительство в Париже, просуществовавшее с 18 марта по 28 мая 1871 г.

⁹ *Ренан Жозеф Эрнест* (1823–1892) — французский историк, писатель, востоковед.

¹⁰ *Калибан, Просперо* — герои пьесы У. Шекспира «Буря».

¹¹ *Мэн Генри Джеймс Сейнер* (1822–1888) — известный юрист, историк права.

¹² *Цезарь Гай Юлий* (102 или 100–44 до Р. Х.) — римский диктатор, полководец, убит республиканцами.

¹³ *Брут Марк Юний* (85–42 до Р. Х.) — вместе с *Кассием* возглавил заговор 44 г. до Р. Х. против *Цезаря*.

¹⁴ *Антоний Марк* (ок. 83–30 до Р. Х.) — римский полководец, сторонник *Цезаря*, член II Триумvirата.

¹⁵ *Руссо Жан Жак* (1712–1778) — французский писатель и философ.

¹⁶ *Джордж Генри* (1839–1897) — американский экономист, выдвинул идею национализации земли.

¹⁷ *Стюарты* — королевская династия в Шотландии (1371–1714) и в Англии (1603–1649, 1660–1714). Наиболее известные представители — *Мария Стюарт*, *Яков I*, *Карл I*, *Карл II*.

¹⁸ *Мансфельд Уильям* (1705–1793) — граф, судья и английский государственный деятель.

¹⁹ *Пристли Джозеф* (1733–1804) — английский хи-

мик и философ-деист, открыл кислород (1774). Преследования фанатиков вынудили его эмигрировать в США (1794).

²⁰ *Сен-Симон Клод Анри де Рувруа* (1760–1825) — граф, французский мыслитель, социалист-утопист.

²¹ *Бернштейн Эдуард* (1850–1932) — один из лидеров германской социал-демократии и 2-го Интернационала, идеолог ревизии марксизма.

С. Л. Франк

ФИЛОСОФСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЕСПОТИЗМА*

Есть только один способ покончить с практическим абсолютизмом — это покончить с абсолютизмом метафизическим, со всяким догматизмом — все равно, материалистическим или спиритуалистическим, — который претендует на знание абсолютного блага.

Фулье¹

I

Деспотизм есть господство человека над человеком, господство неограниченное и руководимое лишь произволом самого господствующего. В этом широком смысле деспотизм есть не исключительно политическое понятие, а общая социологическая и морально-правовая категория. Деспотизм столь же возможен в области личных, семейных, гражданских отношений, сколько в сфере государственной жизни. Всюду он сохраняет неизменным свое существо, всюду он означает неограниченное, произвольное господство, предполагающее на другой стороне бесправность и слепое повиновение. Философское обоснование деспотизма состоит в установлении тех принципиальных морально-правовых соображений, из которых вытекает *право неограниченного господства и обязанность слепого повиновения*; фило-

* Публичная лекция, прочитанная в пользу голодающих 14 февраля 1907 г. в Петербурге.

софская критика деспотизма сводится к критике этих соображений*.

Всякое положительное право, каковы бы ни были его реальные корни и поддерживающие его фактические силы, со своей принципиальной, идейной стороны опирается на какое-либо соответствующее *естественное право*, мотивируется и оправдывается своей высшей, абсолютной правомерностью. В чем же усматривается правомерность деспотизма, чем может быть обосновано естественное право одного человека на господство над другим?

Ответ на этот вопрос не представлял особых трудностей в прежние эпохи, до идейного переворота XVIII века. Господство и подчинение предполагают неравенство между людьми, их обоснование сводится к уяснению правомерности неравенства в распределении прав и обязанностей. Для античного сознания, для эпохи рабства и национальной исключительности идея неравенства обладает такой непосредственной очевидностью и убедительностью, что вопрос о правомерности деспотизма разрешается легко и просто ссылкой на естественное неравенство людей. Классическим образцом подобного обоснования деспотизма является рассуждение Аристотеля², для которого право господства определяется природным неравенством между взрослым и ребенком, мужчиной и женщиной, свободным и рабом, эллином и варваром. Одни рождены для того, чтобы повелевать, другие — для того, чтобы повиноваться. Но уже христианство, выставив по крайней мере как общее моральное требование идею универсального братства и, следовательно, равенства людей, раскололо цельность античного обоснования господства. С того времени стало необходимым отыскивать некоторый высший принцип, на который могло бы опереться господство и требуемое им неравенство. Этим принципом служит та идея власти,

* Философия деспотизма, как и вообще философия права или политическая философия, исследуя и решая проблему *правомерности* известных общественных отношений, не имеет ничего общего с социологией или психологией права, которые изучают фактический состав и причинную обусловленность правовых отношений. Попытку психологического анализа явлений власти и господства автор представил в статье «Проблема власти».

которая дается религией. Бог есть высший и абсолютно неограниченный властелин, и Его власть распространяется на тех, кто являются Его избранныками и представителями на земле. Всякая власть конструируется как доля или частичное отражение бесконечной власти Бога; светская и духовная власть одинаково строятся на этом основании, и весь спор о взаимном разграничении их компетенции сводится к определению их близости к общему источнику власти — Богу. Общая христианская идея братства и равенства не мешает установлению на почве религиозной идеи власти сложной иерархии господства и подчинения; и на каждой ступени этой иерархии власть неограниченна, как неограниченна власть Бога.

Но с тех пор как Руссо восстал против этого обоснования власти, произнес дерзкие слова: «Всякая власть от Бога; но от него и всякая болезнь; значит ли это, что запрещено приглашать врача?» — с тех пор, как в общественном сознании была утверждена истина, что «ни один человек не имеет естественной власти над себе подобным», — обоснование деспотического господства стало трудной и сложной проблемой. Принципиальное равенство людей и непосредственная недопустимость деспотизма стали основной предпосылкой морально-правовой веры, и идея деспотизма должна была взять на себя тяжелое «бремя доказывания» своей правомерности. С этого времени был решительно отрезан путь ко всем *непосредственным* источникам деспотизма — будет ли то естественное неравенство людей, или божественное дарование им власти и, следовательно, неравенство их в отношении близости к метафизической основе власти; пригодными стали лишь *производные* источники деспотизма, обосновывающие его, несмотря на принципиальное признание равенства и в полном согласии с ним. «Никто не имеет естественной власти над себе подобным» ни в силу личных своих преимуществ, ни в силу какой-либо высшей санкции, которая непосредственно, независимо от блага подчиненных, давала бы такое право.

Мировоззрение, исходящее из признания равенства между людьми, не допускающее, чтобы один человек сам по себе мог быть лишь слугой и орудием другого,

может считать правомерным источником власти лишь соглашение, общий интерес повинующихся, высшее благо не властителя, а подчиненных. С этой точки зрения деспотизм, т. е. неограниченное господство, может иметь лишь смысл *опеки*, принудительного управления и руководства судьбою людей в их же собственных интересах. Этот утилитарный мотив дает самый сильный и убедительный аргумент в пользу деспотизма, — аргумент, которым, в сущности, всегда, по крайней мере как дополнительным доводом, защищался всякий деспотизм и который выступил на первый план, когда другие доводы были отмечены развившимся общественным сознанием.

Деспотизм, понимаемый как опека, как насильственное осуществление блага опекаемого, является одним из самых непреходящих и устойчивых мотивов философско-политической мысли. Явления, подводимые под понятие опеки, вообще неизбежны в человеческом общении: опека взрослых над детьми, разумных над безумными есть отношение всем понятное, целесообразность и необходимость которого очевидна. Тот аргумент, который противопоставляется деспотизму защитниками свободного самоопределения человека, — именно что каждый точнее всего знает свои собственные интересы и лучше всех может их осуществить — в данном случае неприменим. Очевидно, есть такие различия в умственных и нравственных способностях людей, при которых это суждение перестает быть истиной и когда необходимо, чтобы духовно сильный руководил поведением слабого, хотя бы против его воли, но в его собственных интересах.

Но то, что в частной жизни людей применимо лишь в исключительных случаях, может в общественной жизни требовать гораздо более широкого применения. Ведь задача общественной жизни состоит в осуществлении не личного, а общего блага, и притом блага более или менее отдаленного. Разве для этого дела человечество не нуждается в руководителях? Разве каждый в одинаковой мере знает, в чем общее благо и как его можно достигнуть? В отношении этой общей и отдаленной цели большинство людей — те же дети, фатально вынужденные верить свою судьбу более предусмотритель-

тельным и разумным наставникам. Так, на почве идеала общего блага, на почве понятия прогресса, как постепенного движения по пути к этому идеалу, вырастет новая могущественная опора идеи деспотизма.

С тех пор, как человечество начало мыслить о своей судьбе и искать лучшего будущего, в человеческом сознании живет одна заветная, неистребимая мечта: мечта внести сознательность в стихийный процесс жизненного развития, разумно и целесообразно двинуть его по верному пути, на место слепой анархии установить порядок и организацию. Человечество, как неразумное стадо, без мысли о конечной цели, без знания пути к ней, ощупью бредет по дороге жизни. Один стремится направо, другой — налево, один — вперед, другой — назад; каждым движут его собственные интересы, страсти, упования и идеалы; и из беспорядочного, неурегулированного столкновения миллионов живых существ стихийно складывается строй общественной жизни, бессознательно пролагается путь движения, не предугазанный ничьей разумной мыслью и сознательной волей. Этому состоянию анархии человеческая мысль противопоставляет идею подчинения стихийных сил разумной воле человека, ту же великую идею, которая лежит в основе всего технического прогресса. Подобно силам природы, слепые силы общественной стихии должны быть покорены и направлены к благу человека; состояние разброда и хаоса должно быть заменено состоянием порядка и организации, при котором люди могли бы сознательно творить свою историю, следуя совместно указаниям своего разума. Эта идея организации и, так сказать, *рационализации* общественной жизни, т. е. полного подчинения ее разуму и разумной воле руководителей, есть одна из глубочайших и упорнейших тенденций социально-философской мысли; в разных формах и в различном контексте идей она встречается у самых разнообразных мыслителей. Она образует центральную мысль самой древней из известных нам социально-философских систем — системы Платона³; она одинаково дорога и католицизму, который мечтает об организации человечества для осуществления небесного блаженства, и социализму, которому организация человечества нужна для осуществления блаженства зем-

ного; она составляет основной мотив революционного якобинства и «просвещенного абсолютизма». Будучи формальным социологическим построением, она может вместить в себя любое содержание, служить проводником и союзником самым разнородным идеалам. Недаром один из наиболее убежденных провозвестников этой идеи, Огюст Конт⁴ предлагал католикам соединиться, несмотря на все разногласия мировоззрения, с «позитивистами» в одну великую партию «организаторов человечества» для совместной борьбы со всеми дезорганизующими социальными тенденциями.

II

Великая идея организации человеческого общежития, замены хаотической анархии сознательной планомерностью не только вполне правомерна, но составляет один из непреходящих философско-политических идеалов. Однако взятая как отвлеченное начало без необходимых ограничений, вытекающих из других нравственных требований, без сознания трудностей, препятствующих ее осуществлению, она дает начало своеобразной и односторонней системе мыслей, логически приводящей к деспотизму.

Идеалу организации и объединения человечества противостоит факт разрозненности и противоречивости человеческих воззрений и стремлений. Кто добросовестно, без предвзятой мысли вдумается в этот факт, для того не останется сомнения, что в известном смысле он образует непреодолимую преграду для полного и более или менее быстрого осуществления идеала организации. Факт этот не принадлежит к числу тех, которые могли бы быть устранены какими-либо внешними приемами или действиями; вытекая из самого существа человеческой природы, он в известной мере, так сказать, имманентен самому человеческому бытию; в лучшем случае он может исчезнуть или, по крайней мере, ослабеть лишь в результате долгого и постепенного процесса культурного перевоспитания в духе солидарности и единомыслия. Но пока этого нет — кто может с абсолютной и для всех убедительной достоверностью указать людям общий идеал и повести их по верному

пути к нему? А между тем ведь именно это единомыслие необходимо для того, чтобы идеал организации мог получить осуществление. Если бы какой-либо высший дух открыл истину так, чтобы все люди ясно увидели ее и твердо уверовали в нее, разногласия и споры исчезли бы, и люди могли бы объединиться на одной общей цели. К несчастью, правда добывается менее верными и скорыми путями, и у человечества нет никаких внешних, очевидных гарантий или критериев для ее определения и распознавания. Конечно, каждый имеет определенную веру, каждый волен думать, что нашел истину, и убеждать всех других примкнуть к нему и следовать за ним. Так это всегда было и есть, но это еще не внесло в судьбы человечества того порядка и той целесообразности, о которой мечтает идея организации. Ведь именно потому, что *каждый* считает свои воззрения истинными, соглашения между людьми нет, и все бредут различными путями. Как ни трагична такая слепота, как ни тягостен разброд мнений и стремлений, получающийся в результате ее,— они суть неизбежные факты, которых нельзя ни уничтожить, ни обойти. И пока мы остаемся на почве этих фактов, мы должны за каждым признавать право искать истину на своем пути; единственным средством, которое может приблизить нас к верной цели, оказываются не неосуществимое объединение, а свобода личной инициативы и стихийное соперничество разнородных тенденций и направлений. Лишь коллективное и неорганизованное творчество людей, в котором могут свободно сказаться все силы и все направления духа, может внести хотя бы некоторый свет в тьму, окутывающую путь к идеалу.

Конечно, идея организации и объединения человечества не лишается, благодаря этому, своего принципиального значения; она остается идеалом, практическое осуществление которого зависит от естественного роста солидарности между людьми, от неизбежного, хотя и медленного, укрепления некоторых основных идей в сознании всех. Сохраняется надежда, что именно в результате свободной борьбы мнений и воззрений кристаллизуется некоторый запас признанных всеми истин, который, как цемент, сольет людей в одно солидарное целое и даст им возможность действовать едино-

душно и потому сознательно. Во всяком случае, однако, осуществление идеи организации переносится на отдаленное будущее и ставится само в зависимость от неподчиненного человеческой воле стихийного процесса культурного развития.

Однако фанатические и страстные сторонники идеи организации отнюдь не склонны откладывать ее осуществление до того времени, когда естественно установится единомыслие между людьми; напротив, они считают возможным и необходимым немедленно разрешить эту задачу, так как они отнюдь не доверяют стихийному процессу социальной жизни, а именно и хотят положить ему конец. Но как это возможно сделать? Возможность планомерной организации и руководства людьми предполагает знание истинной цели и верного пути к ней. Кто признает относительность всех человеческих знаний и, следовательно, принципиальную равноправность всех направлений мысли, для того, как мы видели, разногласие между людьми является абсолютной преградой для немедленного осуществления идеала организации, ибо это разногласие свидетельствует об отсутствии первого условия организации — точного и бесспорного знания конечного идеала. Но это соображение совершенно неубедительно и лишено всякой силы для того, кто считает себя *обладающим абсолютной истиной*. Для человека, сознательно или бессознательно признающего себя или свой идеал *непогрешимыми и абсолютно верными*, исчезают всякие сомнения и колебания; все разногласия между людьми лишаются в его глазах своего принципиального значения, обосновывающего свободу мнения, и сводятся к простому факту противоречия между истиной и ложью, между сознательностью и невежеством или предрассудком. С этой точки зрения подобные разногласия должны быть преодолены всеми средствами и притом чисто механически. Когда я вижу слепого, идущего по направлению к пропасти, я постараюсь словами убеждения предупредить грозящую ему опасность; но если это мне не удастся, я силой поставлю его на правильный путь. Не так же ли по отношению к слепой людской толпе должны поступать ее зрячие, сознательные руководители? Можно ли спокойно смотреть на

гибель или даже бесцельные блуждания людей, когда знаешь путь к их счастью, можно и нужно ли ждать, пока люди добровольно и самостоятельно придут к его сознанию? Нет, необходимо властно вмешаться в их судьбу и, волей или неволей, заставить их следовать за собой!

Несомненно, и может быть фактически доказано, что все социальные системы, руководимые идеей организации, открыто или молчаливо опираются на *догмат непогрешимости*. Из доктрины непогрешимости открыто исходит католицизм, эта наиболее грандиозная и относительно успешная попытка организации человечества; ибо весь план спасения человечества католической церковью держится на признании ее (или ее главы — папы) представителем Бога на земле, непогрешимым носителем абсолютной истины; и если догмат непогрешимости был установлен сравнительно недавно, то по существу он всегда служил формально предпосылкой всего католического миросозерцания. Впрочем, всякая церковь, исповедующая, что она есть единственная и совершенная представительница Святого Духа на земле, в этом смысле «католична», неизбежно должна считать себя непогрешимой и, следовательно, обладающей правом на деспотическое господство над людьми. Если мы возьмем теперь такую теорию организации, которая представлена в социализме, то мы увидим, что и здесь молчаливой предпосылкой служит идея непогрешимости. «Анархия производства», при которой всякий производит продукты наугад, не зная общественной потребности ни в количественном, ни в качественном отношении, и которая приводит к кризисам и потрясениям хозяйства, должна, по мнению социализма, смениться планомерной хозяйственной организацией, в которой власть исследовала бы общественные потребности и предписывала сообразно с ними количество и качество необходимым продуктам. Если исходить из (признаваемой социализмом) универсальности этой хозяйственной организации, то власть должна определить производство не только хлеба и одежды, но и книг, картин, статуй и т. д. Очевидно, это предполагает, что руководители хозяйственной жизни в точности знают нужды и потребности общества не только

материальные, но и духовные, что они являются непогрешимыми ценителями всего, что нужно для человеческой жизни. Обратимся, наконец, к аналогичной по основной идее «мечте» скептического философа Ренана. Каста мудрецов, владеющая секретом могущественных разрушительных орудий и веществ, с помощью этой силы держит в слепом повиновении невежественную толпу, руководит ею и направляет ее по пути развития человечности и культуры. Все споры и раздоры прекращены, исчезло и влияние на общественную жизнь глупцов, честолюбцев, исчезла всякая случайность, и человечество твердой и мудрой рукой направлено к верной цели. Очевидно, что и эта «мечта», поражающая своей жестокостью и презрением к людям и вместе с тем увлекающая своей простотой и логичностью, покоится на одной молчаливой предпосылке: на допущении, что «каста мудрецов» чужда недостатков, что она абсолютно непогрешима. Ибо во что конкретно обратилась бы эта мечта, если бы в среду этих мудрых деспотов закрались «человеческие, слишком человеческие» явления невежества, тщеславия, эгоизма и т. п.? Скептик Ренан сошелся тут с католицизмом в допущении возможности среди людей и людского общества некоторой непогрешимой инстанции; на этом допущении стоит и с ним падает вся его «мечта».

Таким образом, подлинная и глубочайшая предпосылка деспотизма лежит в *идее непогрешимости*, в своеобразном, по существу мистическом, сознании обладания абсолютной истиной. Простая убежденность, уверенность в своей правоте не дают обоснования деспотизму; ибо убежденность не противоречит признанию за другими людьми права иметь иные убеждения. Только та вера, которая состоит в сознании безусловного, сверхрационального, мистического проникновения в абсолютную истину, устраняет равноправие между людьми и дает верующему внутреннее право на деспотическое господство над людьми. При этом нет надобности, чтобы мистический характер этой веры был признан самим верующим; он должен только фактически присутствовать в сознании, хотя бы и в безотчетной форме. Всякий *фанатизм* по существу сводится к такой мистической вере; фанатик может уверять себя и других,

что убеждения его основаны на чисто рациональных аргументах, и тем не менее психологически его убеждения стоят выше всех этих аргументов и вне их; не они подчиняются рациональным доводам и зависят от них, а, напротив, сама иррациональная вера подыскивает себе соответствующие аргументы. Ибо всякие аргументы, как бы сильны и убедительны они ни были, не дают человеку сознания непогрешимости, непоколебимой уверенности в обладании абсолютной и универсальной истиной. Это сознание может быть только верой, неразложимым на рациональные мотивы первичным мистическим чувством *откровения* и *прозрения*.

Всякий деспотизм, если он вообще ищет идейного оправдания, опирается в конечном счете на идею непогрешимости; всякая непогрешимость, с другой стороны, с логической неизбежностью приводит к деспотизму, к нравственному оправданию принудительной опеки мудрых над безумными, зрячих над слепыми. Непогрешимость, так сказать, подводит к деспотизму с двух сторон: человек, сознающий себя непогрешимым, с таким же правом считает себя призванным насильственно руководить людьми, как люди, признающие эту его непогрешимость, считают себя обязанными слепо ему повиноваться. Право власти и обязанность повиновения с одинаковой остротой и силой сознаются там, где находится какая-либо непогрешимая инстанция. Слепая вера и слепое повиновение суть только различные стороны, различные проявления одного общего начала — чувства *авторитета*, возведения какого-либо человека, человеческого дела, учения, партии, религии на абсолютную и сверхчеловеческую высоту. На истории античного мира можно было бы эмпирически, факт за фактом, проследить, как развитие деспотизма и упадок свободы идут рука об руку с развитием чувства авторитета. Средневековый деспотизм, как уже было отмечено, целиком опирается на высший, сверхчеловеческий авторитет церкви и Божественной власти. Но если мы обратимся к наиболее типичному мировоззрению Нового времени и притом в его наиболее обоснованной и глубокой форме — к идее народовластия, абсолютного верховенства народа или большинства, как она выражена у Руссо,— то и тут совершенно

явно дана связь между деспотизмом и идеей непогрешимости. Ибо все обоснование демократического деспотизма у Руссо открыто опирается на утверждение, что «общая воля», воля большинства всегда *непогрешима*. Законность деспотизма, как системы *принудительного осуществления абсолютной правды*, была весьма точно выражена физиократами: «Естественные законы» должны быть осуществляемы деспотически, ибо они опираются на «авторитет очевидности». «Евклид⁵ — настоящий деспот, и те геометрические истины, которые он нам передал, представляют собой настоящие деспотические законы» (Mercier de la Rivière)*. Оставляя в стороне наивное смешение закона как теоретического суждения с законом как нормой или правилом поведения, можно сказать, что в этом указании действительно вскрыто философское основание деспотизма. Если бы нормы и идеалы общественного сознания обладали такой же очевидностью, как геометрические аксиомы, то, быть может, деспотизм был бы единственно рациональной формой общественного устройства; и поскольку вера в эти идеалы достигает ясности и убедительности математического сознания — что возможно только для иррационально-мистической веры, — деспотизм является для нее простым и неизбежным последствием**.

III

Связь между деспотизмом и идеей непогрешимости может быть уяснена некоторыми более общими морально-философскими соображениями.

Система нравственных отношений и морального мирозерцания определяется двумя основными мотивами, которые выражены в двух евангельских заповедях *любви к Богу и любви к ближнему*. Существуют две

* Цит. у Анри Мишеля⁶. Идея государства. Рус. пер. С. 19.

** Впрочем, даже в этой области исключительно точного и достоверного значения истина тоже не дана людям в абсолютной форме; физиократы не подозревали, что возможно и, следовательно, законно *восстание даже против Евклида*. Лобачевский⁷, отказавшись признать известную 5-ю аксиому, совершил это восстание и тем расширил и исправил столь, по-видимому, непогрешимое геометрическое сознание людей.

принципиально различные области нравственности, из которых одна определяет отношение человека к Богу или высшей святыне, другая — отношения людей между собой. Не нужно думать, что только у верующих, у религиозных людей в обычном и телесном смысле слова имеются обе указанные сферы нравственности, что только для сознания, открыто исповедующего Бога, применимы обе евангельские заповеди, тогда как для «неверующих» сохраняет силу лишь последняя заповедь, и их нравственность сводится всецело к нормам отношений между людьми. Напротив, в заповедях любви к Богу и любви к ближнему выражены два вечных, имманентных и универсальных мотива человеческой нравственности, действующих во всех людях независимо от особенностей их философского или религиозного миро-созерцания. Если под Богом понимать идеал, высшую моральную ценность или абсолютную святыню, то у каждого человека, вообще признающего нравственные идеалы, есть свой Бог и свое отношение к Богу — наряду с отношением к людям и независимо от него, есть свои обязанности к Богу, кроме обязанностей к людям, и таким образом нравственное сознание каждого человека разделено по своему содержанию на две отдельные и самостоятельные сферы.

Строй моральных отношений и понятий в этих двух сферах совершенно различен.

Моральные отношения между людьми основаны на принципе *равноправия* (возлюби ближнего, как самого себя). Принцип этот состоит в устранении всякого неравенства, всякого преимущества «я» перед «ты». В морали отношений между людьми, взятой в чистом виде, не существует никаких градаций, никакого различия между высшим и низшим. В своих взаимных отношениях все люди должны признаваться равноценными и равноправными величинами. Все различия между мудрыми и глупыми, добрыми и злыми не имеют здесь значения. Все они выражают различное положение людей в отношении к идеалу, различную ценность их в смысле относительной близости к идеалу, но не могут влиять на мораль отношений между людьми, для которой все люди, как таковые, равны.

Из этого равноправия вытекает формула *справедли-*

вости (которая есть лишь выражение равноценности «ты» и «я»): я должен отвлекаться от всех *моих личных* интересов, симпатий, антипатий, не должен приписывать им какого-либо преимущественного значения по сравнению с интересами и симпатиями всех других людей, должен относиться ко всем людям одинаково, ценить и уважать их независимо от их близости или удаленности от меня, от их согласия или несогласия со мной. Отсюда заповеди любви к врагам, миролюбия, кротости и т. п. Все это — лишь проявления общего начала равноправия, признания равной обязательности для каждого человека прав всех других людей. Что бы я ни делал, к чему бы ни стремился, какие бы цели ни преследовал, передо мной, как абсолютная преграда, стоят права других, которые я должен чтить и которым должен, следовательно, уступать в случае их конфликта с моими интересами.

На совсем ином мотиве построена мораль отношения человека к Богу или высшей святыне. Здесь основной принцип есть *подчинение*, общий склад моральной жизни имеет характер отношения между низшим и высшим, полной отдачи своей личности на служение верховной власти идеала. Это подчинение человека Богу или идеалу может принимать самые различные оттенки — начиная от человеческих жертвоприношений перед идолом, олицетворяющим грозное, мстительное божество, и кончая добровольной отдачей своей личности на служение свободно и радостно признанному идеалу; тем не менее основным мотивом его остается отношение подчинения и служения. Отсюда вытекает весь характерный строй этой сферы нравственности. Здесь нет равноправия, здесь, наоборот, царит абсолютное неравноправие. Это — прежде всего неравноправие между Богом и человеком, т. е. между властителем и слугой, между абсолютной целью и единичным, частным орудием. Кроме того, здесь развивается своеобразный дуализм, совершенно неизвестный морали отношений между людьми. Бог противопоставляется не только человеку, но и своему антиподу — дьяволу. Понятие добра немислимо без противоположного понятия зла, понятие абсолютной святыни — без соответственного понятия греховности. Поэтому отношение любви к Богу и

служения ему есть тем самым отношение ненависти ко злу и борьбы с ним. Добро должно всеми средствами осуществляться, зло — искореняться. Служение идеалу или Богу неизбежно принимает характер вражды к противоположным ему силам и борьбы с ними. Таким образом, наряду с мотивом власти и подчинения, определяющим строй отношения человека к Богу, на почве этого же отношения, как составная его часть, развивается мотив вражды и борьбы.

Ясно, насколько различны руководящие принципы морали в этих двух ее областях. Если в морали отношения между людьми центральным этическим понятием является идея равноценности и равноправия, то в морали отношения человека к Богу действует противоположный принцип неравенства, и притом в двух смыслах: принцип неравенства между Богом и человеком, выражающийся в отношении власти и подчинения, и принцип неравенства между добром и злом, святостью и греховностью, выражающийся в совершенно различных отношениях к этим двум началам — в служении добру и в борьбе со злом. Если в морали отношения между людьми вражда и борьба всегда безнравственны и недопустимы, то здесь, напротив, вражда ко злу и борьба с ним суть высшие обязанности. Если там должны действовать мотивы кротости, миролюбия и уступчивости, то здесь, наоборот, человек обязан быть непреклонным в своем служении идеалу, непримиримым и нетерпимым в отношении к враждебным этому идеалу силам. Если там соглашение между людьми нравственно ценно, то тут соглашение и уступчивость могут быть изменой Богу.

Взятые чисто отвлеченно, эти два основных и противоположных мотива морали могут мирно существовать совместно именно потому, что они относятся к совершенно различным сферам: один руководит отношением человека к живым людям, другой определяет его отношение к отвлеченным идеям, к категориям добра и зла. Однако фактически в жизни нет той отдельности, которая так легко может быть установлена в теории. Отношения к Богу и отношения к человеку тесно переплетены между собой и потому легко могут вступать в столкновения. Ведь служение Богу или идеалу есть не

уединенное личное деяние, оно не совершается, так сказать, в безвоздушном пространстве, а осуществляется совместно с другими людьми и в их среде. Кроме того, в содержание самого идеала, подлежащего осуществлению, входит, как одна из важнейших его частей, и известное общественное устройство, воплощающее благо и устраняющее зло. Поэтому конфликты между двумя родами обязанностей естественны и неизбежны. Тот человек, которого я, как человека, должен уважать, права и интересы которого я должен свято соблюдать во имя любви к ближнему, есть одновременно противник моего дела, моего идеала, моей святости, и во имя моего отношения к Богу я должен с ним бороться, должен быть непримиримым к нему и упорным в отстаивании моего дела. Так возникают столь частые трагические встречи и столкновения обязанностей. Как бы ни разрешались такие конфликты в каждом отдельном случае, как бы трудно ни было иногда найти верный примиряющий исход для них, — во всяком случае ясно, что тут сталкиваются два самостоятельных и одинаково первичных, т. е. абсолютных нравственных мотива, и что, следовательно, ни один не может быть просто пожертвован или устранен ради другого, а оба должны быть равно приняты во внимание и учтены на моральных весах сознания. Именно такое ясное сознание раздельности и самостоятельности этих двух мотивов служит единственной гарантией беспристрастного решения конфликта между ними.

Тут-то и обнаруживается роковое значение идеи непогрешимости для всей системы моральных понятий и отношений. Сознание непогрешимости или обладания абсолютной правдой состоит в том, что Божество, высший идеал, отождествляется с каким-либо конкретным человеком, учреждением, с какой-либо отдельной верой, церковью, партией — словом, с какой-либо земной, человеческой инстанцией. Раз это совершено, раз Бог сведен с неба на землю и отождествлен с каким-либо земным явлением, которое признается его абсолютным и универсальным представителем и олицетворением — весь механизм нормального нравственного сознания сразу искажается. Тогда разрушается и теряет всякое значение та мораль равноправия и равноцен-

ности людей, которая, как самостоятельное и первичное начало, противостоит всей морали отношения к Богу. Тогда в области отношений между людьми начинают действовать те принципы и нормы, которые законны лишь в отношениях людей к Богу. В пределах человеческих отношений уже не человек противостоит тогда равноправному человеку, а всемогущее Божество — покорному и повинующемуся человеку, или так как в отношении к Богу все, что не солидарно с ним, есть его противник — Бог противостоит сатане. Непримируемость ко злу делается непримируемостью к людям, человечество разбивается на два разряда, отделенные между собой непроходимой пропастью, на сторонников Бога и Его противников, на дух истины и дух лжи, и все отношения между ними строятся на мотиве вражды и борьбы. И одновременно мотив власти и подчинения, действующий в отношениях между Богом и человеком, также переносится на отношения между людьми. Высшая, идеальная власть святости или Божества над человеком становится реальной властью человека, признаваемого за его выразителя, над человеком; принудительность и безусловность господства идеала над человеком превращаются в деспотизм человеческих отношений.

Таким образом, общее и наиболее глубокое отношение между деспотизмом и сознанием непогрешимости состоит в том, что идея непогрешимости есть как бы нить, переброшенная через принципиальную пропасть, которая отделяет отношения между людьми от отношений человека к Богу. Бог низводится ею на землю, отождествляется с человеком или человеческой инстанцией, и тем самым отношения безусловного подчинения Богу превращаются в отношения слепого повиновения человека человеку. Деспот есть всегда земной бог — и всякий земной бог неизбежно есть деспот. «Не сотвори себе кумира!» — эта заповедь предостерегает именно от отождествления человеческого и божеского; и сила деспотизма будет действительно побеждена, лишь когда будут низвергнуты все кумиры и исчезнет идолопоклонство.

Из этих соображений уясняется также истинный смысл пресловутой формулы: «цель оправдывает сред-

ства». Это — одна из тех формул, которые всеми осуждаются в теории и имеют большой успех на практике. Было бы неправильно видеть в ней дерзкое провозглашение абсолютной безнравственности. Напротив, для многих она является подлинным выражением их нравственного мирозерцания, своего рода категорическим императивом, отступление от которого считается признаком нравственной трусости, непоследовательности и слабодушия. В самом деле, если не признавать двух, намеченных выше, самостоятельных рядов или сфер морали, если полагать, что осуществление идеала есть единственный моральный мотив, из которого вытекают *все* человеческие обязанности и наряду с которым нет никаких иных мотивов, ограничивающих его, — то формула «цель оправдывает средства» будет простым и бесспорным выражением принципа целесообразности, согласно которому значение средства определяется только его пригодностью для служения цели. Под «целью» в этом афоризме разумеется ведь абсолютное благо или высший нравственный идеал. Если вся мораль строится на принципе осуществления этого идеала, то откуда могут взяться какие-либо иные моральные критерии, которые запрещали бы прибегать к действиям, полезным для осуществления идеала? Не будет ли, напротив, воздержание от таких действий безнравственностью, неисполнением обязанности перед Богом, т. е. идеалом? Таким образом, эта иезуитская формула есть прямой и добросовестный вывод из той морали, которая не признает, наряду со служением Богу, никаких абсолютных обязанностей. Когда люди и людские отношения рассматриваются только как средства или материал для задачи осуществления идеала, — тогда все на свете ценится только с точки зрения своей пользы или вреда для этой задачи. Иначе это и не может быть, и правило «цель оправдывает средства» руководят не безнравственные люди, а напротив, люди наиболее последовательные и смелые в проведении своего нравственного мирозерцания. Это возможно, конечно, только на почве сознания непогрешимости, которое человека или человеческое дело признает божеством. Божество не связано нравственными законами, ибо оно само есть мерило нравственности: хорошо все, что служит ему,

дурно то, что идет против него. Иезуитизм есть логический вывод из католицизма.

В одной из своих публицистических статей кн. Е. Н. Трубецкой⁸, осуждая тактику крайних партий, заметил: «Понятия добра и зла заменились у нас понятиями левого и правого». Это суждение, обличающее в текущей политической жизни действие иезуитической морали, констатирует, конечно, бесспорный факт; но, к счастью или к несчастью, мотивом такого искажения нормальной и общечеловеческой нравственности является не простая разнузданность, безнравственность или ничем не оправдываемый партийный эгоизм, а нечто гораздо более глубокое и прочное — именно своеобразная нравственность, целая специфическая моральная философия. Эта философия могла бы открыто поднять перчатку, брошенную ей кн. Трубецким. Она сказала бы: «Да, понятия добра и зла тождественны с понятиями левого и правого. Ибо для нас, верующих и доподлинно знающих, что все “левое” полезно и служит для осуществления высшего блага, а все “правое” вредно ему и задерживает его осуществление,— для нас действительно нет иных мерил нравственности, кроме содействия всему “левому” и истребления всего “правого”. Когда партии Бога противостоит партия сатаны, то над их спором нет никакой высшей инстанции, и все средства в этой борьбе святы и благи, раз они полезны Богу». Так рассуждал католицизм, так — открыто или молчаливо — рассуждают и современные католики демократической религии. Это рассуждение вообще может с одинаковым формальным правом относиться к любому содержанию, связываться с любым идеалом; например, для фанатика «правого» Бог находится там, где «левый» видит сатану, а сатана есть то, что для «левого» есть Бог; но рассуждение как таковое остается в силе, а с ним и его практические выводы. Против самого рассуждения нельзя ничего возразить: с точки зрения логики оно безупречно. Можно возражать только против его основной посылки — против отождествления какого-либо человеческого идеала, стремления с абсолютной святыней. Только признав, что человеку не дано знать сполна и целиком высшей правды, что в человеческой жизни нет непогрешимой инстанции, ко-

торая указала бы, где Бог и где сатана, — можно опровергнуть это искажение морали. Кто отверг эту основную предпосылку, тому ясно, что служение Богу всегда более или менее субъективно, всегда зависит от недоверного человеческого понимания Бога и потому не дает человеку права игнорировать свои обязанности по отношению к людям. Эти обязанности кладут преграду не только его личным, эгоистическим побуждениям, но и его высшим стремлениям к идеалу. Сознание непогрешимости, справедливо замечает Фулье, на практике тождественно с эгоизмом: если эгоизм состоит в том, что единственным реальным благом человек считает свой личный интерес, то сознание непогрешимости также отождествляет абсолютное благо с волей и желаниями человека, проникнутого верой в свое знание этого блага.

Таким образом, в конечном счете проблема деспотизма есть чисто философская или даже религиозно-философская проблема. Оценка деспотизма зависит от понимания отношения между Богом, т. е. высшей правдой, и человеческой жизнью, и решение проблемы деспотизма определяется воззрением на воплощение Бога. Задача человеческой жизни — стремиться к воплощению Божества, к реализации высшего и абсолютного добра. Кто думает, что эта правда уже реализовалась, что Бог уже воплотился — если не в жизни и быте, то в мысли и вере, — кто верит, что чья-либо мысль, вера, учение обладают абсолютной правдой, тот будет исповедовать мораль деспотизма. Ибо деспотизм есть лишь практический вывод из догматизма, его моральное отражение и проявление. Наоборот, кто думает, что воплощение Божества, осуществление высшей правды — в идее или человеческом сознании — никогда не закончено, всегда неполно и несовершенно, что все наши суждения об идеале, все оценки и нравственные требования лишь неполно, односторонне и субъективно отражают абсолютную правду, что постижение правды совершается лишь как бесконечный процесс соборного просвещения и воспитания всего человечества, тот преодолел деспотизм и утвердил мораль свободы. Ибо для него невозможно отождествление человека или человеческого дела с Богом, как и отождествление его с сатаной. Всякого

человека он будет уважать как возможное орудие Бога, всякую мысль и всякое стремление он допустит как пособников правды. «По отношению к нравственности есть только один абсолютный закон — это предписание никогда не поступать так, как будто владеешь абсолютной истиной». Фулье, который на этом законе построил свою «мораль сомнения», справедливо добавляет: «Если главный грех, символически приписываемый сатане, есть *гордость*, которая, пренебрегая границами познания, приближается к абсолютному, то можно сказать, что на земле все папы и деспоты, как бы это ни противоречило их желаниям, являются верным олицетворением сатаны».

Можно сказать, что *деспотизм столь же адекватен догматизму, сколь свобода адекватна критицизму*. Единственная подлинная опора деспотизма — есть сознание непогрешимости, дающее право на насильственную опеку; единственная твердая и прочная опора свободы — есть критицизм, сознание относительности всех человеческих верований и стремлений, налагающее обязанность уважать всех людей и их свободу.

IV

Идея общественной морали, построенной на принципе критицизма и противопоставленной деспотизму, который вытекает из догматизма, дает также, как нам думается, единственное прочное обоснование идеалу демократического устройства общества.

Главное и, с известной точки зрения, вполне основательное возражение против демократии состоит в том, что она отдает власть и руководство обществом в руки неразумной, слепой и одержимой страстями толпы. Для той доктрины, которая исходит из мысли, что добро и зло в общественной жизни уже найдены и установлены раз навсегда, и что задача власти — неуколебительно осуществлять какой-либо общепризнанный и бесспорный идеал — приведенное возражение против демократии совершенно неопровержимо. Если смотреть на политическое устройство, как на *организацию опеки*, если выбор формы власти означает выбор лучшего *опекуна*, то, конечно, решение окажется не в

пользу демократии. Все мыслители, высказывавшиеся против демократии, возражали именно с этой точки зрения, — начиная с Платона и кончая Ренаном. Понятно, что руководство народом скорее уместно передать лучшим и мудрейшим, чем толпе. Несовершенство человеческой природы, неизбежное господство в массе слепых предрассудков и пристрастий, неспособность большинства возвыситься до понимания истинных нужд и потребностей общества являются вескими аргументами против отдачи власти в руки всех без разбору.

Против этих аргументов может быть выставлено только одно соображение — но вполне достаточное, чтобы лишить их почвы. Оно состоит в том, что вне самих людей и их коллективного самоопределения нет никакой иной, высшей или лучшей инстанции, могущей с непогрешимой достоверностью указывать тех избранных, которым надлежит отдать власть над людьми и руководство ими. Если бы лучшие и мудрейшие носили на своем челе явную и для всех бесспорную печать избравшей их высшей силы, если бы не было сомнения, что они, и они одни суть носители разума и правды, то было бы естественно и просто предпочесть их неразумной толпе. Но тут опять обнаруживает свою силу основной аргумент критицизма: у нас нет точных критериев абсолютного добра и абсолютной истины. И именно потому, что таких критериев нет, наш единственный исход — это предоставить выбор всем, коллективной мысли народа. Всеобщая подача голоса — не только в узком, техническом своем значении, а в широком философском смысле влияния всех мнений на общественную жизнь — есть единственное средство обеспечить выбор истинного пути или лучших умов для его отыскания. Конечно, истина не появляется в готовом виде как механический продукт всеобщего голосования, но она ведь вообще не может быть добыта и утверждена *никакими* механическими средствами. За невозможностью произвести отбор между лучшими и худшими, разумными и безумными, не остается ничего иного, как *дать влияние всем* и предоставить истине вырабатываться в результате единственного взаимодействия и трения всех воззрений, характеров, способностей и духовных сил. Несовершенство человеческой

природы есть аргумент не против демократии, а в ее пользу, ибо оно лишает силы все планы политического устройства в форме опеки и призывает все общество к решению непосильной для отдельного лица задачи осуществления общественного блага.

Из этого следует, что ценность демократии не в том, что она есть *власть всех*, а в том, что она есть *свобода всех*. Смысл ее — преимущественно отрицательный: демократия означает освобождение от опеки, уничтожение привилегий немногих на господство, отмену различия между «активными» и «пассивными» гражданами. Истинное значение демократии состоит не в передаче власти в руки всех или большинства, а в *ограничении* каждой индивидуальной воли волею всех остальных членов общества. Поэтому если демократия, основанная на свободе, есть наилучшая из возможных форм политического устройства, то демократия якобинская или основанная на деспотизме должна быть признана наиболее несостоятельной его формой. Ибо демократическая деспотия содержит в себе внутреннее противоречие двух антагонистических идей — идеи деспотизма или опеки и идеи самоопределения, и это противоречие исторически проявляется в том, что деспотизм большинства является всегда лишь переходной ступенью к деспотизму немногих или одного. Практически власть всегда принадлежит немногим руководителям, как это весьма тонко заметил Пушкин. «Роковым образом, при всех видах правления, люди подчинялись меньшинству или единицам, так что слово демократия, в известном смысле, представляется мне бессодержательным и лишенным почвы»*. Масса, большинство не может реально властвовать или руководить; поэтому демократический деспотизм содержит некоторую внутреннюю фальшь, которая рано или поздно обнаруживается. Лишь демократия, понимаемая и осуществляемая как самоопределение или самоограждение всех от власти меньшинства, есть реальный и прочный факт огромной политической и моральной ценности. Демократия не может быть основана на *вере в непогрешимость большинства*; для этой веры нет никаких оснований, и она менее убедительна,

* Воспоминания Смирновой⁹.

чем всякая иная вера. Демократия опирается, напротив, на *отрицание всякой непогрешимости*, будет ли то непогрешимость одного, или немногих, или большинства; всякой непогрешимости она противопоставляет право каждой человеческой личности на соучастие в решении вопроса об общественном благе.

Таким образом, переход от деспотии к демократии есть не просто внешнее событие политической истории; прочно и окончательно такой переход может совершиться лишь на почве внутренней, духовной эволюции, на почве развития нравственно-философского мирозерцания и умонастроения. Только общество, которое не поклоняется более никаким идолам, которому чужда фанатическая вера, приводящая к обожествлению одних человеческих дел и стремлений и к деспотическому подавлению и истреблению противоположных, — только такое общество навсегда освободилось от деспотизма, и только строй жизни, основанный на внутреннем моральном уважении ко всем мнениям и верам, на терпимости, истекающей из независимого критического мышления, образует прочную твердыню свободного демократического устройства.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Франк Семен Людвигович (1877–1950) — выдающийся русский философ-интуитивист. После окончания московской гимназии поступил на юридический факультет Московского университета, но не окончил его, так как был сослан в Нижний Новгород за участие в студенческих беспорядках. Сдал государственный экзамен экстерном при Казанском университете и уехал за границу, где занимался социологией и философией. По возвращении — приват-доцент Петербургского университета по кафедре философии, затем профессор Саратовского университета, член Института научной философии в Москве. С 1922 г. Франк проживал за границей. В студенческие и ближайшие к ним годы испытал влияние марксизма, позднее определенно примкнул к идеалистической философии. Переходным моментом от

марксизма к идеализму явилась книга «Теория ценности Маркса» (1900), в которой Франк, опираясь на учение австрийской школы (Бем Баверк, Визер и др.), критиковал трудовую теорию ценности.

Основные философские взгляды Франк изложил в трилогии «Предмет знания» (1915), «Душа человека» (1917) и «Очерк методологии общественных наук» (1922). Скончался в предместье Лондона в 1950 г.

В эмиграции Франк преподавал в Берлине, затем во Франции, с 1945 г. — в Лондоне. Им созданы труды «Духовные основы общества» (1930), «Непостижимое» (1939). Особый интерес представляет его труд «Реальность и человек. Метафизика человеческого бытия».

«По силе философского зрения Франка без колебаний можно назвать самым выдающимся русским философом вообще». Такова оценка историка русской философии В. Зеньковского.

М. А. Абрамов

Соч.: Философия и жизнь. Этюды и наброски по философии культуры. СПб., 1910; Душа человека. М., 1917; Введение в философию в сжатом изложении. Пг., 1922; Философия и религия // София. Т. 1. Берлин, 1923; Живое знание. Берлин, 1923; Религия и наука. Берлин, 1925; Смысл жизни. Париж, 1926; Русское мировоззрение. Париж, 1930; Непостижимое. Онтологическое введение в философию религии. Париж, 1939; Свет во тьме. Опыт христианской этики и социологии. Париж, 1949; Реальность и человек. Метафизика человеческого бытия. Париж, 1956; Душа человека. Париж, 1964.

ПРИМЕЧАНИЯ

Статья «Философские предпосылки деспотизма» печатается по изд.: Франк С. Л. Философия и жизнь. СПб., 1910. С. 135–163.

¹ Фулье Альфред (1838–1912) — французский философ-идеалист.

² Аристотель (384–322 гг. до Р. Х.) — древнегреческий философ, ученик Платона.

³ Платон (427–347 до Р. Х.) — древнегреческий философ-идеалист.

⁴ *Конт Огюст* (1798–1857) — французский философ, один из основоположников позитивизма, социолог.

⁵ *Евклид* (ок. 365–300 гг. до Р. Х.) — древнегреческий математик.

⁶ *Мишель Анри* (1809–1887) — французский историк.

⁷ *Лобачевский Н. И.* (1792–1856) — русский математик, создатель неевклидовой геометрии.

⁸ *Трубецкой Е. Н.* (1863–1920) — князь, философ, публицист, общественный деятель.

⁹ *Смирнова А. О. (Россети, Смирнова-Россет)* (1809–1882) — фрейлина императорского двора, автор известных воспоминаний о «золотом веке» русской литературы.

П. Б. Струве

ОТРЫВКИ О ГОСУДАРСТВЕ*

I

Обычный консерватизм и обычный радикализм в понимании государства одинаково страдают близорукостью. Их ошибка состоит в том, что они стремятся все перемены в государственной жизни объяснить разумом или, наоборот, неразумием, причем мерилом разумности служат те начала нравственности и целесообразности, которые кладутся в основу при оценке поведения отдельного человека, или индивида. Давно уже признано, что ни общество, ни государство не есть простая сумма индивидов. Но эта истина не познана и не продумана еще во всем ее объективном значении для понимания государства, для политики. Лучше понимают ее историки. Историки давно заметили, что разум, интерес, цели отдельных индивидов и рост государства и его могущества могут находиться в непримиримом противоречии.

Отдельный человек в своем стремлении к самосохранению живет для себя, и это значит, что его взора хватает на весьма определенный и очень ограниченный промежуток времени. Государство во многом долго-

* «Русская Мысль» 1908 г. V. Настоящие отрывки первоначально написаны для той, задуманной мною, целой книги размышлений о государстве и революции, одна глава из которой под заглавием «Великая Россия» напечатана выше, другая вошла в сборник «Вехи» и перепечатывается ниже. Отрывки эти были, в связи с полемикой о «Великой России», прочитаны в петербургском женском клубе и через газетные отчеты отчасти проникли в столичную и провинциальную печать, где вызвали целый ряд откликов.

вечнее индивида, и с точки зрения индивида и его разума — оно сверхразумно и внеразумно.

Это можно выразить так:

Государство есть существо мистическое.

Констатирование этого факта, однако, не только не мистично, а в высшей степени позитивно. Мы не желаем сейчас спорить о том, хорошо или худо государство. Но оно таково, и это факт. Идея вечного мира потому утопична, что она противоречит мистической природе государства. Война есть самое видное, самое яркое, самое бесспорное обнаружение мистической природы государства. Когда войны исчезнут, государство сблизится с «людьми», очутится на земле. Будет ли это когда-нибудь?

Стессель¹, сдавая Порт-Артур японцам, Небогатов, делая то же самое со своей эскадрой после цусимского боя, поступали весьма «разумно», весьма «человечно», но не государственно и не патриотично. Наоборот, когда японцы готовили и вели войну с Россией, когда они покрывали склоны порт-артурских гор десятками тысяч трупов, они — ради государства — истребляли людей и поступали — с человеческой точки зрения — весьма неразумно и даже отвратительно. В высшей степени сомнительно даже, станет ли «лучше жить» даже будущим поколениям японцев от того, что современное поколение ценою множества человеческих жертв завоевало Порт-Артур и подчинило совершенно Корею. Но могущество японского государства от этого в огромной степени возросло. И это факт. Люди погибли, но флаг взвился.

Мистичность государства обнаруживается в том, что индивид иногда только с покорностью, иногда же с радостью и даже с восторгом приносит себя в жертву могуществу этого отвлеченного существа. Ницше² говорил о холоде государства. Наоборот, следует удивляться тому, как это далекое существо способно испускать из себя такое множество горячих, притягивающих лучей и так ими согревать и наполнять человеческую жизнь. В этом именно и состоит мистичность государства, что, далекое индивиду, оно заставляет жить в себе и собою. Говоря это, я имею в виду не те технические

приспособления государства, как упорядоченного общежития, которые служат индивиду, а сверхиндивидуальную и сверхразумную сущность государства, которой индивид служит, ради и во имя которой он умирает.

Мистичность заключается именно в этой полнейшей реальности сверхразумного.

Разве не ясна мистичность государства в словах Петра Великого, которыми он призывал Сенат думать о России и не заботиться о нем, о Петре? Петр, погубивший столько человеческих жизней, говоря о России, думал не о «людях», не о своих подданных и не о «человеке», не о себе. Умственный взор его был прикован к государству.

Выражаясь по-человечески, антропоморфически, государство желает быть могущественным. Эта черта государства есть все то же обнаружение его сверхразумной природы. Ибо могущество государства не есть вовсе ни сила, ни счастье составляющих его лиц.

Между силой отдельной личности и отдельных личностей и мощью государства существует известное необходимое соотношение, но это соотношение покоится не на рациональных, а на религиозных началах.

Личность, способность государства проявляются в отношениях его к другим государствам. Поэтому могущество государства есть его мощь вовне. Обычное рационалистическое воззрение, господствующее в публике и в публицистике наших дней, ставит внешнее могущество государства в зависимость от его внутреннего устройства и от развития внутренних отношений. Но мистичность государства и заключается в том, что власть государства над «людьми» обнаруживается в их подчинении далекой, чуждой, отвлеченной для огромного большинства идее внешней государственной мощи. Говоря о подчинении, я имею в виду не внешнее и насильственное, а внутреннее и моральное подчинение, признание государственного могущества, как общественной ценности.

Обычное воззрение характеризует «разумное» или «свободное» признание государства, как «внутреннее», «моральное» и противопоставляет его «неразумному», «внешнему» и «насильственному». Но всякое призна-

ние государства как такового, как мистического объединения, иррационально, и именно самое свободное, самое внутреннее, идущее из глубины души, а потому самое нравственное подчинение государству и растворение в нем — в высокой степени «неразумно».

Жизнь государства состоит, между прочим, во властвовании одних над другими. Давно замечено, что власть и властвование устанавливают между людьми такую связь, которая нерациональна и сверхразумна, что власть есть своего рода очарование и гипноз. Наблюдение это совершенно верно, поскольку власть не есть просто необходимое орудие упорядочения общественной жизни. Поэтому прежде всего и полнее всего оно применимо к власти, как орудию государственной мощи.

Вот почему мистичность власти обнаруживается так ясно, так непрерываемо на войне, когда раскрывается мистическая природа самого государства, за которое, отстаивая его мощь, люди умирают по приказу власти.

Мы сказали, что власть есть орудие внешней мощи государства, и что в качестве такового она держит в подчинении себе людей. Переставая исполнять это самое важное, наиболее тесно связанное с мистической сущностью государства назначение, власть начинает колебаться и затем падает.

Обычно в публицистике это называют зависимостью внешней политики от внутренней, но, конечно, в действительности тут соотношение как раз обратное тому, которое принимается вульгарным воззрением и которое должно было бы существовать, если государство сверх своих рациональных элементов не было бы мистично. То, что в новейшее время называют империализмом, есть более или менее ясное постижение того, что государство желает быть и — поскольку государство ценно для личности — должно быть могущественно.

Всякое живое государство всегда было и будет проникнуто империализмом в этом смысле.

Англичане всегда были и, я думаю, останутся империалистами. Если под империализмом разуметь заботу о внешней мощи государства, а под либерализмом — заботу о справедливости в его внутренних отношениях,

то XIX век и начало XX века характеризуется тем, что торжествуют везде те государства, в политике которых наиболее полно слились и воплотились обе эти идеи. А внутри отдельных государств над традиционным рациональным либерализмом торжествует весь проникнутый идеей мощи государства империализм. Беззащитный перед судом «разума» и основанной на нем нравственности, он торжествует потому, что за ним стоит властвующая над людьми мистическая природа государства. Таково историческое значение Бисмарка и философский смысл его деятельности.

II

Национальное начало тесно связано с государственным и разделяет с ним его сверхразумный или мистический характер. Так же как никакой человеческой рациональностью или целесообразностью нельзя объяснить, почему ради государства Ивану Сидорову надлежало умирать под Плевной, а какому-нибудь Ота Нитобе сложить свою голову под Порт-Артуром, точно так же нельзя рациональными мотивами объяснить, почему французу надлежит всегда оставаться французом, немцу — немцем, поляку — поляком. В этом не сомневаются и об этом не разговаривают. Это тот «чернозем мысли», о котором говорил Потебня³, «нечто, о чем больше не рассуждают»*.

Язык и его произведения — самое живое и гибкое, самое тонкое и величественное воплощение национальности, таинственно связанное с ее таинственным существом. Это так хорошо понимал великий и стыдливый реалист-мистик Тургенев, величие русского народа чувствовавший в нашем языке⁴. Ту же мысль в объективно научной форме высказал знаменитый лингвист Вильгельм Гумбольдт⁵ в предисловии к своему переводу Эсхиллова Агамемнона: «Мне всегда казалось, что тот способ, каким в языке буквы соединяются в слоги и слоги в слова, и каким эти слова в речи сопрягаются между собой, сообразно своей длине и своему тону, что этот способ определяет или указывает умственные и в

* Из записок по теории словесности. Харьков, 1905. С. 196.

значительной мере моральные и политические судьбы нации»*.

Вот почему, когда на стволе государственности развился язык, как орган и выражение национальности и ее культуры, смерть государственности не убивает национальности. Она стремится создать государственность, в некоторых случаях хочет создать ее в новой, более мощной форме (Италия), и удается ей это или нет, она во всяком случае продолжает жить и выносить самые неблагоприятные условия (польская национальность). Идеи — в связи с некоторыми благоприятствующими внешними условиями и психологическими комбинациями — могут создать государственность даже помимо национального начала и вопреки ему. Так идея свободы, перенесенная пуританами в леса Северной Америки, создала там новую государственность. Ее высшая связь в настоящее время заключается в ее истории, т. е. коренится в началах личной свободы и общественного самоопределения.

С другой стороны — соотношение между государством и нацией может быть исторически совершенно иное. Итальянская и германская национальности создались гораздо раньше германского и итальянского государств. Нация есть, прежде всего, культурная индивидуальность, а самое государство является важным деятелем в образовании нации, поскольку оно есть культурная сила.

В основе нации всегда лежит культурная общность в прошлом, настоящем и будущем, общее культурное наследие, общая культурная работа, общие культурные чаяния. Это было ясно еще в классической древности, где эллинизм было широкой национальной идеей, не ущемлявшейся в государственные рамки. С успехами в «мышлении и красноречии» Исократ⁶ связывал самую идею эллинской культуры (παίδευσις): «Эллинами называются скорее те, кто участвуют в нашей культуре, чем те, кто имеют общее с нами происхождение». Некоторые современные шарлатаны развязно выбросили за борт эту старую истину.

Ценность и сила нации есть ценность и сила ее

* Цит. по: *Наум*. «Wilhelm von Humboldt». Berlin, 1856. S. 240.

культуры, измеряемая тем, что можно назвать культурным творчеством.

Всякая крупная нация стремится создать себе государственное тело. Но идея и жизнь нации всегда шире, богаче и свободнее идеи и жизни государства. Гёте несомненное Бисмарка, сказал бы Тургенев, как он сказал, что Венера Милосская несомненное принципов 1789 г. В нации, которая есть лишь особое, единственное выражение культуры, нет того жесткого начала принуждения, которое неотъемлемо от государства. Ибо культура и по своей идее, и в своих высших реальных воплощениях означает всегда духовные силы человечества в их свободном росте и объединении. Национальное начало мистично так же, как государственное, но с другим оттенком, более мягким и внутренним, в силу которого оно без всякого принуждения владеет человеком.

Можно ненавидеть свое государство, но нельзя ненавидеть свою нацию. Ненавидя ее, человек тем самым от нее отделяется. Североамериканские поселенцы, состав против метрополии, перестали быть англичанами в смысле *british subjects*, но не перестали быть англичанами в смысле англосаксов. Французы привыкли употреблять слово «нация» в политическом смысле, и это объясняется национальной цельностью населения французского государства — мог же Наполеон гордо сказать: *les Français n'ont point de nationalite*, т. е. принадлежать к французскому государству — значит быть французом. И прошлое, и современная нам эпоха свидетельствуют о том, что нация, как культурное понятие, не укладывается в границы понятия «государство». Государство есть продукт гораздо более условный, менее органический и потому менее устойчивый и могущественный, чем нация и национальность. Есть вюртембергское государство, но нет вюртембергской нации. С большой натяжкой можно говорить о бельгийской нации, настолько общность части бельгийцев и французов в области языка и литературы определяет культурное их единство с французами. Австрийское государство есть великая держава, могущество которой, как мне кажется, будет возрастать, но австрийской нации и австрийской культуры нет.

Своей высшей мистичности государственное начало достигает именно тогда, когда сплетается и срастается с национальным. Спаянные в нечто единое, эти начала с страстной силой захватывают человека в порывах патриотизма.

III

Я сказал, что указание на мистическую природу государства ничуть не мистично. Наоборот, оно позитивно. Мне могут возразить, что в процессе человеческого развития мистический или, что то же самое, религиозный характер государственности ослабляется или вовсе отменяется. Это верно, но не безусловно. С успехами культуры несомненно делает успехи рационализация человеческой жизни вообще, общественной в частности. Но есть границы этой рационализации, и нет никаких оснований думать, что она поглотит собой мистику государства и национальности.

К государству и национальности прикрепляется неискоренимая *религиозная* потребность человека. В религии человек выходит из сферы ограниченного, личного существования и приобщается к более широкому, сверхиндивидуальному бытию. Но разве индивидуализм не может создать своей религии личности, и разве эта религия не может преодолеть мистицизма государственности и национальности?

Вопрос может показаться праздным в наше время, когда индивидуализм получил такое широкое распространение и в то же время дал прежнему позитивному отрицанию государственности и национальности религиозный отпечаток (религиозный анархизм). Положительный ответ на этот вопрос, по-видимому, сам собой подразумевается.

И тем не менее дело обстоит вовсе не так просто.

Индивидуализм, который в центр всего ставит личность, ее потребности, ее интерес, ее идеал, ее содержание, есть, как религия, самая трудная, самая малодоступная, самая аристократическая, самая исключительная религия. Трудно человеку глубоко религиозному поклоняться просто человеческой личности или челове-

честву. Индивидуализм, как религия, учит признавать бесконечно достоинство или ценность человеческой личности. Но для того, чтобы эту личность провозгласить мерилom всего, или высшей ценностью, для этого необходимо ей поставить высочайшую задачу. Она должна вобрать в себя возможно больше ценного содержания, возможно больше мудрости и красоты. И не только вобрать. Личность не есть складочное место. Личность, как религиозная идея, означает воплощение ценного содержания, отмеченное своеобразием, или единственностью, энергией, или напряженностью. Только индивидуализм, ставящий себе такую высочайшую задачу, может быть религиозен. Но что означает и что совершает такой религиозный индивидуализм? От религии государства и национальности такой индивидуализм уводит человека, но он вовсе не приближает его к эмпирическим условиям человеческого существования, к пользе и выгоде отдельного человека или целого общества, а удаляет от них в область, еще более далекую и высокую.

Это означает, что такой индивидуализм преодолевает мистицизм государственности и национальности не простым его отрицанием. В конце концов высшая форма отношения к миру есть сочетание в одном художественно-религиозном, всегда личном и единственном, и всегда объективном и обязательном содержании величайшей способности переживать, воспроизводить в себе мир с полной свободой отношения ко всему в этом мире: «к самому себе, к своим предвзятым идеям и системам, даже к своему народу, к своей истории», — как говорит по другому поводу Тургенев в одном из своих бесподобных писем. Религиозный индивидуализм есть художественное отношение к миру, в котором величайший субъективизм единственных чувствований соединяется с полнейшим объективизмом общеобязательного восприятия, мистицизм — с реализмом, личное — с всеобщим.

Об индивидуалисте такого типа можно сказать опять-таки словами Тургенева об объективном писателе, что он «берет на себя большую ношу. Нужно, чтобы его мышцы были крепки».

Вот почему религиозный индивидуализм не может

быть ни предписываем, ни тем менее пропагандируем. Пропаганда и прозелитизм или, что то же, популяризация убивает его. Вот почему в истинных своих представителях он ничего не исключает, кроме пошлости, и никому себя не навязывает. При всей своей свободе, религиозный индивидуалист сдержан и соблюдает меру. При всем своем мистицизме он не только не болтает цветистым и искусственным языком о тайнах своей души, наоборот, живя и питаясь ими, он стыдлив в сообщении их другим. Зато он жадной душой вбирает в себя мир и если способен творить, то расточительной рукой раздает собранное всем и каждому. Своей религии он не выставляет напоказ; если он художник, он может в образах, красках и звуках дать ее почувствовать созвучным душам; если он мыслитель, он может ее философски оправдать; если он деятель, он вложит в практическое дело всю свою убежденность и всю свою терпимость. Но он не будет носиться со своей религией.

Итак, индивидуализм, как религия, есть самое трудное, наименее доступное для большинства людей, самое интимное понимание мира и жизни. В своей потребности объективного отношения ко всем сторонам жизни он становится над государственностью и национальностью и в то же время способен видеть и их правду и потому не может начисто их отрицать.

Никто не способен лучше, чем религиозный индивидуалист, уразуметь, что чести и величю государства можно пожертвовать жизнью своей и других людей; никто не может ярче почувствовать неотразимую силу национальной идеи и понять, что, хотя полякам в Познани «разумнее» и практичнее становиться немцами, они, любя свою национальность, должны за нее бороться.

Он не боится признавать «предрассудок», потому что он знает не только силу, но и слабость рассудка.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Струве Петр Бернгардович (1870–1944) — философ, экономист, политический мыслитель, политический и

общественный деятель. Родился в семье пермского губернатора. Стал известен широким кругам российской общественности своей книгой о перспективах экономического развития России, которую написал, будучи еще студентом-юристом¹. В ней автор критиковал утопические проекты народников и одновременно разоблачал пороки царской бюрократии с позиций патриотического либерализма, призывал общественность идти на вычку к западному капитализму.

После того как Николай II при своем восшествии на престол поклялся следовать консерватизму и предостерег от «бессмысленных мечтаний» либерального толка, П. Струве написал царю открытое письмо, в котором отстаивал идеи свободы и либерализма. Через несколько лет Струве оказался в эмиграции.

Философ, историк, юрист и экономист Струве оказывал значительное влияние на культурно-политическую жизнь своего поколения². «Он был бесспорно, — пишет его друг и биограф С. Л. Франк, — самым замечательным человеком из всех, с кем мне довелось встретиться в жизни и, я думаю, можно смело сказать — самым замечательным человеком нашего поколения, самой выдающейся личностью русской общественной и научной мысли последних лет XIX в. и первых десятилетий XX в.»³

Начало его политической и теоретической деятельности обычно связывают с «легальным марксизмом». Действительно, вместе с Н. А. Бердяевым и С. Н. Булгаковым он пропагандировал некоторые идеи К. Маркса, но в той или иной мере критиковал их, развивая собственную теорию. В систематическом виде свое отношение к философии Маркса Струве изложил в книге, опубликованной на немецком языке в Германии, а затем переведенной на русский. Пафос его критики направлен прежде всего на насильственный и авантюристический характер социальной революции и соци-

¹ Струве П. Б. Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России. СПб., 1894.

² Известный американский историк Р. Пайпс в своей двухтомной биографии высоко оценивает роль П. Струве в идейной и политической жизни России.

³ Франк С. Л. Биография П. Б. Струве. Нью-Йорк, 1956. С. 9.

ально-политической роли диалектики, внутренние и внешние противоречия Марксовой системы. «Понятие революции как теоретическое понятие не только лишено значения и бесцельно, но прямо-таки ложно. Если «социальная революция» должна обозначать полный переворот социального порядка, то она не может быть в наше время мыслима иначе, как в форме продолжительного, непрерывного процесса социальных преобразований»⁴. Диалектическое понимание ведет к тому, что социальные преобразования мыслятся в форме простого процесса политической революции, захвата власти, а такой образ мышления груб и неоснователен. Кроме этого, Маркс заимствовал элементы бакунизма и бланкизма, а это неизбежно приводит к недооценке роли государства и правовой системы в целом в экономической и социальной жизни. Диалектический закон, по которому право приспособляется к развитию экономики, теряет свое значение, ибо становится лишь средством объяснения «социальной революции». В противоположность известному марксистскому тезису Струве приходит к выводу, что социальная победа достигается не усилением противоречий, а их ослаблением.

Марксову диалектику он определяет как логический метод, построенный на метафизическом принципе тождества мышления и бытия, при этом диалектика превращает логику в онтологию. Если в действительности все течет, то логическое мышление осуществляется с помощью постоянства и определенности суждений и понятий. Струве приходит к выводу, что марксизм терпит крушение вследствие некритического употребления неподвижных понятий. Эволюционистская картина, пишет он, строится с помощью понятий «социализм», «классовая борьба», хранимых самым педантичным, прямо-таки религиозным образом. Абсолютизм таких понятий противоположен диалектике. В конечном счете материалистическая философия тождественности превращается в идеалистическую в худшем смысле этого слова, трансформируется в противоположное ей воззрение.

⁴ Марксова теория социального развития. Критическое исследование Петра Струве. Киев, 1905. С. 22.

Стоя на либеральных позициях, П. Струве активно поддерживал талантливых философов. Он помог опубликовать первое произведение Н. А. Бердяева «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии», написал к нему вступительную статью, защищал метафизику и критиковал позитивизм, в то время как многие русские интеллигенты с презрением относились к метафизике и идеализму. В определенной мере Струве можно считать представителем идеалистической философии начала XX в., отстаивавшим правомочность развития метафизики.

Свои социально-политические взгляды Струве развивает с либеральных позиций. Он постепенно становится главой либерально-конституционного политического направления. Струве — сложный и противоречивый деятель, теоретик и практик, создававший различные организации, партии, органы печати, «душа общества» и в то же время «вечный одинокий странник» среди русских либералов. Его жизненный путь отражает противоречия и особенности русского либерализма, ибо европейский и русский либерализм трудно сравнивать, в частности применять критерии «правый» и «левый». По словам С. Л. Франка, Струве — «консервативный либерал». Русские либералы такого типа из дворян и научно-технической интеллигенции боролись с отжившими элементами самодержавия и бюрократии, но и стремились укрепить русскую государственность, ограничить и преодолеть радикализм рабочего движения, решить аграрные проблемы и национальный вопрос.

В начале своей политической деятельности Струве сотрудничал с социал-демократами, по его мнению, «единственной организованной силой русской оппозиции», но уже в 1901 г. понял подлинные намерения В. И. Ленина и отказался от контактов с ним. Он осознал необходимость создать собственное либеральное движение и либеральную идеологию с помощью журналов и газет. Струве стал создателем и редактором либерально-политических журналов «Новое слово» (1897), «Начало» (1899). В 1901 г. во время студенческой демонстрации он был арестован в Санкт-Петербурге и сослан в Тверь, затем уехал за границу. В Штутгарте

(Германия) в 1902 г. Струве издавал журнал «Освобождение», в котором отстаивал политические свободы и пропагандировал идею создания либеральной партии путем объединения различных кружков и групп.

В июне 1903 г. Струве вместе с Н. А. Бердяевым создал нелегальную организацию «Союз освобождения», в программе которой ставилась задача перехода России к конституционному строю либерально-демократического типа. После поражения России в русско-японской войне 1904–1905 гг. наметился раскол среди либералов относительно поддержки правительства и будущих реформ. Струве решил соединить идеи либерализма с идеей великой России, лозунг «Да здравствует армия» — с «Да здравствует свобода». Он был активным патриотом, государственнымником и в то же время с либеральных позиций критиковал недостатки царского самодержавия.

В сентябре 1904 г. Струве вместе со своим журналом переехал в Париж и оттуда наблюдал за революционными событиями в России. После издания манифеста от 17 октября 1905 г., в соответствии с которым стало возможно возвращение политэмигрантов, Струве возвращается в Санкт-Петербург. Он активно работает в «Конституционно-демократической партии народной свободы» (кадеты) и уже в декабре начинает выпускать теоретический журнал «Полярная звезда», участвует в выборах и избирается депутатом во Вторую Думу, в которой активно выступает против революционной анархии, насилия и жестокости, за правовую государственность и демократию. После поражения революции в июне 1907 г. он порывает с кадетами, выходит из ЦК; некоторые либералы начинают обвинять его в великодержавном шовинизме. Теоретическое осмысление опыта первой русской революции нашло свое выражение в сборнике «Вехи», вышедшем в 1909 г. Сборник содержал либеральную оценку теории и практики русского освободительного движения. В статье «Интеллигенция и революция» Струве убедительно показал основной порок интеллигенции — чуждость идеям государственности и фанатичную ненависть к капитализму, превалирование политики над моралью. «Идейной формой русской интеллигенции, — отмечает он, — является ее

отщепенство, ее отчуждение от государства, враждебность к нему.

Это отщепенство выступает в духовной истории русской интеллигенции в двух видах: как абсолютное и как относительное. В абсолютном виде оно является в анархизме, в отрицании государства и всякого общественного порядка как таковых (Бакунин и князь Кропоткин). Относительным это отщепенство является в разных видах русского революционного радикализма, к которому я отношу прежде всего разные формы русского социализма»⁵.

Теоретическая и практическая деятельность Струве многообразны. Перед войной он начинает выпускать философский журнал «Русская идея», одновременно руководит департаментом по экономике при министерстве торговли и промышленности, летом 1916 г. посещает Англию и получает почетную степень доктора Кембриджского университета, становится признанным в Европе представителем русского национального либерализма. В феврале 1917 г., после свержения царя, он предостерегал от нового варварства — соединения «западного яда международного коммунизма» с русским анархизмом, пропагандировал либерализм в журнале «Русская свобода», руководил экономическим департаментом в министерстве иностранных дел Временного правительства.

После октябрьского переворота 1917 г. он осуждает большевизм; вместе с веховцами в 1918 г. выпускает сборник «Из глубины»; уезжает на юг России к генералу Деникину; пишет статьи в газете «Великая Россия»; в 1920 г. эмигрирует в Париж. В 1922 г. в Праге основывает русский юридический факультет (его учеником был известный историк русского либерализма В. Леонтович); три года спустя возвращается в Париж и основывает газету «Возрождение»; в 1928 г. становится профессором Русского научного института в Белграде; издает в Париже журнал «Россия и славянство». Основные темы лекций и публикаций — экономическая и социальная история России. В 1941 г., во время нападе-

⁵ Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. Свердловск, 1991. С. 151.

ния Германии на Югославию, Струве арестовывает гестапо по нелепому обвинению в дружбе с В. И. Лениным и сотрудничестве с большевизмом. Его направляют в Грац, но затем освобождают, и в 1942 г. он из Австрии вновь возвращается в Париж. Физические силы подорваны фашистской тюрьмой; в 1943 г. Струве испытал новый удар — потерю жены Нины Александровны Герд, которая в течение почти полувека была его верным другом и помощником. Несмотря на все это, Струве много работает вплоть до последнего дня — 26 февраля 1944 г. Он не успел закончить свой большой труд, который впоследствии издали его сыновья в Париже в 1952 г.⁶

Жизнь и творчество П. Б. Струве наполнены политическими событиями и потрясениями. Он сыграл значительную роль в духовном и политическом развитии России, но, к сожалению, философское наследство и политический опыт мыслителя мало известны широким кругам российской общественности, он пока не занял подобающего места ни в истории русской мысли, ни в политической жизни современной России.

Предлагаемая читателю статья П. Б. Струве весьма актуальна потому, что показывает, насколько возможен синтез патриотизма и либерализма. Эта проблема важна сейчас не только для России, но и для всей Европы, где в рамках нового либерализма также стоит проблема сочетания национального и интернационального, развития евролиберализма, органично впитывающего в себя национальные традиции и развивающего в условиях сближения индивидов и народов национальную государственность.

И. И. Петров

Соч.: Критические заметки по вопросу об экономическом развитии России. СПб., 1894; Марксовская теория социального разви-

⁶ Струве П. Б. Социальная и экономическая история России с древнейших времен до нашего, в связи с развитием русской культуры и ростом российской государственности. Посмертно публикуемый, незавершенный труд с приложением некоторых ранее ненапечатанных статей из области русской истории и списка трудов П. Б. Струве. Париж, 1952.

тия. Киев, 1905; Идеи и политика в современной России. М., 1907; Интеллигенция и революция // Вехи. Сб. статей о русской интеллигенции. М., 1909; Религия и социализм // Русская мысль. 1909. Кн. VIII; Понятие и проблема социальной политики. СПб., 1913; Размышления о русской революции. София, 1921; Исторический смысл русской революции и национальные задачи // Из глубины. Сб. статей о русской революции. М.-Пг., 1918; О судьбах России // Новый журнал. Нью-Йорк, 1978.

ПРИМЕЧАНИЯ

Статья «Отрывки о государстве» печатается по изд.: *Струве П. Б. Patriotica*. Политика, культура, религия, социализм. Сборник статей за пять лет (1905–1910). СПб., 1911. С. 97–108.

¹ *Стессель А. М.* (1848–1915) — генерал-лейтенант. В русско-японскую войну — начальник укрепленного района в Порт-Артуре, проявил трусость и малодушие, сдал крепость противнику. Приговорен военным судом к смертной казни, но помилован царем.

² *Ницше Фридрих* (1844–1900) — немецкий философ, представитель иррационализма и основоположник «философии жизни». Профессор классической филологии Базельского университета. Различал два начала бытия: «дионисийское» (жизненно-оргастическое) и «аполлоновское» (созерцательно-упорядочивающее). В мифе о «сверхчеловеке» проповедовал культ сильной личности. Оказал значительное влияние на развитие русской культуры в начале XX в.

³ *Потебня А. А.* (1835–1891) — украинский и русский филолог-славист, разрабатывал вопросы теории словесности (язык и мышление, природа поэзии), а также фольклор, этнографию, фонетику и грамматику славянских языков.

⁴ *Тургенев И. С.* (1818–1883) — русский писатель.

⁵ *Гумбольдт Вильгельм* (1767–1835) — немецкий филолог, философ, государственный деятель. Осуществил реформу гимназического образования в Пруссии, в 1809 основал Берлинский университет. Видел в универсальном развитии индивидуальности высокую цель,

определяющую деятельность государства. Развил учение о языке как о непрерывном творческом процессе, «формирующем органе мысли».

⁶ *Исократ* (436–338 до Р. Х.) — афинский оратор, публицист, критик античной демократии, сторонник объединения Греции под главенством Македонии для борьбы с персами.

П. И. Новгородцев

ИДЕАЛЫ ПАРТИИ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ И СОЦИАЛИЗМ

Противники партии Народной Свободы, а иногда и ее собственные члены считают коренным недостатком нашей программы то, что в ней нет программы-максимум. Все ваши требования, говорят нам, помимо того, что они и сами по себе недостаточны, не имеют перспективы, не имеют пред собою ясного и определенного идеала.

Этот упрек с первого взгляда может показаться не только правильным, но и уничтожающим. Партия, у которой нет идеала, у которой нет руководящей цели, не могла бы притязать на серьезное политическое значение. Она была бы только временным и случайным соединением лиц, заключивших между собой союз на данный момент для известных тактических целей. Она лишена дела и того более глубокого жизненного принципа, того определяющего идеального основания, на котором только и могут утверждаться прочные политические организации.

Я хочу показать, что у партии Народной Свободы есть свой идеал, обеспечивающий ей прочное историческое значение, и что в понимании существа этого идеала мы стоим на более твердой почве, чем наши критики слева.

Прежде всего необходимо разъяснить, что означает деление программы на программу-максимум и программу-минимум. Обычно говорят, что программа-максимум — это программа отдаленного будущего, программа-минимум — это программа ближайшего времени. Но если вдуматься в смысл программы-максимум, если вчитаться в текст ее, как он излагается, например, у

социал-демократов, то следует прийти к заключению, что это не только программа отдаленного будущего, не только программа, которая не подходит для ближайших дней, а будет осуществлена, скажем, через несколько десятилетий. Это есть конечная программа, это — предположение о таком времени, когда будет достигнуто всеобщее совершенство.

Возьмем некоторые выражения русской социал-демократической программы: «Считая себя одним из отрядов всемирной армии пролетариата, российская социал-демократия преследует ту же конечную цель, к которой стремятся социал-демократии всех других стран. Эта конечная цель определяется характером современного буржуазного общества и его развития».

Далее в программе говорится о «такой социальной революции, которая представляет собой конечную цель всей деятельности социал-демократии, как сознательной выразительницы классового движения пролетариата».

«Заменяв частную собственность на средства производства общественной и введя планомерную организацию общественно-производительного процесса для обеспечения благосостояния и всестороннего развития всех членов общества, социальная революция уничтожит разделение общества на классы и тем освободит все угнетенное человечество, так как положит конец всем видам эксплуатации одной части общества другою».

Вдумайтесь в смысл этого определения, и вы увидите, что мало сказать об этой программе-максимум, что она есть программа отдаленного будущего. Как подразумевается в самом тексте и этой программы, и всякой вообще социалистической программы, где речь идет о социальной революции, совершающей чудесное осуществление конечного совершенства, она имеет в виду не только улучшение временное и относительное (одно из тех улучшений, каких много знает история прошлого), но и улучшение конечное и безусловное, которое создаст последнюю заключительную эпоху, блаженнейшее состояние человечества, когда все противоречия будут разрешены, когда наступит гармония всестороннего развития и полного благосостояния народов. Вот настоящий смысл программы-максимум, какую она является

и у наших, и у западных социал-демократов. И действительно, если бы программа-максимум означала не это, если бы она представляла собой не конечный и последний идеал, а просто следующую стадию исторического развития, так, чтобы программа-минимум имела значение, скажем, на ближайшее десятилетие, а программа-максимум — на следующее десятилетие или на какой-либо иной более отдаленный срок, причем на срок еще более отдаленный можно было бы написать другую более радикальную программу, то какой смысл имело бы в каждый данный момент писать две таких временных и относительных программы. Программа-максимум имеет значение лишь в том случае, если в ней предполагается некоторый завершающийся цикл исторического развития, некоторый конец и эпилог жизненной драмы человечества.

Такое деление требований программы на максимальные и минимальные имеют свой очень древний прецедент. Впервые в истории мысли оно с ясностью выразилось у древнего философа Платона. В его диалоге «Государство» содержится то, что можно назвать программой-максимум; это последний, завершающий идеал человеческого развития. Но Платон чувствует, что этот конечный идеал, это конечное совершенство не могут быть осуществлены в условиях данного несовершенного состояния, и в другом диалоге «Законы» он рисует иную картину — относительного совершенства, картину для данного времени, достижимую для людей с их недостатками, в тех условиях, в которых они живут.

Вот первое ясное разграничение максимальных и минимальных требований и, если поставить вопрос, откуда происходит это разграничение, то указанный исторический пример может дать совершенно ясный ответ на наш вопрос. Разграничение стоит в связи с утопическим мировоззрением, с утопической мечтой о конечном идеале, завершающем круг исторического развития и возносящем мысль на некоторую абсолютную высоту. За утопической мечтой или следует разочарование, или же закрадывается неуверенность в близком осуществлении конечного идеала, и приходится мириться на минимальной программе, пригодной для

людей, живущих в условиях исторического развития, в пределах обозримого течения времени.

Совершенно те же мотивы обуславливают деление программы на программу-максимум и в социализме. Но трудно проследить, как произошло это деление в социализме современном, ведущем свое начало от Маркса. Если взять тот замечательный документ, который лежит в основе всего новейшего социал-демократического движения, а именно «Коммунистический Манифест» Маркса и Энгельса, то перед нами будет программа-максимум, конечный идеал. Есть здесь и известные переходные меры, которые определяют ближайшие требования предреволюционного времени, когда царство идеала уже приближается, но существо «Коммунистического Манифеста» заключается не в них. Окончательное уничтожение государства и полное преобразование действительности — вот подлинная мечта «Коммунистического Манифеста».

Здесь предполагается совершенно новый период существования, когда водворяется на земле социальный рай. Этот идеал «Коммунистического Манифеста», идеал гармонического состояния человечества, достигаемого социальной революцией, идеал, стремящийся к уничтожению классовых противоречий, а с ними вообще и всех общественных противоречий, к уничтожению классов, а с ними и государства, к упразднению государственных и национальных перегородок во имя торжества интернационального объединения, — этот идеал содержится в виде программы-максимум во всех основных социал-демократических программах. Накануне 1848 г. Маркс и Энгельс верили, что их конечный идеал может осуществиться завтра, на следующий день; но прошли годы, и этот идеал стал казаться лишь отдаленной целью развития. Сам Маркс еще питал надежду, что наступит какой-нибудь благоприятный поворот событий и его мысль осуществится. Но время проходило, а осуществление социалистического идеала все откладывалось. Приходилось думать о том, как же быть в условиях переходной поры. Пока, как в 1847–1848 гг., была жива твердая вера, что существующему государству в самом близком будущем будет нанесен сокрушительный удар, нечего было думать о

том, чтобы начертать программу деятельности социалистов в условиях относительного исторического существования, в пределах существующего, обреченного на скорую гибель государства. Естественно было говорить только о конечной цели.

Но последователи Маркса были поставлены в иные условия, им надо было действовать в сумеречную пору ожидания будущего строя. Приходилось действовать в такое время, когда государство не только не разрушилось, но наоборот, обнаруживало всю свою силу и власть, и при этих условиях надо было как-то приспособить свою программу к требованиям государственной жизни, надо было как-то ее изменить.

Из сказанного видно, что как в том древнем примере Платона, так и в этом новейшем примере Карла Маркса, программа-максимум утверждается на мысли о возможности построения конечного идеала, о возможности достижения такой формы общественного устройства, которая устранит все источники противоречий и страданий общественных, которая наделит людей счастьем земного рая.

Партия Народной Свободы, стоящая на почве современной науки и современной философии, не может питать этой мечты. Она не может иметь программу-максимум как начертание конечного идеала, потому, что с научной точки зрения это невозможно. Идеал конечного земного рая, который завершает существование человечества в пределах его истории каким-то блаженным веком, где все противоречия сглажены и устранены, где все люди наслаждаются полным счастьем — да ведь это полное противоречие тому, о чем говорят нам и современная философия, и современная наука. Это прежде всего стоит в противоречии с эволюционизмом современной мысли, с идеей о бесконечном развитии всего существующего. Это стоит в противоречии и с убеждением моральной философии, что идеалы нравственного совершенствования бесконечны, что нет возможности в историческом развитии найти предел нравственному прогрессу. Если обсуждать идею земного рая с научной и философской точек зрения, то она представляет собою выражение некоторой очень старой мысли о возможности гармонического сочетания

общества и личности, о возможности полного примирения личности с окружающей средой. Но если есть какое-либо твердое приобретение в современной общественной философии, то оно заключается в том, что личность и общество в историческом процессе развития находятся не только в постоянном взаимодействии, но и в известном антагонизме. Бесконечный простор человеческих требований, человеческих притязаний делает безусловно неисполнимым достижение такого строя жизни, при котором возможно было бы сказать, что далее стремиться некуда, что человек достиг земного рая.

Философские и научные стремления нашего времени выдвигают идеи совершенно иного рода. Мы не тешим себя мыслью о возможности гармонического существования, о возможности полного устранения всех жизненных противоречий. Мы исходим из другого убеждения, что самое главное в общественном прогрессе — обозначение условий беспрепятственного и бесконечного развития. Мы думаем, что никакими средствами и способами нельзя осуществить полную гармонию общественных сил, но мы уверены в том, что можно и должно стремиться к свободному влиянию все большего и большего числа лиц на ход общественной жизни. Мы считаем идеалом общественного устройства такую форму политического бытия, когда осуществляется принцип свободного выражения отдельных волей, которые беспрепятственно заявляют свои верования, свои мысли, свои требования, когда из свободного выражения и сочетания отдельных волей рождается прогресс общественной мысли и общественной жизни. Не гармония общественного совершенства, а свобода бесконечного развития, вот что является здесь выражением стремления к идеалу. Но когда мы в этом смысле понимаем высший идеал, мы отказываемся рисовать какую бы то ни было конкретную картину конечного совершенства; мы говорим, что перед нами бесконечная цепь развития.

Вот почему программа, которую с этой точки зрения надлежит установить для каждого данного момента, есть всегда программа-минимум. То высшее идеальное стремление, которое одушевляет каждую такую вре-

менную программу, всегда с необходимостью предполагается ею как ее моральное оправдание, как ее конечная цель. Программа каждого данного момента есть средство к осуществлению этой цели при данных условиях. Давать рядом с этим еще и другую конкретную программу, которая пригодна лишь для отдаленного будущего, лишь для будущих поколений, нет оснований. Будущее само за себя скажет свое слово, и оно скажет его лучше нас, так как будет иметь такие знания о своих конкретных условиях и нуждах, какими мы не обладаем. Мы пишем программы только для нашего поколения, для нашего времени. Это не значит, конечно, чтобы мы не имели такого идеала, который имеет ценность для всех времен и для всех поколений. Это значит, что такой идеал стоит, как путеводная звезда, над всеми историческими программами и над всеми эпохами и что этот идеал расширяется во всю широту бесконечных притязаний личности. Совершенно очевидно, что этот идеал не может быть исчерпан какой-либо простой исторической схемой, вроде той, какой является, например, передача средств производства в руки трудящихся. Этой конкретной экономической мере придают чудодейственное значение: ей приписывают силу исцелить человечество от всех бедствий, удручающих его на жизненном пути. Но каким скудным и недостаточным представляется подобное конкретное определение общественного идеала перед бесконечной глубиной той проблемы, на которую оно пытается ответить. Каждое такое определение на космологическую проблему зла и страдания, на проблему мировых противоречий отвечает социологическим предположениям о возможности счастливого общественного устройства при помощи разрешения экономических противоречий. Какое величайшее противоречие существует между той космологической проблемой и этим социологическим ее разрешением!

В одной из ранних статей Маркса («Zur Judenfrage») с ясностью раскрывается то основное условие, при котором, по его мнению, осуществится переход к совершенному состоянию социалистического строя: для этого необходимо, чтобы человек во всем своем существовании, во всей своей эмпирической жизни стал родо-

вым существом. Государство не имеет силы побороть человеческий эгоизм, и потому политическая эмансипация, совершаемая правовым государством, есть только частичная эмансипация. Полная человеческая эмансипация будет осуществлена новым переворотом, более радикальным. Этот переворот, совершить который — есть задача пролетариата, будет всецелым обобществлением человеческой жизни, полным превращением человека в родовое существо.

Вот, следовательно, основная предпосылка разрешения социального вопроса: она заключается в том, что для социального совершенства необходимо чудесное преобразование человеческой личности, необходимо искоренение эгоизма из сердца человека. Необходимо превращение человека в такое существо, которое живет и дышит только воздухом общности. Конечно, если так ставится вопрос, если до этого доходит человеческое совершенство, мы понимаем и задачу, и способ ее разрешения. Но вместе с тем мы не можем не видеть, что нам предлагается здесь лишь утопическая мечта, лежащая за гранью человеческой истории. Люди должны стать существами совершенными, они должны утратить все злое, все эгоистическое, все обособляющее их друг от друга — тогда осуществится человеческая эмансипация. Такое предположение, очевидно, выводит нас за пределы реальности. Но так или иначе Маркс сохранил идею обобществления человеческой жизни в своих дальнейших изображениях будущего строя, и мы видим ее в виде основной предпосылки и в так называемой классовой теории государства. Классовая теория государства, которая предполагает, что социальная катастрофа, разрушающая современное государство, превратит его в новое безгосударственное состояние, когда государственной власти более не будет, эта теория не может быть понята иначе, как в свете того первоначального предположения о безусловной человеческой эмансипации, превращающей человека в родовое существо. Она мыслима только при том предположении, что наступит такой момент совершенства человеческой жизни, когда все будет идти как по струнке, когда осуществится слияние личности с обществом.

Но спустимся с этой мечтательной высоты на почву

конкретной действительности и посмотрим, что же именно предполагается осуществить в будущем социалистическом строе. Мы видим здесь одну конкретную задачу: обобществление средств производства, и мы должны сказать, что это сосредоточение всех орудий труда в руках общества, сосредоточение процесса производства в руках общества предполагает необходимое регулирование всего экономического строя, установление необходимой трудовой повинности, установление твердого плана и порядка общественной жизни. Но как же могут осуществляться этот твердый порядок, это стройное регулирование, эта строгая централизация, если не при помощи государства? Причем, очевидно, это будет государство, гораздо более сильное, чем то, которое мы знаем, государство, которое держит личность в строгом повиновении, заставляет ее подчиняться заранее установленному плану, сосредоточивает все в своих руках. Итак, если в мечте будущее социализма рисовалось как состояние безгосударственное, как светлое царство свободы, в конкретном своем осуществлении оно не могло бы оказаться ничем иным, как новым видом государственного устройства.

Не очевидно ли, что социализм Маркса стоит на перепутье между анархизмом, с одной стороны, и государственным социализмом — с другой, или если употребить известные исторические имена, то надо сказать, что социализм Маркса стоит посередине между анархизмом Прудона, с одной стороны, и государственным социализмом Лассаля — с другой.

Таково его сложное и двойственное положение.

Эта сложность и двойственность в положении социализма еще более усугубляются, когда от Маркса мы перейдем к его последователям, когда мы обратим внимание на содержание практических программ современных социал-демократических партий.

Прочтите программу-минимум русской социал-демократической партии, которая, нужно сказать, имеет свой первообраз в соответствующей части германской Эрфуртской программы. «Самодержавие народа», т. е. сосредоточение всей верховной государственной власти в руках законодательного собрания, составленного из представителей народа и образующего одну палату. Все-

общее, равное, прямое избирательное право и при выборах, как в законодательное собрание, всех граждан и гражданок, достигших 20 лет; тайное голосование при выборах; право каждого быть избранным во все представительные учреждения; двухгодичные парламенты, жалованье народным представителям. Широкое местное самоуправление, областное самоуправление для тех местностей, которые отличаются особыми бытовыми условиями и составом населения. Неприкосновенность личности и жилища. Неограниченная свобода совести, слова, печати, собраний, стачек, союзов и т. д. и т. д.

Сопоставляя эту программу с программой-максимум, мы приходим к интересному заключению. В программе-максимум мы имеем идеал совершенного безгосударственного состояния, осуществляемого при помощи социальной революции, которая нанесет сокрушительный удар современному капиталистическому строю и осуществит истинную мечту социализма.

Как же относиться к этой программе-минимум?

Не надо длинных пояснений, чтобы видеть, что эти две программы не имеют между собой ничего общего.

Программа-минимум не есть программа социалистическая, это программа демократическая, программа демократического либерализма. Как авторитетно свидетельствует Меринг, официальный историк немецкого социализма, практические требования Эрфуртской программы не в ней впервые были сформулированы. Они были заимствованы из Готской программы 1875 г., в которую попали из Эйзенахской программы, а в эту последнюю — из Хемницкой 1866 г. Хемницкая же программа была принята на собрании Саксонской демократии, на собрании, которое, по компетентному свидетельству Бебеля, непосредственного участника Хемницкого собрания, имело в виду только демократизацию Германии. И действительно, хотя в этой программе были требования социального характера об улучшении положения рабочего класса, но в ней не было ничего социалистического: она была составлена в духе немецкой Народной партии, стоящей на точке зрения общих демократических принципов. Проникнутые этим традиционным демократическим духом требования Хемницкой программы перешли затем в Эйзе-

нахскую программу, затем в Готскую и Эрфуртскую, а оттуда и к нам. В последующих редакциях положения Хемницкой программы дополнялись и видоизменялись, но суть их осталась та же: это были демократические требования, обращенные к существующему правовому государству и ожидающие своего осуществления в пределах этого государства в зависимости от его преобразования в демократическом духе. Но требования такого рода, в какой бы форме они не выражались, имеют свои особые идейные корни, резко отличающиеся от идейных начал марксизма. Эти корни восходят к идее правового государства, которая по следам Руссо и Канта не раз воспроизводилась в немецкой мысли. Высшей задачей общественной жизни, согласно этой теории правового государства, является не упразднение государства и права, а только их преобразование в демократическом духе. Теория правового государства принципиально исключает утопию безгосударственного состояния. Эта теория учит, что государство, правильно понятое, надлежащим образом преобразованное, может быть источником справедливости. Теория правового государства не отрицает перерыва в легальной преемственности исторических форм. Она допускает революционный переворот, она допускает разрыв с историческим прошлым правового государства. Она отрицает идею того безгосударственного состояния, которое Маркс и Энгельс провозглашают высшей целью развития. Преобразование существующих учреждений в духе правового государства представляется здесь целью развития. Это тот путь, следуя которому, по словам Руссо, можно сделать существующие отношения законными. В тесной связи с этими основаниями предполагается, что правовое государство может регулировать жизнь в духе справедливости, что отдельные классы, как бы они ни различались по своему экономическому положению, имеют нечто общее, имеют область нейтральных интересов. Предполагается, что есть такие нормы, которые должны быть общими и обязательными и для сильных, и для слабых, и для большинства, и для меньшинства, которые в каждом человеке охраняют его личность и создают для всех одинаковые условия существования и одинаковые права. Надо ли говорить, насколько все эти

предпосылки правового государства исключаются прямым смыслом марксистского учения, надо ли говорить, что те демократические требования, которые попали в социал-демократическую программу, с точки зрения Маркса и Энгельса, не могут быть признаны. И действительно, Маркс и Энгельс протестовали против их включения в программу немецких социалистов. Здесь сказались влияние Лассаля, полагавшего, что социализм должен быть осуществлен не путем социальной революции, ниспровергающей государство, а путем демократического преобразования государства, усваивающего социализм, усваивающего то, что Лассаль называл идеей четвертого сословия. Когда проект Готской программы, ясно формулировавшей требования, заимствованные из Хемницкой программы, стал известен Марксу и Энгельсу, они самым решительным образом восстали против того, что они назвали Лассалевским символом веры, который, по их мнению, освящался в этой программе. Оба они в подробнейших письмах высказали свое отрицательное отношение к включению демократических требований этого рода в социалистическую программу и таким образом осудили ту позицию, которую до сих пор защищает немецкая социал-демократия. «Программа эта,— писал Энгельс,— такого рода, что в случае, если она будет принята, Маркс и я никогда не присоединимся к партии, учрежденной на этой основе». Маркс, со свойственной ему энергией мысли, также говорил о неприемлемости этих требований. Характеризуя эти требования: всеобщее избирательное право, народное законодательство, народный суд, народное ополчение, Маркс говорил, что программа, содержащая такие требования, проникнута демократической верой в чудеса и отражает верноподданническую веру Лассаля в государство.

Несмотря на указания Энгельса, что в случае принятия программы ни он, ни Маркс не примкнут к партии, на Готском съезде 22/27 мая 1875 г. проект программы был принят единогласно. Таково было влияние Лассаля. Маркс и Энгельс оказались бессильными противодействовать внесению в социализм требований демократических партий.

Требования этого рода, как я указал выше, ведут

свое начало от Руссо и Канта, от родоначальников демократической теории правового государства. Эта теория призывает к сохранению правового государства, а не к его разрушению. Таким образом, мы должны сказать, что социал-демократическая программа под видом конечного идеала предлагает неосуществимую утопию безгосударственного состояния; то же, что они имеют практического, они заимствуют из общего с нами источника, из демократической теории правового государства*.

Итак, мы видим, что практическое приспособление к условиям современности, в сущности, приводит социализм к отречению от той идеи безгосударственного состояния, которая является его высшей мечтой. Программа-минимум возвращает социализм на почву старых требований демократического либерализма. Нет ничего удивительного, что в этом отношении социалистические требования сближаются и с программой партии Народной Свободы, так как тут социализм делает заимствование из той самой демократической теории правового государства, от которой ведет свое начало и программа нашей партии.

Но надо признать и другую сторону дела — факт влияния социализма на расширение требований демократической теории. Правда, не только от социализма, но из тысячи источников демократическая теория черпает новые идеи, которые восполняют декларацию прав человека и гражданина; но все же надо признать великой исторической заслугой Маркса, что он с необычайной яркостью и силой выразил требование нового сознания относительно создания лучших условий человеческой жизни. Есть одно место у Маркса (в сочинении: «Die heilige Familie»), в котором в столь же простых, сколько и сильных словах выражается исходное положение социализма.

«Неимение не есть только категория, это весьма печальная действительность, так как человек, который ничего не имеет, в настоящее время и сам есть ничто, так как он отрезан как от существования вообще, так и

* Более подробное доказательство этого положения см. в моей имеющей вскоре появиться в свете книге: «Об общественном идеале».

еще более того от человеческого существования. Неимение это — самый отчаянный спиритуализм, — это полнейшая недействительность человека, это — полная действительность нечеловека. Это очень положительное имение: имение голода, холода, болезней, преступлений, унижения, идиотизма, всякой нечеловечности и противоестественности».

Кто не помнит многочисленных страниц «Капитала», в которых это положение подтверждается подавляющими фактами действительности, взятыми из данных официальных отчетов? Кто не знает, что, приводя эти данные, Маркс неизменно обращает внимание на то, как тяжелые условия труда уродуют рабочего, делая из него получеловека, как отражаются они не только на физическом, но также на умственном и нравственном состоянии рабочего сословия.

С величайшей силой нравственного негодования восстает Маркс против печальной действительности неимения, и вслед за автором читатель проникается сознанием, что категория неимения должна замениться противоположной категорией, что неимущий должен стать имущим, не в смысле «корыстного стяжания, а ради достойного человеческого существования», — вот та жизненная правда, которую раскрыл марксизм и которую ему суждено было широко распространить в современном сознании. Не только у Маркса современный мир почерпает это сознание, тысячи источников говорят об этом, и тем не менее за марксизмом мы должны признать значение той идейной грани, после которой уже невозможен возврат сознания к прошлому, после которой и современное правовое государство должно радикально изменить взгляд на задачи политики, на сущность права, на принципы равенства и свободы. Осуществление той задачи, которая вытекает из этих представлений, Маркс рисовал в виде утопии. Он считал, что он нашел тот разрешительный лозунг, с помощью которого в близком будущем можно вывести общество из его несовершенного существования в состояние земного рая и блаженного совершенства. В этом он ошибался, но исходное начало его было правильное, и когда мы с этой точки зрения определяем связь нашу с социализмом, мы должны сказать, что

партия Народной Свободы, как и вообще современный демократический либерализм, сходится с социализмом. В чем выражается это сходство, эта близость, очень хорошо объясняет английский писатель Самуэль. «Либерал разделяет с социалистом чувство глубокого негодования против зол существующего экономического строя. Он охотно соглашается с ним в том, что государство должно принять энергичные меры для уврачевания этих зол. Он согласен, что государственное хозяйство часто является могущественным средством для этого, но он с недоверием относится к национализации всей частной промышленности». И вот здесь-то приходится вспоминать то, что мы говорили раньше. Социалисты нередко забывают о том, что говорит нам наука наших дней.

И в этом случае Самуэль совершенно прав, когда он утверждает, что либералы отличаются от социалистов главным образом своим эмпирическим, осторожным методом умозаключения. В то время как социалисты считают возможным сразу осуществить самые сложные реформы, либералы идут путем научного изучения фактов, путем научного исследования того, что может быть осуществлено. С другой стороны, социалисты забывают, что процесс социального преобразования требует не только внешней реформы, но и воспитания общества. Возражая однажды Жоресу, Клемансо очень удачно формулировал это важное возражение против социализма: «Ваши концепции грешат фатально в одном пункте: человек, который понадобится вам для реализации вашей идеи, еще не существует, даже если бы ваши теории осуществились. А когда этот новый человек появится, если ему вообще суждено существовать, он воспользуется собственным разумом и устроится по своему благоусмотрению, не сообразуясь с путем, который вы ему предназначали. Вы беретесь прямо за созидание будущего, мы же создаем человека, который создаст будущее. Наше чудо величественнее вашего. Мы не фабрикаем человека специально для нашего общественного строя, мы берем его, как он вышел из первобытной пещеры, с его жестокостью, с эгоизмом и альтруизмом. Мы берем его со всеми его слабостями, противоречиями, оцупью бредущего к неизвестному

лучшему будущему, и мы просвещаем его, выращиваем, искореняем в нем зло, укрепляем его в добре, мы его освобождаем и ведем по пути высшей справедливости».

«Без воспитания демократии социальное освобождение ее останется пустым звуком. Она могла бы на один день добиться власти и скоро увидела бы себя низвергнутой в бездну; все наши реформы были бы недолговечны, если бы нам не удалось усовершенствовать, улучшить человека, внедрить в него демократические чувства». Эти мысли есть результат долгого научного и политического опыта наших дней. Жорес обмолвился как-то следующей характерной фразой: «Не средства производства не достают пролетариату, а пролетариат не достает средствам производства». И здесь высказывается та же идея о необходимости приготовления человека к лучшему будущему. И, когда мы взвешиваем все эти идеи, когда мы ставим их в связь с вечным идеалом политики, который состоит в полном расцвете личности, в сознании для нее достойных условий общественного существования, мы с полной определенностью можем ответить тем, кто говорит, что у партии Народной Свободы нет идеала. У нее есть идеал, но идеал, вытекающий из научных и философских убеждений времени, — идеал, не носящий в себе ни капли утопизма и имеющий преимущества не тешить людей иллюзиями скорого достижения цели, а указывающий на все неизбежные затруднения, на все необходимые подвиги истинного общественного процесса.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Новгородцев Павел Иванович (1866–1924) — глава московской школы философии права, теоретик неолиберализма, первый марксолог в России, организатор и редактор сборника статей «Проблемы идеализма» (М., 1902), ставшего манифестом нового идеалистического движения в русской философии, талантливый педагог и администратор, видный общественный деятель. Родился 28 февраля 1866 г. на Украине в г. Бахмут.

Окончив с золотой медалью Екатеринославскую гимназию, П. И. Новгородцев в 1884 г. зачисляется на первый курс естественного отделения физико-математического факультета Московского университета, но проучившись месяц, подает прошение о переводе на юридический факультет. В 1888 г. он окончил университетский курс со степенью кандидата прав и был оставлен на кафедре истории философии права для подготовки к профессорскому званию. В период с 1890 по 1899 г. более четырех лет провел в заграничных командировках, где подготовил две диссертации, которые успешно защитил — 29 марта 1897 г. — на степень магистра («Историческая школа юристов, ее происхождение и судьба»), а 22 сентября 1902 г. — на степень доктора государственного права («Кант и Гегель в их учениях о праве и государстве»).

В 1896 г. П. И. Новгородцев становится приват-доцентом, с 1 февраля 1903 г. — экстраординарным, а с 12 ноября 1904 г. — ординарным профессором Московского университета по кафедре энциклопедии права и истории философии права, но 27 апреля 1906 г. увольняется «согласно прошению».

В 1907–1911 гг. Новгородцев продолжил чтение лекций в Московском университете на правах приват-доцента, но основным местом его работы становится Московский коммерческий институт, где он в 1906 г. избирается директором¹. В 1920 г. недолгое время преподавал в Симферопольском университете, а эмигрировав, основал при содействии чешского правительства Русский юридический факультет в Праге, который возглавлял в качестве декана со дня его открытия 18 мая 1922 г. и вплоть до своей кончины 23 апреля 1924 г.

Являясь сторонником построения правового государства в России, П. И. Новгородцев участвовал в работе «Союза Освобождения», был одним из основателей конституционно-демократической партии и членом ее центрального комитета, но после Февральской революции не вошел в состав Временного правительства, видя в

¹ *Левицкий Д. П. И. Новгородцев. Русская религиозно-философская мысль XX века. Питтсбург, 1975. С. 298.*

нем отсутствие государственной воли и неспособность предотвратить грядущую катастрофу. «Он,— вспоминал о настроениях П. И. Новгородцева в период между двумя революциями его ученик И. А. Ильин,— не участвовал во Временном правительстве. Ни в каких комбинациях и видоизменениях. В эти тягостные постыдные месяцы 1917 г. он был весь — зоркость, тревога, отвращение. Он один из первых понял обреченность этого безволия, этой сентиментальности, этого сочетания интернационального авантюризма с исторической мечтательностью... Он понимал всю радикальность необходимых средств...»² После Октябрьской революции участвовал в белом движении, являясь членом Совета государственного объединения России. В эмиграции Павел Иванович много сил отдал общественной деятельности по консолидации научных и культурных сил русской диаспоры и обеспечению возможности продолжить образование русской молодежи. Вот внешняя канва жизни и деятельности этого выдающегося деятеля русской культуры. Но главным содержанием его жизни являлось философское творчество.

* * *

«Он,— пишет о раннем периоде творчества П. И. Новгородцева выдающийся историк русской культуры Г. В. Флоровский,— начинал свою литературно-философскую деятельность в эпоху видимого господства позитивизма. Это было время, когда, по резкому выражению Дайси, «лучше было быть заподозренным в мелком воровстве, чем в недостатке историзма». И с этим духом времени Новгородцев прежде всего вступил в борьбу»³. Новгородцев понял, что в основе историзма лежит органическое мировоззрение, приводящее к деперсонализации человека. Жизнь в таком случае определяется игрой естественных, органических сил, а «суд истории» фактически сводится к суду последнего победившего

² Ильин И. А. П. И. Новгородцев // Русская мысль. 1924. IX—XII. С. 373.

³ Флоровский Г. В. Памяти П. И. Новгородцева // Россия и славянство. Париж, 1929. 27 апреля.

начала над прошлым. Прошлое оказывается воистину «непредсказуемым», ибо постоянно переписывается с точки зрения победившего принципа, как якобы имевшее единственную цель подготовить эту победу. Фактически историзм есть отрицание истории, но еще и отрицание человеческой личности, ибо задача человека сводится к тому, чтобы предсказать победителя и «отдаться» ему без остатка, духовно отождествиться с ним, встать на сторону «передового», отрекаясь от прошлого, как «отсталого». Отвергая «суд истории», Новгородцев призывает человеческую личность вершить «суд над историей».

В речи, произнесенной перед защитой своей докторской диссертации, подводя итоги своей духовной работы, он сказал:

«Если бы я теперь захотел точнее определить тот главный интерес, который определил направление моего последнего труда, то я должен сказать, что он заключается в исследовании вопроса о самостоятельном значении нравственного начала... Он представляет собой разрыв с традициями исключительного историзма и социологизма и переход к системе нравственного идеализма.

...Человек... призывается к нравственному суду над историей.

...То, что мы вносим, то, что мы предлагаем... это вечные основы морального сознания, и прежде всего — принцип личности и ее безусловного значения...»⁴

Личность оказывается для Новгородцева онтологическим центром, пучком световых лучей, с помощью которых только и можно высветить проблемы бытия и познания. И здесь его главным учителем и вдохновителем был Сократ, принадлежавший к числу «тех учителей человечества, которые проповедовали не только свою доктрину, но и свою личность»⁵.

В акцентировании центрального философского значения проблемы личности Новгородцев противостоял не только позитивизму и историзму, но и основному

⁴ Новгородцев П. И. О задачах современной философии права. СПб., 1902. С. 2, 7, 8.

⁵ Новгородцев П. И. Сократ и Платон. М., 1901. С. 6.

руслу русской философии XX в., а именно — метафизике всеединства, несущей в себе антиперсоналистический заряд. Г. Флоровский имел основание сказать, что «основной недуг русского “Ренессанса” — деперсонализация человека и фетишизм “сводных понятий”»⁶.

Так же, как и Сократ, Новгородцев проповедовал не только свое учение, но и личность. Он привлекал к себе учеников не только необъятной эрудицией, не только дисциплиной мысли, но и собственной личностью, устремленной к главному источнику истины, добра и красоты. Один из его учеников И. А. Ильин вспоминал: «Он (Новгородцев.— А. С.) говорил о *главном*: не о фактах, не о средствах, отвлеченно, но о живом; он говорил о *целях жизни* и, прежде всего, о праве ученого исследовать и обосновывать эти цели. Вокруг него, его трудов, докладов и лекций шла полемика, идейная борьба... слагалось *идейное бродило*, закладывались основы *духовного* понимания жизни, общественности и политики... Он обладает исключительным чутьем к *теме*. Интуитивно улавливая, как бы подслушивая внутренним слухом, где и как бьется сердце предмета, он отыскивал то умопостигаемое место, в котором завязан главный узел проблем...»⁷

Вокруг Новгородцева и его идей сложилась целая школа философов права и социальных философов. Непосредственные его ученики — И. А. Ильин, Б. П. Вышеславцев, Н. Н. Алексеев, А. С. Яценко, В. А. Савальский. Многие его идеи плодотворно разрабатывались С. Л. Франком (которого именно Новгородцев привлек к участию в сборнике «Проблемы идеализма»), С. И. Гессеном и др. Русский юридический факультет в Праге, детище ума и сердца Новгородцева, также выпустил ряд выдающихся ученых, на которых отразилось влияние традиций школы Новгородцева. Среди них прежде всего следует отметить В. В. Леонтовича, автора выдающегося труда по истории либерализма в России⁸, и Г. М. Каткова. Но особенно в этом ряду

⁶ Флоровский Г. В. Письмо к Ю. Иваску от 24-го февраля 1972 г. // Вестник РСХД. 1979. № 130. С. 52.

⁷ Ильин И. А. Указ. соч. С. 270–271.

⁸ Леонтович В. В. История либерализма в России. 1762–1914. Париж, 1980.

хотелось бы отметить выдающегося православного богослова и историка русской мысли Г. В. Флоровского, благодарно отметившего Новгородцева в предисловии к своему фундаментальному труду. «Одно имя, — пишет Г. Флоровский, — я должен здесь назвать, дорогое для меня имя покойного П. И. Новгородцева, образ верности, никогда не умирающий в памяти моего сердца. Ему я обязан больше, чем сколько можно выразить словом. “Закон истины был во устах у него” (Молох. II, 6)»⁹.

Г. Флоровский сумел увидеть, что «светом повседневности», сугубо научным анализом политической реальности Новгородцев поясняет евангельскую истину, никогда не пытаюсь вывести из этой истины каких-либо «правил». Все основные работы Новгородцева имеют целью показать, что «истина», из которой якобы можно вывести какие-то «правила» для политической повседневности, заведомо ложная. Идеал, имеющий в себе программу своего воплощения, — ложный идеал и не заслуживает этого названия. Касательство к идеалу, а значит — к бессмертию, имеют лишь личностные отношения. За всеми событиями и учениями нужно уметь видеть свет личности.

Главная книга Новгородцева, которую один из русских мыслителей назвал «книгой-спутницей»¹⁰, — его работа «Об общественном идеале». Главное ее содержание — критический анализ эволюции марксизма как философско-правового учения. «Здесь мы имеем, — дает оценку этому труду С. Гессен, — лучшее и наиболее исчерпывающее изложение марксизма в мировой литературе вопроса».

Если Н. Бердяев, С. Булгаков и Ф. Степун подчеркивали нравственную порочность марксизма, то П. Новгородцев делает акцент на его научной несостоятельности. Вслед за П. Струве он отметил кричащее противоречие между элементами научности, которые присутствуют в марксовской эволюционной теории общества, и его революционной программой. Элементы научного

⁹ Флоровский Г. В. Пути русского богословия. Париж, 1937. С. VI.

¹⁰ Аничков Е. В. На грани // Православие и культура. Берлин, 1923. С. 146.

анализа, присутствующие в работах Маркса, ни в коем случае не могут служить обоснованием революционной программы, но они играют огромную роль в его системе, придавая ей респектабельный облик. Эта та дань, которую порок вынужден платить добродетели. Сила Маркса в том, что он прекрасно знал своего клиента, которому нужна не логическая, а психологическая убедительность. Пораженные похотью власти социалисты, при виде перспективы скорого ее захвата, оказываются неспособными замечать кричащие противоречия в марксизме. Новгородцев делает важный вывод о «явной зависимости» синтеза Маркса «от субъективной веры в близость и неотвратимость революции».

Как только перспектива захвата власти отдалялась, так марксизм начинал разваливаться на течения, прикрывавшиеся цитатами из разных работ Маркса. «Неудивительно, — пишет Новгородцев, — если впоследствии самые противоположные течения марксизма ссылаются на своего родоначальника: это объясняется тем, что при наличности в его системе противоречивых оснований, эти основания уже у него самого приходили к обособлению и столкновению». Непременное условие веры в научную обоснованность марксизма — ослепление возможностью победы. Если победа революции не столь очевидна, тогда должны использоваться другие способы глушения логической совести человека.

Заменив способ логического обоснования психологическим, Маркс из разнородных элементов создал гремучую смесь, которую Новгородцев считает единственным подлинным социализмом. «Марксу принадлежит заслуга обнаружить подлинную природу социализма. Он показал, что социализм, понятый во всей полноте его предположений и ожиданий, утверждающий себя как новое учение жизни, притязающий на полное преобразование человеческих отношений, есть вместе с тем и абсолютный коллективизм, и рационалистический утопизм, и экономический материализм». Новгородцев дает основание для понимания марксистского социализма с помощью модели раковой опухоли.

Как раковая опухоль, марксистский социализм несовместим со здоровым общественным организмом. Никакие интеллектуальные аргументы на марксистов подей-

ствовать не могут, и только осуществившись на практике, марксистский социализм погибнет окончательно, будучи отторгнут выздоравливающим обществом. Еще до победы Октябрьской революции П. И. Новгородцев в первом издании своего труда «Об общественном идеале» писал: «...мы должны с неоставляющей сомнения резкостью подчеркнуть, что историческое осуществление социалистических начал явится вместе с тем и полным крушением марксизма». Он только не в силах был вообразить, во что обойдется интеллектуальная невменяемость марксизма и необходимость прибегнуть к «историческому» аргументу.

* * *

Октябрьский переворот означал для П. И. Новгородцева национальную катастрофу. Еще в августе 1917 г., предвидя неизбежный ход событий, он призывал к установлению военной диктатуры, чтобы «покончить с большевистской революцией»¹¹. 12 октября в речи, произнесенной на 2-м Московском совещании общественных деятелей, он призывал «собрать все, что может объединиться на началах высших, чем интересы классов и групп»¹². После большевистского переворота Новгородцев стал активным деятелем «правого» центра кадетской партии, перешедшей на нелегальное положение. 18 мая 1918 г. он был предупрежден, что выписан ордер на его арест. Его ждал расстрел. На следующий день профессор должен был выступать в Московском университете оппонентом на защите диссертации своего ученика И. А. Ильина.

Летом 1918 г. Новгородцев участвовал в подготовленном нелегально в Москве знаменитом сборнике «Из глубины» статьей «О путях и задачах русской интеллигенции», где показал, что большевистская революция означает победу утопического. «Утопия,— писал он,— представляет собою мечту о всецелом устроении, а вместе с

¹¹ Цит. по: Думнова Н. Кадетская партия в период первой мировой войны и Февральской революции. М., 1988. С. 195.

¹² Новое время. 1917. 13 окт.

тем — и упрощении жизни. Предполагается, что можно найти одно слово, одно средство, одно начало, имеющее некоторый всеобщий и всеисцеляющий смысл»¹³. Это замечание очень существенно. Действительно, все великие демагоги — гении упрощения, мастера сочинять лозунги, привлекающие кажущейся понятностью и легкостью решений. «Идейные источники утопического сознания, — подчеркивал Новгородцев, — лежат за пределами русской действительности»¹⁴. Но европейские корни имеют не только утопическое сознание, но и противоположное ему христианское. Почему же совершается такой странный отбор идей? Этот вопрос особенно занимал Новгородцева в эмигрантский период его жизни. В Праге, в Русском институте, он прочел цикл лекций на тему «Кризис западничества»¹⁵. Именно интерес к этой теме сблизил его с евразийцами и особенно с одним из них — Флоровским. По отдельным высказываниям Новгородцева и статьям Флоровского, затрагивавшим эту тему, мы можем попытаться реконструировать ход мысли Новгородцева.

Западничество есть идеологическая установка, которая побуждает замечать в Европе лишь плоды цивилизации, а не стоящие за ними творческие процессы. Западническая установка побуждает учиться не творчеству, не искусству оформления, а подражанию готовым формам. Это ведет к атрофии творческого начала и деградации культуры. Отсюда склонность к фетишизации форм и вера в их спасительное значение. И если Октябрь показал всю опасность фетишизации социального строя, то Февраль обнаружил господство утопического сознания у русской интеллигенции, приведшего к фетишизации демократического политического строя.

В работе «Демократия на распутьи» Новгородцев показал, что демократия не есть панацея от всех бед. Напротив, она есть показатель того, что беды уже преодолены, что в обществе упрочены религиозно-нравственные основы, позволяющие раскрыть благодетель-

¹³ Из глубины. Париж, 1967. С. 266.

¹⁴ Там же. С. 257.

¹⁵ ЦГАОР, ф. 5776, к. 2, е. х. 110, п. 1.

ные, а не разрушительные стороны демократии. «Если демократия,— пишет Новгородцев,— открывает широкий простор свободной игре сил, проявляющихся в обществе, то необходимо, чтобы эти силы подчиняли себя некоторому высшему обязывающему их началу. Свобода, отрицающая начала общей связи и солидарности всех членов общения, приходит к самоуничтожению и к разрушению основ государственной жизни»¹⁶.

Опыт двух последних революций заставил Новгородцева пересмотреть свой взгляд на значение наследия славянофилов и Достоевского в отношении к философии права. Если ранее он считал их правовыми нигилистами, то теперь обнаружил, что самые глубокие основы и условия построения правового государства затрагивались именно в их трудах. Не этническое или хозяйственное единство — основа государственного единства, а национальная культура, национальные святыни, идеалы истины, добра и красоты. «Путь автономной морали и демократической политики привел к разрушению в человеческой душе вечных связей и вековых святынь. Вот почему,— пишет Новгородцев,— мы ставим теперь на место автономной морали теонормную мораль и на место демократии, народовластия,— асиократию, власть святынь. Не всеисцеляющие формы спасут нас, а благодатное просветление душ»¹⁷. Правовое государство высшей своей целью ставит защиту человеческой свободы, но признать это в качестве высшей цели государства люди могут, только глубоко осознав отношение свободы к высшим ценностям жизни, а именно — осознав свободу как проводник благодатных сил. Именно христианское понимание свободы — глубочайшая основа идеи правового государства.

А. В. Соболев

Соч.: Историческая школа юристов, ее происхождение и судьба. М., 1896; История философии права. М., 1900; Кризис современного правосознания. М., 1909; Политические идеалы древнего и но-

¹⁶ Новгородцев П. И. Демократия на распутьи // София. Берлин, 1923. С. 99.

¹⁷ Новгородцев П. И. Восстановление святынь // Путь. 1926. № 4. С. 70.

ного мира. Вып. 1 и 2. М., 1910, 1913; Лекции по истории философии права. Учения нового времени, XVI–XVIII вв. и XIX в. М., 1912; Об общественном идеале. М., 1917; О путях и задачах русской интеллигенции // Из глубины. М., 1921; Демократия на распутье // София. Проблемы духовной культуры и религиозной философии. Берлин, 1923. Т. 1.

Статья печатается по изд.: *Новгородцев П. И. Идеалы партии Народной Свободы и социализм.* М., б. г. / Издание «Народное право» партии Народной Свободы.

Н. А. Бердяев

ФИЛОСОФИЯ НЕРАВЕНСТВА

Письмо седьмое. О либерализме

Слово «либерализм» давно уже потеряло всякое обаяние, хотя происходит оно от прекрасного слова «свобода». Свободой нельзя пленить массы. Масса не доверяет свободе и не умеет связать ее со своими насущными интересами. Поистине в свободе есть скорее что-то аристократическое, чем демократическое. Это ценность более дорогая человеческому меньшинству, чем человеческому большинству, обращенная прежде всего к личности, к индивидуальности. В революциях никогда не торжествовал либерализм. Не только в социальных, но и в политических революциях он не торжествовал, ибо во всех революциях поднимались массы. Масса же всегда имеет пафос равенства, а не свободы. И большими революциями всегда двигало начало равенства, а не свободы. Либеральный дух по существу — не революционный дух. Либерализм есть настроение и мирозерцание культурных слоев общества. В нем нет бурной стихии, нет огня, воспламеняющего сердца, в нем есть умеренность и слишком большая оформленность. Правда либерализма — формальная правда. Она ничего не говорит ни положительного, ни отрицательного о содержании жизни. Либеральная идея не обладает способностью превращаться в подобие религии и не вызывает к себе чувств религиозного порядка. В этом слабость либеральной идеи, но в этом и хорошая ее сторона. Идеи демократические, социалистические, анархические притязают давать содержание человеческой жизни; они легко превращаются в лжерелигии и вызывают к себе отношение религиозного характера. Но в этом-то и коренится ложь этих идей, ибо в них нет никакого

духовного содержания и нет ничего достойного религиозно-патетического отношения. Прикрепление религиозных чувств к недостойным предметам есть великая ложь и соблазн. И нужно признать, что либерализм не побуждает к этому. Идея демократическая еще более формальна, чем идея либеральная, но она обладает способностью выдавать себя за содержание человеческой жизни, за особый тип человеческой жизни. И потому в ней скрыт ядовитый соблазн. Идея социалистическая отличается безграничной притязательностью. Она претендует ставить цели человеческой жизни, в то время как она относится к средствам жизни, к материальным ее орудиям. Вы давно уже обоготворили и абсолютизировали относительные средства, прикрепили к ним чувства почти религиозного порядка, и цели жизни померкли для вас. Ваша религия общественности, социальности есть религия средств, а не целей. Поистине во внешней общественности все относится к средствам; цели же ставятся в большей глубине, цели — духовны, а не общественны. И сама духовная общность людей, сама внутренняя их общественность неопределима внешними критериями общественности. Ибо цели и содержание жизни берутся из духовной глубины и коренятся в божественной действительности. Социальная же среда представляет сложную совокупность средств для осуществления этих целей и этого содержания. Поэтому все социальные идеи оказываются безнадежно и непреодолимо формальными, и никогда в них нельзя дойти до подлинного содержания и цели, никогда нельзя уловить в них онтологического ядра.

Есть ли такое онтологическое ядро в либерализме? В людях, слишком поверивших в либеральную идею и исповедующих доктрину либерализма, в либеральных движениях и партиях слишком мало онтологического. Это в большинстве случаев поверхностные люди и поверхностное движение. Но в истоках либеральной идеи есть большая связь с онтологическим ядром жизни, чем в истоках идеи демократической и социалистической. Ибо поистине свобода и права человека, человеческой личности, человеческого духа имеют большую связь с духовными основами жизни, чем всеобщее избирательное право или обобществление орудий производства.

Свобода и права человека, не отчуждаемые во имя утилитарных целей, коренятся в глубине человеческого духа. И поскольку либерализм их утверждает, он связан с природой личности, которая имеет онтологическую основу. Либерализм нельзя обосновать позитивистически, его можно обосновать лишь метафизически. По позитивным основаниям человека можно лишить самого священного его права, если это понадобится. Метафизическую природу либерализма хорошо понимал и обосновывал в довольно крайней и односторонней форме Чичерин. Нет оснований признавать неотъемлемую свободу и неотъемлемые права за человеческой личностью, если она не обладает вечной духовной природой, если она есть лишь рефлекс социальной среды. Руссо последовательно признал суверенность общества и принужден был отрицать все неотъемлемые свободы и права человека. Также отрицал эти свободы и права Маркс. Либералы-позитивисты лишь по непоследовательности и по поверхности своего сознания готовы признать неотъемлемые свободы и права человека. Духовным источником свободы и прав человека является свобода и право религиозной совести. И в этой точке формальная правда либерализма соприкасается с онтологическим ядром человеческой жизни. Права человека и гражданина имеют свою духовную основу в свободе совести, провозглашенной в английской религиозной революции. Эта истина делается все более и более общепризнанной. Но глубже еще неотъемлемые и священные свободы и права человека обоснованы в Церкви Христовой, признающей бесконечную природу человеческого духа и защищающей его от неограниченных посягательств внешнего государства и общества. Это — вечная истина Вселенской Церкви, в Реформации она получила лишь одностороннее выражение, вызванное сложными историческими условиями. Злоупотребления католичества в его человеческих, слишком человеческих проявлениях (очень преувеличенные) не должны заслонять той истины, что в нем уже заключалось признание бесконечных прав человеческого духа. Реформация все духовно получила от Церкви, но в ущербном виде.

Что истинная свобода человеческой личности хри-

стианского происхождения, это видно уже из того, что античный мир не знал личной свободы, а знал лишь свободу публичную. Уже Бенжамен Констан¹ подчеркнул глубокое различие между древним и новым пониманием политической свободы. Это — различие между языческим и христианским сознанием. На почве языческого религиозного сознания можно было понимать свободу так, как понималась она в греческой демократии, но нельзя было понимать ее так, как она раскрылась христианскому религиозному сознанию, познавшему бесконечную духовную природу человеческой личности. Учение Руссо было рецидивом языческого сознания. Он не знает личной свободы, не знает духовной природы человека, независимой от общества, не знает ее неотъемлемых прав. Он отрицает свободу совести, поработывает совесть человеческую обществу, суверенному народу. И его сознание политической свободы — дохристианское сознание. И все вы, идущие за Руссо, идущие за Марксом, все вы, подменяющие реальную свободу личности призрачной свободой общественной, все вы язычники, все вы отщепенцы христианства. Для вас не существует человека во внутренней, духовной его действительности, а существует лишь человек в его социальных оболочках. Во имя нового бога вашего — суверенного народа — вы лишаете человека всех его прав. Человек имеет глубокую, онтологическую связь с такими подлинными реальностями, как церковь, как национальность, как государство. Но что есть онтологического во всеобщем избирательном праве, в социализации промышленности, во всей вашей промышленности, во всем вашем коллективизме? Почему человеку должно поступиться своими правами, ограничивать свою природу во имя таких фикций и призраков?

* * *

В идеалистическом либерализме были просветы лучшего сознания, было большее внимание к человеческой природе. Но просветы эти были закрыты поверхностным «просветительством». Ибо «просветительство» никогда не просвещает глубоко сознания. Свет его — не

солнечный свет. Это искусственный свет лампы, ослабляющий самую потребность в истинном свете. И лучше пройти через полную тьму, через ночь сознания, чтобы почувствовать жажду приобщения к царству подлинного света. Широко распространенная либеральная идеология слишком срослась с этим поверхностным просветительством, и в нем утонули проблески более высокой правды. Либерализм влачит существование, лишенное всех онтологических основ, он живет крохами и клочьями какой-то замутненной правды. И с ним перестали считаться как с самостоятельным явлением духа. Либерализм так основательно выветрился, так обездушился, что можно еще признавать элементы либерализма, но невозможно уже быть либералом по своей вере, по своему окончательному мирозерцанию. Либерализм перестал быть самостоятельным началом, он сделался каким-то компромиссом, каким-то полудемократизмом или полуконсерватизмом. Он противопоставляет демократической или социалистической вере иную тактику, иные интересы, но бессилён уже противопоставить иную веру, иную идею. Слишком часто делаются либеральными те, у кого слаба вера, кто не любит слишком утруждать себя идеями. В либеральном лагере невозможен прозелитизм. Слишком часто сами либералы пасуют перед более радикальными и крайними идеями, склоняются перед типом революционера и себя считают недостойными приобщиться к революционной вере и революционному действию. Либерал сделался синонимом умеренного, человека компромисса, оппортуниста. Но можно ли назвать умеренным и оппортунистом того, у кого есть своя идея, иная, чем у социал-революционера, своя вера, кто верен до конца своему началу? Либералы обычно нравственно пасуют перед революционерами и бессильны противопоставить им иную, более высокую нравственную правду. Чем объяснить такую выветренность и опустошенность либерализма? Почему угасли в нем проблески правды более высокой, чем та, которая выдвигается демократизмом и социализмом?

«Познайте истину, и истина сделает вас свободными». «Где дух Господень, там и свобода». Вот в какой глубине должно обосновываться начало освободитель-

ное. Поистине христианство хочет освободить человека от рабства, от рабства греху, рабства низшей природе, рабства стихиям этого мира, и в нем должно было бы искать основ истинного «либерализма». Истинное освобождение человека предполагает освобождение его не только от внешнего рабства, но и от внутреннего рабства, от рабства у самого себя, у своих страстей и своей низости. Об этом не подумали вы, просветители-освободители. Вы оставляете человека во внутреннем рабстве и провозглашаете его, т. е. права рабьей, низшей природы. В основе вашего либерализма был внутренний порок. И потому он не смог не пасть. Либерализм ваш роковым образом изменил своей единственной возможной духовной основе. Вы сделали декларацию прав человека и оторвали ее от декларации прав Бога. В этом был ваш первородный грех, за который вы наказаны. Выше автономии стоит теономия. Это глубоко поняла французская католическая школа начала XIX века с Ж. де Местром² во главе. И школа эта потребовала провозглашения забытых прав Бога, требовала этой священной декларации до забвения неоспоримых прав человека. Потому что вы забыли о правах Бога, вы забыли и о том, что декларация прав человека должна быть связана с декларацией обязанностей человека. Путь, на котором права человека были оторваны от обязанностей человека, не довел вас до добра. На этом пути выродился ваш либерализм. Требование прав без сознания обязанностей толкало на путь борьбы человеческих интересов и страстей, состязания взаимоисключающих притязаний. Права человека предполагают обязанность уважать эти права. В осуществлении прав человека самое важное — не собственные правовые притязания, а уважение к правам другого, почитание в каждом человеческого образа, т. е. обязанности человека к человеку и человека к Богу. Обязанности человека глубже прав человека, и они обосновывают права человека. Право вытекает из обязанности. Если все будут очень сильно сознавать права и очень слабо сознавать обязанности, то права никем не будут уважаться и не будут реализованы. И права человека, и обязанности человека коренятся в его богоподобной природе. Если человек — лишь подобие природной и социальной сре-

ды, лишь рефлекс внешних условий, лишь дитя необходимости, то нет у него ни священных прав, ни священных обязанностей, а есть у него лишь интересы и притязания. Права человека предполагают права Бога, это прежде всего права Бога в человеке, права Божественного в человеке, его Богоподобия и Богосыновства. Человек потому лишь имеет бесконечные права, что он бесконечный дух, что глубина его входит в божественную действительность. Личность человеческая не довлеет в себе, она предполагает бытие Бога и божественных ценностей. Возможно ли провозглашение священных прав человека как усовершенствованного и дисциплинированного зверя, как куска праха, в котором на мгновение загорелась жизнь? Права человека должны иметь онтологическую основу, они предполагают и бытие души человеческой в вечности, и бытие, бесконечно превышающее эту душу, бытие Божие. Об этом забывает ваш просвещенный либерализм и ваш радикализм. И потому он должен был выветриться, он не мог осуществить никаких прав человека. Отвлеченный, доктринерский либерализм, претендующий опереться на собственную пустоту, есть невыносимая ложь, и против него должны были подняться движения, искавшие реального содержания социальной жизни.

* * *

Либеральная идеология зародилась в умственной атмосфере XVIII века, которая склонна была утверждать естественную гармонию. Эта идеология проникнута верой в естественную гармонию свободы и равенства, во внутреннее родство этих начал. Французская революция совершенно смешивала равенство со свободой. Весь XIX век разбивал иллюзии естественной гармонии, он жизненно раскрыл непримиримые противоречия и антагонизмы. Обнаружилось, что равенство несет с собой опасность самой страшной тирании. Обнаружилось, что свобода несколько не гарантирует от экономического рабства. Отвлеченные начала свободы и равенства не создают никакого совершенного общества, не гарантируют прав человека. Между свободой и равенством

существует не гармония, а непримиримый антагонизм. Вся политическая и социальная история XIX века есть драма этого столкновения свободы и равенства. И мечта о гармоническом сочетании свободы и равенства есть неосуществимая рационалистическая утопия. Никогда не может быть замирения между притязаниями личности и притязаниями общества, между волей к свободе и волей к равенству. Отвлеченный либерализм так же бессилён разрешить эту задачу, как и отвлеченный социализм. Это — квадратура круга. В плане позитивном и рациональном задача эта неразрешима. Всегда будет столкновение безудержного стремления к свободе с безудержным стремлением к равенству. Жажда равенства всегда будет самой страшной опасностью для человеческой свободы. Воля к равенству будет восставать против прав человека и против прав Бога. Все вы, позитивисты-либералы и позитивисты-социалисты, очень плохо понимаете всю трагичность этой проблемы. Свобода и равенство несовместимы. Свобода есть прежде всего право на неравенство. Равенство есть прежде всего посягательство на свободу, ограничение свободы. Свобода живого существа, а не математической точки осуществляется в качественном различии, в возвышении, в праве увеличивать объем и ценность своей жизни. Свобода связана с качественным содержанием жизни. Равенство же направлено против всякого качественного различия и качественного содержания жизни, против всякого права на возвышение. Один из самых замечательных и тонких политических мыслителей XIX века, Токвиль³, первый ясно осознал трагический конфликт свободы и равенства и почувал великие опасности, которые несет с собой дух равенства. «Я думаю,— говорит этот благородный мыслитель,— что легче всего установить абсолютное и деспотическое правительство у народа, у которого общественные состояния равны, и полагаю, что если подобное правительство раз было установлено у такого народа, то оно не только притесняло бы людей, но с течением времени отнимало бы у каждого из них многие из главнейших свойств, присущих человеку. Поэтому мне кажется, что деспотизма всего более следует опасаться в демократические времена». Этот благородный ужас перед

нивелировкой, перед европейской китайщиной был и у Д. С. Милля. И его беспокоила судьба человеческой личности в демократическом обществе, одержимом духом равенства. Иллюзии XVIII века, иллюзии Французской революции были разбиты. Свобода расковывает безудержную волю к равенству и таит в себе семя самоотрицания и самоистребления. Либерализм порождает демократию и неудержимо переходит в демократизм. Таково его последовательное развитие. Но демократия истребляет самые основы либерализма, равенство пожирает свободу. Это обнаружилось уже в ходе Французской революции. 1793 год истребил Декларацию прав человека и гражданина 1789 года. Это процесс фатальный. Противоречие между свободой и равенством, между правами личности и правами общества непреодолимо и неразрешимо в порядке естественном и рациональном, оно преодолимо и разрешимо лишь в порядке благодатном, в жизни Церкви. В общении религиозном, в обществе церковном снимается противоположность между личностью и обществом, в нем свобода есть братство, свобода во Христе есть братство во Христе. Духовная соборность разрешает эту квадратуру круга. В ней нет различия между правом и обязанностью, нет противоположения. Но в церковном обществе нет механического равенства, в нем есть лишь братство. И свобода в нем не есть противоположение себя другому, ближнему своему. Религиозное общение основано на любви и благодати, которых не знает ни либерализм, ни демократизм. И потому разрешаются в нем основные антиномии человеческой жизни, жесточайшие ее конфликты.

Внутреннее развитие либерализма ведет к демократическому равенству, которое становится в неизбежное противоречие со свободой. Но и с другой стороны либерализм подвергается опасности разложения и вырождения. В либеральной идее самой по себе нет еще ничего «буржуазного». Нет ничего «буржуазного» в свободе. Я с отвращением употребляю ваши излюбленные слова, пошлые и поверхностные, лишённые всякого онтологического смысла. Я не думаю, чтобы вы знали, что такое «буржуазность», и имели право говорить о ней. Вы ведь сами целиком в ней пребываете. Но нельзя не признать,

что господство отвлеченного либерализма в жизни экономической дало свои отрицательные и злые плоды. Если манчестерство и имело относительное оправдание в известный исторический момент, то в дальнейшем неограниченное господство его лишь компрометировало и разлагало либеральную идею. Ничем не ограниченный экономический индивидуализм, отдающий всю хозяйственную жизнь целиком во власть эгоистической борьбы и конкуренции, не признающей никакого регулирующего принципа, не имеет как будто никакой обязательной связи с духовным ядром либерализма, т. е. с утверждением прав человека. Несостоятельность так называемого экономического либерализма давно уже выяснилась. И вокруг идеи либерализма образовалась атмосфера, насыщенная неприятными ассоциациями. Вообще ведь идеи, и даже не столько идеи, сколько слова, их выражающие, подвержены порче. Человеческие интересы способны исказить и загрязнить и самые высокие слова, связанные с жизнью религиозной. Слово «либерализм» принадлежит к разряду очень порченных слов. Но много ли осталось слов не порченных, во многих ли словах наших осталась еще светящаяся, действенная энергия? Порча либерализма началась со смешения целей и средств, с подмены духовных целей жизни материальными средствами. Свобода человека, права человека есть высокая духовная цель. Всякий политический и экономический строй может быть лишь относительным и временным средством для осуществления этой цели. Когда либерализм видит в свободе человека и неотчуждаемых правах его высокую цель, он утверждает неполную, но несомненную истину. Но когда он начинает временным и относительным политическим и экономическим средствам придавать почти абсолютное значение, когда в исканиях новых форм социальной организации он начинает видеть недопустимое нарушение своей отвлеченной доктрины, он вырождается и разлагается. На этой почве создались очень сложные и запутанные отношения между либерализмом и социализмом, которые нельзя выразить в отвлеченной формуле.

Вы любите противопоставлять либерализм и социализм как два вечно враждующих и несовместимых

начала. Это так же относительно верно, как и все отвлеченные формулы. Идеология либеральная и идеология социалистическая образовались вокруг разных жизненных задач, пафос их имеет разные источники. Воля к свободе породила либеральную идеологию. Идеологию социалистическую породила воля к обеспечению хлеба насущного, к удовлетворению элементарных жизненных потребностей. И если либералами делаются те, у кого элементарные жизненные потребности удовлетворены и обеспечены и кто хочет свободно раскрыть свою жизнь, то социалистами делаются те, кому нужно еще удовлетворение более элементарных жизненных требований. В перспективе индивидуальной социализм элементарнее либерализма. В перспективе же общественной это соотношение обратное. В принципе как будто бы мыслим либеральный социализм и социалистический либерализм. Либерализм не имеет никакой обязательной идейной связи с манчестерством, с экономическим индивидуализмом, эта связь — случайно фактическая. Либерализм вполне совместим с социальным реформаторством, он может допускать все новые и новые средства и методы для обеспечения свободы и прав человека. Либеральная декларация прав носит формальный характер и допускает какое угодно социальное содержание, если оно не посягает на права человека, признанные неотъемлемыми. Известного рода реформаторский социализм даже более совместим с идеальными основами либерализма, чем с крайними формами демократии, не имеющей социального характера. С другой стороны, возможен либеральный социализм. Социализм реформаторского типа может основываться на либеральных принципах, может мыслить социальное реформирование общества в рамках декларации прав человека и гражданина. Либерализм впитывает в себя элементы социализма. Социализм же делается более либеральным, более считается не только с экономическим человеком, но и с человеком, обладающим неотъемлемыми правами на полноту индивидуальной жизни, правами духа, не подлежащими утилитарным ограничениям. Но либеральный, реформаторский социализм не есть, конечно, настоящий социализм. Важнее всего признать, что либерализм и социализм —

относительные и временные начала. Вера либеральная и вера социалистическая — ложная вера.

* * *

Либеральное начало есть одно из начал человеческой жизни, но оно не может быть утверждаемо как начало единственное и безраздельно господствующее. Само по себе взятое, оно оказывается оторванным от онтологической основы. Либерализм должен сочетаться с более глубоким, не внешним консерватизмом, равно как и с социальным реформизмом. Религиозно либерализм есть протестантизм. В либеральной свободе есть доля истины, как есть она и в протестантской религиозной свободе. Но протестантизм отрывается от онтологических основ Церкви, он утверждает начало религиозной свободы отвлеченно, не в полноте религиозной жизни. То же происходит и с либерализмом. Либерализм отрывается от онтологических основ общественности, он утверждает начало политической свободы отвлеченно, не в полноте человеческой жизни. И подобно тому, как религиозная свобода, свобода религиозной совести должна быть возвращена к своим онтологическим основам, к полноте церковной жизни, свобода и права человека должны быть возвращены к своим онтологическим основам, к полноте духовной жизни человека. Философский либерализм имеет уклон к номинализму. Философский либерализм, как отвлеченный тип мысли, склонен отрицать реальные общности и целостности, онтологическую реальность государства, нации, церкви и признавать общество лишь взаимодействием личностей.

Чисто либеральная идеология переносит все в личность как в единственную реальность. Но этим номинализмом подрывается в конце концов и реальность самой личности. Ибо реальность личности предполагает другие реальности. Об этом не раз уже было мною говорено. Рационалистический либерализм отрицает существование онтологической иерархии. Но этим отрицает он и личность как члена иерархии реальностей. Либерализм вырождается в формальное начало, если он не соединяется с началами более глубокими, более он-

тологическими. Индивидуалистический либерализм отрывает индивидуум от всех органических исторических образований. Такого рода индивидуализм опустошает индивидуум, вынимает из него все его сверхиндивидуальное содержание, полученное от истории, от органической принадлежности индивидуума к его роду и родине, к государству и церкви, к человечеству и космосу. Либеральная социология не понимает природы общества. Либеральная философия истории не понимает природы истории.

* * *

Либерализм как целое настроение и мирозерцание антиисторичен, столь же антиисторичен, как и социализм. И с этой стороны ждет его суровый суд. Все более глубокие попытки обоснования либерализма упираются в идею естественного права. Естественное право пытались обосновать идеалистически. Но учение о естественном праве связано с верой в «естественное состояние». Естественное право противопоставляется историческому праву, как естественное состояние противопоставляется историческому состоянию, исторической действительности. Все учения о естественном праве давно уже подвергнуты беспощадной критике. От них не осталось камня на камне. Идеалистическое возрождение естественного права и попытки дать ему нормативное основание с помощью философии Канта не доходят до последней глубины, до онтологических основ. Неотъемлемые и священные права человека не могут быть названы «естественными» его правами, правами «естественного состояния». И напрасно вы идеализируете природу человека, напрасно вы хотите опереться на нее в стремлении к лучшей жизни. «Исторический» человек все же лучше «естественного» человека, и расковывание человека «естественного» порождает лишь зло. «Историческое» состояние выше «естественного» состояния, «историческое» право выше «естественного» права. Неотъемлемые и священные права имеет человек не как «естественное» существо, а как существо духовное, его благодатно возрожденная, усыновлен-

ная Богу природа. А это значит, что глубокого обоснования прав человека следует искать не в «естестве», а в Церкви Христовой. Бесконечное право человеческой души есть не «естественное», а «историческое» право христианского мира. Человеческая душа, открытая христианством, не есть «естественное состояние» человека, ибо в «естественном состоянии» она была глубоко задавлена и закрыта. Человеческая душа раскрылась из глубины в христианскую историческую эпоху, и раскрытие это предварялось лишь в античных мистериях и в платоновской философии. Крупица правды либерализма почерпнута из этого высшего источника. Ваша же философия «естественного состояния» и «естественного права» поверхностна. Более глубока философия «исторического состояния» и «исторического права». Вера в совершенное «естественное состояние» давно уже рухнула, она не выдерживает критики ни сознания научного, ни сознания религиозного. Человек по «естеству» своему не добр и не безгрешен. Все «естество» во зле лежит. В «естественном» порядке, в «естественном» существовании царят вражда и суровая борьба. Порядок «исторический» есть более высокое состояние бытия, чем порядок «естественный». Гуманизм лживо смешал человека «естественного» с человеком духовным, благодатно возрожденным и Богоусыновленным, и в пределе своем привел к отрицанию человека. Вы, люди XX века, должны были бы окончательно освободиться от остатков XVIII века, от навязчивых идей позапрошлого века. Нет никакого «естественного» состояния, нет никакого «естественного» права, нет и быть не может никакой «естественной» гармонии. Уже XIX век должен был вас обратить к «историческому», к глубине исторической действительности. И поскольку либерализм противопоставляет себя «историческому» и обосновывает себя на «естественном», он вырождается в отвлеченной пустоте. «Историческое» — конкретно, «естественное» же есть абстракция. В «историческом», в исторических органических целостностях побеждается грех и зло «естественного» состояния. Выше «исторического» состояния и «исторического» права стоит «духовное» состояние и «духовное» право.

Вера в идеал либерализма уже стала невозможной. Все слишком изменилось и усложнилось с того времени, как была еще свежа эта вера. Слишком ясно, что вера эта была основана на ложном учении о человеческой природе, на нежелании знать ее иррациональные стороны. Мы не очень уже верим в конституции, не можем уже верить в парламентаризм как панацею от всех зол. Можно признавать неизбежность и относительную иногда полезность конституционализма и парламентаризма, но верить в то, что этими путями можно создать совершенное общество, можно излечить от зла и страдания, уже невозможно. Ни у кого такой веры нет. И последние доктринеры либерального конституционализма и парламентаризма производят жалкое впечатление. Парламентаризм на Западе переживает серьезный кризис. Чувствуется исчерпанность всех политических форм. И поскольку либерализм слишком верит в политическую форму, он не стоит на высоте современного сознания. Также не стоит на высоте современного сознания социализм, поскольку он слишком верит в экономическую организацию. Все эти веры — остатки старого рационализма. Рационализм основан был на сужении человеческого опыта, на неведении той иррациональной человеческой природы, которая делает невозможной полную рационализацию общества. Люди нового века не могут уже верить в спасительность политических и социальных форм, они знают всю их относительность. Все политические начала относительны, ни одно из них не может претендовать на исключительное значение, ни одно не может быть единospасающим средством. Вера в конституцию — жалкая вера. Конституции можно устраивать согласно требованиям исторического дня, но верить в них — бессмысленно. Вера должна быть направлена на предметы более достойные. Делать себе кумир из правового государства недостойно. В этом есть какая-то ограниченность. Правовое государство — вещь очень относительная. И если есть в либерализме вечное начало, то искать его следует не в тех или иных политических формах, не в той или иной организации представительства и власти, а в правах человека, в свободах человека. Права и свободы человека безмерно глубже, чем, например, всеобщее

избирательное право, парламентский строй и т. п., в них есть священная основа. Но именно поэтому права и свободы человека требуют более глубокого обоснования, чем то, которое дает им либерализм, обоснования метафизического и религиозного. Частичная правда либерализма — свобода религиозной совести, а основа ее — в Христе и Его Церкви, в свободе Церкви от притязаний «мира», так как лишь в Церкви Христовой раскрывается бесконечная природа человеческого духа. Вне христианства притязания мирского государства и мирского общества по отношению к человеческой личности были бы безграничны. Кровью христианских мучеников завоевана свобода человеческого духа. Об этом следовало бы помнить вам, мнящим себя освободителями. Но вы хотели бы освободить человека от Церкви Христовой, которая есть царство свободы, и этим вы отдаете человека безраздельно во власть природной необходимости.

В наше время редко можно встретить чистого либерала, выразителя отвлеченного либерального начала. Обычно либерализм бывает очень осложнен и сочетается с разными другими началами. В либеральной чистоте и пустоте невозможно удержаться. Или либерализм бывает осложнен началами консервативными, и тогда он более глубок и крепок. Или он бывает осложнен расплывчатыми демократическими, социалистическими и анархическими началами, и тогда он порождает пошлый и рыхлый тип радикала. Вы, радикалы, — самая ненужная в мире порода людей, самая поверхностная, самая промежуточная, живущая на чужой счет, а не на свой собственный. Вы живете чужими, более левыми, революционными идеями, которым бессильны противиться и бессильны отдаться, которым бессильно завидуем. И вы не можете быть для человечества даже тем трагическим уроком, тем поучительным опытом, каким являются настоящие революционеры, социалисты и анархисты. Вы, радикалы-либералы, не имеете тех твердых начал, которые готовы были бы до конца защищать, которые могли бы противопоставить напору слева стихий разрушительных. В этом бессилии чувствуются плоды либерализма, либерализма, не имеющего онтологических основ. Вы никогда не

уверены, есть ли онтологические основы в государстве, в нации, во всех исторических целостях. И вас сносят течения более крайние и решительные, более верующие и фанатические. Вы, либералы-радикалы, — скептики по своему духовному типу и потому не можете двигать историю. Ложной вере должна быть противопоставлена истинная вера, а не безверие и скептицизм. Безверие и скептицизм, раздвоенность, оглядка по сторонам, жизнь на чужой счет, на счет чуждых идей за неимением собственных — роковые свойства радикала. Вот почему либерал-консерватор стоит выше, чем либерал-радикал, он более принципиален, он знает, что противопоставить чужим идеалам. Либерализм, как самодовлекующее отвлеченное начало, отстаивающее свободу личности, легко переходит в анархизм. Анархизм этот бывает очень невинным, очень идеальным, совсем не разрушительным, но и очень бессильным. Таким либералом-анархистом является, например, Спенсер. Таким был В. Гумбольдт. Это выражается в желании довести государство до крайнего минимума и постепенно его совсем упразднить, в непонимании самостоятельной природы государства. В таком либеральном анархизме нет настоящего пафоса и нет действенности, он носит теоретический и кабинетный характер. Но этот анархический уклон внутренне расслабляет либерализм. Все пороки и слабости либерализма связаны с тем, что он весь еще пребывает в формальной свободе ветхого Адама и не знает материальной содержательной свободы нового, духовно возрожденного Адама.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Бердяев Николай Александрович (1874–1948) — философ, публицист, общественный деятель, издатель. Из старого дворянского рода. В 1894 г. поступил в Киевский университет. Учился сначала на естественном факультете, затем на юридическом. В 1898 г. за участие в студенческих беспорядках исключен из университета и выслан на три года в Вологодскую губернию (1900–1902). В 1904–1908 гг. жил в Петербурге, с 1908 г. — в

Москве. В первых литературных работах примыкал к «легальному марксизму», но затем расходится с марксистами. Вступает в партию кадетов, участвует в программных сборниках «Проблемы идеализма» и «Вехи». В начале века знакомится с С. Н. Булгаковым и Л. Шестовым, сближается с Д. Мережковским и входит в его круг, считая себя союзником по созданию «нового религиозного сознания». Становится членом религиозно-философского общества в Москве. После Октября организовал Вольную академию духовной культуры в Москве (1919); преподавал философию в Московском университете. Несколько раз арестовывался. В это время сближается с о. Алексеем Мечовым, становится его духовным чадом. В 1922 г. высылается из России на известном «пароходе философов». Жил сначала в Берлине, а с 1924 г.— во Франции (Кламар, пригород Парижа). Был профессором Русской религиозно-философской академии в Париже. Издавал религиозно-философский журнал «Путь» (1925—1940), а также сотрудничал как редактор с издательством «ИМКА—Пресс». Поддерживал тесные отношения с ведущими философами Запада, оказав на них сильное влияние как персоналист и религиозный экзистенциалист.

Можно ли причислить Н. А. Бердяева к либералам? Несмотря на его членство в партии кадетов, а также развиваемую им на протяжении всей жизни философию свободы, вопрос не прост и не однозначен.

На протяжении долгого философского пути его мысль заносило в весьма отдаленные эмпирии, откуда грешная земля выглядела совсем не похожей на ту, с которой приходилось знакомиться, возвращаясь обратно.

Можно ли назвать либералом мыслителя, обвинявшего широко распространенную либеральную идеологию в том, что она слишком срослась с поверхностным просветительством и в ней утонули проблески более высокой правды? Который прямо признавался, что либерализм так основательно выветрился, так обездушился, что можно еще признавать элементы либерализма, но невозможно уже быть либералом по своей вере, по своему окончательному мировоззрению.

Но это «окончательное мировоззрение», по призна-

нию Бердяева в автобиографическом «Самопознании», — «крайний персонализм». «Я не признаю первой реальности какого-либо коллектива, я фанатик реальности индивидуально личного, неповторимо единичного, а не общего коллективного». Может показаться, что Бердяев — приверженец старого «классического» либерализма и не приемлет «социальный» неолиберализм. Однако в той же автобиографии он недвусмысленно отрицает экономическую свободу.

Так что поздняя самооценка книги «Философия неравенства», откуда взято публикуемое седьмое письмо «О либерализме», как книги несправедливой, не выражающей «по-настоящему мои мысли», вряд ли полностью дезавуирует публикуемый текст. Бердяев остался верен своей любви к свободе, равенство для него осталось метафизически пустой идеей, и потому социальная правда должна быть основана на достоинстве каждой личности, а не на равенстве.

М. А. Абрамов

Соч.: Философия свободы. М., 1911; А. С. Хомяков. М., 1912; Смысл творчества. М., 1916; Новое Средневековье. Берлин, 1924; Я и мир объектов. Париж, 1934; Дух и реальность. Париж, 1937; Опыт эсхатологической метафизики. Париж, 1949; Царство Духа и Царство Кесаря. Париж, 1951; Экзистенциальная диалектика Божественного и человеческого. Париж, 1952; Миросозерцание Достоевского. Париж, 1968; Смысл истории. Париж, 1969; Русская идея. Париж, 1971; Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990; Духи русской революции. М., 1990; Судьба России. М., 1990.

ПРИМЕЧАНИЯ

Печатается по изд.: *Бердяев Н. А. Философия неравенства*. М., 1990. С. 142–157.

¹ *Констан де Ребек Бенжамен Анри* (1767–1830) — французский писатель и публицист.

² *Местр Жозеф Мари де* (1753–1821) — граф, французский публицист, политический деятель.

³ *Токвиль Алексис* (1805–1859) — французский историк, социолог и политический деятель.

С ТОГО БЕРЕГА...

Е. В. Спекторский

ЛИБЕРАЛИЗМ

Слово «либерализм» появилось в начале XIX века в Испании. Во французский академический словарь оно было введено только в 1878 г. Этимологический «либерализм» происходит от *liber*, свободный. И взятое в самом широком смысле, это такое направление мысли и воли, которое признает, ценит и отстаивает свободу. Но понятие свободы очень многозначно. В словаре Литтре у него 24 смысла. А английский ученый Актон насчитал даже 200 смыслов, не только различных, но и противоположных. Он же обратил внимание на то, что если не считать богословных разногласий, ничто не вызывало столько кровопролития, как именно это многообразие значения свободы. И действительно, одни связывают свободу со всеобщим управлением, другие, напротив, с усилением природного неравенства. Одни понимают свободу альтруистически, другие, напротив, эгоистически: «Ты для меня лишь хочешь воли», по словам Жубера¹, свобода — это «тиран, управляемый своими прихотями». Обыкновенно со свободой связывают требования невмешательства, тем не менее в XVIII веке Галиани² определяет ее как право невмешательства в чужие дела. Свободу противопоставляют насилию. Между тем Руссо утверждал, что общество может «принудить» человека быть «свободным». А Марат требовал «деспотизма свободы». Казалось бы, что требование юридической, политической и экономической свободы немыслимо без признания свободы человеческой воли. Между тем нередко случаи, что освободительные социальные учения связываются с философским детерминизмом. Эту непоследовательность отметил у Гельвеция Вольтер: «Он действует как свободный, а говорит как раб».

Для того, чтобы из смыслового хаоса слова «свобода» выделить то именно значение, которое специально свойственно либерализму, следует прежде всего различать три смысла свободы: физический, метафизический и социальный.

О свободе в физическом смысле учили основоположники возникшего в XVII столетии механического понимания природы. Под свободой они понимали отсутствие внешних и искусственных препятствий естественному движению тел. В этом смысле Гоббс учил о воде, свободно движущейся по руслу реки, Спиноза — о свободно падающем камне. Даламбер утверждал даже, что свободно движущееся тело «выбирает направление, по которому оно движется». Выходило, что порядок и равновесие существуют в природе потому, что, как уверял Шиллер, она «основана на свободе». Современная механика учит о степенях свободы.

Но эта физическая свобода косной природы совсем не совпадает с метафизической, буквально, сверхприродною свободою человека. Сущность этой свободы состоит в том, что человек, хотя и входит своим телесным составом в природу, все же не поработается ею. Он может воздействовать и на нее, и на самого себя, и на других людей. И он способен к инициативе и творчеству. Такая свобода может быть своим чередом понята или технически или этически.

Техническая свобода состоит в том, что человек ставит себе ту или иную цель, сообразует с этим свое поведение, такую свободу обладает, например, тот «политический» человек, которым заинтересовался Макиавелли и который вместо «преступления» говорит «предприятие», ибо считает, что целью, а именно захватом и удержанием власти, оправдываются все средства. Такова же свобода того «экономического» человека, который все свое поведение подчиняет одной цели, именно личному обогащению какую бы то ни было ценою. Такова же свобода технического человека, одержимого духом механического строительства, машинизмом, тем, что один немецкий экономист называл *Figur Technicus*.

Этическая свобода состоит в том, что освобожденный от рабства природы человек не остается в положении

разнузданного вольноотпущенника, или «либертина», считающегося только с правилами целесообразности. Его поведение повелительно связывается нравственными регулятивами, т. е. руководящими началами добра, справедливости, благопристойности и т. п. По выражению Бл. Августина, такая свобода является «меньшею» на низших ступенях нравственности, когда человек может грешить, и «большею» на высших ее ступенях, достигаемых святыми, когда человек уже не может грешить, ибо полностью выполняет свой долг.

Социальная свобода состоит в том, что люди в своей личной и публичной жизни независимы от общественного или государственного принуждения. Объем такой свободы очень велик: от стихийного своеволия и самочинного самодурства до закономерного и благочинного пользования собственным правом. У такой свободы два смысла, отрицательный и положительный. Отрицательный ее смысл означает освобождение человека или целой группы людей от той или иной принудительной зависимости. Положительный смысл состоит в предоставлении людям возможности жить по собственному праву, без руководства и контроля. Когда такие требования основываются на индивидуалистическом понимании совместной жизни людей, оптимистическом понимании человеческой природы и формальном понимании свободы, тогда и получается либерализм.

Индивидуалистическое понимание совместной жизни людей состоит в утверждении, что средоточием этой жизни являются не семья, сословие, экономический класс, нация, государство, церковь или иные объединения, а индивид, т. е. отдельный человек. Общество считается состоящим только из отдельных индивидов. Сообразно с этим вопросом об отношении между общим и частным в социальной жизни решается все не в смысле предпочтения общего начала частному, а в смысле предоставления полной свободы всему частному. Всякий сам по себе и всякий сам для себя. Такой индивид, по выражению Бергсона, не открытый человек, а закрытый. Он довлеет самому себе. Он живет личной жизнью. И это считается не недостатком, а достоинством. Все для индивида, ничего без индивида и ничего против индивида.

Последовательный индивидуализм как бы исключает какие бы то ни было общественные связи. Вместо них или гордое одиночество самодовлеющих личностей, или ожесточенная борьба всех против всех или, в лучшем случае, что-то напоминающее кучу песка. Но либерализм обыкновенно так далеко не идет. Напротив, он видит именно в индивидуализме самую прочную и наилучшую связь, «взаимодействие через свободу», как однажды выразился Фихте. Происходит это потому, что либерализм обыкновенно связывает индивидуалистическое понимание общества с оптимистическим пониманием человеческой природы.

Сущность этой природы можно понимать двояко: или пессимистически или оптимистически. В первом случае человек, взятый сам по себе, считается «далеко не прекраснейшей системой», как выразился Платон, или, согласно христианскому воззрению, «поврежденным», т. е. лишенным гармонии существом. Предоставленный самому себе, такой человек являет жалкое зрелище или хаоса противостоящих друг другу стихий, или же торжества низов над верхами. Чтобы человек действительно стал настоящим человеком, свободную игру природных стихий должно заменить внутреннее руководство. В человеке духовное начало должно господствовать над душевным и телесным. Физика и психика должны служить метафизике. Сознание и совесть должны руководить чувствами и вожделениями и в свою очередь руководствоваться идеей долга. Отсутствие такой внутренней, автономной, т. е. самозаконной дисциплины должно возмещаться дисциплиной внешнею, гетерономной, т. е. инозаконной. Тогда педагогика должна быть авторитетной. Она строится на убеждении, что из ребенка, предоставленного самому себе и лишенного специального воспитания и обучения, вырастает невежественный и самолюбивый дикарь, не умеющий и не желающий справляться с самим собой и быть если не полезным, то хоть сносным членом общества. Тогда правовой, государственный и хозяйственный строй должны основываться на таких началах, которые во имя общего блага или, по крайней мере, безопасности обуздывают противообщественные поползновения и с помощью праведной силы предупреждают или карают злодейское насилие.

Между тем, согласно оптимистическому взгляду, всякий человек по существу всегда добр. Предоставленный самому себе, он непогрешим. Все его намерения и даже инстинкты благодетельны не только для него самого, но и для других, ибо уже в них заложены начала симпатии и общительности. Если же он вредит самому себе и другим, то только потому, что его испортили, воздействуя на него извне. Какие бы то ни было ограничения его свободы не только не достигают цели, но и приносят только вред. Они противоестественны. Они только подавляют добрые стороны человеческого характера. Посему вместо того, чтобы требовать самоограничения и самообуздания во имя долга, этика должна быть, по выражению Гюйо, «моралью без обязанностей и санкций». Вместо принуждения к усвоению горького корня учения, педагогика должна предоставить детям полную свободу вести себя так, как они хотят, и учиться только тогда, когда они сами пожелают, ибо у них от самой природы есть влечение к сладким плодам просвещения и сами собой развиваются превосходные свойства человеческой природы. Подобным же образом в правовой, политической и хозяйственной жизни следует предоставить каждому человеку возможность делать все то, что он хочет. И тогда все само собою наилучшим образом образуется.

Не все либералы убеждены, что альтруизм составляет сущность человеческой природы. Но и те из них, которые утверждают, что этой природе, напротив, свойствен эгоизм, все же продолжают оставаться оптимистами — они оправдывают и эгоизм. При этом они обыкновенно приводят два довода. Или, как английские утилитаристы, они утверждают, что если каждый человек заботится о себе, то получается если не всеобщее благополучие, то наибольшее благополучие наибольшего количества людей. Ибо, как французский экономист Бастиа, они утверждают, что, заботясь только о собственной выгоде, человек, особенно хозяйствующий, сам того не замечая, содействует и общему благополучию.

С оптимизмом либералы связывают формальное понимание свободы. Это значит, что свободного человека не следует связывать ни внутренними нормами, ни

внешними императивами. Ему не предъявляют определенных требований: делай именно то-то и не делай именно того-то. Ему говорят неопределенно: самоопределяйся, т. е. сам определяй и границы твоих претензий и меру своих обязанностей, если ты опять-таки сам считаешь, что у тебя есть какие-то обязанности. Единственная граница, которую в отличие от либертинажа либерализм полагает формальной свободе индивида, состоит в том, чтобы ею не нарушалась формальная же свобода других индивидов.

Либерализм исповедовался и проповедовался в XVIII веке как протест против политического и хозяйственного закрепощения личности в так называемом полицейском государстве. Такое государство называлось также абсолютным, буквально, освобожденным. Это, однако, отнюдь не значило, чтобы абсолютная свобода относилась к населению государства. Оно, напротив, принципиально считалось абсолютно подчиненным. Полная же свобода относилась только к публичной власти с монархом во главе. Однако его самодержавие не отождествлялось с самодурством. И свобода власти при несвободе населения понималась не формально, а материально. Власти ставилась совершенно определенная цель. Эта цель разумелась как забота не только о внешней и внутренней безопасности государства и его жителей, но также и об их благосостоянии и даже совершенствовании. Верили, что в этом отношении власть может творить чудеса. И эту веру разделяли даже такие скептики, как Вольтер. Духом полицеизма в хозяйственной области была проникнута так называемая меркантильная политика, чрезвычайно стеснявшая частную предприимчивость во имя общего блага и во многих отношениях предворявшая современное увлечение «управляемым хозяйством».

И вот такое понимание в XVIII веке стал подрывать либерализм. Абсолютизму публичной власти был противопоставлен абсолютизм самоопределяющейся личности; являлось учение о том, что всякий человек уже только потому, что он человек, получает от самой природы неотъемлемое право на свободу. Единственным оправданием и призыванием публичной власти может быть только обеспечение личной безопасности граждан.

Что же касается их благосостояния, то оно лучшим образом достигнется их собственными усилиями, по-сему власть должна совершенно устраниться от этой заботы. Некоторые либералы, не боясь наступления анархии, мечтали даже о полной безгосударственности. Философ Фихте, прежде чем стать пламенным проповедником немецкой государственности, одно время утверждал, что «цель всех правительств — сделать правительство излишним».

Французская революция, как и всякая вообще революция, была насилием, исключавшим какой бы то ни было либерализм. Но ее вдохновители и руководители заявляли, что насилие — это только средство и что настоящая цель революции — это водворение именно либерализма. Его скрижалю и символом веры стало провозглашение в 1789 г. «Декларации прав человека и гражданина». Сложный вопрос об отношении между личностью, обществом и государством Декларация упрощает таким образом, что заботится только о личности и ее субъективных правах. Права личности объявляются священными. О ее обязанности не говорится ни слова. Не упоминается и государство как таковое. Совместная жизнь людей создает только общество, и притом понятое не реалистически как самостоятельное единство, а номеналистически как совокупность, или «ассоциация» свободных и формально одинаковых индивидов. В этой ассоциации принципиально отвергаются какие бы то ни было иерархические или качественные различия. Посему задача общества чисто формальная, не творческая, а консервативная. Сохранение природных и неотчужденных прав человека. Все остальное предоставляется инициативе и личному усмотрению отдельных индивидов.

Программа Декларации в значительной степени была осуществлена. Революция существенно видоизменила строение французского общества. Личность была раскрепощена. И как выразился Ройе-Коллар³, на ногах остались только индивиды. Вертикальная структура заменилась горизонтальной. Вместо иерархической лестницы сословий или корпораций с неодинаковыми обязанностями и правами — «народ», состоящий из формально равных индивидов с одинаковыми правами и

единственной обязанностью — уважать одинаковые права других индивидов. Начиная с Франции в пореволюционной Европе такое общественное строение стало отчасти действительностью, отчасти же — идеалом, за который боролись и который стремились во что бы то ни стало осуществить поколения, считавшие себя передовыми. Так началось царство либерализма.

Классическим его выражением в области права был наполеоновский Гражданский кодекс, изданный в 1804 г. и с некоторыми изменениями донныне действующий во Франции. Главное начало этого кодекса — это свобода личности, частной собственности и договора.

Основую гражданской жизни провозглашается индивид. Он не получается путем вычитания из семейного или хозяйственного объединения. Совсем напротив, всякие объединения получаются путем сложения индивидов. Личность свободна и равноправна. Посему ей предоставляется широкое самоопределение при одном условии — не стеснять самоопределения. От нее не требуется, чтобы она заботилась о других личностях. Но в свою очередь и она не имеет права требовать, чтобы другие личности, или общество, или государство заботились о ней. Всякий для себя. Всякий — кузнец своего счастья. Но вместе с тем и всякий — единственный виновник своего несчастья.

Сообразно с этим понимается и частная собственность. Это возможно более неограниченное и бесконтрольное господство лица над принадлежащими ему вещами, не стесняемое ни горизонтальными социальными зависимостями, ни вертикальными государственными повинностями. У кого есть собственность, тот имеет право требовать, чтобы никто не нарушал этого его права и не вмешивался в его осуществление, т. е. в то, как он владеет, пользуется и распоряжается своими вещами. У кого же собственности нет, тот должен пенять только на себя самого.

Наконец, главной основой взаимных отношений между людьми провозглашается свободный договор. Ни отдельные лица, ни общество, ни государство не могут принудить личность выйти из состояния замкнутости. Это дело его доброй воли. Нет обязанностей без предварительных обязательств. Обязательства же устанавли-

ваются договором, т. е. согласием двух или более волей, создающих из ничего правоотношения между личностями. Так устанавливается гражданский оборот. Так заключаются даже браки и возникает семья. Все здесь решает личность. Она свободна. Но раз она сама себя связала договором, она обязана его выполнять, хотя бы это принесло ей ущерб. *Volenti non fit injuria* (желающему не причиняется неправда) и *pacta sunt servanda* (договоры должны соблюдаться).

Во всех этих правоположениях последовательно проводится дух юридического либерализма. Он притязает на соответствие требованиям справедливости. Но это не та дистрибутивная, т. е. распределительная справедливость, которая воздает по заслугам и поддерживает слабых. Это так называемая коммутативная, т. е. меновая справедливость, принципы которой: «*do ut des*» («я даю, чтобы и ты дал») и «*vigilantibus jura sunt scripta*» («права написаны для бдительных»). Это ставка на сильных. Это та жесткая и холодная справедливость, во имя которой французский министр Гизо давал немущим совет «обогащайтесь», а английские либералы Милль и Спенсер принципиально отвергали благотворительность.

Плодом либерализма в государственной жизни, после того как удалось ликвидировать «полицеизм», стала политическая демократия. В отличие от социальной демократии, стремящейся к обобществлению производства, распределения и потребления хозяйственных благ, такая демократия ограничивается обобществлением только публичной власти. Это значит, что управляемое государство заменяется самоуправляющимся обществом или, как выразился Карлейль⁴, самоуправление толпы через толпу. Вместо авторитарной, начальственной, иерархической организации — политический коллектив, состоящий из индивидов, обладающих одинаковою формальною свободою. Вопрос о воле такого коллектива решается арифметически или, как выразился Шарль Бенуа, молекулярно. Общая воля — это воля всех или, в случае разногласия, воля большинства, конечно, такая воля может подавить, или подвергнуть так называемой майоризации и волю отдельных индивидов, посему иные либералы не доверяют демо-

кратии и даже опасаются ее. Ратенау⁵ предпочитал ей «акратию», т. е. отсутствие какого бы то ни было господства. Но оптимисты полагают, что свободе не страшна демократия, ибо она обеспечивает всякой личности возможность, вербуя себе союзников, влиять на общую волю. Если же при этом получается партийность, то и это приветствуется как проявление самоопределения и соревнования.

Типичным выражением либерализма в хозяйственной жизни является так называемая классическая политическая экономия. Ее герой — Номо аеonomicus, хозяйствующий индивид, озабоченный личным обогащением. В свободном соревновании с другими индивидами, не поддерживаемый, но также и не стесняемый ни общественным, ни государственным вмешательством, он создает не только свое собственное благосостояние, но, как оптимистически уверяли классические экономисты, особенно автор «Экономических гармоний» Бастиа⁶, также и общее благосостояние. Юридический либерализм дает экономическому человеку необходимые правовые условия. Политическая демократия дает ему возможность воздействовать на общую, т. е. государственную волю. Если последствием хозяйственного соревнования, так же как и правового или политического, является то, что, оставаясь формально одинаковыми, одни поднимаются по общественной лестнице, а другие спускаются или даже падают на дно, то это не смущает либералов: формальная возможность занять высшее положение всегда имеется для всякого, а кто не умеет пользоваться своею свободой или злоупотребляет ею, тому приходится нести все последствия естественного отбора, происходящего в обществе так же, как и в природе. Французский экономист Дюнуайе⁷ оправдывал нищету как ад, куда по заслугам попадают лица, не сумевшие хорошо распорядиться своею свободой.

В течение долгого времени принципы либерализма и юридического, и политического, и экономического считались идеалом, к которому надо было стремиться и за который надо было бороться. Философы освящали эти принципы метафизическим авторитетом. Романтики облекли их поэтическим ореолом и сблизили поэзию

свободы с прозою либерализма: Виктор Гюго объявил, что «романтика — это либерализм в литературе».

Для ряда положений либерализм стал символом социальной веры. В 1860 г. маловерный Ренан уверял, что у Франции в действительности есть религия, а именно «либерализм»; Бенедетто Кроче⁸ сводит всю историю XIX века к либерализму. Донныне имеются убежденные либералы, которые на все делаемые им упреки в отсталости возражают, что не может устареть то, что вечно. Однако одновременно с либерализмом появились и враждебные ему учения. Против него были выдвинуты социальные теории общества и социально-политическая теория государства.

В самом начале XIX века в виде реакции против революционной программы появилось учение о том, что не отдельный человек предшествует обществу, а напротив, общество и хронологически, и принципиально предшествует ему. Бональд⁹ утверждал, что общество делает человека. Главным деятелем совместной жизни людей стало считаться национальное, хозяйственное или иное общественное целое. Задуманная Огюстом Контот новая наука, именно социология, принципиально или подчиняет личность социократии, т. е. господству общественности, или совсем растворяет личность в общественной стихии: Конт уверял, что реально существует только человечество как целое, Маркс объявил, что личность ничто, а хозяйственный класс — все. Единственный человек — это, как уверял Пьер Леру¹⁰, Химера. Если человек вообще признается, то только как *Homo socius*, общественный человек, получающий от социального целого свое бытие и несущий служебную функцию по отношению к этому целому. Общество фактически детерминирует, т. е. определяет жизнь человека. Оно же принципиально требует от него службы себе. Либерализму пришлось защищаться от натиска общественности. Этот натиск стал особенно воинственным, когда начали распространяться социалистические идеи, требовавшие обобществления хозяйства. После революции 1848 г. положение либерализма стало еще труднее, ибо ему пришлось защищаться и от натиска государственности, того, что французы называют этатизмом. Усомнились в том, что, как уверял Ба-

стия, свобода, подобно копью Ахиллеса, сама излечивает наносимые ею раны. Стали распространяться убеждения, что публичная власть не может оставаться только безучастною зрительницей конкуренции между индивидами и борьбы классов или даже, как стали уверять иные социологи, быть только созданием этой борьбы. Она, как выразился Лассаль, признана к более значительной задаче, чем положение роли ночного сторожа, охраняющего сон обывателей. Она должна быть активна. Одни стали требовать от нее социальной политики, т. е. вмешательства в соревнование как индивидов, так и общественных групп с тем, чтобы смягчить их борьбу и поддержать слабых. Другие шли еще дальше и провозгласили государственный социализм, т. е. огосударствление разных сторон жизни, особенно хозяйства.

Когда во время великой войны был поставлен вопрос о ее целях, то в числе других была выдвинута и программа либерализма. Много говорилось о самоопределении как отдельных личностей, так и целых народов. Масарик¹¹ объяснял, что идет борьба между демократией и теократией, т. е. боговластием, Вильсон¹² утверждал, что идет борьба между демократией и автократией, т. е. самовластием. Однако к этому присоединились и другие мотивы: исторические права и политические интересы государств, подчинение и личности, и государства социальному принципу и т. п. В конце концов восторжествовали иные начала, чем либерализм. И вновь образованные демократические государства не были построены из чистого металла свободы. Далеко не либеральным духом проникнут итальянский фашизм с его приматом государства: «все для государства, ничего без государства и в особенности ничего против государства». Не либерален и режим национального социализма в Германии, строящийся на государствене вождя и дружины (*Führer und Getolgschaft*). Обособлению индивидов все чаще и чаще противопоставляют корпоративную и национальную интеграцию, т. е. в отличие от дифференциации, не расчленение и разъединение, а собирание и объединение. Пафос личной свободы бледнеет перед пафосом дисциплины. И религия либерализма отступает перед религией национализ-

ма, который видный еврейский деятель Зангвиль¹³ признал даже «может быть, единственной будущей религией». При этом национальность понимается не в смысле французской либеральной «избирательной» теории как «ежедневный плебисцит», согласно формуле Рена на *nationalite elective*, а как стихия, которая властно подчиняет себе и увлекает всякую личность. Динамика социального движения втягивает личность, стандартизирует ее, как говорят в Америке, т. е. отнимает у нее всякое своеобразие и независимость. Торжествует принудительное единообразие (*Gleichschaltung* Гитлера). Идея «планового» или «руководимого» вообще связанного хозяйства сейчас гораздо более популярна, чем идея свободного хозяйства. Наконец, когда Третьему Интернационалу удалось захватить власть над Россией, то в одной шестой части земного шара были с необычайной жестокостью искоренены всякие следы либерализма.

Так наступили сумерки либерализма. Проповедник неолиберализма фон Визе¹⁴ заметил, что современная молодежь связывает с понятием «либерализм» запах халата и туфель, отсталости и узости. Один молодой англичанин, питомец Оксфорда и член парламента откровенно признался знаменитому американскому профессору: «Мне надоело слушать, как вы говорите о свободе». По словам Муссолини, «мир устал от свободы».

Такова в самых общих чертах история величия и упадка либерализма. Как отнестись к нему принципиально? Поскольку идет речь только о метафизической, технической и этической свободе человека, постольку и можно, и должно, даже и не будучи либералом, признавать и отстаивать ее, памятуя слова Апостола Павла: «К свободе призваны вы, братия» [Гал. V, 13]. Отказ от такой свободы ведет к провозглашению человека существом, неспособным ни к творчеству, ни к ответственности, рабом естества и внешней среды. Поскольку речь идет о социальной свободе, и притом не в смысле разнузданного своеволия и самодурства, а в смысле одинаковой для всех индивидов правовой, политической и хозяйственной независимости, т. е. о либерализме в собственном смысле, то к нему примене-

ны слова Лейбница о том, что все системы истинны в том, что утверждают, и ложны в том, что отрицают. Истина либерализма состоит, во-первых, в том, что нельзя от среднего человека требовать самозабвения и жертвенности, во-вторых, в том, что всякому человеку на известном уровне культуры независимость так же необходима, как рыбе вода и птице воздух, наконец, в-третьих, в том, что без инициативы отдельных личностей слишком оскудевает общественная жизнь. Духовная, социальная и материальная несостоятельность сделанного большевиками эксперимента над Россией является серьезным предостережением против увлечения идеями абсолютно несвободного общества.

Ошибка либерализма состоит в том, что сложный вопрос об отношении между личностью, обществом и государством слишком упрощается и односторонне решается только в пользу личности. Это неправильно и принципиально, и фактически.

Принципиально индивидуальная свобода является хотя и существенным, но далеко не единственным составным элементом нормального законченного человеческого общежития. Выдающийся государствовед Б. Н. Чичерин (которого не следует смешивать с более известным публике его племянником, бывшим «наркоминделом») насчитывал четыре таких элемента: свобода, власть, закон и общая цель. Довольствуясь вопреки мудрому замечанию Гегеля «истина это целое» только частью вместо целого, либерализм принципиально недостаточен. Человек, живущий в обществе и государстве, не может быть частным человеком. Он должен быть и социальным, и публичным человеком, общественником и государственным.

Если сопоставить либерализм с фактами, то окажется, что это не более как теория, во многих отношениях существенно расходящаяся с действительностью. И правовая, и политическая, и хозяйственная жизнь гораздо сложнее, чем это утверждают либералы.

Совершенно изолированный человек гражданского либерализма, собственно говоря, нигде не существует, все люди всегда тесно связаны всевозможными узами — семейными, хозяйственными, национальными, государственными и другими. Частная собственность всегда

ограничивается и в пользу общества, и в пользу государства. Вместо свободного и индивидуального соглашения мы видим очень часто принудительный и коллективный договор.

Теория политического либерализма противоречит сделанному новейшими социологами открытию, что во всех государствах, не исключая демократии, действует, как выразился Михельс¹⁵ «железный закон олигархии», в силу которого всегда образуется правящий политический класс, господствующий над мнимо свободными индивидами. Формальная демократия — это не более как попустительство по отношению к такому господству или к ниспровержению господства одной группы, потерявшей умение и охоту власть употребить над другой группой, не стесняющейся в средствах. В этом смысл так называемой коммунистической опасности, угрожающей всем современным, и особенно демократическим государствам. Этот смысл вовсе не состоит в том, что естественная эволюция хозяйства ведет к его обобществлению, а в том, что всюду имеются «ячейки» ждущих момента, чтобы, выражаясь словами Троцкого, «нанести кулаком удар политику», захватить власть и удержать ее с помощью того мощного принудительного аппарата, которым располагает современное государство.

Теория экономического либерализма не считается с неравномерною хозяйственною мощью отдельных людей. Благодаря этому полная свобода для сильных является возможностью эксплуатации слабых, а для слабых, как выражались французские социалисты, свободою умереть с голоду. Пока отношения между капиталом и трудом были совершенно свободны от государственного вмешательства, не было ни охраны женского и детского труда, ни социального обеспечения, ни ограничения рабочего времени. Фактически получались хозяйственный абсолютизм и диктатура на одной стороне и беззащитное бесправие на другой, возмещающееся стачками, саботажами, ненавистью. Популярность марксизма в значительной степени объясняется успехом критики тех тяжелых последствий, к которым в действительности вела либеральная экономика, не смягченная социальными соображениями. Мрачный драматизм, и даже тра-

гизм действительности — важнейшее противоречие идиллической маниловщины теории.

С точки зрения этики против последовательного либерализма возражают, что он к добру и злу постыдно равнодушен и ведет к индивидуальному и социальному попустительству. Свобода понимается как право, а не обязанность. Она не стесняется ни нравственными нормами, ни государственными императивами. Либералы обращаются и к личности, и к коллективу с молитвою Господней «да будет воля Твоя». Вопрос же о содержании и направлении этой воли считается не подлежащим оценке, ибо свобода, так таковая, представляет непреложную ценность и этим оправдывает всякое ее проявление.

Следует ли и из этих недостатков либерализма сделать вывод, что он вообще несостоятелен и что нынешняя его непопулярность предрешает его фактическое уничтожение? Отнюдь нет. В общественной и особенно политической жизни нет ни абсолютного добра, ни абсолютного зла. Кто смотрит на нее реально, а не утопически, тому чаще приходится иметь дело с необходимым злом или меньшим злом, чем с беспримесным злом принуждения и особенно насилия. Общество без всякой свободы — это коммунистический муравейник. Мудрость требует не искоренения свободы, а ее уравнивания с другими началами. Анархия, к которой неизбежно ведет крайность свободы, так же невыносима, как и рабство, к которому ведет крайнее подчинение.

Те же, которые торопятся похоронить навсегда принцип свободы, забывают, что исторический процесс — это смена акций и реакций. Сейчас, несомненно, идет более или менее бурная акция против либерализма. Но есть веские основания предвидеть, что рано или поздно наступит реакция и тогда личность опять станет отстаивать свою независимость.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Спекторский Евгений Васильевич (1875–1951) — специалист по истории и теории социальных наук, философии религии и истории русской культуры.

Родился в г. Остроге Волынской губернии в семье мирового судьи. После окончания в 1893 г. с золотой медалью гимназии учился в Варшавском университете у А. Л. Блока, отца знаменитого поэта. В 1901 г. сдал магистерский экзамен. С 1910 г. — профессор Киевского университета. Защитил степень доктора права в Московском университете в 1917 г. В 1920 г. эмигрировал. В 20–30-х гг. работал в Белграде и Любляне. После второй мировой войны уехал в США, где и скончался в 1951 г. Автор свыше полутора ста трудов.

Написал прекрасное, по отзыву историка русской философии В. Зеньковского, исследование по истории философии XVIII в. («О социальной физике»). Ему также принадлежат ценные философские этюды «Этика и антропология» и др.

А. В. Соболев

Соч.: Органическая теория общества. Варшава, 1904; Очерки по философии общественных наук. Варшава, 1907; Физицизм в общественной философии XVII в. Ярославль, 1909; Белинский и западничество. Варшава, 1912; К спору о философии права. М., 1914; Происхождение протестантского рационализма. Варшава, 1914; Номинализм и реализм в общественных науках. М., 1915; Что такое конституция? М., 1917; Проблема социальной физики в XVII веке. Т. 1, 2. Варшава, 1917; Христианство и культура. 1925; Государство и жизнь. 1931.

ПРИМЕЧАНИЯ

Статья «Либерализм» печатается по изд.: *Спекторский Е. В. Либерализм. Любляна, 1935.*

¹ *Жубер Жозеф* (1754–1824) — французский моралист и эссеист.

² *Галиани Фернандо* (1728–1787) — аббат, итальянский экономист.

³ *Ройе-Коллар П. П.* (1763–1845) — французский политический деятель и философ.

⁴ *Карлейль Томас* (1795–1881) — шотландский писатель, историк, философ.

⁵ *Ратенау Вальтер* (1867–1922) — немецкий промышленник и политический деятель.

⁶ *Бастиа Фредерик* (1801–1850) — французский экономист-рыночник.

⁷ *Дюнуайе Бартелем Пьер Иосиф Шарль* (1786–1862) — экономист либеральной ориентации, политический деятель.

⁸ *Кроче Бенедетто* (1866–1952) — итальянский философ, историк, литературовед и политический деятель. Либерал.

⁹ *Бональд Луи Габриель Амбруаз* (1754–1840) — французский политический деятель, публицист, философ-традиционалист.

¹⁰ *Леру Пьер* (1797–1871) — французский журналист, один из основателей христианского социализма (ввел самый термин «социализм»).

¹¹ *Масарик Томаш* (1850–1937) — президент Чехословакии в 1918–1935 гг.

¹² *Вильсон Томас Вудро* (1856–1924) — 28-й президент США (1913–1921) от демократической партии.

¹³ *Зангвиль Израэль* (1864–1926) — английский романист. Основатель так называемого территориализма (Еврейская территориальная организация).

¹⁴ *Визе Леопольд фон* (1876–1969) — немецкий социолог. В 1933–1945 гг. работал в США.

¹⁵ *Михельс Роберт* (1876–1936) — немецкий историк, экономист, социолог. С 1926 г. принял итальянское гражданство.

Ф. А. Степун

О СВОБОДЕ

(Демократия, диктатура и «Новый Град»)

I. Новый человек «Нового Града»

Замысел «Нового Града» не есть замысел только политический. Он не есть даже замысел в первую очередь политический. Его современность и его своевременность в том прежде всего и заключаются, что политическая сфера мыслится в нем как сфера применения сверхполитических убеждений и положений. Ни малейшего ущерба политической страстности и ни малейшего отказа от политического реализма такое построение политики сверху в себе не несет. Только слепые могут не видеть, что после войны реальную политику Европы творят не «политические реалисты», не профессиональные дипломаты старого типа, а совершенно новые люди: фантасты, пророки, мечтатели, изуверы и всякие иные провозвестники еще очевидных невозможностей. Реалисты же и профессионалы лишь отбиваются от этих реальных творцов; отбиваются не без труда и лишь в меру того, как сами убеждаются в наличии ими же осмеянных сверхполитических корней своего трезвого политического минимализма. Так, несколько лет тому назад еще парадоксальное положение о христианских основах современной демократии становится уже общим местом всех наиболее чутких к изживаемому нами политическому кризису недемократических течений. Все это было уже не раз сказано, но все это нелишне постоянно повторять.

Замысел о «Новом Граде» есть прежде всего — запомним это твердо — замысел о новом человеке в его

обращенности к государственной, политической, общественной и социальной жизни, т. е. в его отношении к ближнему, к соплеменнику, к земляку, к сотруднику, к сотоварищу, ко всякому соучастнику в общем деле, но также, конечно, и к противнику, к «врагу и супостату», без которых общественной и государственной жизни мы пока еще мыслить не можем, не впадая в наивный идиллизм и преступное прекрасодушие. Но если так, то за основной вопрос всего новоградского движения должен быть признан вопрос о новом человеке, о том человеке, от которого мы ждем устройства человеческой жизни на земле. Прежде всего сговоримся о главном.

Новоградское понятие нового человека есть понятие христианское. Новый человек — это человек, которому Бог, по слову пророка, даровал новое сердце и которого исполнил новым духом. Проповедь нового человека означает тем самым проповедь вечно во Христе обновляемого человека. Новоградское движение питается главным образом ощущением, что мир зашел ныне в такой тупик ветхости и злобы, что вне такого обновления ему уже не спастись. Поскольку новоградство основывает все свои упования на утверждении вечного человека, оно есть мирозерцание и мироощущение консервативное. Поскольку оно утверждает, что в мире общественных и государственных отношений этот вечный, т. е. новый человек еще никогда не властвовал, оно есть мирозерцание и мироощущение радикально-революционное. Одного в «Новом Граде» совсем нет: в нем нет ни грана реакционности. Новоградство есть миролюбивая устремленность к мировой революции во имя вечного человека.

II. Трехединая реальность истины, свободы и личности как основная идея новоградской общественности

Для того, чтобы установить свое отношение к двум борющимся в мире силам — к демократии и к диктатуре, — сформулируем кратко наше новоградское понимание сущности правильных отношений между отдельными людьми в обществе и государстве. Проще и короче

всего можно выразить эту сущность в форме требования, чтобы всякий общественный строй был одновременно персоналистичен и соборен. Формула эта требует пояснения. Поясняется она лучше всего противопоставлением начала персонализма началу индивидуализма и начала соборности началу коллективизма. Так ли, однако, ясны сами по себе эти четыре термина, чтобы строить на них объяснение сущности правильных общественно-политических отношений? Думаю, что совсем не ясны и потому поясняю. Персонализм утверждает личность человека, индивидуализм — всего только его индивидуальность. Слова «всего только» выражают мысль, что личность больше индивида. Эта мысль не произвольна, ее верность глубоко укоренена в самом языке. Слова лицо, личность применимы к людям и к Богу. О быке, о жеребце или о дубе нельзя сказать — «какие замечательные личности». Животные и деревья не личности, они всего только замечательные экземпляры своей породы, замечательные индивиды, особи. Вот это главное: всякое только индивидуальное бытие может быть в себе замкнутою особью, неким обособленным «о себе бытием». Личность же самозамкнутости не переносит. Личность есть индивидуальность, раскрытая в другую индивидуальность. Личность есть «я», начинающееся с «ты», с обращения к Богу или к человеку, вернее к Богу и к человеку вместе, так как одно без другого невозможно. Слышащийся ныне каждому современному уху в слове «индивидуализм» укор в сущности ничего больше не означает, как протест против замыкания человеческой индивидуальности в себе самой, то есть — и это *то есть* очень важно — против ее обезличения.

Этим разграничением между личностью и индивидуальностью разграничиваются и оба других понятия, понятие соборности и понятие коллективности. О соборности, или, если не употреблять этого церковного термина, о подлинной общинности можно говорить лишь там, где общество состоит из личностей; там же, где оно состоит не из личностей, а из индивидуумов, допустима, строго говоря, лишь речь о коллективе.

Все эти разграничения не имели бы никакого практически-политического значения, если бы они не были

теснейшим образом связаны с тою верховною реальностью всякой социально-политической жизни, под знаком которой идет сейчас кровавая борьба в мире, и защита которой является верховною задачей новоградского человека. Имя этой реальности — свобода. Если не бояться образов не очень высокого вкуса, то по нынешнему положению вещей было бы, пожалуй, и уместно поступить с именем свободы так же, как Гейне предлагал поступить с именем любимой женщины: вырубить самую высокую сосну в лесу, окунуть ее в кратер Этны и огнем по черному небу написать — свобода, свобода, свобода! Но что такое свобода? Ощущение стоящей за этим словом духовной реальности в такой потрясающей мере утрачено современным человеком, что необходимо, не оглядываясь ни влево на демократию, ни вправо на диктатуру, совершенно заново сговариваться о ее подлинной природе.

Чтобы постичь духовную природу свободы, необходимо предварительно выяснить себе, чем человек, в смысле вечно меняющейся полноты своего духовного достоинства, отличается от себя самого, в смысле стоящего за этой полнотой, неизменного субъекта; чем все то, что у человека есть, отличается от него самого, от его собственного бытия. Разница очень велика — можно сказать, абсолютна. Все, что я имею, я могу иметь общим с другими людьми, причем в двойном смысле этого слова: как в смысле общего владения всякою собственностью, так и в смысле общности тех начал, которые владеют мною и другими. Возможна власть над целым рядом лиц не только общих идей и мыслей, но также общих чувств и даже судеб. Одного только человек не может иметь общим с кем бы то ни было: своего бытия, своего сущего я. Полнота я, полнота человеческой личности ни в одном своем моменте не отделима от своей целостности и не делима на части. Она единственна и неповторима. Мысль об удвоении ее ведет к химере двойничества, мысль о ее разделении — к шизофрении, к душевному заболеванию. И то и другое не уничтожает индивидуальности человека. И галлюцинант и шизофреник могут и быть и казаться весьма интересными индивидами, но они не могут быть личностями, ибо как удвоение личности, так и раздво-

ение ее нарушают ту единственность целостной личности, вне которых она невозможна.

Первое, что при таком подходе к вопросу нужно сказать о свободе, это то, что она есть жизнь и дыхание той моей целостно-единственной личности, которую я не могу иметь одинаково и в этом смысле общею с кем бы то ни было. Требование, чтобы государственный строй был строем свободы, означает, таким образом, требование безоговорочного признания абсолютного значения всякой человеческой личности, из чего с очевидностью вытекает, что в принципе допустимо лишь огосударствление того, чем человек владеет, но не того, что он есть.

Эти мысли не новы, они лишь философски повторяют весьма старое христианское обоснование персоналистического либерализма. Даже у Локка, естественное право которого еще связано с христианской традицией, мы встречаем ярко выраженную мысль, что личность человека принадлежит Богу и потому должна быть в государстве сберегаема, как неприкосновенное «Божье имущество». Из этого положения следует, что всякое государственное насилие над бытием человека, над его лежащею под всем его земным и духовным достоянием личностью есть кража со взломом, злостное вторжение не только в человеческое, но и в Божие хозяйство — метафизическая уголовщина.

На эту, для всякого социально-политического и государственного построения весьма существенную связь свободы с глубинною личностью человека, с его сущностным я, очень показательно обратил внимание один из последних советских эмигрантов, когда на вопрос о его политической программе ответил, что в конце концов она сводится к одному пункту, к требованию «права на молчание».

Помимо своего внешнего смысла, который в первую очередь, конечно, и хотел подчеркнуть замученный советский человек: «молчит — значит, контра, диверсант, троцкист», это требование таит и другую, более глубокую мысль. История мистики полна свидетельств о том, что бытийственный корень личности таится в недоступной слову глубине молчания. Посягательство на свободу молчания означает потому топор под самые

корни человеческого я. Вряд ли будет устойчив государственный порядок, при котором в период острых кризисов гражданам разрешалась бы свобода слова вплоть до проповеди революционного низвержения власти; но запрет молчания представляет собою явление совершенно особого, и в истории человечества до некоторой степени нового порядка. В нем с одинаковою силою сказываются и метафизический характер большевизма, и изуверство его метафизики, в корне отрицающей личность и свободу.

Не означает ли, однако, предлагаемое, метафизически углубленное понимание свободы весьма опасной деполитизации этого понятия? Шиллер, как известно, утверждал, что свобода неотъемлема даже и у закованного в цепи преступника. Религиозная свобода в государственно-политических цепях — не подозрительное ли это новоградство? Уверен, что в головах иных читателей из стародемократического лагеря уже мелькнула эта саркастическая мысль. Отложим на время попечение о ней. Ее невероятность выяснится сама собою в дальнейшем развитии статьи. Сейчас мне важнее повернуть оружие и указать моим возможным оппонентам на эту связь недостаточно глубокого постижения свободы с ее односторонне-политическим пониманием, которая причинила так много зла русской общественной жизни.

И русская и западноевропейская демократия больше всего возмущаются господствующим в советской России и в других диктатурах конформизмом. Никто, конечно, не станет оспаривать, что в демократических режимах того конформизма, который А. Жид констатировал в России, нет и быть не может. Не надо только упускать из виду, что хотя он еще и поныне чужд многопартийно-парламентарным демократическим государствам, но он никогда не был чужд духу всех, в особенности же всех левых партий. Тот спертый воздух, который человек свободного дыхания всегда чувствовал во всякой партийной среде, был в сущности тем же воздухом конформизма, которым отравляются ныне легкие юных граждан так называемых тоталитарных государств. Конформизм есть типичное явление демократического духа в его отрыве от совершенно иного духа индивидуалистического либерализма. Чтобы убедиться в этом,

достаточно перечесть Руссо, вспомнить русскую эмиграцию начала века или борьбу русского символизма с «диктатором критики» (Минский¹) и «жандармом общественности» (Волинский²), Н. К. Михайловским, убежденнейшим, как известно, социологическим индивидуалистом, не лишенным, однако, весьма неприятных тиранических черт.

Говорю я все это не как фашист, которому сладко нападать на русских либералов и демократов, а как органически свобододобивый человек, всегда с горечью ощущавший метафизическую опустошенность и связанную с нею политическую нетерпимость всех тех левых политических группировок, которые ныне в ужасе от советского конформизма. Ужас — ужасом, ужас праведен, но его праведность прямо пропорциональна отчетливости сознания, что в большевистском конформизме повинны все те односторонне политические люди, непримиримые защитники политических свобод, которые в глубине души были всегда уверены, что мнение политического коллектива важнее бытия человеческой личности, и потому никогда не были в состоянии понять, что защита общественных свобод от полицейского насильничества бессмысленна и бессильна вне одновременной защиты свободы личности от идеологического засилия со стороны каких-либо групп и партий.

Таковое мое утверждение личности, как основы всякой политической борьбы, должно в нашу эпоху массовой динамики и мирозерцательного уравниательства звучать совершенно бессмысленной утопией. Тем не менее я настаиваю, что в этом пункте невозможны никакие компромиссы. Без определенного ощущения того, что подлинная история человечества свершается не на социологической поверхности жизни, где господствуют индивиды и коллективы, а под нею, где царствуют личности и общины, свобода не защитима, так как сущность ее заключается не в правах индивидуального самопроявления, а в творческом сращении неслиянных друг с другом личностей в живую, многоступенчатую (хозяйство, государство, культура, церковь) соборную общину. Явная громоздкость и сложность этой формулы меня не пугает. Примитивизм политической мысли сейчас настолько усложнил мир, что без теоре-

тического усложнения ее его ни упростить, ни спасти больше нельзя. Продумаем же поэтому несколько подробнее предложенное определение свободы, спросим себя, почему связь в *той истине, которая именуется свободой*, ведет к освобождению личности, в то время как всякая партийно-идеологическая связь обыкновенно закрепощает, а иной раз даже и отменяет всякое личное творчество.

Ответ на этот вопрос в значительной мере уже подготовлен моими указаниями на сверхэмпирический, метафизический характер свободы, которую спекулятивная философия немецкого идеализма правильно определяет как «*Kausalität der Wahrheit*» (причинность истины). Определение это означает, что свободным в мире может быть названо лишь то, что имеет причиной своего появления в нем истину, что причиняется миру истиной.

Приведенная философски-идеалистическая формула свободы является, конечно, лишь спекуляризированным выражением евангельского понимания ее: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными».

В культурно-политической статье я не стану доказывать, что политическая свобода возможна только как свобода во Христе. Позиция «Нового Града» остается неизменной: «Мы спрашиваем не о том, во что человек верит, а какого он духа» (передовая статья первого номера). Все же и с этой позиции нельзя не видеть, что людям, не находящимся хотя бы только на духоверческих подступах христианства, свобода открыть своего лица не может.

Сейчас в Европе свободой называется все, что угодно, но только не свобода. Право раздувать «мировой пожар» и право огнем и мечом вразумлять революционеров, право капиталистически покупать и полицейски насиловать общественное мнение, право разжигать националистические самолюбия меньшинств в чужих странах и подавлять элементарные меньшинственные требования у себя дома, право отменять веру в целях спасения пролетариата от опиума и право подменять веру в целях возвращения расовой чистоты — все это оправдывается именем свободы. Вслушиваясь во все эти понимания свободы, нельзя не услышать, что сло-

вом «свобода» современность очень точно очерчивает место столпотворения всяческой «лжи во спасение», никого, конечно, ни от чего не спасающей, но зато всюду раскрепощающей зло. Мысль же о том, что свобода есть как раз обратное тому, за что ее принимают, что она есть не потакание лжи, а послушание истине, звучит совершеннейшим парадоксом.

Шопенгауэром была высказана мысль, что все истины появляются в мире в образе парадоксов, покидают же его, по свершении своего земного пути, в виде банальностей. Утверждать, что христианство только потому и не банально, что оно абсолютно парадоксально, что оно только потому и бессмертно, что неосуществимо, конечно, нельзя. Тем не менее нельзя не видеть и того, что эта ложная и грешная мысль является лишь огрублением и искажением вполне правильной мысли, что историософский замысел христианства о земной жизни потому и непревосходим, что он до конца неосуществим, ибо царство Божие не есть идеальный финал истории, а та метаисторическая реальность ее, которая в духе и истине дана нам как вечность, в пространстве же и во времени лишь задана нам как бесконечность. В этом характере христианской истины, данной нам в форме заданности, но отнюдь не творимой нами самими, и таится ее связь со свободой и творчеством.

Мысль эту можно выразить еще и так: Христос сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь». Как истина — Он один и тот же у всех нас и для всех нас. Как путь — Он каждому из нас иной путь, ибо разными неисповедимыми путями ведет каждого человека к Себе. От наших разных путей к истине и все наши разные жизни и все различествующие образы нашего творчества. Послушание истине не терпит, таким образом, пассивного подчинения ее раз навсегда готовой и для всех одинаковой форме. В отличие от подчинения всему, что не есть сама истина, в отличие от подчинения мирозерцательной выдумке, политической идеологии, начальственному приказу или партийному постановлению, послушание истине требует активно-творческого раскрытия ее в себе и воплощения ее через себя. Творческий акт, связующий единую и предвечную общезначимую и общеобязательную истину со всегда единственной, качест-

венно от всех отличною и тем самым незаменимою личностью человека и есть свобода. В отрыве от истины свобода превращается в произвол, в анархию, в борьбу против всех; в отрыве от личности она превращается в пассивное послушание, в дисциплинарный батальон иезуитско-орденского, прусско-казарменного или большевистски-партийного типа. Свобода есть, таким образом, необозримо разветвленная сеть путей, по которым единая истина нисходит в жизнь, а жизнь восходит к истине. В отрыве от истины и личности свободы так же нет, как в отрыве от свободы нет истины и личности. Через свободу и только через нее каждый человек, а потому и все человечество в целом, входит в разум своей истины, а истина — в полноту своих бесконечных, неисчерпаемых обличей. Триипостасное единство истины, свободы и личности представляет собою, таким образом, ту верховную реальность, на защите которой в качестве неотменной основы государственной, общественной и, не в последнем счете, хозяйственной жизни и должны быть сосредоточены силы всех, кто еще не окончательно потерял веру в осуществление нового града жизни. О том, какими средствами необходимо сейчас защищать эту триединую реальность, возможны и неизбежны споры, но они не страшны, пока бесспорною остается верховная цель.

III. Старая вина и новая задача демократии

Уже отмеченная мною выше громадная вина старой демократии заключается в факте предательства свободы с большой буквы на путях защиты политических свобод. Причину этого предательства надо прежде всего искать в том неустанно увеличивавшемся за последние столетия разрыве связи между свободой и истиной, который бесспорно составляет как основную тему победоносного наступления демократии в Европе, так и главную причину быстрой сдачи либерал-демократических позиций большевизму и фашизму. Рассмотрим в самых общих чертах этот весьма сложный процесс.

Идейное, как и природное царство исполнено райских воспоминаний. Какую бы идею мы ни взяли, нам будет нетрудно установить, что на заре своих дней она

мирно сосуществовала с идеями, впоследствии глубоко враждебными ей. Формула Великой французской революции: свобода, равенство и братство представляет собою типичный пример райской примиренности враждебных друг другу идей. Трудность ее реализации в грешном историческом мире была, впрочем, сразу доказана самой же революцией, которая на путях осуществления свободы, верховной идеи либерального XVIII века, начисто отменила христиански-средневековую идею братства. Дальнейшее развитие истории привело, как всем нам хорошо известно, к столь же радикальной отмене свободы во имя равенства.

О братстве русское освободительное движение никогда не пеклось. Тема братства, скорее сектантская, чем революционная, была ему не только чужда, но и враждебна. От трехчленной формулы Французской революции в сознании русского освободительного движения осталось лишь двуединство: свобода, равенство. Зато двуединство это единодушно защищала вся оппозиционная Россия, как либеральная, так и социалистическая. За единственным исключением ленинских большевиков, вся русская интеллигенция исповедовала *либерал-демократию*. С этой точки зрения самым злым делом Октябрьской революции является отрыв свободы от равенства, либерализма от демократии. Вина Ленина и всей большевистской партии перед Россией и миром огромна, но корни этой вины лежат гораздо глубже, чем это обыкновенно думают. При объективном взгляде на историю нельзя не видеть, что большевистски-коммунистический отрыв свободы от равенства был в сущности предопределен добольшевистским отрывом свободы от братства, или, в другой терминологии, — отрывом свободы от религиозной истины. Как мною уже было показано, подлинная свобода возможна только как свобода, находящаяся на послушании у истины, как свобода вечно нового в каждой личности, творческого раскрытия истины.

О таком христиански-гуманитарном понимании свободы в позднем, раскрепощенном либерализме не может быть и речи. Секуляризированный либерализм XIX века понимает истину не как исконную духовную реальность, к которой по-разному и с разных сторон устрем-

лены отдельные мнения, а как производную борьбы этих мнений. Не истина, таким образом, рождает мнения, говоря с каждым человеком на его собственном языке и являясь каждому в ином образе, а наоборот — мнения рождают истину, которая есть не что иное, как их гармонизация, как их гармонический аккорд. Такое изменение в понимании истины меняет, в свою очередь, и понимание свободы. О свободе, как о долге послушания истине, речи уже быть не может. Из долга послушания истине она перерождается в право провозглашения ее. Только этим коренным сдвигом отношений между истиной и свободой объясняется весь мир политических институтов и законодательных постановлений либерализма, прежде всего идеальный парламент, где под давлением общественного мнения сырье индивидуальных убеждений дискуссионно перерабатывается в общеобязательную, точно выбалансированную политическую истину.

Вера в этот почти механический процесс производства истины связана, как то само собою разумеется, с последними миросозерцательными основами позднего позитивистического либерализма, уже не имеющего ничего общего не только с христианским гуманизмом, но даже и с учением о естественном праве, как о сверхисторическом масштабе разумности и справедливости исторической жизни. Основную идею этого либерализма, одновременно и скептического по отношению к возможности познания истины, и оптимистического в смысле надежды практического примирения мнений, очень хорошо вскрыл Зиммель. По его мнению, истина только потому и не относительна, что она не метафизическая субстанция, а живая система отношений, совершенно так же повисающая в воздухе (это повисание и есть устойчивость), как весь звездно-планетный мир. Эта теория реляционизма, т. е. теория, считающая, что всякая истина есть уравновешенность, равновесие фактов и мнений, охватывает, как на то было уже много раз указано в соответствующей литературе, решительно все области общественной, политической и культурной жизни. Начиная с конца XVI века, как то, кажется, впервые подчеркнул В. Вильсон в своих речах о свободе, Европа мыслит почти исключительно в категории

равновесия. Космография учит о равновесии притяжения и отталкивания, психология (Мальбранш, Шефтсбери) — о равновесии страстей, политика — о европейском равновесии, политическая экономия — о торговом балансе. Парламентская система, противопологающая, согласно «Духу законов» Монтескье, законодательную власть парламента исполнительной власти правительства, не удовлетворяется уравниванием этих сил и потому вносит в законодательную власть начало плюрализма и дискуссии. Таков смысл противопоставления верхней палаты нижней, местных или областных парламентов центральному, государственному. В основе этого пафоса борьбы лежит оптимистическая вера в силу самодовлеющего, посюстороннего разума; вера в то, что можно договориться до истины, что дискуссия — это реальная сила, которой можно если не вполне заменить, то по крайней мере максимально ограничить применение грубой силы.

К концу XIX века эта просвещенчески-либеральная вера уже сильно подорвана. В произведениях Ницше, Маркса, Сореля³ и Парето⁴ можно без труда найти все те слова, мысли и чувства, из которых вырос как коммунистический, так и антикоммунистический антилиберализм наших дней. Воля к власти и власть экономики, бессилие разума и сила инстинкта, творческая роль меньшинств, история как борьба элит, бессознательность, биологизм, раса, миф — все эти современные слова были произнесены задолго до того, как с легкой руки Ленина началась в XX веке грозная ликвидация оптимистической веры либерализма. Марксизм лег не случайно в ее основу. Иной основы нельзя было найти потому, что разумность, честность и целесообразность парламентской дискуссии были прежде всего подорваны безмерно возросшей властью капитала и продажной политическою властью. Процесс разложения парламентаризма как системы коллективного взращения истины был изображен несметное количество раз. Особенно убедительно и остроумно, хотя и несколько привередливо по форме и чудаковато по терминологии — в социологии Парето.

Я не могу вдаваться в изложение замечательного труда этого ученого, как и вообще не могу в этой статье

вдаваться в науку, но, быть может, этого и не надо: в конце концов, у каждого из нас найдутся все необходимые, личным опытом добытые данные для того, чтобы своею головой прийти к тем же выводам, к которым приводит нас знаменитый социолог.

За единственным, может быть, хотя тоже, конечно, лишь частичным исключением нашей Государственной Думы, ни один парламент Европы не работал в последние десятилетия в сознании того, что общая парламентская дискуссия есть метод порождения истины. Эпоха «монопольного капитализма» оказалась, как то с замечательною точностью было предсказано Марксом, эпохою радикального кризиса либеральных идей и подготовкою перехода государственной власти от парламентских форм к диктаториальным. После войны повсеместно начинается расплата либерал-капитализма за свои грехи: за фиктивность своей веры в духовно-творческую силу дискуссии, за свое материалистическое ожирение, за одномысленно «экономические базисы» почти всех парламентских политических партий, за беспринципные комиссионные сговоры и компромиссы при закрытых дверях, за фейерверк при закрытых дверях, за фейерверк и бенгальские огни по существу безработных общих сессий, одним словом, за полный отказ от всякой серьезной попытки реальной выработки общенародной воли, той знаменитой «*volonté générale*»* Руссо, подданным которой должен чувствовать себя каждый гражданин и прежде всего каждый депутат, которому конституция 3 сентября 1791 г. запрещает представлять местные интересы своих выборщиков.

Я отнюдь не собираюсь защищать тезис, что гениальное, но во многих отношениях путаное учение Руссо представляет собою подлинную сущность демократии. Мне лично вообще кажется, что сущность демократии надо искать не в учении, а в процессе захвата государственной власти народными массами. Этот заканчивающийся процесс нового времени, которого так боялся аристократ Токвиль, которым надеялся овладеть Гизо и который приветствовал Мишле, веривший в «добрую душу» народа, пользовался в своих целях самыми раз-

* Общая воля (фр.).

личными учениями. Власть консервативно-феодалных слоев демократия распатала при помощи либеральных учений. Вооруженная социалистическими теориями, она пошла на штурм либеральных позиций. Когда же социалисты, войдя в парламент, оковали себя цепями обездушенного либерал-парламентаризма (классический пример — немецкая социал-демократия) с его подменой идеи общенародной воли прежде всего, конечно, корыстными интересами пролетарского большинства, она естественно вспоминала подготовленное как романтически-консервативным, так и радикально-социалистическим сознанием учение о том, что вопрос о разделении власти между меньшинством и большинством является совершенно второстепенным при реализации общенародной воли как единственной основы реального народоправства. У того же Руссо, бесспорно являющегося общим отцом как коммунистического, так и фашистского демократизма, мы находим весьма определенный подсказ как той мысли, что общенародная воля есть воля большинства, так и обратной, что она может быть и волей меньшинства. С одной стороны, Руссо учит, что всякое забаллотированное меньшинство должно задним числом добровольно присоединиться к большинству, а с другой, — что инициативное меньшинство имеет полное право в определенных условиях проводить ясную ему общенародную волю вопреки воле большинства. Несмотря на кажущуюся противоречивость обоих положений, их защита представляется мне в системе Руссо правильной и убедительной. Защищая власть большинства, Руссо исходит из положения, что на всеобщее голосование в демократическом государстве каждому гражданину ставится отнюдь не вопрос, чего он сам себе и обществу желает, а совершенно иной: каково, по его мнению, содержание общенародной воли. При такой постановке вопроса отклоняющееся от мнения большинства меньшинственное мнение должно, очевидно, рассматриваться как явно ошибочный ответ на поставленный вопрос. Всякая ошибка подлежит осознанию и исправлению. Отсюда вывод Руссо о необходимости для меньшинства добровольного присоединения к большинству. Никакого отказа от своей свободы, никакой измены себе в этом нет, ибо свобода возможна

для всякой отдельной личности только через подчинение себя общенародной воле. С этой точки зрения, большевистские покаяния могли бы быть — говорю это совершенно принципиально, как бы в идеологической пустоте — не только проявлениями трусости и самопредательства, но и единственно правильным с демократической (в смысле Руссо) точки зрения поведением. Увидев истину, искреннему человеку нельзя к ней не устремиться и с нею не слиться.

Эта апология большинства права, однако, согласно Руссо и всем защитникам непосредственной демократии в фашистском лагере, только при условии наличия «внешней и внутренней свободы всех выборщиков». В случае их несвободы, т. е. в случае экономической зависимости большинства от меньшинства, недостаточной политической зрелости большинства или его общекультурной неразвитости, все сразу меняется. Мнение большинства сразу же обращается в очевидную ошибку психологически закабаленных людей; меньшинственное же мнение превращается в зерно общенародной воли, которому бесспорно суждены пышные всходы в головах и сердцах граждан тотчас же после их внутреннего освобождения. В этих демократических размышлениях ясно слышатся знакомые ноты в защиту педагогических диктатур. Инициативное пролетарски-марксистское меньшинство, учил Ленин, обязано сделать все, чтобы раскрепостить рабочую массу, освободить ее от буржуазных влияний и тем самым вызвать в ней ее подлинную классовую волю, в последнем счете тождественную с волею народа и всего человечества. Совершенно такие же размышления встречаем мы и у теоретиков антикоммунистического фашизма, охотно называющих фашистские государства подлинными демократиями. В этой терминологии есть своя правильность, как есть — об этом речь еще впереди — и своя правда в устремлении оторвавшейся от либерализма фашизированной демократии к некоему целостному содержанию своего народоправства. Как ни различны между собою советский коммунизм, итальянский фашизм и немецкий нацизм, все три государства отказываются от либерального принципа равновесия и дискуссии и, устремляясь к какой-то монолитно-целостной истине, стирая

ют границы между государством и партией, партией и народом, правительством и управляемыми, политикой и культурой, наукой и пропагандой, агитационною ложью и безусловною правдою. Все сливается в неустанно вертящийся круг сплошных отождествлений.

Всеми силами души и разума протестуя против лже-мистики этого злого универсализма, мы все же не можем не отметить, что и она своими корнями уходит в теорию непосредственной демократии.

За либеральным фасадом знаменитого «Contrat social», строящего государство на основе вольного договора, и глухому уху нельзя не услышать грозного шума «народного моря». Грозность эта слышна в убеждении, что народоправство осуществимо только при условии абсолютного народного единоверия и единочувствия, при отсутствии партий, частнохозяйственных интересов и противоположных религиозных убеждений, т. е. при наличии целостной, неделимой и самотождественной народной воли. Критерий ее наличия в том, что в подлинной демократии все решается «sans discussion»*. Я ни на минуту не забываю громадной разницы между теорией Руссо и практикой современных диктаторов. Руссо все строил на чувстве. Современные диктаторы в основу всего кладут волю. Его «sans discussion» — подобие мистически сентиментального романа «но я и без слов понимаю», который поют друг другу граждане его совершенного государства. «Sans discussion», царствующее в современных диктатурах, означает совсем иное. Его смысл: «помолчи, тогда поймешь». Как ни велика эта разница, она все же не принципиальна. Если бы Руссо стал диктатором, и французы слышали бы: «помолчи, тогда поймешь». Угрозы смертной казнию весьма щедро разбросаны по его писаниям. Что же касается Ленина, Муссолини и Гитлера, то вряд ли возможно сомнение в их искренней вере, что если бы массы до конца поняли самих себя, они согласились бы подчинить свою волю вождям. Оспаривать наличие в современных диктатурах мистики «volonté générale» несправедливо. Без нее необъяснимо все то, что происходит на наших глазах. В истории ничто не творилось

* Без дискуссии (фр.).

без насилия, но одними запретами и казнями в ней также никогда ничего не создавалось.

Из анализа распада либерал-демократического сознания вырастают, как мне кажется, для всех антикоммунистов и антифашистов две вполне конкретные задачи. Одна из них, о которой более подробная речь еще впереди, сводится к попытке связать порвавшую с либерализмом и устремленную к миросозерцательной тоталитарности демократию с христиански-гуманитарным сознанием европейской культуры. Другая стоящая перед нами задача сводится — говорю это с риском навлечь на свою голову гнев многих единомышленников — к фашизации тех либерал-демократических режимов, на плечах которых покоится ныне борьба со всеми левыми и правыми фашистскими идеократиями. На самом деле, что же нам делать? Ощущения той триединой реальности истины, свободы и личности, которую я описывал как верховную часть и норму всякой общественной жизни, в политическом сознании Европы сейчас не существует. Защищать свободу, как послушание истине, и личность, как носительницу свободы, можно с церковного амвона, с университетской кафедры, но не с партийной или парламентской трибуны. Когда-то рискованную, почти титаническую мысль гётевского Фауста, что в начале было дело, а не слово, ныне повторяют не только мальчишки на улицах, но и воробьи на крышах. Давно потерявшее всякую связь с божественным глаголом и накрепко связавшее себя с экономической конъюнктурой либерально-парламентарное слово надолго скомпрометировало себя тем, что в ряде государств пропустило к власти людей, не допускающих с собою никаких разговоров. Эти новые люди создали целую школу политических деятелей, которые не совсем безуспешно орудуют не только в диктатурах, но и в либерал-демократических странах. Уговаривать этих людей бессмысленно. Против них всякой ответственной демократической власти пора начинать действовать, не дожидаясь образования компактного парламентского большинства.

Задумываясь над всем этим, трудно не спросить себя, не будет ли на первое после падения сталинского режима время лучшею формою организации русской свобо-

ды форма такой неodemократии, которая структурно будет скорее диктатурой, чем демократией старого типа. Я лично уверен, что без такой фашизации демократического сознания и демократических принципов реальная в экономическом и духовном смысле свобода в нынешнем фашизированном мире не защитима.

IV. Внешняя правда и внутренняя ложь фашизма

Одно время часто цитировалось крылатое слово Муссолини: фашизм не является экспортным товаром. Не подлежит сомнению, что итальянский фашизм представляет собою совершенно особое явление, весьма отличное от остальных диктатур. Тем не менее вполне допустимо распространительное толкование этого термина, при котором как национал-социализм, так и советский коммунизм должны быть определены как варианты фашизма.

О внешней правде — вернее, может быть, о «как бы правде» фашизма — подробно распространяться не приходится. Она сводится к критике того духовно-опустошенного либерализма, характеристика которого была мною дана выше, сводится к тезису, что свобода не может быть только отрицательной свободой освобождения индивидуума, но должна быть и положительною свободой служения истине. Евангельское слово об освобождении через истину могли бы по-своему повторить и Ленин, и Муссолини, и Гитлер. Подчеркиваемая мною «как бы правда» фашизма с исключительным блеском раскрыта в главных произведениях Жоржа Сореля: «Les illusions du progrès»* и «Reflexion sur la violence»**. Не свобода, и даже не принцип либерализма служат Сорелю мишенью нападков, а психология либерально-капиталистического упадничества: отсутствие в этой эпохе, и прежде всего у класса буржуазии, живой веры, твердой воли, рыцарской доблести, эстетического ощущения стиля и канона жизни. Возмущает Сореля разложение героического начала тлетворным духом торгашества и отравление этим буржуазным духом душ и

* «Иллюзия прогресса» (фр.).

** «Размышления о насилии» (фр.).

воль восходящего к власти пролетариата. В этой критике либерально-буржуазного мира коренится знаменитое приветствие Сореля как Муссолини, так и Ленина. Я думаю, что для проложения новых путей к новой социальной жизни защитникам не демократии нельзя закрывать глаза на сорелевское изображение конца XIX и начала XX столетий, тем более что оно стоит не одиноко в литературе. Громадное количество ученых и политиков, которых никто не заподозрит в фашистском уклоне, писали почти то же самое, что и Сорель. В его критике своеобразно перекликаются христиански-романтические и левосиндикалистские элементы радикального отрицания буржуазного строя. Углублять тему правды фашизма мне, впрочем, не представляется важным. Все существенное было мною сказано выше в главе о грехах демократии. В том положении, в котором сейчас находится Европа, гораздо важнее острое ощущение внутренней лжи фашизма, чем его внешняя правда. Говоря это, я подчеркиваю, что мои слова эти не направляются ни против Италии, ни против Германии, ни даже против советской России, а в контексте данной статьи исключительно против *идеи фашизма в моем ее понимании*. Я предпочитаю такую постановку вопроса исключительно потому, что при ней легче спорить, легче убеждать и убеждаться, главным же образом — легче сговариваться. Я уверен, например, что с младороссами мне об итальянском фашизме сговориться вряд ли будет возможно, но не потому, что они защищают эту идею фашизма, которая для меня неприемлема (как для монархистов, она должна быть неприемлема и для них), а потому, что они держатся совершенно иного взгляда на фашизм, чем я. Еще меньше возможен для меня сговор о советской России с представителями немецкого религиозного социализма, с протестантами-коммунистами, но опять-таки не потому, что они за сталинский фашизм, а по той причине, что они видят в советской России главную антифашистскую силу.

Начинать на последних страницах этой главы спор с младороссами или религиозными социалистами о сущности господствующих в Италии и России политических режимов мне невозможно. Потому перейдем сразу

же к основному вопросу и спросим себя, в чем заключается сущность фашизма. С моей точки зрения, подлежащая радикальному отрицанию сущность фашизма связана с его правдою. Если правда фашизма заключается в попытке наполнения опустошенного в либерализме понятия свободы конкретным содержанием, в попытке восстановления той связи между свободой и истиной, вне которой, как мы видели, невозможна личность, то уничтожающая всю фашистскую правду ложь заключается в том, что освобождающую истину фашизм подменяет произвольной миросозерцательной конструкцией. В бессознательном стремлении скрыть эту подмену защитники фашизма создали получивший широкое распространение термин идеократии. По их мнению, в фашизме царствуют не классы и интересы, а соборные национальные личности и первозданные идеи. Немецкие национал-социалисты особенно любят резко противопоставлять идеализм третьего рейха грубому материализму либерально-социалистической эпохи.

Общеобязательной терминологии не существует. Запретить сторонникам фашизма употреблять термин «идеократия» для характеристики фашистского режима нельзя. Остается поэтому только одно: пользоваться этим термином, но не забывать, что слово «идея» употребляется в нем всуе. Если фашизм чем-нибудь может быть точно охарактеризован, то прежде всего указанием на то, что он не признает царства идей, если употреблять это слово в строгом антично-христианском смысле. По Платону, идеи суть вневременные, безначальные и бесконечные небесные прообразы земного бытия. Для средневекового сознания идеи суть «Божьи мысли». Ни русский, ни итальянский, ни немецкий фашизм не царствует во славу Божьих мыслей, а царствует вполне определенно во славу мыслей своих собственных вождей. Вождизм с царством идеи непримирим. Если говорить строго, то надо было бы неустанно повторять, что в фашистских системах царствуют не идеи, а идеологии, т. е. миросозерцательные концепции, которыми знаменуются не первореальности Божьего бытия, а волеустремления, инстинкты и страсти классов, народов и отдельных личностей.

Я прекрасно понимаю, что мне может быть предло-

жен вопрос: на каком основании я утверждаю, что миросозерцательные построения, легшие в основу советской, итальянской и немецкой систем, не суть Божьи мысли, а вождедения масс и изобретения вождей? Доказательства тут невозможны. Все, что можно сделать, это попытаться показать разницу между тем строем, который должен был бы получиться, если бы в основу его легли Божьи мысли, и тем, который раскрывается перед нами в идеократических диктатурах. Первое, что бросается в глаза, это отрицательное отношение всех трех идеократий к христианству. О советской России не может быть разных мнений: она с первых же дней заявила о своей ненависти к христианству и по нынешний день иступленно преследует церковь. В национал-социалистической Германии дело обстоит на поверхности как будто бы совсем хорошо: строятся новые церковные здания, по воскресеньям страна заливается церковным звоном, а по будням государственные чиновники вежливо описывают нерадивых плательщиков церковных налогов. Тем не менее невозможны никакие сомнения насчет того, что Германия все определеннее выходит на путь, в котором безбожное просвещение весьма прихотливо сливается с боговерческим язычеством. В Италии положение, конечно, много лучше и проще, чем в Германии. Тем не менее невозможны никакие сомнения, что отношение фашизма к католицизму не религиозно, а государственно-инструментально. Для Муссолини католичество ценно не как христианство, а как многовековая национальная религия итальянцев. Не только в отношении к абиссинцам, но даже и в теории этих отношений нельзя было уловить ни намека на смущение христианской совести фашистского патриотизма.

Как ни показательно для антихристианского духа фашизма такое отношение к христианству, но еще более показательным для него представляется мне то, что в идеократических диктатурах не защищен не только христианин, а и человек вообще, поскольку он представляет собою живую, творческую, свободолюбивую личность. Во всех фашистских идеократиях идеи вождей питаются уничтожением свободы ведомых, разрывая тем самым то триединство истины, свободы и лич-

ности, которое представляет собою основу всякой христианской общественности.

О том, что надо понимать под свободой, выше было уже достаточно сказано. Защищая необходимость фашизации демократии для преодоления фашистской опасности, я, очевидно, не могу защищать безоговорочного признания в такую критическую эпоху всех свобод, начиная со свободы революционного слова и кончая свободой противогосударственного действия. Неприемлемость фашизма заключается не в том, что он, как государство, защищается от своих врагов ограничением политических свобод своих граждан (это завтра не должны будут в очень значительном объеме делать и авторитарные демократии), а в его ненависти к свободе, как к духовной первоприроде человека, в его абсолютном равнодушии к качественной единственности всякой человеческой личности, в его стремлении превратить людей в кирпичи, в строительный материал государственно-партийного зодчества. Самая страшная ложь фашизма — это идея конформизма, идея стандартизированного индивида, исповедующего государством предписанное миросозерцание и творящего государством задуманную культуру. Самая же большая техническая ошибка его в непонимании того, что нельзя устроить государства, не устроив в какой-то мере и степени инакомыслящей личности, не дав ей шанса на тех или иных условиях, при тех или иных обстоятельствах проявить и осуществить себя. Кирпичом соборного строительства человек может быть только по своей воле. Принуждение же человека к длительному существованию в качестве кирпича не может не превращать кирпичи в взрывчатые бомбы. Когда верующий человек обращается к Богу с мольбою:

Возьми меня, я только Твой кирпич.

Строй из меня, непостижимый Зодчий,

он не только уповает, он знает, что для возведения Божьего дома «Великому Архитектору» понадобится святая святых его человеческой личности, его бессмертная душа. Когда же фашистское государство обтесывает человека для своих идеократических целей, оно ни в какой мере и степени не считается с бессмертною ду-

шою человека, с его личной совестью, с исповедуемой им истиной. В таком превышении своих прав фашистское государство, в особенности в своем большевистском обличе, явно раскрывает свою лжецерковную, лжетеократическую природу. Потому для христианского сознания с ними и невозможны никакие сговоры и компромиссы.

V. «Новый Град» и эмиграция

Если у эмиграции есть какая-нибудь задача, то она не может состоять ни в чем ином, как только в непрерывной работе над возвращением в русской душе и в русском сознании образа будущей России. Все героически бездумные активизмы не только окончательно провалились, но своим провалом еще и скомпрометировали былую доблесть белой мечты. Всем честным элементам эмиграции давно пора прийти к окончательным выводам по отношению к нашей роли в истории и по крайней мере на ближайшее время решительно сменить милитантный активизм на духовную активность. Никакой расписки в сломанности воли к борьбе этим не выдается. Наоборот: призыв к смене активизма активностью — есть призыв к смене желаний волею, т. е. к усилению воли: Сущность безволия всегда — в потакании желаниям. Если активистские выстрелы по большевизму оказались осечками, то это прежде всего объясняется тем, что порох в активистских револьверах оказался отсыревшим в лирически-влажных туманах тлетворного кружения по порочному кругу желаний: от своих горьких воспоминаний к своим сладким мечтам и обратно.

Всем этим я не утверждаю принципиального пацифизма в революционной борьбе. Активизм может быть действенным, но при непременно условии, чтобы идущий на верную смерть террорист твердо знал, какой становящийся мир он будет защищать в заключительном слове подсудимого. Пока не прозвучало слуху слово новой жизни, бессмысленно стучать каблуками и курками. Не менее бессмысленно, конечно, стучать и пишущими машинками активистских редакций, но это все же менее опасно.

Я знаю, для «староэмигрантов» правого лагеря всякая проповедь новоградских исканий бессмысленна и даже богомерзка, потому что они живут не идеями, а чувствами и инстинктами. Для староэмигрантского левого лагеря наша проповедь неприемлема по причине того, что идеями они называют только свои старые идеологии, наши же новые идеи для них выдумки.

К счастью, во всех так называемых пореволюционных течениях дело обстоит много благополучнее. Как бы различны они ни были по своей психологии, по своим социологическим истокам, все они все же объединены верою в невозможность создания новой России на безоговорочной ненависти к большевикам, на нерушимой преданности довоенным революционным заветам и на мечтательной влюбленности в «староколенную Россию». Странно и прискорбно, но, к сожалению, все же верно, что о стремлении всех пореволюционных течений не обесмысливать большевистской революции, а наоборот, все больше раскрывать ее громадное идейное значение для будущей русской жизни нельзя говорить без того, чтобы не навлечь на себя обвинения в примирении с большевизмом и в оправдании его. Остановливаться долго на разъяснении этого печального недоразумения, за которым в иных случаях, бесспорно, стоят боль и отчаяние наголову разбитых жизнью людей, мне невозможно. Все же как в целях защиты пореволюционного сознания, так и в целях сговора пореволюционных группировок между собою необходимо отметить, что новоградски-христианское осмысливание большевистской революции и гегельянское оправдание ее по формуле: «все действительное — разумно», которую враги всякого осмысливания русской катастрофы обыкновенно интерпретируют на упрощенный бальмонтковский лад: «мир должен быть оправдан весь, чтоб можно было жить», — не имеют между собою решительно ничего общего.

О чем спорить? — конечно, большевизм — зло и безумие, в которых всем должно каяться и с которыми никому нельзя примиряться; но из этого уже по одному тому не следует, что он есть не только зло, но и бессмыслица, что весь смысл истории заключается в борьбе добра со злом. Превращением большевистского

зла в бессмыслицу, в разрушительную грозу, ни с того, ни с сего налетевшую на праведную русскую жизнь, мы только лишаем себя возможности серьезной борьбы с ним. Все это до того самоочевидно, что об этом как-то стыдно говорить и все же не говорить нельзя, потому что старорежимная эмиграция все еще продолжает считать все пореволюционное движение какою-то идеологической базой возвращенчества. Мне кажется, что перед лицом таких наветов людям пореволюционного сознания, к каким бы они ни принадлежали группировкам, пора несколько ближе присмотреться друг к другу и сговориться о каких-то общих всему пореволюционному фронту основных положениях.

За наличие такого фронта говорит прежде всего то, что все пореволюционные течения стоят на религиозной точке зрения, и что главные из них — новоградцы, евразийцы, младороссы, утвержденцы — защищают эту религиозность не в смысле безответственной веры во что бы то ни стало, а в смысле той, если и не церковной, то все же околицерковной христианской духовности, которая обязывает неустанно проверять себя и неустанно бороться со всяческими соблазнами лжерелигиозного порядка. С этой точки зрения мне видятся на пореволюционном фронте три уже вполне определившихся соблазна. Соблазн человеко-божеского демонизма, очень сильно звучащий в «Третьей России» Боранецкого⁵, соблазн фашистского этатизма (идеократия, однопартийность, правящий отбор), угрожающий как евразийцам, так и младороссам, и, наконец, опасность реакционно-православного бытовизма в смысле «бытового исповедничества», провозглашенного в свое время евразийцами.

Я не собираюсь подвергать все эти соблазны обстоятельной критике. Такая критика потребовала бы углубленного и тщательного разбора названных течений. В заключении моих размышлений я хочу только указать на то, что все перечисленные «уклоны» представляются мне несовместимыми с общею всем пореволюционным течениям верою в христианскую основу общественной жизни, в новую, раскрепощенную Россию и в свободный расцвет русского творчества.

Что касается веры в титанизм человеческой воли,

способной к созданию нового, прекрасного, справедливого мира, то она, как основа будущей жизни, отменяется простым указанием на то, что ею-то и был прежде всего воздвигнут тот большевистский мир, которому пореволюционные движения должны готовить смену. Не думаю, чтобы русский человек, действительно переживший крушение России, мог бы еще исповедовать религию сверхчеловека — все равно, в марксистском ли или ницшеанском обличье. От всего этого веет страшною жутью и мертвою скукой нашего вчерашнего дня, которому, быть может, и суждены еще победы, но который в душах наиболее чутких современных людей и осужден и преодолен. С мессианским титанизмом христианскому сознанию пореволюционности не по пути.

Гораздо сложнее обстоит дело с соблазном «бытового исповедничества». Я знаю, что это, ставшее крылатым, выражение было евразийцами взято назад. Но дело не в выражении и не в евразийстве, а в той душевной теме, которая его в свое время породила. Большевистская революция накрепко связала в себе две темы: тему радикального отрицания исторической религиозности с темою отвлеченно-профетического провозглашения новой жизни. Безбытничество русской революционной интеллигенции, ее полная нечувствительность к художественно-плотному началу у русской истории, ее враждебность к православной церкви и, наконец, весь ее отщепенски-раскольничий морализм развернулись в большевизме с поистине всеразрушающей силою. Можно ли после этого удивляться тому, что выброшенная в чужой быт, религиозно- и антибольшевистски настроенная эмиграция потянулась душой не только к вере отцов, но и ко всему их религиозно-бытовому обиходу, к поэзии и даже поэтике «бытового исповедничества». Считать эти чувства несправедливыми и лишними неверно и несправедливо. Расхлябанный в революции русский мир неизбежно будет стремиться к некоторой эстетической канонической жизни, к восстановлению национальных и бытовых форм православия. Протестантский мир более восприимчив ко всякому обновленчеству, чем православный. Тем не менее и в Германии религиозно-социалистическая проповедь новых богослужб-

ных и религиозно-бытовых форм не имела ни малейшего успеха. Мертвыми кажутся мне и многие современные попытки почти насильнического перенесения строительных форм, выработанных на постройках вокзалов, фабрик и вилл, в сферу церковной архитектуры, не говоря уже об особых молитвах для людей, путешествующих в спальнях вагонов и летающих на аэропланах, что было недавно предложено принцем Роганом в его книге «Die Schicksalsstunde Europas»*. Все современные попытки перенесения революционных темпов жизни в церковь таят в себе очень симптоматическое непонимание того, что как богослужебный, так и религиозно-бытовой консерватизм имеют очень глубокие, психологические корни.

Церковь — царство священства, которое уже со времен древнего Израиля передало дело прозрения народных судеб и обновления народной жизни пророкам, проповедовавшим не в храмах, а на площадях и стогнах. Свершающее службу священство обращается не только к находящимся во храме молящимся, но и к бессмертным душам с незапамятных времен молившихся в этих или в таких же храмах поколений. Вечную память о всех когда-то здесь молившихся христианах и объясняется, по всей вероятности, наше бессознательное требование, чтобы в храмовом и религиозно-бытовом мире все менялось так медленно, чтобы эта медленность могла ощущаться символом неизменности, вечности.

Но, конечно, — и эта оговорка есть главное слово новоградского сознания — вся эта обрядово-пластическая и консервативно-бытовая тема христианства права ровно постольку, поскольку она ни в малейшей степени не противопоставляет себя пророческой теме непрерывного, пусть минутами даже революционного обновления жизни в духе действенного, общественно-ответственного христианства. Не тяга к бытовому исповедничеству, в уточненном мною смысле этого слова, представляет собою, таким образом, соблазн и опасность, а та односторонняя архаизация и эстетизация аскетически понятого православия, благодаря которой взамен живого,

* «Судьбоносный час Европы» (нем.).

социально действенного христианства во главу угла общественного устройства жизни произвольно выдвигаются весьма проблематичные с христианской точки зрения евразийские начала идеократии и правящего слоя.

Никто не вправе утверждать, что христианство по существу враждебно сильной государственной власти, как никто не вправе утверждать и обратное. Само по себе христианство вообще не является связанным с каким бы то ни было государственным строем. С христианской точки зрения, всегда прав тот строй, который в данную минуту, при данных обстоятельствах наиболее успешно воплощает и защищает максимум христианской истины в общественно-политической жизни. Таким правым перед лицом христианства строем на ближайшее, по крайней мере, время будет в России, по всей вероятности, защищаемый евразийцами строй крепкой, авторитарной государственности плебисцитарно-демократического порядка. С этой точки зрения у евразийцев все обстоит благополучно. Нелады и неблагополучие у них, как в известном смысле и у младороссов, начинаются лишь с момента чрезмерно благосклонного внимания этих движений к фашистским началам «идеократии» и правящего отбора. В этом пункте сосредоточиваются все проблемы пореволюционного фронта. В отношении его необходима потому полная ясность. Можно быть фашистом-идеократом, можно также быть убежденным защитником весьма крепкой, авторитарной христианской государственности, но сливать оба этих начала в идею христианского фашизма недопустимо. Доказывать эту недопустимость после всего вышесказанного не приходится. Христианство исповедует истину Божьего лица — фашизм в гораздо большей степени проповедует, чем исповедует, идеологическую систему понятий, всеу именуемую идеократией. Христианство верит во власть истины, фашизм — в истину власти. Христианство жаждет, чтобы мир человеческой истории процвел подлинным Божиим Бытием, — фашизм жаждет великих исторических событий. Христианство молится святым — фашизм поклоняется героям. Для христианства осуществление твердой государственной власти (войны, казни)

почти непереносимые трагедии, для фашизма — мрачное упоение. Христианство верит в то, что смысл истории совершается в глубине человеческой личности, — фашизм не чувствует абсолютного значения человеческой личности, верит в примат национальной или классовой жизни над личным бытием. Ни в каком христианском государстве, хотя бы даже и в христианской диктатуре, немислимы поэтому то идолопоклонство перед вождем, тот конформизм политических сознаний граждан, тот лжерелигиозный национальный или классовый миссионизм, та прагматическая организация культуры, то зажатие личности, которые характерны для фашистских режимов. Идеократический фашизм — это совсем особый мир, особый психологический климат. Для людей и народов, не верящих в абсолютную, ибо богооткровенную, истину, которой, несмотря ни на что, суждено победить, фашистский соблазн непреодолим. Если не верить во власть истины, то только и остается, что верить в истину власти, в триумфальное шествие личной и коллективной воли, в живописную ярость вечно бушующего океана истории, не знающего различия между добром и злом и прекрасного в слепоте своего незнания.

В России завтрашнего дня найдется немало элементов, как бы специально приспособленных для превращения кончающегося страшной катастрофой красного фашизма в новый, националистический милитантный фашизм, евразийский по выражению своего лица и православный в духе бытового исповедничества; однопартийный, с обязательной для всех граждан историософией, с азиатским презрением к личности и с лютым отрицанием всякой свободы во имя титанического миссионизма одной шестой мира, только что возродившей на всей территории священное имя России.

К услугам такого фашизма окажутся: всеобщая фашизация мира, неисчислимые экономические богатства России, одна из самых мощных армий мира, громадный организационный опыт ГПУ, очень большие психологические ресурсы оскорбленного национального самолюбия, привычка всего населения естественно делиться на представителей правящего отбора и на покорные стада рабов, с одной только жаждой в душе, чтобы

их оставили в покое и устроили им приличную внешнюю жизнь. Чувствуя эту жажду замученных советских людей, нельзя сомневаться в том, что, если бы в России появился диктатор типа западноевропейских вождей, то субъективное сознание советских граждан было бы этим безоговорочно осчастливлено. Тем не менее — и это главное, о чем необходимо сговариваться всем пореволюционным течениям, — мы не только не смеем идти в Россию с проповедью христианского фашизма, но не смеем даже и молча соглашаться на него. Наша задача сделать все от нас зависящее, чтобы большевиков сменил не националистический фашизм, а, несмотря на всю свою неизбежную авторитарную твердость, подлинно человеколюбивый новодемократический строй.

Русская эмиграция — молодая и средневозрастная, интересующаяся политическими вопросами и озабоченная судьбами России, — представляет собою психологически весьма пеструю среду. Пестрота эта определяется, с одной стороны, пройденным жизненным путем и революционным стажем эмигранта, а с другой — страной, в которой он живет и политическую жизнь которой сознательно и, главное, подсознательно в себя впитывает. По моим наблюдениям, живая и думающая русская эмиграция в Париже в каком-то смысле вся, вплоть до малороссов, свободолюбивая и, говоря условно, — левая. Наиболее левые из этих левых думают, что достаточно авторитарно подтянутый и гуманитарно выправленный «Народный фронт» как-то срастить с церковью аморфным, но социально живым христианством типа «Esprit»*, чтобы получился идеальный «Новый град». В Германии, а также, насколько я знаю, и в Прибалтике, дело обстоит как раз наоборот. В этих странах вся серьезная, средневозрастная «молодежь», отнюдь не симпатизирующая духу Общевоинского Союза, настроена ярко антилиберально. В ней гораздо больше не только психологической, но даже и физиологической бодрости. Ей искренне хочется, как мне однажды сказал очень крупный молодой русский ученый, промаршировать по Москве под своими знаменами. Ни в какой мере

* Дух (фр.).

и степени не разделяя идеократических замыслов национал-социализма, эта молодежь не чурается диктатуры. Совершившийся в Германии переход от парламентарно-демократического режима к диктаториальному строю она пережила как переход гнилой осени к суровой, но здоровой зиме. Многим из представителей этой, совсем не парижской, молодежи кажется, что достаточно заменить биологический расизм христианством, чтобы все и без демократии встало на места.

Что сказать парижанам и что сказать берлинцам? По-моему, одно и то же: идти к новоградской христианской государственности и общественности не только можно, но даже и нужно как левыми, так и правыми путями. Превращать в новоградцев надо как левых парижан, так и правых берлинцев. Но делая это, нельзя ни на минуту забывать, что «Нового града» нельзя построить ни на старом левом, ни на старом правом берегах. Растить его можно только из сердца нового человека, из того пореволюционного опыта, социологическую сторону которого я пытался описать всесторонним раскрытием моей формулы: единство истины, личности и свободы. Основным вопросом всех пореволюционных движений представляется мне потому вопрос: могут ли все они быть спаяны в *единый фронт свободы*, достаточно стойкий, чтобы противостоять как малодушному откату новоградства на старые пути христианским социализмом приправленной либерал-демократии, так и всем искушениям христианизированного фашизма.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Степун Федор Августович (1884–1965) — философ, историк, социолог культуры, литератор. Родился в Москве. По окончании гимназии выехал в Германию, где окончил Гейдельбергский университет и прожил большую часть своей сознательной жизни. В России он проработал всего 12 лет — с 1910 по 1922 г., т. е. в эпоху высших достижений русского религиозного ренессанса.

Не русский по крови и не дворянин по сословной

принадлежности, Степун воплотил в себе лучшие черты русской дворянской духовной и бытовой культуры. «Это был, — восторженно пишет о нем его германский ученик и почитатель, — с головы до пят русский барин, но вместе с тем несомненно и ученый, одновременно и человек с некоторыми чертами театральности — светский человек, офицер и хороший наездник (...). Подобно великим французам XVII в. он соединял в себе высшую духовность со светскими манерами и совмещал, как мыслитель, отзывчивость на все человеческое с научной точностью взгляда и формулировок. Так удалось ему на этом действительно высоком уровне примирить субъективное с объективным. В наше время это почти никому не удастся. И вот почему мне хочется о нем сказать словами, сказанными Наполеоном о Гёте: “Voilà un homme!”*»¹.

Высланный из России с группой выдающихся ученых и философов на так называемом «философском пароходе» в 1922 г., Степун с 1926 по 1937 г. (уволен нацистами) занимал кафедру социологии в Дрезденском университете, а с 1946 г. преподавал в Мюнхенском университете. На его лекции сбегались студенты всех факультетов. Перед слушателями выступал «не чиновник от науки, сухо и педантично информирующий их о тех или иных научных данных, а человек, глубоко и взволнованно убежденный в правоте своих слов. Человек, не просто изучивший свой предмет, а экзистенциально и творчески с ним связанный»². Особой популярностью у слушателей пользовались курсы социологии русской революции, разраставшийся до размеров россиеведения, и курс истории русского символизма, раскрывавший все богатство культуры русского «серебряного века».

Сплав интеллектуального познания и переживания — это не просто стиль мышления Степуна и не просто определяющая черта русской философской мысли, но, по мнению самого же Федора Августовича, это единственно возможный инструмент познания социаль-

* Се человек (фр.).

¹ Штаммлер А. In memoriam // Новый журнал. Нью-Йорк, 1966. № 82. С. 248, 256.

² Там же. С. 248.

ных и духовных явлений. «Выводя свою веру, свои чувства и страсти за скобку своей исследовательской работы, социолог отказывается от своей главной задачи, поставленной высшему знанию еще Платоном, от задачи, которая неизбежно придает ей субъективный характер. Выходом из этой дилеммы является допущение в свою работу своей личности, но не во всей полноте волнующихся в ней безответственностей и случайностей, а как бы в очищенном виде и под надзором обостренной критической совести»³.

Не очищение от страстей, а очищение страстей, признанность их светом совести, незамутненность проводников этого света — вот что обеспечивает нам причастность истине, а вовсе не ясность и отчетливость понятийных очертаний. Подчеркивая многократно эту мысль, Степун ссылается на слова Ивана Киреевского о том, что если мысль слишком ясна — значит, она недостаточно продумана.

Эта идея оказывается ключевой не только для оценки процесса познания, но и для оценки самой действительности. Слишком четкая законодательная регламентация жизни говорит о глубоком социальном заболевании, а слишком четкие очертания социального идеала — о примитивности и опасности политического движения, сделавшего этот идеал своим знаменем.

В познании важны не только понятийные конструкции, но верность тона, верность дистанции по отношению к этим конструкциям, свидетельствующие об их должном месте в структуре целостного опыта, который только как целое может оцениваться с точки зрения приближения к истине. В социальной и политической практике важно и то, что делается, но тысячекратно важнее, как и кем это делается. Только контроль христианской совести может вовремя подсказать, что социально-политическое прожектерство перехлестнуло границы допустимого. Соблюдение в чистоте каналов воздействия христианской совести — первейшая и главнейшая задача любой политики. Атеизация и рацио-

³ Степун Ф. А. Структура социологической объективности // На темы русские и общие. Сборник материалов в честь проф. Н. С. Тимашева. Нью-Йорк, 1965. С. 410.

нализация политики свидетельствует о стремлении к оправданию зла, а значит — к его многократному возрастанию. Атеистическая и рационалистическая идеология играет роль наркоза, притупляющего чувства боли и делающего возможными опасные манипуляции с общественным организмом. «Нельзя забывать, — пишет Степун, — что для религиозной жизни человечества важно не только то, что в ней творится, но также и то, кем и как. Неизбежное зло политической сферы мукою о нем, скорбью, в которой оно совершается, и раскаянием религиозным как бы нейтрализуется, рассудочным же рассуждением и оправданием возводится в степень бесконечности. Все нормы христианской политики сводятся таким образом к заботе о том, чтобы по возможности все зло, которое действительно неизбежно в политической сфере, творилось бы христианскими руками и бралось бы христианами на всю ответственность и совесть, т. е. превращалось бы из бесчеловечного зла в человеческий грех»⁴.

В основе либеральной позиции Степуна лежит глубоко продуманная и всей долгой и многоопытной жизнью выстраданная христианская идея неотрывности свободы от истины; идея, выраженная в библейских словах: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Всякая попытка оторвать свободу от истины, всякий взгляд на свободу как на безусловленную ничем высшую ценность неизбежно приводят к трагедии. Отрыв свободы от истины делает либерализм, уповающий на такую свободу, бессильным, а «бессильный либерализм неизбежно порождает насильнический социализм»⁵.

Политические формы призваны защищать свободу, укорененную в истине, и эти формы могут и должны меняться в зависимости от политической ситуации. Сами «демократические формы» пусты, и обожествлять их преступно. «Февральская демократия... заняв привычные ей партийно-обжитые, формально-демократические позиции... забыв о реальной России и реальной свободе, принялась страстно и многословно защищать

⁴ Степун Ф. А. Христианство и политика // Современные записки. Париж, 1934. № 55. С. 310.

⁵ Степун Ф. А. Встречи. Мюнхен, 1962. С. 40.

принципиальную демократию, параграфы Учредительного собрания и мечущуюся на горизонте тень демократической и социалистической республики, что в конце концов и привело к победе большевизма... Главными причинами все прогрессирующего преуспевания большевиков являются: либеральная пустогрудость, демократическая вера в свободу, неверие в освобождающую истину...»⁶

В конкретных условиях, сложившихся в России после войны и революции, Степун считал наиболее приемлемым политическим строем строй авторитарной демократии, ни на минуту не отказываясь при этом от своих фундаментальных либеральных позиций.

Мысли о судьбах политического либерализма волновали Степуна и тогда, когда он прослеживал превратности развития художественного сознания в истории русской культуры. С его точки зрения, особенно пагубно влияние кантианского рационалистического методологизма и тенденций автономизации различных начал в человеческом духе. Это видно по творчеству такого гениального по своим потенциям русского поэта, как Андрей Белый.

«У него, — пишет об Андрее Белом Степун, — вообще не было утробы, или, выражаясь деликатнее, у него не было физиологически-бытовой памяти. И в этом его органический “либерализм”... В... метафизике “панметодологизма”... так же явно сказывается глубокая связь Белого с духом либерального критического просвещения, как и в его изображении исторической России. Превращение быта во фреску и познания в метод, суть явления одного и того же порядка, явление разложения в душе XIX в. непосредственного чувства подлинного бытия»⁷.

Опасность состоит в том, что витающий в безвоздушном пространстве автономной свободы человеческий дух неизбежно ищет опоры и находит ее в «духе времени» и «зlobe дня». Фактически неукорененная в истине свобода рано или поздно укореняется во лжи.

⁶ Степун Ф. А. «Новоградские» размышления по поводу книги В. С. Варшавского «Незамеченное поколение» и дискуссии о ней // Опыты. Нью-Йорк, 1956. № 7. С. 48.

⁷ Степун Ф. А. Встречи. С. 178, 180.

«Неподлинность, инфляционность творчества, — пишет Степун, — может быть элементарно грубой, исходящей из социального заказа власть имущих... но она может быть и гораздо более утонченной. Она может исходить из бессознательного желания придать своему творчеству путями его полунасильственного сближения с духом времени вес и значительность, остроту и занимательность»⁸.

Для Степуна примером художника другого склада, художника, умеющего различать духов, способного противостоять соблазнам «духа времени» и укорененного в вечности, в подлинном бытии и истине, является И. А. Бунин.

«Исход из лжи и муки... разлагающего жизнь богатства, в котором мысль неотличима от выдумок, воля от желаний, искусство от развлечений, рок от случайностей и нужное от ненужностей, возможен только в обретении дара различения духов, т. е. в возврате к той подлинности и той первичности мыслей и чувств, которыми держится и которым служит искусство Бунина»⁹.

Философ, социолог, художник слова, один из наиболее талантливых представителей блестящей плеяды русских эссеистов (наряду с Г. П. Федотовым, Г. В. Адамовичем и др.), Федор Августович Степун дал глубокую и многостороннюю в истории русской мысли разработку проблемы свободы. Представленный читателям этюд «О свободе» — лишь малая часть из его богатого творческого наследия.

А. В. Соболев

Соч.: Трагедия творчества // Логос. М., 1910. Кн. 1; Трагедия и современность // Шиповник. М., 1922. № 1; Жизнь и творчество. Берлин, 1923; Мысли о России // Современные записки. Париж, 1929; Николай Пересветин. Философский роман в письмах. Париж, 1929; Бывшее и несбывшееся. Т. 1, 2. Нью-Йорк, 1956.

⁸ Там же. С. 89.

⁹ Там же. С. 88.

ПРИМЕЧАНИЯ

Статья «О свободе...» печатается по изд.: *Степун Ф. А. О свободе (демократия, диктатура и «Новый град») // Новый Град. Париж, 1938. № 13. С. 11–45.*

¹ *Минский (Виленкин) Н. М. (1855–1937)* — русский писатель; один из зачинателей русского символизма. После 1917 г. — эмигрант.

² *Волынский (Флексер) В. Л. (1861–1926)* — русский литературный и балетный критик.

³ *Сорель Жорж (1847–1922)* — французский философ-эклектик, теоретик анархо-синдикализма.

⁴ *Парето Вильфредо (1848–1923)* — итальянский экономист и социолог. Один из основоположников функционализма.

⁵ *Боранецкий П. С.* — русский журналист, эмигрант (с 1928 г.); издатель сборников «Третья Россия» (30-е годы).

М. М. Карпович

ДВА ТИПА РУССКОГО ЛИБЕРАЛИЗМА

Маклаков и Милюков*

Слабость русского либерализма в дореволюционной России обычно принималась в исторической литературе как нечто общеизвестное и само собою разумеющееся. Такая характеристика русского либерализма считалась результатом общей слабости среднего класса в России, что в свою очередь также принималось скорее а priori, без особых доказательств. Кроме того, надо указать еще на другое общее допущение, а именно — на существование якобы органической связи между либерализмом и средними классами, как будто для этих последних было вполне естественно способствовать политике какого-то среднего направления. Таким образом устанавливалась как бы определенная тенденция к отождествлению среднего класса с тем, что называется «буржуазией» в марксистском понимании этого термина. В действительности же все эти допущения трудно принять «на веру». Отнесение какой-либо общественной группы к роли «среднего класса» только указывает на ее центральное положение в данном обществе, но природа «среднего класса» может изменяться в разных странах в зависимости от общей социальной структуры.

Так можно оспаривать, как это было оспариваемо и в отношении польской шляхты, что по существу масса русского дворянства была «средним классом», отличным от «земельной аристократии». Но гораздо существ-

* Эта статья М. М. Карповича была напечатана только по-английски. Она появилась в сборнике «Continuity and Change in Russian and Soviet Thought» (1955), вышедшем под редакцией проф. Э. Симмонса в изд-ве Harvard University Press.

веннее другое положение, а именно то, что при таком понимании как бы постулируется наличие связи между «средним классом» и либерализмом.

Из исторического опыта мы знаем, что при известных условиях группы «среднего класса» иногда могут поддерживать весьма крайние политические течения, как это было в итальянском фашизме и германском нацизме, или частично отступать со своих либеральных позиций, как это было во Франции в период Третьей империи или в Германии Бисмарка.

С другой стороны, история европейского либерализма отнюдь не может быть сведена только к истории «деловой цивилизации», как это пытался сделать Гарольд Ласки¹. При таком подходе совершенно игнорируется важность других элементов, что убедительно показал Гвидо де Руджиеро², указав на глубокую важность религиозных расхождений и на защиту «традиционных свобод» привилегированным сословием феодального происхождения. Я не имею ни надобности, ни возможности обсуждать в моей статье эти общие вопросы. Все мои замечания имели своей целью только указать на сложность рассматриваемой проблемы и на необходимость ее дальнейшей разработки. Жаль, что история русского либерализма была у нас в пренебрежении. Для многих предвзятое мнение о слабости русского либерализма вполне подтверждалось развитием событий в России с момента революции. Зачем придавать большое значение политическому течению, которое оказалось неспособным дать какие-нибудь положительные результаты и потерпело столь решительное поражение?

Ответ на этот вопрос двояк. Во-первых, исторический процесс не знает никаких «последних» результатов, никаких «окончательных» побед или поражений. А во-вторых, важность исторических явлений должна оцениваться во времени их возникновения, а не в освещении их историком *post factum*. Конечно, — «горе побежденным!» — но этому девизу никогда не может следовать историк.

Как и везде, либерализм в России не был однородным движением. Он шел из разных общественных групп, и разнообразные мотивы руководили людьми,

присоединявшимися к либеральному движению. Это отсутствие однородности ясно отразилось в создании конституционно-демократической партии в России в октябре 1905 г.

Не раз уже указывалось на то, что эта партия зародилась как результат слияния двух сил: с одной стороны — земские либералы, с другой — либерально настроенные группы свободных профессий. Конечно, в этом есть некоторое упрощение. В этой новой партии мы найдем и другие элементы, строго говоря, не принадлежащие ни к одной из двух основных групп и содержащие в себе значительное разнообразие политических оттенков. Но в общем мы должны признать правильной вышеуказанную характеристику двух главных составных частей конституционно-демократической партии, и именно в свете такого разделения я буду в дальнейшем говорить о двух типах русского либерализма, представленных Милюковым и Маклаковым.

Василий Алексеевич Маклаков, родившийся в 1869 г., был на десять лет моложе Павла Николаевича Милюкова. И если я начну свой обзор именно с Маклакова, то только потому, что именно в нем особенно ярко представлены характерные черты земского либерализма, которые исторически предшествовали таким же чертам в представителях свободных профессий. Так случилось не потому, что Маклаков сам был земским деятелем, а потому что все его политическое воспитание прошло под влиянием земских либеральных традиций. В своих воспоминаниях он говорит о своем отце и об окружавших его людях как об убежденных сторонниках Великих Реформ 1860-х гг., проникнутых желанием продолжения и расширения их, но остававшихся безразличными к политике. Он рисует их как решительных противников террористической деятельности «Народной воли».

И в гимназии, и в университете Маклаков нашел русскую молодежь, всецело разделявшую взгляды старшего поколения. Согласно наблюдениям Маклакова, даже студенческие беспорядки 1887 и 1890 гг., когда он был студентом Московского университета, не были «политическими». Значительное большинство студентов руководилось интересами академической свободы и чувством «студенческой солидарности». Эти студенты

решительно отклоняли все попытки их более радикальных товарищей внести в студенческое движение общеполитические лозунги. Когда в 1890 г. московские студенты организовали общественную панихиду по Чернышевскому, умершему в 1889 г., — это было опять-таки больше выражением их симпатий к человеку, который страдал за свои убеждения, чем политической манифестацией. В последнем томе своих мемуаров, говоря о себе в возрасте 20 лет, Маклаков пишет, что все его симпатии были «с теми представителями духа Великих Реформ, кто хотели продолжения улучшения Русского Государства на основах законности, свободы и справедливости, исходя из всего того, что уже существовало в действительности».

Характерно, что путешествие Маклакова во Францию в 1889 г. было для него «уроком консерватизма». То, что наиболее поразило его в этом путешествии, так это картина страны, где «права государства могли быть согласованы с правами человека» и где даже оппозиция «указывала на исторические причины, вызвавшие ее к жизни»... Столетие Французской революции побудило Маклакова читать текущую литературу, посвященную этому юбилею, и из этого чтения он извлек для себя «новое историческое понимание» революции, бывшее в полном противоречии с идеализированным и романтическим толкованием, столь популярным в то время в России среди русских радикалов. Очень характерно для Маклакова, что из всех лидеров Французской революции его любимым был Мирабо. Будучи в Париже, Маклаков встречался с некоторыми лидерами французских студенческих организаций преимущественно профессионального, а не политического характера. Такие знакомства в значительной степени воодушевляли Маклакова в той работе, которую он начал по возвращении в Россию, — попытке развить неполитические студенческие организации в Московском университете (общество взаимопомощи и другие), действовавшие тогда в узких пределах легальных возможностей. Таким образом Маклаков стал одним из первых создателей того, что впоследствии называлось «академизмом» (термин пренебрежительного смысла в устах радикальных студентов). Здесь Маклаков проявлял в действии свой

либерализм, шедший не в оппозиции, но в согласии с общей программой «улучшения Русского Государства», начиная с того, что уже «существует в действительности».

В те годы Маклаков был под сильным влиянием кружка Любенкова, известного московского юриста, где собирались общественные деятели, главным образом из числа земцев. Через десять лет Маклаков стал секретарем такого же кружка «Беседа», возглавлявшегося Д. Н. Шиповым³, впоследствии одним из основателей Партии 17 октября⁴. К «Беседе» принадлежали и такие земцы-политики, как Н. А. Хомяков⁵ и М. А. Стахович⁶. Любенков и Шипов были определенно славянофильского толка. Хотя они и не следовали строго славянофильской доктрине, явно отклоняясь от ее почти анархических тенденций, характерных, например, для политической теории К. Аксакова. Тем не менее они тесно примыкали к славянофилам и в их как бы ослабленной антигосударственной позиции, и в их подчеркнутой склонности к «общему делу», явно отличной, если не враждебной, по отношению к политической активности, и в их относительном безразличии к формам правления, и к строго определенным конституционным формулам, и в их традиционализме... Не может быть никакого сомнения в том, что именно влияние таких людей оставило свои следы на либерализме Маклакова. Но был один пункт, в котором Маклаков существенно отличался от славянофилов: он был убежденный сторонник необходимости правовых гарантий для охраны прав человека и его свободы.

После нескольких лет усердного изучения истории, приведшего Маклакова к мысли об избрании чисто академической карьеры, он все-таки перешел к изучению юриспруденции и решил стать адвокатом. Это решение было принято не по причинам интеллектуального или практического характера, но в соответствии с чувством гражданского долга. Вот как сам Маклаков говорит об этом: «...Мой непродолжительный жизненный опыт показал мне, что главное зло русской жизни было в торжестве произвола, всегда безнаказанного, в беспомощности индивидуума перед административным решением и в полном отсутствии законных оснований

для самозащиты... В защите индивидуума от беззакония, т. е. в защите самого закона, и было существо общественного служения адвокатской профессии». Но и эта защита индивидуума отнюдь не должна была быть выражаема в духе острой партийности, и долг адвоката всегда требовал поисков какого-то синтеза прав государства, с одной стороны, и прав индивидуума — с другой. В этом вкратце и заключена вся философия компромисса, которая была характерна для Маклакова-политика.

Значение юридической карьеры Маклакова в развитии его либеральных воззрений идет далеко за пределы чисто биографического интереса. Это имеет более широкое значение, поскольку указывает на другой важный элемент в развитии русского либерализма — этого двойника германской идеи «Правового Государства», которая хотя и не обязательно была связана с политическим либерализмом, но все же вела своих последователей к борьбе за упразднение самодержавия и установление конституционного режима.

К сожалению, у нас нет данных, чтобы так же подробно проследить развитие политических взглядов П. Н. Милюкова. Его мемуары все еще не опубликованы*, а рукописи все еще недоступны для исследователей. Несколько глав политических воспоминаний Милюкова, опубликованных в эмигрантских журналах (1938—1939 гг.) в Париже, относятся к очень короткому периоду 1904—1906 гг. и значительно уступают в яркости и своеобразии мемуарам Маклакова. То же следует сказать и о других политических работах Милюкова. У нас нет и полной биографии Милюкова. Таким образом, мы вынуждены ограничиться только указанием тех черт в обрисовке политической фигуры Милюкова, которые ясно отличают его от Маклакова. От самого Милюкова мы знаем, что в юности он был под влиянием Спенсера и Конта и в студенческие годы серьезно изучал сочинения Маркса. Его умственные запросы были приблизительно одинаковы с запросами всех более или менее радикально настроенных студентов того

* Статья М. М. Карповича была опубликована до выхода в свет «Воспоминаний» П. Н. Милюкова.

времени. И в этом отношении отличались от взглядов Маклакова с его умеренным уклоном в сторону славянофилов. Хотя Милюков принадлежал к умеренному крылу студенческого движения, тем не менее он с симпатией следил за борьбой «Народной воли» с самодержавием, усматривая в ее террористической деятельности «одно из средств политической борьбы». В этом сказывается значительное различие между умонастроениями Милюкова и безоговорочным осуждением политического террора Маклакова. Если Маклаков отражал в себе воззрения умеренного земского большинства, то Милюков явно шел вместе с более радикальным меньшинством ранних земских либералов. Один из таких либералов И. И. Петрункевич⁷, пытавшийся создать нечто вроде рабочего союза с революционерами, впоследствии оказался главным политическим наставником Милюкова.

В сборнике очерков, посвященных семидесятилетию Милюкова, С. А. Смирнов указывает на 1891 г. как на начало активной политической деятельности Милюкова, хотя В. А. Оболенский⁸ утверждает, что Милюков был «убежденным демократом и либералом» ко времени окончания им университета. Во всяком случае вполне несомненно, что Милюков-политик созрел гораздо медленнее, чем Милюков-ученый. В течение многих лет по окончании университета Милюков был всецело погружен в изучение и преподавание истории. За период 1892–1902 гг. в печати появились самые важные работы Милюкова, начиная с «Национального хозяйства России и реформ Петра Великого» и кончая третьим томом «Очерков по истории русской культуры». Усиленная научная работа Милюкова продолжалась и после того, как его академическая карьера была резко оборвана его удалением из Московского университета на основании явно вымышленных обвинений чисто политического характера. Хочется даже сказать, что активным политическим деятелем Милюков сделался явно вопреки собственной воле.

Настоящая политическая деятельность Милюкова началась в первые годы XX века одновременно с общим оживлением оппозиционных настроений в России и в особенности в связи с образованием «Союза Освобожде-

ния»⁹. В противоположность Маклакову Милюков принял участие в «Союзе Освобождения» с самого начала его деятельности, тогда как Маклаков, по его собственному признанию, оставался на периферии вплоть до установления в стране конституционного режима. Такое различие, конечно, было не случайно. Милюков присоединился к движению с желанием вынудить земские элементы к более радикальным действиям и к более близкому единению с интеллигентами левого течения. Для Маклакова такое положение было источником серьезных сомнений и осложнений. Исходную силу освободительного движения он видит в его первоисточнике — в земском движении, органически связанном с «Эпохой Великих Реформ» и живущем традициями общественной работы местного самоуправления. Таким образом, первоначальная сила движения скорее ослаблялась от ее связи с другими общественными элементами, у которых не было никакого практического политического опыта. Эти новые союзники отличались от большинства земских деятелей не только по их конечным целям, но, что важнее, по выбору средств для достижения этих целей. Под этим влиянием «освободительное движение сделалось явно безразличным к той пограничной черте, которая разделяет эволюцию государства от бедствий революции».

Некоторые критики обвиняли Маклакова в том, что он рассматривает прошлое в свете его более позднего опыта, вынесенного из последующих исторических событий. Но если даже такое возражение в известной степени справедливо, у нас все же имеется достаточно свидетельств, чтобы видеть, что в большей части суждения Маклакова отражают в себе именно те его мнения, которых он придерживался в момент, когда производил оценку этих событий. Это вполне подтверждается его отдалением от освободительного движения. И тем как бы случайным участием его в кадетской партии и его избранием в центральный комитет партии. Сам Маклаков искренно признается, что он не был хорошим членом кадетской партии. Кроме того, бывали случаи, когда в важных вопросах он был в полном несогласии с большинством партии и с ее лидерами. В свою очередь и партия, весьма ценя исключительное ораторское да-

рование и юридическую эрудицию Маклакова, не видела в нем вполне надежного члена партии.

Совершенно невозможно в рамках этой статьи проследить всю полемику между Милюковым и Маклаковым в различных ее стадиях.

Но это вовсе и не необходимо для темы этой статьи. То, что нам нужно,— это указание на основные расхождения двух исключительных представителей русского либерализма, указание на разность их основных воззрений и на разность общего характера их политической деятельности.

В этом случае, как и во многих других русских политических течениях, революция 1905 г. как бы играла роль катализатора. Для Маклакова, при его отталкивании от всякой революции вообще, революция 1905 г. только усилила его боязнь и укрепила его убеждение, что революционные методы не только нежелательны, но в конце концов бесполезны. Маклаков рассчитывал на процесс эволюции, который в своем ходе должен изменить данный режим как бы «под давлением самой жизни». По его мнению, гораздо полезнее было способствовать ходу мирной эволюции режима, чем способствовать его полному разгрому. «Историческая мощь государства» имеет на своей стороне одно решительное преимущество: народы всегда одержимы привычкой повиновения государству. Именно эта инерция повиновения разрушается революцией, а вместе с ней уходит и та законная преемственность, которая так нужна для нормального роста нации. Результаты можно предвидеть на основе исторического опыта: новое правительство, вышедшее из революции, или будет так слабо, что не сможет удержаться у власти, или же будет вынуждено превратиться в безжалостную диктатуру.

У Маклакова не было иллюзий относительно природы русского режима того времени, но он все-таки думал, что этот режим поддастся давлению организованного общественного мнения, если либералы будут стараться использовать всякую возможность достижения соглашения в программе постепенно вводимых реформ. В этом и была историческая задача русского либерализма. Маклаков чувствовал, что либералы теряют воз-

возможность своего участия в мирной эволюции России, поддерживая бескомпромиссное, враждебное отношение к режиму и, таким образом, ставя себя в среду разрушительных революционных сил страны. Этот призыв к Ахерону (символ «подземного мира» в греческой и римской поэзии) обрекал либералов: их дело должно было погибнуть и при победе революции и при ее решительном поражении.

С точки зрения Маклакова, неудача русских либералов была в их доктринерском подходе к политической цели, что сделалось очевидным после провозглашения конституционного режима. Октябрьский манифест 1905 г. открыл действительную возможность к мирному решению назревших вопросов, и, таким образом, для кадетской партии был открыт путь к ее руководящей деятельности. Для этого прежде всего была необходима как бы психологическая демобилизация. Но, к сожалению, партия не могла отделаться от «психологии войны» и вместо поиска устойчивого мира с правительством, основанного на неизбежном компромиссе, партия настаивала на продолжении борьбы «до окончательной победы». По этому поводу Маклаков цитирует слова Милюкова, сказанные им немедленно по прочтении Октябрьского манифеста: «...ничто не изменилось, война продолжается». Это вызвало безжалостную критику Маклаковым политики кадетской партии за время 1905–1907 гг. Главные пункты его обвинений могут быть сформулированы так:

1. Максимализм программных требований партии, в особенности созыв Учредительного собрания, что не могло быть осуществлено без полной капитуляции царского правительства.

2. Бескомпромиссное¹⁰ отношение партии к Витте¹⁰ и Столыпину¹¹, которые — по Маклакову — могли и должны были быть использованы как союзники, а не отброшены как враги.

3. Безоговорочное отрицание лидерами партии самой идеи участия кадетов в правительствах Витте и Столыпина.

4. Тенденция партии использовать Государственную Думу не для конструктивной законодательной работы, а как трибуну противоправительственной агитации.

5. Догматические требования немедленного пересмотра Основных законов, имея в виду всеобщее избирательное право, ограничение компетенции Государственного Совета и ответственность министров.

6. Наконец, опубликование Выборгского воззвания было мерою явно революционного характера, так как и роспуск Государственной Думы и назначение новых выборов не противоречили конституции.

Маклаков соглашается, что те или иные кадетские лидеры не хотели революции и не рассчитывали на ее окончательный успех. Но он чувствует, что в противоположность ему они не боялись революции, как боялся ее он, — одни не верили в ее победу, другие — полагали, что революция будет остановлена в ее начальной фазе. Во всяком случае они рассчитывали, что «сама угроза революции могла бы побудить правительство к уступкам, и поэтому они продолжали свои ставки именно на эту картину, не сознавая, что они играли с огнем».

Я хочу еще раз подчеркнуть, что на основании доступных мне материалов я не могу изложить взгляды Милюкова так же систематически и полно, как это было сделано в отношении Маклакова. Два тома, в которых Милюков собрал свои статьи, напечатанные за время 1905—1906 гг., содержали именно то, что указано в из заглавиях, а именно — комментарии публициста на текущие политические события, а его позднейшие статьи (эмигрантского периода) также не дают материала для характеристики его либеральной установки. Даже две статьи, написанные в ответ Маклакову на его критику кадетской политики, представляются *ad hoc* написанными возражениями, касающимися только отдельных противоречий и подробностей.

Милюков начинает свою защиту кадетской партии с чисто фактических ссылок на те условия, в которых партия должна была формулировать свою программу и предпринимать политические решения. Он напоминает Маклакову, что партия «живет не абстрактными и кабинетными разговорами». Положение партии все время меняется то вправо, то влево «вместе с жизнью русского общества». В другом месте он ссылается на психологию того времени, на тот взрыв эмоций после событий 1905 г., от которого ряды партии не были застрахова-

ны. Он указывает на то, что лидеры партии, пытаясь удержать среднюю позицию, бывали нередко вынуждены делать уступки более нетерпеливому настроению членов партии. Во всяком случае он настаивает на том, что хотя кадетская программа и была «радикальной», но она не была утопической. Точный смысл выражения «радикальный» указывается ссылкой Милюкова на «неолиберализм» как на подобное же настроение в Западной Европе. Раньше, в октябре 1905 г., в его речи, открывавшей собрание конституционно-демократической партии, Милюков сделал то же сравнение в несколько иных выражениях: «Наша партия стоит ближе всего к тем группам западной интеллигенции, которые известны под именем “социальных реформаторов”, и наша программа, несомненно, является наиболее “левой” среди всех программ, выдвинутых подобными политическими группами Западной Европы».

В другом месте Милюков обвиняет Маклакова в использовании тактики в ущерб программе, в придании более важного значения средствам, чем целям. Милюков утверждает, что при известных условиях даже либерал может сделаться революционером и что, таким образом, отнюдь нельзя отождествлять либерализм с строго легальным путем политического действия. Столь же ошибочно смешивать защиту законности вообще с защитой данного положительного закона, как это старается сделать Маклаков. Не менее ошибочно приписывать столь важную роль сохранению юридической преемственности при переходе от одного политического порядка к другому.

Если в этих последних рассуждениях Милюков противопоставляет свой исторический релятивизм традиционализму Маклакова, то в других случаях, говоря о подходе к политическим задачам, Милюков осуждает Маклакова именно за его слишком релятивистскую точку зрения. Главный недостаток Маклакова-политика Милюков видит в его попытке переносить в сферу политики психологию и методы адвоката. Всякий адвокат совершенно неизбежно приобретает профессиональную привычку «видеть часть правды у своего оппонента и часть ошибочности в самом себе». Тогда как политик не может позволить себе роскоши подобного безразли-

чия и «объективности» по отношению к «содержанию правды». В этом пункте Милюков наносит сильный удар по самой сути «философии компромисса» Маклакова. Кроме чисто теоретического расхождения, в этом споре выясняется резкое различие в интерпретации самих политических событий. Милюков ни в малейшей степени не разделяет оптимистической оценки Маклаковым тех возможностей, которые якобы существовали для мирной эволюции России после провозглашения конституционного режима. Выше я цитировал мнение Милюкова о том, что в опубликовании Октябрьского манифеста он не видел наличия никаких перемен, которые могли бы побудить его к прекращению борьбы с правительством. И двадцать пять лет спустя Милюков утверждал правильность своего первоначального диагноза. Ссылаясь на слова Николая II, что после пересмотра Основных законов «самодержавие осталось таким же, каким оно было до этого», Милюков утверждал, что царь был ближе к правде, чем Маклаков, «даже с формальной точки зрения». Так же настойчиво Милюков утверждал, что кадетские лидеры были совершенно правы, отвергая заигрывания и Витте, и Столыпина, ибо не видели в них никакой искренности. Лидерам к. д. было ясно, что, приняв участие в правительстве на тех условиях, которые им предлагались, они вовлекли бы самих себя в ловушку: не имея возможности оказать решительное влияние на правительственную политику, они в то же время скомпрометировали бы себя в глазах народа.

Как эти соображения отражались на тактике Милюкова в 1905–1906 гг., хорошо видно из некоторых его выступлений в качестве лидера кадетской партии. Так, при открытии первого собрания партии он сказал: «В нашей борьбе за наше дело мы не можем рассчитывать ни на полное соглашение, ни на компромиссы с правительством, и мы должны высоко поднять наше знамя, уже развернутое в начале всеобщего Русского Освободительного Движения, поставившего целью созыв Учредительного собрания»... Эти слова были сказаны за несколько дней до опубликования Октябрьского манифеста. И на следующий день после объявления Манифеста собрание кадетской партии приняло резолюцию

(несомненно, редактируемую Милюковым), в которой было сказано: «...так как Государственная Дума не может быть признана как полномочный орган народного представительства, то цель конституционно-демократической партии остается тою же самой, как раньше, — а именно — созыв Учредительного собрания»... «Что же касается Государственной Думы — она может служить для кадетской партии только как одно из средств достижения вышеупомянутой цели при поддержании постоянного и близкого контакта с общим ходом освободительного движения вне Думы»... Последняя фраза ясно указывает на согласование усилий кадетской партии с деятельностью левых партий. Эта теза была представлена Милюковым на первом собрании в таких выражениях: «...между нами и нашими союзниками (не противниками) слева (как я предпочитаю их называть) существует некоторая пограничная черта, но это разграничение совсем другого сорта, нежели наше разграничение с теми, кто справа от нас. Таким образом мы стоим в том же левом крыле русского политического движения. Мы не присоединяемся к левым в их требованиях демократической республики и национализации средств производства. Для некоторых из нас такие требования вообще неприемлемы, для других эти требования лежат вне практической политики, но поскольку при различных мотивах мы можем идти вместе к нашей общей цели, обе группы в нашей партии будут действовать как одно целое»...

С течением времени различие между Милюковым и Маклаковым значительно утратило свою остроту — во всяком случае, поскольку это касалось «тактических задач». Ход событий привел к этому. В конце 1907 г. революционная волна спала, и не было признаков возможности ее восстановления. Правительство вернуло свой контроль над страной, и в Думу вошло консервативное большинство. Кадетам пришлось приспособляться к новой обстановке. «Сохранить Государственную Думу» — был теперь официальный лозунг, который призывал к тому, чтобы наилучшим образом использовать существующие обстоятельства, как бы ни были скромны проявления законодательной деятельности. По такому пути кадетская партия, все еще руководимая

Милюковым, двигалась вправо... в направлении Маклакова! Но в партии наблюдалось и обратное течение, влекшее к себе умеренных членов типа Маклакова и даже тех, кто был правее его. Это течение не было исследовано историками, хотя оно, несомненно, существовало как медленный, но вполне явный уклон в жизни последних двух Государственных дум. По мере того как Государственная Дума укреплялась, даже ее консервативное большинство делалось все менее склонным примириться как с административным произволом, так и с взглядом на незначительность работы Думы. К концу этого периода дух оппозиции в Госдуме чувствовался уже за пределами кадетской партии и ее левых спутников. Таким образом была подготовлена почва для создания прогрессивного блока в 1915 г. и Временного правительства.

Все это, однако, не лишает значительного исторического интереса те противоречия (бывшие во время кризиса 1905—1906 гг.), когда два различных понимания либеральной политики оформились вполне отчетливо. По существу, русские либералы оказались перед той же задачей, которая стояла и перед социал-демократами того времени, а именно: какова была природа тех преобразований, которые произошли в России и каковы были их возможные пределы? Тесно связанным с этой задачей был и другой вопрос: какие силы страны могли привести эти преобразования к успешному концу? Маклаков видел историческую необходимость в продолжении и завершении Великих Реформ 1860 г., в установлении в России политического порядка, основанного на праве и самоуправлении. Он верил, что это и могло, и должно быть достигнуто мирным эволюционным путем, без каких-либо разрушений существующей общественной и политической структуры, которая не могла быть демократизирована немедленно. Для того времени устойчивые реформы могли бы быть осуществлены только под руководством тех элементов населения, которые были достаточно подготовлены их предшествовавшим практическим опытом в области общественных и правительственных работ. Вот почему либералы должны были сблизиться с теми группами, которые были правее их, но признавали необходимость реформ; вот поче-

му нужно было искать сближения и согласия с правительством при всякой представлявшейся к тому возможности.

Маклаков преуменьшал опасность реакции, для нее он не видел достаточных оснований в наиболее ясно наметившихся течениях политической жизни страны. Для Маклакова главная опасность была слева, а не справа. Это была опасность хаотического и безвластного революционного взрыва, вызванного (если не спровоцированного) демагогической политикой.

Милюков ожидал от русского кризиса гораздо более положительных результатов, чем те, которые рисовались Маклакову. В представлении Милюкова введение в России настоящего парламентского режима было насущной необходимостью, а не программой какого-то более или менее отдаленного будущего. В противоположность Маклакову он рассматривал свою страну вполне созревшей для народоправства, и он чувствовал, что либералы должны бороться ради этой цели, пока к этому есть возможность. Будучи человеком гораздо более политически мыслящим, чем Маклаков, Милюков хотел, чтобы и конституционные гарантии были сформулированы немедленно. Та крайняя важность, какую Милюков придавал деятельности учреждений, что для его критиков было лишь выражением его формализма как ученого, на самом деле исходила из его глубокой веры в логику политических учреждений. Он, конечно, не игнорировал и общественные аспекты общерусской задачи, постоянно подчеркивая необходимость радикальной земельной реформы и настойчиво борясь за политическую демократию. Известно, что кадетский проект аграрной реформы, выработанный при непосредственном участии Милюкова, в тогдашней политической обстановке часто представлялся как бы в кривом зеркале. Но фактически этот проект предлагал принудительное отчуждение частной собственности в таком масштабе, который вызвал бы революцию в любой из современных западных стран.

Милюков, конечно, хорошо знал, что его общественная и политическая программа не могла получить поддержку среди умеренных и быть основой для соглашения с правительством. Поэтому, преследуя свои задачи,

он был вынужден искать союзников среди партий левой оппозиции, при всем его недоверии к их целям и методам. Если Маклаков смягчал опасность реакции, то Милюков, по-видимому, смягчал опасность революции. Для него настоящие враги были справа, а не слева.

В этой статье я не задаюсь целью дать оценку двух вышеописанных политических установок. Моя задача состоит в том, чтобы показать, что обе они были в прямой и тесной связи с реальностями дореволюционной жизни и имели свои корни в традициях русской жизни. Маклаков мог бы назвать своими предшественниками тех общественных деятелей и просвещенных бюрократов, кто в XIX веке, начиная со Сперанского¹², трудились над внесением законности в деятельность русского правительства; защитников личной и гражданской свободы середины XIX века; создателей Великих Реформ и умеренных земцев-либералов.

Политическая же генеалогия Милюкова идет от декабристов, Герцена в некоторые его периоды, к радикальным земцам-конституционалистам типа Петрункевича и, наконец, к позднейшим революционерам XIX века, кто были готовы подчинить все другие цели одной немедленной необходимости установления конституционного режима в России. Ни Милюков, ни Маклаков отнюдь не были «без корней» больше, чем все либеральное движение в России, два различных типа которого они представляли. Очень много всегда говорилось об отсутствии в России общественной базы для либеральной партии. Но строго говоря, ни у одной политической партии в России не было устойчивой, надлежащим образом организованной политической базы. Если иногда революционные партии вырастали внезапно, как это случилось с социал-демократами и социал-революционерами в 1905 г., то сейчас же при спадении революционной волны эта неожиданная база начинала распадаться, и очень скоро партийные организации оказывались в их прежнем, более чем скромном, положении. Но и у либералов тоже были периоды их широкого влияния, в 1904 г. и в 1906 г. Можно предполагать, что потенциальная общественная база у революционных партий была шире, чем у кадетской партии. Это несомненно верно, если принять революци-

онный переворот в царской России как неизбежность; но отсюда никак не следует, что у либералов вовсе не было в России общественной базы. И Милюков, и Маклаков признают, что кадетская партия встречала массовый отклик среди мелкого среднего класса горожан и что ее связи в этой среде росли. А так как эта среда численно никак не была меньше, например, числа фабричных рабочих, то ее никак нельзя расценивать как *quantité négligeable**. По-видимому, часть этих кадетских избирателей устояла даже после революционного переворота 1917 г., потому что иначе нельзя понять, как могла бы кадетская партия получить около двух миллионов голосов на выборах в Учредительное собрание. Профессор Oliver H. Radkey в его превосходном обзоре этих выборов говорит, что кадеты были «вымыты начисто» из политической жизни России. Я же склонен думать иначе, ибо даже при наличии всех трудностей кадеты удержались на удивление успешно. Во всяком случае никакого заключения о возможных силах либерализма в дореволюционной России нельзя делать, основываясь на поражении кадетской партии во время революции.

Русские либералы разделили историческую судьбу всех умеренных групп, захваченных революцией. И для объяснения этого явления совсем нет надобности искать причины в каких-то особенностях России. Это — один из конкретных примеров той политической поляризации, которую позднее мы наблюдали и во многих западных странах, где были гораздо более крепкие средние классы и гораздо более сильные либеральные традиции, чем в России, и в которых к тому же революция не достигала той агонии. Мне думается, что оценка исторической важности русского либерализма должна быть сделана на иных основаниях.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Карпович Михаил Михайлович (1888–1957) — историк русского либерализма, журналист. Родился в Ти-

* Величина, которой можно пренебречь (фр.).

флисе (Тбилиси) в интеллигентной дворянской семье. Мать его была родной сестрой известного историка профессора Преснякова. В гимназические годы в Тифлисе Карпович сблизился на короткое время с партией эсеров, а в более зрелые годы примкнул к кадетам, симпатизируя наиболее умеренным ее представителям. С 1908 по 1914 г. учился в Московском университете на историческом отделении, испытав наибольшее влияние со стороны М. М. Богословского и Д. М. Петрушевского. Встреча весной 1917 г. с другом семьи Б. А. Бахметьевым, назначенным вскоре русским послом в США, определила всю дальнейшую судьбу Михаила Михайловича. Заняв место секретаря посла, он перебирается в США, участвует в 1918–1919 гг. в работе Парижских мирных конференций, а с 1927 г. принимает приглашение от Гарвардского университета занять освободившуюся кафедру русской истории, которой заведовал до 1957 г., создав, по признанию его многочисленных учеников, особую школу русской историографии в США. «Прекрасный английский язык и изящество изложения,— вспоминает С. Зеньковский,— всегда производили сильнейшее впечатление на слушателей. Нередко приходилось удивляться необычайной стройности его лекций, умению блестяще сопоставлять проблематику философии истории с колоссальным количеством исторического материала»¹.

Пожалуй, наиболее яркий эскизный портрет Карповича как личности оставил его преемник на посту редактора «Нового журнала» Роман Гуль. «Если бы меня спросили,— пишет он,— как я коротко охарактеризовал бы М. М., я ответил, может быть, неожиданно для многих. Я думаю, по своему облику М. М. прежде всего был русский барин. Именно — барин. Но, конечно, не в бытовом, “классовом”, а утонченном и духовном смысле этого понятия. Вот таким барином был Герцен... Разумеется, М. М. был и ярким представителем русской интеллигенции, да. Но в характере М. М. не было ничего от разночинца. В его природе была духовная смесь барства и интеллигенции. И на мой вкус этот тип

¹ Зеньковский С. Вдумчивый историк // Новый журнал. Нью-Йорк, 1987. № 168–169. С. 402.

русского человека — самый обаятельный, самый притягивающий к себе духовно. К сожалению, он уже исчезает»².

Публикуемая статья принадлежит к лучшим историческим работам Карповича. «Метод и манера изложения Карповича, может быть, наиболее ярко проявились именно в этой отточенной и прекрасно написанной работе»³. В этой статье Карпович определил как «философию компромисса» высоко им ценимую политическую философию В. А. Маклакова, чьи взгляды и сама душевная структура были ему близки.

А. В. Соболев

ПРИМЕЧАНИЯ

Статья «Два типа русского либерализма» печатается по изд.: Новый журнал. Нью-Йорк, 1960. № 60. С. 265–280.

¹ Ласки Гарольд Джозеф (1893–1950) — английский социолог, один из теоретиков «демократического социализма».

² Де Руджиеро Гвидо (1888–1948) — итальянский историк либерализма. Автор «Истории европейского либерализма» (1925).

³ Шипов Д. Н. (1851–1920) — общественный деятель, «поздний славянофил».

⁴ Партия 17 октября (Союз 17 октября) — партия крупных землевладельцев и торгово-промышленной буржуазии в России (1905–1917); лидеры — А. Гучков и М. Родзянко.

⁵ Хомяков Н. А. (1841–1918) — председатель II Государственной думы.

⁶ Стахович М. А. (1861–?) — земский деятель, член партии мирного обновления, член I Государственной думы. После октябрьского переворота — эмигрант.

² Гуль Р. М. М. Карпович — человек и редактор // Новый журнал. Нью-Йорк, 1959. № 58. С. 24–25.

³ Зеньковский С. Указ. соч. С. 405.

⁷ *Петрункевич И. И.* (1843–1928) — земский деятель. Председатель ЦК партии кадетов, издатель газеты «Речь».

⁸ *Оболенский В. А.* (1869–?) — депутат I Государственной думы.

⁹ «Союз Освобождения» — нелегальное политическое объединение буржуазно-либеральной интеллигенции в России в 1904–1905 гг.

¹⁰ *Витте С. Ю.* (1849–1915) — граф, русский государственный деятель.

¹¹ *Столыпин П. А.* (1862–1911) — русский государственный деятель, реформатор. Министр внутренних дел и Председатель Совета министров (с 1906 г.).

¹² *Сперанский М. М.* (1772–1839) — граф, воспитанник Петербургской духовной академии. С 1807 г. — статс-секретарь Александра I.

В. В. Леонтович

ИСТОРИЯ ЛИБЕРАЛИЗМА В РОССИИ (1762—1914)

Вступление

Исторические источники либерализма.— Сущность либерализма.— Гражданский строй.— Административный строй.— Конституционный строй.— Политический радикализм.— Антиреволюционная сущность либерализма.

Как ясно уже из самого названия, основная идея либерализма — это осуществление свободы личности. А основной метод действия либерализма — это не столько творческая деятельность, сколько устранение всего того, что грозит существованию индивидуальной свободы или мешают ее развитию. Именно в таком методе и кроются причины некоторой (по сравнению с другими программами) трудности, с которой либерализм завоевывает себе сторонников. Он не привлекает людей, которых на современном языке метко называют активистами, но которые несомненно представляют собою психологический тип, появляющийся всегда и во все эпохи, хотя, может быть, не в таком количестве, как сейчас.

Как известно, либерализм как разработанная уже система сменил абсолютистское полицейское государство. Однако в XVII и XVIII веках понятие «полиция» было гораздо шире, чем в дальнейшем. Под этим названием подразумевался весь бюрократический управленческий аппарат и весь административный строй, силь-

но развившийся в централизованных государствах XVIII века и выполнявший многочисленные и разнообразные функции. Естественным стремлением либеральных течений было ограничение этой системы управления с ее законами и ее организацией. Поэтому и оправдывается исторически мое утверждение, что метод либерализма — не творческая деятельность: не созидание, а устранение.

Либерализм — творение западноевропейской культуры и в основном плод уже греко-римского мира средиземноморской области. Корни либерализма уходят в античность, и к этой первоизданной его основе принадлежат такие вполне четко выработанные понятия, как правовая личность и субъективное право (в первую очередь право на частную собственность), а также некоторые учреждения, в рамках которых граждане участвовали в управлении государством и особенно в законодательной деятельности. Эта основа либерализма была вновь открыта западноевропейскими нациями и дополнена многочисленными новыми вкладками.

Разумеется, в этой книге я не могу касаться истории либерализма на Западе. Но я должен указать на два исторических источника западноевропейского либерализма: на феодальную систему и на независимость духовных властей от светских в Средние века. Итальянский историк Де Руджиеро начинает свою историю европейского либерализма цитатой из произведений мадам де Сталь, а именно ее замечанием: «Свобода во Франции — издревле завещанное благо, а насильственный строй, наоборот, явление новое». Де Руджиеро добавляет: «Эти слова исторически вполне обоснованы, так как свобода уходит корнями в общество феодальной эпохи, и тем самым она намного старше, чем абсолютизм новой монархии». С исторической точки зрения, свободы в западноевропейских государствах зиждятся на равновесии, образовавшемся между королевской властью и феодальными властителями. Первый пример возникновения такого равновесия (т. е. разделения власти) — это создание *Magnum Consilium* в Англии. В Западной Европе, значит, свобода впервые возникла через существование аристократии. Это подчеркивает и

французский юрист Ориу¹, специалист по государственному праву: «Важно определить историческую закономерность, общую для всех нормально возникших и развивавшихся государств: они переходили от аристократии к демократии. Политическая свобода, существующая в этих государствах, последовательно принимает две формы, сначала аристократическую, затем демократическую»*.

Независимость папы от носителей светской власти также являлась важным источником свободы на Западе, ибо на ней основывалась автономия духовных лиц от государства, и внутри государства возникала некая автономная от него сфера.

Мне пришлось выделить эти корни западноевропейского либерализма потому, что в России они отсутствовали. За представителями церковной власти никогда не признавалось положение суверенных властителей, а феодализма в России не было.

Хотя суть либерализма в России была совершенно тождественна с сутью западного либерализма, и он и в России должен был преодолеть абсолютистское и бюрократическое полицейское государство и прийти ему на смену, все же необходимо ясно отдавать себе отчет в том, что у русского либерализма не было этих важнейших исторических корней. И идеологически и практически русский либерализм в общем был склонен к тому, чтобы получать и перенимать от других, извне. А к этому надо еще добавить, что русский образец полицейского государства, воплощенный в крепостничестве, еще более резко противоречил принципам либерализма, чем западноевропейское полицейское государство, в области как политического, так и общественного устройства государства.

Либерализм — система индивидуалистическая, дающая человеческой личности и ее правам превосходство над всем остальным. Однако либеральный индивидуализм не абсолютен, а относителен. Либерализм отнюдь не считает, что человек всегда добродетелен и воля его всегда направлена на благие цели. Наоборот, либерализм хорошо знает, что человек, будучи наделен более

* Ориу М. Конституционное право. 2 изд. Париж, 1929. С. 139.

или менее самостоятельным сознанием и относительно свободной волей, может стремиться ко злу так же, как и к добру. Поэтому в отличие от анархизма (известные извращения которого и можно считать проявлением абсолютного индивидуализма), либерализм требует создания объективного правового государственного порядка, противостоящего воле отдельных людей и связывающего ее. Поэтому он одобряет учреждения или общественные формы, в которых отдельный человек подчиняется определенному порядку и дисциплине. Тем не менее это — индивидуалистическая система, потому что отдельный человек, личность стоит на первом месте, а ценность общественных групп или учреждений измеряется исключительно тем, в какой мере они защищают права и интересы отдельного человека и способствуют осуществлению целей отдельных субъектов. Таким образом, основное задание государства и всех прочих общественных объединений — защита и обеспечение этих прав. «Цель всякого политического союза — сохранение естественных и неотъемлемых прав человека» (Декларация прав человека и гражданина. 1789. Ст. 2).

Либерализм считает своей целью благополучие и даже счастье человека, а следовательно, расширение возможностей для человеческой личности беспрепятственно развиваться в полном своем богатстве. В согласии с этим либерализм считает основой общественного порядка личную инициативу, предпринимательский дух отдельного человека. Поэтому, как уже было сказано, либерализму свойственно сводить к минимуму все организации и все регламенты, которые являются элементом объективного порядка и как таковые противостоят субъективной предпринимательской инициативе отдельного лица и тормозят его энергию.

Из этого основного принципа либерализма — т. е. из убеждения, что социальный порядок зиждется на предпринимательском духе и воле отдельных лиц и оправдывается в той мере, в какой защищает субъективные права личности, — вытекают все дальнейшие требования либерализма. Либерализм провозглашает незыблемость частной собственности перед лицом государственной власти, потому что в ненарушимом обла-

дании благами, принадлежащими отдельным лицам, он видит самую действенную гарантию возможности для отдельного человека спокойно преследовать свои цели и развивать свои способности. В представлении либерализма человек, таким образом, хотя бы в какой-то мере огражденный от давления материальной нужды, может посвятить себя созданию своего собственного счастья. Лозунг либерализма — BEATI POSSIDENTES (блаженны имеющие, обладающие имуществом). Обладание имуществом расценивается как нечто положительное, поэтому либерализм, естественно, берет под свою опеку свободу тех видов деятельности, которые направлены на добывание и рост частной собственности. Либерализм добивается устранения всех ограничений частной инициативе и частному предпринимательству, ведущим к приобретению имущества. Надо, однако, добавить, что либерализм берет под свою защиту не только доходные предприятия. Он поддерживает всякую инициативу и все виды социальных предприятий, поскольку он видит в них проявление и обогащение человеческой личности, развитие сил и способностей человека.

Исходя из тех же принципов, либерализм добивается смягчения уголовного права. Человек, совершивший преступление, все же — человек, сохраняющий свою человеческую ценность. Задачей уголовного права не может быть просто обезвреживание (от имени и в интересах общества в целом) человека, проявившего преступные или антисоциальные наклонности. Наоборот, усилия и средства социальной единицы, к которой принадлежит совершивший преступление человек, должны быть использованы для того, чтобы поставить его в положение, при котором возможно его улучшение и перевоспитание. В наказании либерализм видит прежде всего средство для этого. Таким образом, благо человеческой личности представляет собой исходный пункт всех постановлений либерального уголовного права. Требование, чтобы каждый задержанный человек до истечения установленного законом и возможно более краткого срока предстал перед нормальным, т. е. объективным судом (а не перед специальным трибуналом) и все дальнейшие судебные гарантии, предусматривае-

мые на весь ход процесса,— все это основано на том же принципе.

В общем, основные принципы либерального индивидуалистического общественного порядка изложены с предельной краткостью и ясностью (чем они благоприятно отличаются от современных попыток декларации основных прав) во французской Декларации прав человека и гражданина 1789 г. Эта Декларация провозглашает четыре основных права, представляющих собой основу либерального порядка. Права эти: 1. Свобода. 2. Собственность. 3. Безопасность. 4. Право сопротивления (насилию, подавлению).

Названные права представляют собой то, что мы понимаем под названием гражданской свободы. Такая личная свобода имеет два аспекта: 1. Отмену частной правовой зависимости в любой форме. 2. Гарантию беспрепятственного проявления личной инициативы в предприятиях любого рода, иными словами, полную автономию частной инициативы также и по отношению к власти.

Поскольку названные человеческие права принято определять как естественное, природное право, ясно, что они в одинаковой мере должны принадлежать всем людям. Де Руджиеро пишет: «Естественное право представляет собой полное отрицание всяких привилегий уже потому, что оно связано с самой древней и самой обыкновенной из всех возможных привилегий: а именно, привилегией быть человеком»*. Это право, разумеется, принадлежит всем людям в одинаковой мере. Из признания естественного характера человеческих прав или основных прав личности вытекает требование равенства всех людей в правовом отношении. «Человек рождается свободным и остается свободным, и все люди равны в правовом отношении»,— гласит 1-я статья Декларации прав человека.

Нужно уметь совершенно ясно отличать политическую свободу от свободы гражданской. Политическая свобода — это право гражданина участвовать в управлении государством. 6-я статья Декларации гласит: «Все

* Де Руджиеро. История европейского либерализма. Бари, 1925. С. 25.

граждане имеют право лично или через своих представителей участвовать в законодательном процессе». Гражданская свобода, т. е. основные права, на признании которых построен гражданский строй, является самой высокой ценностью государства и его основным принципом. Поэтому политическая свобода рассматривается лишь как дополнение свободы гражданской, ее требуют лишь как гарантию для гражданской свободы, но при этом надо сказать, что политическая свобода представляет собой единственную гарантию и необходимое дополнение*. Ориу пишет: «Таким образом, можно без преувеличения сказать, что весь государственный аппарат строится для того, чтобы обеспечить существование гражданского строя»**.

Гражданский строй должен рассматриваться как источник цивилизации, потому что он несет с собой необходимые условия для возникновения духовных ценностей***. «Гражданская жизнь (подразумевается жизнь в рамках и условиях гражданского строя), — пишет дальше Ориу, — возможна только если в полной мере обеспечены ценность и значение собственности. Можно сказать, что в каком-то смысле гражданская жизнь, жизнь при установленном гражданском строе, связана с благосостоянием, ибо человек, благодаря преимуществу и обеспечению, которые дает ему его собственность, им созданная и добытая, не находится больше под давлением экономических забот и может думать о чем-то ином кроме ежедневных потребностей, может посвящать себя умственным занятиям и свободным профессиям, может заниматься общественными интересами и создавать себе какое-то представление о государстве, иными словами, он поставлен в такое положение, в котором он может становиться гражданином». Значит, частная собственность в известной степени может обеспечить собственнику благосостояние, а поскольку благосостояние представляет собой необходимое условие для творческого сосредоточения

* Там же. С. 57.

** Ориу М. Принципы общественного права. 2-е изд. Париж, 1916. С. 386.

*** В данном случае мы, конечно, совсем не принимаем во внимание бессмысленного противопоставления культуры цивилизации.

(ведь не случайно у греков места творческой работы назывались «схоли», а это слово значит в первом его понимании «благосостояние», «благоденствие»), бесспорно правильно считать частную собственность источником или, во всяком случае, необходимым условием для духовного творчества, а следовательно, видеть в гражданском строе, основанном на собственности, источник цивилизации. В этом и состоит, собственно, оправдание такого строя, и этим подтверждается высказывание Ориу, по которому обеспечение гражданского строя должно быть главной и конечной целью самого государства.

Бесспорно, аристократические режимы также обеспечивали правящему классу необходимое для духовной творческой деятельности благополучие. Однако эти аристократические режимы допускали существование правовых форм — и даже не только допускали, а требовали их, — которым присущи были жесткость и грубость, не приемлемые для гуманного сознания, а именно рабство и крепостное право. Правда, между имущими и неимущими в рамках гражданского строя часто существует фактическая, реальная разница, которая не меньше, чем разница между господином и крепостным в рамках аристократической системы. Однако есть существенное различие между этими двумя случаями: в рамках гражданского строя как имущий, так и неимущий располагают одинаковыми правовыми возможностями — тут нет правового запрета, нет положения, при котором человек не смеет пытаться улучшить свое состояние и свой статус.

Кроме того, государство располагает средствами, которые могут уменьшить неблагоприятные последствия такого фактического неравенства и которые реально и глубоко связаны с сущностью гражданского строя, основанного на частной собственности. Совокупность этих средств можно назвать административной системой, существующей параллельно с системой гражданской. Сущность административной системы состоит в том, что государство берет на себя целый ряд практических служб, которые раньше просто не существовали или были делом частных предприятий. При выполнении государством таких обязанностей заинтере-

сованность в материальной выгоде, которая от них может быть получена, отходит на второй план; государство интересуется прежде всего тем, чтобы при выполнении этих обязанностей была полная регулярность и полное равенство по отношению ко всем, чтобы услуги эти были предоставлены всем одинаково. Такой регулярный и всеобщий характер этих услуг позволяет оказывающим их административным учреждениям предоставить одинаково всем, даром или по чрезвычайно низкой цене, ряд «общественных удобств», как очень хорошо называют их французы. Таким образом, при помощи услуг, оказываемых административными учреждениями, многочисленные потребности неимущих часто удовлетворяются легче и лучше, чем удовлетворялись подобные же потребности имущих до возникновения административного строя, когда они добивались того, что им было нужно, просто частным экономическим путем. Так достигается в общем значительное повышение уровня жизни широких неимущих народных слоев. Такие преимущества административного строя бесспорны и в значительной мере оправдывают сильное развитие административного аппарата.

Но если государственные административные учреждения берут на себя удовлетворение многочисленных потребностей отдельных лиц, а частные предприятия тем самым в некоторой степени заменяются государственной бюрократией, это означает (говоря о настоящем времени, о нашей эпохе) как возврат к государственно-полицейскому строю абсолютной монархии XVII—XVIII веков, так и осуществление того, что принято называть социализмом и что (если мы осмелимся освободить это слово от того поэтического ореола, которым принято его окружать) в государственном, правовом смысле не представляет ничего иного, как крайнее развитие административного строя, бюрократизацию общественной жизни и в конечном итоге, в некотором смысле, возрождение старого полицейского строя. Таким образом, эти два аспекта обсуждаемого развития в значительной степени совпадают.

Хотя, как было уже сказано, развитие административной системы и выполнение целого ряда обязан-

ностей по обслуживанию населения бюрократическим аппаратом, бесспорно, вначале дает положительные результаты, тем не менее это развитие становится отрицательным и опасным с того момента, как оно переступает известную границу, приводит к чрезмерному росту административных учреждений, начинающих предлагать публике услуги, которых та от них не требовала и не ожидала. Ориу пишет: «Сама суть административной централизации такова, что, раз начавшись, она будет неизбежно стараться расшириться и с этой целью размножать общественные ведомства и учреждения». Этот процесс проявляется по-разному: например, свободные профессии, которые всегда являются носителями если не прямо идеи свободы, то во всяком случае стремления к свободе, заменяются бюрократическими учреждениями или сами бюрократизируются. А главным образом частное предпринимательство заменяется государственными предприятиями. Чрезмерное расширение административного строя или социалистических элементов в рамках государства угрожает задуть основную современную свободную государственную, иными словами, гражданский строй, основанный на индивидуалистических принципах, — просто разрушить тип государства, созданный западным миром. Такое чрезмерное развитие административной системы неизбежно грозит существованию гражданской свободы, потому что административные учреждения, каждое в своей области, занимают позицию монополий или пытаются ее занять; иными словами, они могут помешать любой попытке частной инициативы. Обычно они как раз к этому и стремятся и при этом используют административные предписания, т. е. оружие, против которого частное лицо совершенно беспомощно. Вообще тут создается положение, при котором общественное право разрастается за счет частного права, гражданское право подавляется административным правом, а все это неизбежно сужает, в той или иной мере, сферу гражданской свободы.

Наконец, чрезмерное развитие администрации может грозить и политической свободе, ибо политическая свобода основана на различных формах разделения власти. Развитие бюрократической администра-

ции всегда ведет к централизации и чрезвычайной концентрации власти, так что все формы разделения власти полностью исчезают или продолжают существовать как чисто формальные явления, начисто лишённые подлинного содержания. Свободное высказывание общественного мнения со временем также подавляется чрезмерным развитием административного строя*.

Однако, как говорит Ориу, государство представляет собой чрезвычайно богатое возможностями учреждение. В разумных пределах административная система является действенным средством для исправления недостатков одностороннего гражданского строя. Можно найти противовес опасностям чрезмерного развития административного строя. Этот противовес — конституционный строй. Между централизованной администрацией и конституционным правом, направленным на осуществление политической свободы; между административным строем и конституционным есть определенное противоречие**. Первая система основана на централизации и сосредоточении власти, вторая на децентрализации и разделении власти. Статья 16 Декларации прав гласит даже: «Общество, в котором не обеспечены права и не проводится в жизнь разделение власти, не имеет конституции». Надо заметить, что сама по себе децентрализация выражает конституционные тенденции даже тогда, когда она осуществляется лишь в рамках преобразования администрации, например, в виде замены бюрократической администрации самоуправлением***. На самом деле, государства начали вводить конституционный строй или для того, чтобы превзойти чрезмерное развитие административной системы, бюрократических и полицейских монархий (так обстояло дело в Европе), или, как было в Англии, для того, чтобы предотвратить, предупредить развитие административной системы во-

* Ориу М. Принципы... С. 603 и дальше.

** Там же. С. 601 и дальше, а также с. 612.

*** Там же. С. 610. Это наблюдение особенно важно для правильного понимания некоторых моментов политического и государственного правового развития России во второй половине XIX и в начале XX вв.

обще*. Значит, самое важное в конституции — это спасение свободы от подавления концентрированной государственной властью, централизованным бюрократическим административным аппаратом государства — иными словами, прежде всего — государственно-правовая и политическая защита гражданского строя, индивидуалистических принципов, на которых этот строй покоится, и индивидуалистических основных прав, которые этот строй воплощает.

Вследствие возникновения представительного и конституционного строя, структура государства приобретает различные формы и аспекты и сущность его обогащается. В таком государстве мы можем различать три системы, или три структурных элемента: 1. Гражданский строй: сферу субъективного права, личной свободы, частной автономии. 2. Административную систему: сферу централизации и сосредоточения государственной власти, социального или государственного обеспечения и авторитарного руководства. 3. Конституционный строй: конституцию, т. е. сферу самоограничения государственной власти путем возникновения основного равновесия между отдельными государственными органами или, как называют их французы, общественными органами власти, при помощи децентрализации власти, иными словами, при помощи ее разделения.

Классическое разделение власти — это *séparation des pouvoirs*, о котором говорит Монтескье в своем произведении «Дух законов» (*Esprit des loix*). Это разделение власти представляет собой в какой-то мере автономию законодательной власти и противопоставление ее правительству, которое принято чрезвычайно неточно называть властью исполнительной (я говорю «неточно», потому что, разумеется, функции правительства никоим образом не могут быть ограничены одним только исполнением законов), а также властью судебной. Все они — конституционные органы власти, входящие в рамки конституционной системы. Надо, однако, обратить внимание на интересный факт, что одновременно каждая из этих трех властей тесно связана с одним из

* Там же. С. 612.

трех вышеупомянутых структурных элементов государства, с одной из трех названных государственных систем. Народное представительство, орган законодательный, является главным органом конституционного строя. Административный строй и исполнительная власть связаны между собой. Наконец, власть судебная особенно тесно связана с гражданским строем, ибо суды существуют прежде всего для того, чтобы защищать субъективные права личности как от повреждения их другими гражданами, так и от нарушения их со стороны государства.

Защита субъективного права от нарушений со стороны государства не одинакова в различных странах, располагающих одинаково развитым конституционным строем. В большинстве стран такая защита ограничивается защитой субъективного права граждан от нарушения со стороны административных органов правительства. Лишь в Соединенных Штатах Америки судебной власти поручается не только защищать справедливо полученные права отдельной личности от незаконных действий со стороны правительственных органов, но ей вверена защита всего гражданского строя и индивидуалистических правовых принципов, лежащих в основе такого строя, от нарушений также со стороны законодательной власти. Суды Соединенных Штатов имеют право отказываться применять изданные законодательной властью новые законы, если эти законы противоречат основным принципам индивидуалистического гражданского строя и Декларации прав, которая считается основой конституции этого государства. Это означает, что основные права, содержащиеся в Декларации, и основные принципы индивидуалистического либерального общественного порядка, провозглашенные этой декларацией, воспринимаются как нерушимое, естественное или природное право человека. Поэтому законодательная власть имеет право издавать лишь такие законы, которые не противоречат этим основным принципам, имеющим значение и ценность конституционной сверхзаконности. Таким образом, судебной власти здесь, в рамках конституционного строя, обеспечено совершенно особое положение, и именно здесь становится наиболее

ясно, что одна из самых важных сторон конституционного строя — служить гарантией гражданскому строю*.

Такое соотношение между конституционным строем и гражданским, о котором мы только что говорили, цитируя современного специалиста по государственному праву Ориу, подтверждает концепцию классического либерализма, построенного в основном на учении Монтескье, что политические права представляют собой развитие прав гражданских и что политическая свобода прежде всего является гарантией свободы гражданской**.

Из такого соотношения между гражданским строем и конституцией, между гражданской свободой и свободой политической вытекает принципиальное ограничение законодательной власти и ее глубокая связь с началами индивидуалистического гражданского порядка даже там, где связь эта вовсе не гарантирована судом. Существует эта связь также и в тех случаях, когда сами принципы индивидуалистического гражданского строя не сформулированы четко в конституционном праве***.

Можно считать необходимой и абсолютной ценно-

* К сожалению, я должен отказаться от рассмотрения здесь целого ряда других в высшей степени интересных аспектов конституционного строя, как, например, того факта, что конституционный строй углубляет общественный характер государственной власти и позволяет общественному мнению проявляться в качестве новой формы суверенитета, или того обстоятельства, что вследствие принятия письменной конституции, играющей роль как бы государственного устава, само государство приобретает характер юридического лица.

** Примером такого понимания могут служить разъяснения Кукумуса. В его «Учебнике государственного права баварской конституционной монархии», появившемся в 1825 г. (иными словами, во времена полного расцвета либерализма), мы читаем (с. 130): «Все граждане имеют право пользования гражданской свободой, однако при отсутствии свободы политической гражданская свобода ни на что не опирается и не имеет подлинной ценности». Показательно также, что гражданскую свободу он определяет как «требование, непосредственно вытекающее из целей государства».

*** В упомянутом произведении на с. 86 Кукумус в этой связи ссылается на баварскую конституцию от 26 мая 1818 г. Он пишет: «Баварская конституция не определяет прямо государственных целей. Однако из содержания всей конституции вытекает, что единственная возможная цель государства — это соблюдение прав и безопасности граждан. Введение к конституции уже говорит об общей государствен-

стью именно политические права членов государственного общества, их политическую свободу. В таком случае надо исходить из того, что законодательная или учредительная власть в государстве не связаны никакими правовыми принципами, в государстве же есть орган этой власти, постановления которого (принимающие форму законов) обязательно выливаются в создание подлинного права, независимо от существования правовых принципов. Вопрос о том, в какой мере содержание новых законов соответствует основным принципам индивидуалистического правопорядка, тем самым полностью теряет значение, так же как и вопрос о том, в какой мере решения, принятые государством или законодательной властью и облеченные в форму законов, на самом деле являются настоящим правом: ведь при таком подходе заранее принята предпосылка, что эти законы именно и есть настоящее право. Согласно такой концепции, законы обязательно должны восприниматься как право, потому что заранее признано, что право есть просто выражение народной воли, воплощенной в законодательном органе или в государственной власти.

Один из важнейших источников для понимания этой концепции — «Социальный контракт» Руссо (*Le Contrat Social*). Правда, Руссо признает (кн. 2, гл. 4), что кроме «общественного лица», т. е. всего народа в целом, надо еще учитывать мнения и потребности от-

ной цели, более же полное определение мы находим в заглавии IV ст. 8 конституции, которое гласит: «Государство гарантирует каждому гражданину неприкосновенность личности, имущества и прав». Здесь уже в достаточной мере указано, в чем состоит цель, каково стремление правительств и какие требования ставит государству гражданин. Тем самым фактически отвергаются все авантюристические требования блестящих, но практически невыполнимых и по сути дела ведущих к деспотизму теорий. Тут фактически признается, что государство должно «обеспечивать внешние условия, необходимые для развития народной жизни, однако ни в коем случае не смеет повелительно в это развитие вмешиваться». Эти объяснения Кукумуса говорят о том, что истинной целью государства является гарантировать каждому гражданину неприкосновенность личности, собственности и всех прочих законно полученных прав, при этом никак не пытаясь влиять на народное развитие и направлять его в ту или иную сторону. Такая государственная цель и есть внутренняя грань, поставленная использованию законодательной власти так же, как и политической свободе граждан.

дельных людей, частных лиц, жизнь и свобода которых, разумеется, независимы от того, что он называет «общественным лицом». Он то же говорит о природном праве, которое — достояние всех граждан просто потому, что они — люди. Однако Руссо развивает теорию о том, что общая воля всегда справедлива и всегда направлена на общую пользу. Воля эта, таким образом, по его концепции, представляет собой источник подлинного закона. Следовательно, законы ни в коем случае не могут быть несправедливыми, «ибо никто не несправедлив по отношению к самому себе». Ведь сама суть общей воли и созданного ею социального контракта такова, что «подданные, подчиненные только такого рода соглашениям, тем самым не подчиняются уже никому, кроме своей собственной воли» (кн. 2, гл. 4). А из этого логически вытекает, что если суверенная власть и есть просто совокупность отдельных волей, она никак не может быть заинтересована в том, чтобы противостоять какой-либо из них, а поэтому и совершенно не нужно подданным искать каких-то гарантий по отношению к этой самой власти. Вообще «Социальный контракт» утверждает, что гарантия прав личности не нужна в отношении того общественного организма, к которому сама личность принадлежит или к которому она присоединилась. Все статьи «Социального контракта» можно было бы по сути дела свести к одной только статье о полном отчуждении всех прав каждого отдельного члена в пользу коллектива (кн. 1, гл. 6). Отчуждение это безоговорочно, ни один член не имеет права чего-либо требовать (там же). Наверное, Руссо все же отдавал себе отчет в затруднениях, вытекающих из следующего вопроса: как можно установить в каждом конкретном случае, что суверенную власть (т. е. народную волю) воплощает тот, кто выступает в качестве главы государства, а не тот, кто выполняет обязанности судьи? Т. е. как можно установить, что правящая власть действительно выражает общую волю (кн. 2, гл. 4)? Надо сказать, что Руссо скорее обошел, чем решил эту проблему*. Но

* Я обязан профессору Фосслеру пониманием того, что «суверенитет общей воли» надо понимать не как суверенитет решений кол-

теории Руссо были достаточны, чтобы убедить его оптимистически настроенных последователей в том, что народное представительство обязательно выражает своими законами общую волю и что поскольку речь идет об общей воле, то и нет надобности гарантировать ни субъективные права каждой отдельной личности, ни основные принципы индивидуалистического правопорядка.

Но при такой концепции сам принцип разделения власти теряет почти все свое значение. Если законодательная власть, т. е. народное представительство, является органом, выражающим общую волю, то, конечно, нельзя противопоставлять ей другие органы власти, т. е. правительство и судебную власть, как равные факторы; наоборот, их скорей надо рассматривать как нечто из законодательной власти вытекающее и в какой-то мере ей подчиненное. При такой концепции нельзя говорить о подлинном разделении власти, речь может идти только о распределении функций между отдельными органами ее. Конечно, распределение власти в том смысле, в каком понимал его Монтескье, тоже было связано с распределением функций. Однако основной принцип разделения власти состоит в том, что за каждым органом власти должен стоять реальный общественный фактор, находящий себе в данном органе выражение. Кроме того, разделение власти возможно и без распределения функций; таково было разделение власти между двумя консулами в Риме: оно было подлинным, хотя и без распределения функций. Английский *Magnum Consilium* 1225 г. (впоследствии превратившийся в парламент страны) по сути дела представлял собой именно разделение власти. Ему переданы были некоторые полномочия, до тех пор принадлежавшие монарху и у монарха отобранные. Однако неправильно было бы считать, что все дело в одном только распределении функций; тут важно как раз не это, а то, что в Англии королевская власть, с одной стороны, и власть аристократии (выражением которой был *Magnum Con-*

лектива, а как суверенитет категорического императива. Предполагаю, что такое толкование основано именно на вышеизложенной проблеме.

silium) были двумя факторами реальной власти, друг от друга независимыми*.

Таким образом, учение Руссо — это теоретическое оправдание всемогущества закона и законодателя по принципу, выраженному в старой латинской поговорке «что нравится князю, имеет силу закона», только тут слово «князь» надо заменить словами «парламентское большинство»: то большинство в народном представительстве, которое возникло вследствие результатов всеобщих прямых, равных и тайных выборов. Никакие ненарушимые правовые принципы не могут быть противопоставлены закону, принятому решением такого большинства. Закон — это право, потому что он воплощает общую волю. Интересно, что и позже, отказавшись уже в общем от учения об «общей воле», все же упорно продолжали настаивать на полноценности этой последней сентенции, просто заменяя понятие «общей воли» понятием государства как юридического лица.

Со временем интерес к проблеме разделения власти стал уменьшаться. Это и понятно. Дело ведь в том, что перестали думать о ненарушимости индивидуалистических правовых начал, которые, являясь как бы своего рода социальной конституцией, служат предпосылкой и основой для конституции политической. Разделение власти нужно для того, чтобы ограничить действие одной власти другой властью, и делается это именно во имя индивидуалистических начал правопорядка. Так зачем же нужно разделение власти, раз этим началам не придается больше решающего значения? В результате полностью теряют смысл слова Монтескье, включенные в Декларацию прав: «Общество, в котором не обеспечены права и не осуществлено разделение власти, не имеет конституции». Тут мы уже имеем дело с новым, принципиально совершенно иным пониманием конституции, направленным на скорейшее ее превращение просто в парламентский устав, цель которого — облегчение беспрепятственного проведения в жизнь программы очередного парламентского большинства. Такую политическую и юридическую концепцию ни-

* Ору М. Принципы... С. 613.

как нельзя считать либеральной. Надо признать, что это — концепция радикальная, полностью противоречащая либерализму, который ставил себе целью сохранение существующего индивидуалистического правопорядка и существующих законно приобретенных прав человека.

Ведь за политической свободой как самодовлеющей целью нет ни социальной программы, ни правовых начал. При ней все возможности открыты. Если вступить на этот путь, то индивидуалистический правопорядок либеральной социальной конституции может быть заменен возрождением самых крайних форм административной системы и вмешательства власти, и даже чистым коллективизмом. Замена индивидуалистического правопорядка коллективизмом, однако, означает гораздо больше, чем принятие некоторых новых юридических принципов: это — конец определенной цивилизации, глубокий разрыв всей культурной традиции. В этом хорошо отдавал себе отчет один из последних крупных представителей старой России, Столыпин. Именно это имел он в виду, говоря Второй думе в 1907 г., что разрушение существующего правопорядка в России во имя социализма заставит впоследствии на развалинах строить какое-то новое, никому не известное отечество.

В этой эволюции конституционной идеи скрываются зачатки разрушения или, вернее, саморазрушения современного западноевропейского правового государства. Если на смену либеральной демократии (т. е. такому государству, в конституцию которого включены, в качестве сверхзаконности, основные принципы индивидуалистического социального порядка) придет чисто формальная, абсолютная демократия или демократический абсолютизм, то тем самым откроется путь для развития империалистической формы демократии*. На самом деле, все аспекты вышеуказанного развития подготавливают возникновение империалистической демократии. В той мере, в какой законы не принимают во внимание основные принципы индивидуалистического социального порядка и существую-

* Опиу М. Конституционное право. С. 140.

щие субъективные права, основанные на этих принципах, а базируются лишь на выражении воли законодателя и являются воплощением этой воли, которая соответствует просто данным обстоятельствам и условиям, — в этой мере теряет значение вопрос, является ли законодатель избранным представителем самих носителей субъективных прав, т. е. граждан, или же он просто властитель, который, независимо от выборов, считает себя призванным к власти и уполномоченным выражать и формулировать законодательную волю нации. Кроме того, если принцип подлинного разделения власти исчезает и правительство рассматривается лишь как исполнительный орган законодательной власти, оно гораздо легче и скорее согласится с развитием административного аппарата и с бюрократической концентрацией власти. Наличие сильно развитого и централизованного бюрократического аппарата представляет собой, бесспорно, благоприятную предпосылку для развития империалистической формы государственного правления. Особенно легко такая тенденция может восторжествовать, если развитие административного строя перейдет определенные границы и поэтому достигнет известной степени национализации — перехода всего во власть государства, иными словами, произойдет изгнание и подавление гражданского строя. Ведь именно так устраняется одно из самых важных и принципиальных разделений власти, а именно разделение власти политической и экономической*.

Значительное разрушение гражданского строя и концентрация экономической власти в руках государственного правительства предоставляют этому правительству, можно сказать, почти безграничные средства власти. Такое небывалое увеличение средств власти, нахо-

* Одна из наибольших заслуг Ориу состоит в том, что он показал, что либеральный индивидуалистический общественный строй зиждется не только на разделении властей в том смысле, как понимал его Монтескье, но и на том разделении власти, которое открывается на еще более глубоком уровне в социальной ткани государства. Так, например, духовная свобода (в более узком смысле этого выражения) опирается на разделение власти духовной и мирской. Для укрепления политической свободы играет большую роль разделение власти гражданской бюрократии от власти военной. Наконец, к самой сути либе-

дящихся в распоряжении правительства, бесспорно, поощряет возникновение диктаторных форм правления и тиранической государственной власти. Вряд ли это можно всерьез оспаривать.

В моей статье «Зависимость и самостоятельность при разделении власти»* я с особенным вниманием отнесся к отделению политической власти от экономической. Я указывал там, что экономическая власть, находящаяся в руках капиталистов при буржуазной системе, в социалистическом государстве объединяется с политической властью в руках государственной власти и фактически находится в руках бюрократии. Таким образом уничтожается разделение власти, которое было весьма благоприятным не только для самостоятельности буржуазного строя (это само собой разумеется), но и для свободы рабочего класса, и неизбежно должно было действовать в пользу рабочего класса, поскольку разделение власти всегда освобождаяще отзывается на положении отдельной личности. Для того, чтобы несколько подробнее и точнее обосновать это утверждение, я приводил полностью следующий важный пассаж из произведения Ориу «Принципы общественного права» (произведение это еще недостаточно широко известно): «...Экономическая власть обладает способностью создавать средства для существования в своей области; экономической властью располагает тот — будь это собственник современного промышленного предприятия или собственник поместья или военный руководитель, — кто в той или иной форме располагает большим количеством запасов жизненных средств, которые он может распределять по своему усмотрению среди своих служащих и подчиненных или среди своих клиентов. Политическая власть имеет возможность создавать в рамках правового порядка выгодные ситуации, которые открывают доступ к источникам жизненных средств. В каком-то смысле, значит, и та и другая власть должны

рального строя принадлежит в данный момент особенно нас интересующее разделение власти экономической от власти политической; на нем именно и основана гражданская свобода.

* В Записках Социологического отдела Исследовательского института социальных и административных наук в Кельне. Т. I, 1951. Изд. Леопольд фон Визе. С. 394 и дальше.

удовлетворять людским потребностям, а это и есть та точка зрения, которая больше всего волнует людей. Только надо заметить, что экономическая власть касается человеческого существования и человеческих потребностей гораздо более непосредственным образом, чем власть политическая...

Политическая и экономическая власть в рамках государственного строя могут быть отделены друг от друга; в действительности обычно так и бывает. В рамках освобожденной рыночной экономики возникают состояния и появляются зажиточные люди, располагающие собственностью и деньгами, дающие другим работу и оплачивающие ее, вследствие чего тысячи людей зависят от них, поскольку от них они получают заработную плату. Короче, появляются капиталисты, власть которых может быть вполне жесткой. Однако не обязательно капиталисты располагают политической властью. К этой власти могут приходить совершенно иные люди, используя при этом конституционный механизм. Эти люди занимают выгодные положения в государстве и могут раздавать другим всевозможные преимущества и вознаграждения. Кроме того, они уполномочены создавать должности в рамках правового порядка и используют свое положение не для укрепления позиций богатых людей, а скорее всего для ограничения их власти... Из такого деления между двумя формами власти получается равновесие, действующее в пользу массы людей. Одни имеют выгоду от капиталистов, другие от политических деятелей, остальные используют себе во благо всеобщие мероприятия, законы, издаваемые в защиту многочисленных и многообразных интересов. В таком состоянии равновесия и может утвердиться известная свобода большинства людей, а также может возникнуть некий средний общественный слой.

Наоборот, эти гарантии свободы исчезают вне государственного строя, как в образованиях вотчинного характера, которые такому строю предшествуют, так и в обществе коллективизированном, которое грозит заменить собой государственный правовой строй, потому что в том и в другом случае политическая и экономическая власть оказывается в одних и тех же руках. При

феодалном строе (это пример классический) собственность и суверенитет сливаются в одно. А при коллективизированной системе получается то же самое. При такой системе чиновники административного аппарата располагают ключами к общественному имуществу, от которого полностью зависим каждый человек; к тому же эти самые чиновники законным образом уполномочены создавать выгодные должности в рамках государства. Иными словами, они обладают полнейшей и абсолютнейшей властью, когда-либо существовавшей. Нельзя даже представить себе, откуда мог бы взяться действительный противовес, который мог бы ограничить эту власть»*.

Разумеется, человеческая воля может сопротивляться такому развитию. Если его нельзя задержать полностью, его можно сознательным сопротивлением в значительной мере замедлить. По мнению Ориу, то обстоятельство, что мы отдаем себе отчет в существовании такой тенденции, ни в коей мере не снимает с нас духовную обязанность бороться за дальнейшее существование политической свободы. Ориу приходит к следующему заключению: «Мы же знаем, что все мы должны умереть, тем не менее мы прилагаем все старания к тому, чтобы подольше прожить»**. Без сомнения, последовательно придерживаясь индивидуалистических принципов гражданского строя, в первую очередь принципа частной собственности, можно сильно продлить существование политической свободы и политической демократии, так как это и есть один из немногих по-настоящему действенных способов помешать чрезмерному развитию административной системы и выхолащиванию конституционных полномочий, постепенному превращению их в одну лишь форму без содержания.

Как уже было сказано, метод либерализма — это устранение помех личной свободе. Такое устранение не может, однако, принимать форму насильственного переворота или разрушения. Во всем существующем всегда есть нечто, что надо сохранить, развивая его

* Ориу М. Принципы... С. 368 и дальше.

** Там же. С. 140.

путем устранения внешних ограничений или совершенствуя и оплодотворяя путем преобразований. К тому же надо сказать, что не во всех случаях либерализм прибегает к устранению. Согласно либеральному мировоззрению, необходимо устранять в первую очередь неограниченные полномочия государственной власти, в силу которых эта власть может стать над правом и которые дают ей возможность не соблюдать существующего порядка или произвольно менять его специально для этой цели издаваемыми законами; кроме того, надо устранять чрезмерное нагромождение административно-юридических постановлений, обязательное планирование и разрастание административных учреждений, которые все вместе препятствуют свободной человеческой деятельности в экономической и культурной областях. Наоборот, либерализм относится с величайшим уважением к субъективным правам отдельных людей и считает основной задачей государственной власти именно защиту таких прав и возможностей беспрепятственного ими пользования. Вообще либеральному государству полностью чужды насильственное вмешательство в существующие жизненные взаимоотношения людей и какое-либо нарушение привычных жизненных форм. По-настоящему либеральное государство никогда не согласится на выселение людей даже из побежденного и завоеванного государства или на переселение отдельных групп населения, все равно по каким причинам — по политическим или по экономическим.

Из этого вытекает следующее: либерализм должен действовать с чрезвычайной осторожностью даже тогда, когда он приступает к устранению тех институтов административного строя, которые представляются ему излишними или даже вредными. Дело в том, что с традиционными формами администрации всегда тесно связаны те или другие интересы частных лиц. Интересы и должности, связанные с административными институтами, подлежащими упразднению (например, места занятых в них служащих), не должны устраняться неожиданно и безжалостно, так как это разрушительно отразится на сфере субъективных гражданских прав этих людей.

Согласно либеральному мировоззрению, исторические долиберальные государственные формы нельзя разрушать революционным переворотом, а надо их преобразовать. Либерализм знает, что насильственная революционная акция чаще всего разрушает как раз наиболее ценные элементы старого строя, не затрагивая при этом первобытной сущности любой государственной власти — т. е. силы в чистом виде, а тем самым создаются предпосылки для того, чтобы государственная власть в дальнейшем проявляла себя еще гораздо более грубо, не будучи уже ограничиваема и сдерживаема вообще ничем после отпадения даже древних традиций. Кроме того, согласно либеральному миропониманию, долгое существование государственной формы, менее совершенной, чем правовое либеральное государство, часто доказывает, что в стране или в народе еще нет нужных условий для перехода к либеральному государственному устройству и к либеральному общественному порядку, а такие условия или предпосылки, конечно же, невозможно создать насильственной акцией.

Антиреволюционные позиции либерализма в основном вытекают из следующего соображения: если государство, не основанное на либеральных принципах, но не определено и открыто тираническое и деспотическое, существует уже долгое время, то это долгое его существование ведет к образованию умеренных и сдерживающих тенденций в государственной практике, так что и в рамках подобного государства развиваются и укрепляются многочисленные положительные стороны государственной системы, государства как такового. Наблюдение это в свою очередь зиждется на консервативной теории о прогрессе, глубоко связанной с самой сутью либерализма, а именно на теории, согласно которой «...прогрессивной силой является сила укрепления и утверждения»*, что означает, что прогресс состоит в установлении данного типа и в развитии и совершенствовании его черт, а не в эволюционной замене одного типа другим. С точки зрения исторической и согласно всем этим наблюдениям, либерализм должен решитель-

* Оруу М. Традиционная социальная наука. Париж, 1896. С. 412.

но предпочитать просвещенный абсолютизм революционной диктатуре.

Все эти соображения заставляют меня четко отличать радикализм от либерализма и настоящим либерализмом считать лишь либерализм консервативный.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Леонтович Виктор Владимирович (1902–1959) — видный специалист в области политической истории и истории права. Родился в Санкт-Петербурге. Детство провел на Украине в имении своего отца в Полтавской губернии, выезжал на зиму вместе с родителями в Киев. До четвертого класса воспитывался дома под руководством сначала Т. В. Локотя, в будущем профессора Белградского университета, а затем — И. В. Огненко, в будущем профессора Православного богословского факультета при Варшавском университете. С четвертого класса обучался в киевской частной гимназии В. П. Науменко, которую окончил в 1919 г. Еще будучи гимназистом Виктор Владимирович, как он отмечает в своем *curriculum vitae*¹, серьезно заинтересовался историей и в особенности церковной, ведя частые беседы по этому поводу с законоучителем гимназии, оказавшим большое влияние на духовное развитие Леонтовича. По окончании гимназии поступает в Киевский коммерческий институт, но гражданская война захватывает и его. Леонтович прошел путями Добровольческой армии А. И. Деникина вплоть до эвакуации в марте 1920 г. из г. Новороссийска. Вернувшись в Киев, возобновил учебу в институте, но в сентябре 1921 г. эмигрировал и оказался в Праге, где сначала поступил на химическое отделение Пражского политехникума. После продолжительной болезни (костный туберкулез коленного сустава) оставил политехникум и в 1923 г. поступил на Русский юридический факультет, который окончил в 1929 г. с дипломом первой степени.

Создание ума и сердца П. И. Новгородцева, Русский

¹ ГАРФ, ф. 5765, оп 2, е. х. 526, л. 36.

юридический факультет в Праге оказал решающее влияние на формирование Леонтовича как ученого. И хотя при жизни Новгородцева ему довелось учиться на факультете каких-то полгода, вся дальнейшая учеба Леонтовича проходила в тесном контакте с ближайшими друзьями и учениками выдающегося русского философа права. Первую курсовую работу на тему «О влиянии религии на право» Леонтович пишет под руководством молодого друга Новгородцева, в будущем выдающегося православного богослова и историка русской культуры Г. В. Флоровского. Вторую — на тему «Анархизм Л. Н. Толстого» — под руководством одного из учеников и ближайших соратников Новгородцева — проф. Н. Н. Алексеева. Поэтому мы имеем основания рассматривать Леонтовича как представителя славной школы П. И. Новгородцева.

Отметив «исключительные дарования» В. В. Леонтовича, факультет оставляет его для подготовки к профессорскому званию по кафедре церковного права, командировав в Париж для занятий под руководством проф. С. Н. Булгакова в Православном Богословском институте.

С 31 октября 1933 г. В. В. Леонтович начинает преподавать на Русском юридическом факультете в Праге в качестве приват-доцента государственного права и, видимо, в том же году защищает магистерскую диссертацию.

Вскоре после окончания второй мировой войны он переезжает в Берлин, где преподает советское право и работает сотрудником Кайзер-Вильгельм-Института по международному праву. С 1949 г. вплоть до своей смерти в 1959 г. Леонтович жил во Франкфурте-на-Майне. В этом городе сначала в качестве приват-доцента, а с 1954 г. — профессора, он преподавал восточноевропейскую историю. В Германии написаны его основные работы², последняя из которых — «История либерализма в России» — удостоилась открыть собой основанную в 1980 г. А. И. Солженицыным серию «Исследования новейшей русской истории».

² *Leontovitsch V. V. Die Rechtsum über Ivan IV. Stuttgart, 1949; Idem. Geschichte des Liberalismus in Russland. Frankfurt a/M, 1957.*

В этой последней своей работе автор настойчиво проводит разграничение между либеральной и радикальной программами преобразования России. На последнем этапе предреволюционной России носителями первой, либеральной тенденции, по мысли автора, выступают П. А. Столыпин и партия октябристов (которую Леонтович считает наиболее близким аналогом христианско-демократической партии Германии), а носителями второй, радикальной тенденции — партия кадетов, которой Леонтович вполне основательно отказывает в праве на либеральные претензии.

Одним из наиболее ярких показателей отступления от либерализма и перехода в радикальный лагерь оказывается выдвижение на первое место политических свобод (по сравнению со свободами социальными). «Дело ведь в том, — пишет Леонтович, — что перестали думать о ненарушимости индивидуалистических правовых начал, которые, являясь как бы своего рода социальной конституцией, служат предпосылкой и основой для конституции политической... Тут мы уже имеем дело с новым, принципиально совершенно иным пониманием конституции, направленным на скорейшее ее превращение просто в парламентский устав, цель которого — облегчение беспрепятственного проведения в жизнь программы очередного парламентского большинства. Такую политическую и юридическую концепцию никак нельзя считать либеральной. Надо признать, что это — концепция радикальная, полностью противоречащая либерализму...» [с. 16]. В таком случае свобода воспринимается как свобода насилия, санкционированная волей большинства.

Как ни парадоксально на первый взгляд это выглядит, но борьба кадетов за сохранение широких избирательных прав, дарованных декабрьским законом 1905 г., который в условиях далеко не полной грамотности населения страны давал кадетам парламентское большинство в I и II Государственных думах, находится в полном противоречии с их либеральной фразеологией, поскольку свое большинство они хотели превратить в «единственного представителя государственной власти вообще». Государственный переворот 3 июля 1907 г. и изменение избирательного закона в сторону

ограничения избирательных прав Леонтович считает мужественной и дальновидной попыткой «спасти либеральный курс России» [с. 533]. Эта попытка обеспечила возможность сотрудничества нижней палаты, верхней палаты и монарха. В подтверждение своей концепции автор приводит свидетельство В. А. Маклакова, одного из наиболее активных и глубокомысленных участников политического процесса предреволюционной России. «Те, кто пережил то время,— пишет Маклаков,— видели, как конституция стала воспитывать и власть и самое общество. Можно только дивиться успеху, если вспомнить, что конституция просуществовала нормально всего восемь лет (войну нельзя относить к нормальному времени). За этот восьмилетний период Россия стала экономически подниматься, общество политически образовываться. Появились бюрократы новой формации, понявшие пользу сотрудничества с Государственной думой, и наши политики научились делать общее дело с правительством... Совместное участие власти и общества в управлении государством оказалось для тех и для других незаменимою школою, а для России — началом ее возрождения»³.

Именно такое сотрудничество позволило продолжить работу по предоставлению крестьянам права частной собственности на землю и свободы самим располагать своим имуществом и своей работой. Главная цель столыпинской реформы — сделать русского крестьянина конкурентоспособным в жизненной борьбе. «Пока к земле не будет приложен труд самого высокого качества, т. е. труд свободный, а не принудительный,— говорил Столыпин,— земля наша не будет в состоянии выдержать соревнование с землей наших соседей».

Именно экономическая и гражданская несвобода крестьян — основа самодержавия, а вовсе не отсутствие политических свобод и всеобщего, равного избирательного права. В публикуемом «Вступлении» особый интерес представляют рассуждения автора о соотношении трех видов властей. Главное здесь — «неплоскост-

³ Маклаков В. А. Вторая Государственная дума. С. 601.

ное» видение социальной реальности. Три вида власти не рядоположены, а иерархически соподчинены. Общество при таком взгляде представляет собой как бы слоеный пирог, и наращивание очередного слоя приближает общество к тому, что мы именуем правовым государством. «Основной принцип разделения власти, — подчеркивает Леонтович, — состоит в том, что за каждым органом власти должен стоять реальный общественный фактор, находящийся в данном органе выражение». Исполнительная власть опирается на брутальную силу, которую черпает из самых нижних социальных слоев. Представительная власть не может возникнуть ранее, чем сформируются средние слои производителей материальных благ, в наибольшей степени заинтересованные в устойчивых правилах игры. Но подлинно правовым государством можно назвать только такое государство, в котором реальную силу обретает законодательная власть, чья функция состоит не столько в том, чтобы оценивать поступки с точки зрения законов, а в том, чтобы судить сами законы с точки зрения соответствия их правам человека. Только в таком обществе право оказывается выше закона. Социальную опору законодательная власть обретает в гражданском обществе, а если выразиться более резко и прямолинейно — в духовной элите, которая становится реальной силой только в обществе, где возникла разветвленная сеть свободных ассоциаций, формирующих общественное мнение, свободное от воздействия насилия и демагогов. Такой неплоскостной, объемный взгляд на социальную реальность, взгляд с точки зрения иерархии ценностей, воспитанный долгим изучением влияния религии на право, дает основание считать В. В. Леонтовича продолжателем традиции московской школы философии права — школы П. И. Новгородцева.

А. В. Соболев

ПРИМЕЧАНИЯ

Печатается по изд.: *Леонтович В. В.* История либерализма в России. 1762–1914. Париж, 1982. С. 1–24.

¹ *Ориу Морис* (1856–1929) — французский юрист и социолог, профессор права в Тулузе. Автор переведенной на русский язык книги «Основы публичного права» (1929).

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛИБЕРАЛИЗМ В СССР

Еще недавно ни у кого не вызывал сомнения тот факт, что либерализм в России как политическое течение приказал долго жить осенью 1917 г. Либеральная партия, сыгравшая существенную роль в Февральской революции, быстро растеряла политический капитал, придя к власти в условиях продолжавшейся мировой войны, и после октябрьского переворота, казалось, безвозвратно сошла со сцены. Легкая победа над прекраснодушным, но непрактичным противником, представлявшим «бесспорно большинство наиболее культурных, просвещенных и талантливых русских людей» (С. Франк), выработала у победителей — специалистов по теории и практике классовой борьбы — чувство превосходства над непутевыми идеалистами. В результате — резкое падение интереса к либерализму и его доктрине у руководителей и идеологов большевизма сразу после Октября¹.

Напомним все же, что на знамени коммунизма красуются лозунги, впервые выдвинутые либеральной буржуазией. Заимствуя их, как и в случае с эсеровской аграрной программой, большевики претендовали на несравненно более решительное, полное и широкое осуществление идеалов свободы и равенства. Как это выглядело на самом деле, показывает сравнение партийных программ дореволюционного 1903 и послереволюционного 1919 гг.

Первая программа, принятая на II съезде РСДРП, ставила своей ближайшей политической задачей низвержение царского самодержавия и замену его демо-

¹ См. предметный указатель в Полн. собр. соч. В. И. Ленина, где рубрики *либерализм, либеральная буржуазия, кадеты, Вехи* и т. п. в дореволюционный период занимают исключительное место и сводятся к единичным, разрозненным упоминаниям в послереволюционный период.

кратической республикой, конституция которой обеспечивала бы «самодержавие народа... всеобщее, равное и прямое избирательное право... неприкосновенность личности и жилища... неограниченную свободу совести, слова, печати, собраний, стачек и союзов... свободу передвижений и промыслов»². Но это по сути программа-минимум. В основном она была реализована Февральской революцией. У Октябрьской жанр был другой. Она занялась «максимумом». Ее конечная цель — осуществить диктатуру пролетариата, «начавшего при поддержке беднейшего крестьянства или полупролетариата созидать основы коммунистического общества»³. Но немедленный штурм крепости не удался, и конечная цель оказалась отодвинутой макиавеллевской логикой удержания власти, что сразу же привело к корректировке традиционных лозунгов свободы, равенства и братства. Уже летом 1918 г. Конституция РСФСР провозглашает, что всякая свобода является обманом, если она противоречит освобождению труда от гнета капитала. Поэтому нельзя останавливаться перед отнятием у эксплуататоров политических прав. Вместо «обманных формальных свобод» трудящимся, и только им, предоставляются «действительные» свободы слова, собраний, союзов⁴. В этом реестре свобод знаменательно неупоминание о стачках.

Вторая партийная программа 1919 г. учитывает новую ситуацию, но еще считает необходимым отступление от буржуазно-демократических свобод представить в качестве временных мер борьбы с попытками эксплуататоров отстоять или восстановить свои привилегии⁵.

Нашлись все же наивные партийцы, всерьез воспринявшие положение о временном характере ограничений. Старый большевик Г. Мясников призвал к отмене цензуры, восстановлению полной свободы печати, что могло бы, по его мнению, спасти партию от перерождения, но получил нагоняй от Владимира Ильича: «Ошибочно сентиментально обывательски настаивать на *ан-*

² См.: Второй съезд РСДРП. Протоколы. М., 1959. С. 421.

³ См.: Восьмой съезд РКП(б). Протоколы. М., 1959. С. 395.

⁴ См.: Съезды советов в документах 1917–1936. М., 1959. С. 73.

⁵ Восьмой съезд РКП(б). Протоколы. М., 1959. С. 395.

тип пролетарском лозунге “свобода печати”. Вы хотели лечить коммунистическую печать и стали хвататься за лекарство, несущее верную смерть... не от вас, конечно, а от мировой буржуазии (+ Милюков + Чернов + Мартов)⁶. Эти строки писались в августе 1921 г., в период, названный в «Кратком курсе» переходом к мирной работе по восстановлению народного хозяйства, но после Кронштадтского мятежа. Та же логика заставила на X съезде РКП(б) принять резолюцию о запрете фракционной борьбы в партии и осудить «анархо-синдикалистский уклон “рабочей оппозиции”».

Наследник Ленина не страдал интеллигентскими комплексами и, твердо зная, что «бумага терпит», без всяких оговорок провозгласил в сталинской Конституции в ст. 125 все священные права (кроме, разумеется, права на стачки), а в ст. 127 — неприкосновенность личности. Принятая 5 декабря 1936 г. Конституция вызвала восторг и умиление всей прогрессивной общественности земли. СССР был провозглашен социалистическим государством, но революция продолжалась. Большевики, как пелось в песне того времени, покоряли «пространство и время». Космические корабли «Иосиф Сталин» и «Клим Ворошилов» стартовали на Луну (пока только в кинофильме). Покорение времени также шло полным ходом. Настоящее и Будущее уже стало достоянием Партии, пришел черед Прошлого. Тов. Сталин приступил к созданию Краткого курса Истории ВКП(б).

Видная роль в этой кампании отводилась Большой советской энциклопедии, первые 17 томов которой вышли в 1926–1929 гг. Это издание представляло собой не только свод научно-технического, социокультурного и исторического знания, но и летопись партийной и политической жизни, трансформации идеологических и культурных оценок, кадровых изменений в номенклатуре правящей партии.

Публикуемая статья о либерализме из 36-го тома БСЭ и типична, и необычна. В главном она составлена по уже сложившемуся канону. Около сорока цитат из классиков марксизма-ленинизма образуют несущую

⁶ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 44. С. 80.

конструкцию статьи. Остальной же текст... Как говорилось в те времена — мысль есть кратчайшее расстояние между цитатами. Необычны внушительные размеры статьи (для сравнения: статьи о либерализме во II и III изданиях БСЭ вдвое короче). Главная же изюминка в другом — в способе цитирования «четвертого классика». Высказывания И. В. Сталина приводятся по книжке Л. П. Берия «К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье». Собственно, это доклад на собрании тбилисского партактива, сделанный в июле 1935 г. «Новостью» высказывания были потому, что взяты из произведений Сталина, написанных и изданных на грузинском языке в начале столетия и потому неизвестных широкому советскому читателю. Таким образом Берия стал первооткрывателем «раннего» Сталина. Такие научные подвиги не должны оставаться незамеченными, и метивший на место Н. И. Ежова провинциал Берия постарался увековечить свою находку в авторитетном столичном издании. Косвенным подтверждением экстраординарных обстоятельств публикации статьи о либерализме служат некоторые технические данные. 36-й том БСЭ был запущен в производство 1 июля 1937 г. Издание доклада Берия, приводимое в статье, сдано в печать с матриц 3 декабря 1937 г., т. е. спустя пять месяцев. Видимо, потребовались срочные меры, чтобы ссылки на доклад Берия появились в 36-м томе, подписанном в печать 28 апреля 1938 г. Что ж! Нет таких крепостей, которые не взяли бы большевики!

Какова дальнейшая судьба либеральных идей в СССР? Окончательная реквизиция либерализма состоялась в 1952 г., когда Сталин в речи на XIX съезде партии подвел итог его исторической роли: «Раньше буржуазия позволяла себе либеральничать, отстаивать буржуазно-демократические свободы и тем создавать себе популярность в народе, теперь от либерализма не осталось и следа. Нет больше так называемой “свободы личности”... Растоптан принцип равенства людей и наций, он заменен принципом полноправия эксплуататорского меньшинства и бесправия эксплуатируемого большинства... Знамя буржуазно-демократических свобод выброшено за борт. Я думаю, что это знамя придется

поднять вам, представителям коммунистических и демократических партий, и понести его вперед»⁷.

Оставшемуся без знамени либерализму в самом деле надлежало быть расформированным. Два года спустя во 2-м издании БСЭ констатировано: либерализм стал «синонимом примиренчества, терпимости к вредным, отрицательным явлениям и действиям, наносящим урон государству, народу»⁸.

В Третьей партийной программе, проникнутой хрущевской эйфорией всемогущества, поднятое знамя свобод оприходовано и дополнено следующими декларациями: коммунизм выполняет историческую миссию избавления всех людей от социального неравенства, от всех форм угнетения и эксплуатации, от ужасов войны и утверждает на земле мир, труд, свободу, равенство, братство и счастье всех народов⁹.

К моменту принятия в 1977 г. брежневской Конституции стало ясно, что наступление в 80-х гг. светлого будущего откладывается. Тем не менее весь набор либеральных свобод благополучно переключивается из сталинской в новую Конституцию (конечно, без права на забастовки). К ним добавлено право на жилище и право КПСС быть единственной руководящей и направляющей силой советского общества. Некоторую нервозность у идеологических служб вызывала приближающаяся знаменательная дата «1984», и страхи оказались не напрасными — через год началась перестройка, которую ни СССР, ни КПСС не пережили. Трудно поверить, но понадобилось всего пять лет, чтобы стремительно обессилевшая КПСС признала свое поражение, приняв на XXVIII съезде жалкое программное заявление. Жалкое потому, что на новую, четвертую Программу, уже не хватило духу, последней программой большевиков так и осталась Продовольственная, также не выполненная. В Заявлении сдаются два главных бастиона марксистской идеологии. Теперь партия выступает за реализацию прав человека на уровне международных норм (вечная память классовому подходу!) и

⁷ См.: Правда. 1952. 15 окт.

⁸ Большая советская энциклопедия. 2-е изд. Т. 25. С. 73.

⁹ XXII съезд КПСС. Т. III. М., 1962. С. 231.

(это далось труднее) признает трудовую (!) частную собственность. Прав был поэт: «Так кончается мир. Не взрыв, а всхлип!»

Мир, разумеется, не кончился. Но изменился. В России снова возникли либеральные партии. Что-то напишут о либерализме в четвертом издании Большой советской (советской ли?) энциклопедии?!

В нижеследующем воспроизведении статьи сохраняются принятые тогда в энциклопедических изданиях сокращения. Примечания к статье составлены по тому же изданию, они тоже информативно характеризуют эпоху 30-х гг.

М. А. Абрамов

ЛИБЕРАЛИЗМ

(статья из БСЭ, 1938 г.)

ЛИБЕРАЛИЗМ (от лат. слова *liber* — свободный), политический термин, созданный в начале XIX в. во Франции, по свидетельству одних — г-жой Сталь¹ (см.), по свидетельству других — Шатобрианом² (см.), для обозначения системы взглядов, разделяемых поборниками умеренной цензовой конституции и конституционных свобод. За 100 с лишним лет истории этого термина содержание, которое вкладывалось в него, постепенно расширялось. Представители современной либерально-буржуазной политической и исторической литературы, заинтересованные в том, чтобы замаскировать классовую и историческую ограниченность Л., либо отождествляют его с борьбой за «свободу вообще» на всем протяжении истории человечества, либо, во всяком случае, сводят к нему всю многовековую борьбу против абсолютизма, феодальных ограничений и привилегий, церковной нетерпимости, тирании и пр. С единственно научной точки зрения марксизма-ленинизма либерализм периода своего расцвета представлял собой политическую практику и б. или м. цельную систему экономических и политических воззрений прогрессивной буржуазии в условиях победы и утверждения капитализма в наиболее передовых странах. Именно в этом смысле Ленин³ говорил о «верящей в свои силы буржуазии, смело и последовательно защищавшей либерализм, как цельную систему экономических и политических воззрений» [*Ленин В. И. Соч. Т. XV. С. 207*], и открыто противопоставлявшей этот свой либерализм, с одной стороны, феодализму, с другой стороны, социализму. В дальнейшем, с постепенной утратой буржуазией ее прогрессивных черт, Л. постепенно разлагается, утрачивает свою цельность и сводится в обстановке империализма к буржуазному ре-

формизму — к политике вынужденных частичных уступок пролетариату и идущим за ним слоям во имя сохранения буржуазного строя и борьбы с угрозой революции.

Политически Л. оформился в ходе Французской буржуазной революции XVIII в., в результате выделения правого, конституционалистского крыла из некогда единого передового, прогрессивного, революционного буржуазно-демократического лагеря, боровшегося против абсолютистски-феодалных порядков. Это размежевание еще не было полным. Пролетариат, представлявший собой «малосознательную и неорганизованную силу», еще «довольствовался ролью придатка у либералов», и «гегемония в революции осталась за буржуазией», которая в общем тогда еще «играла революционную роль» [Сталин И. В.⁴ Предисловие к брошюре Каутского⁵ «Движущие силы российской революции». Цит. по кн.: Берия Л.⁶ К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье. М., 1937. 3-е изд. С. 73–74]. Тем не менее, уже с момента своего фактического возникновения Л. конституционно-монархической буржуазии противопоставил себя и свою непоследовательную, половинчатую, склонную к компромиссам практику демократии — городской бедноте и революционному крестьянству с их революционным, демократическим, «плебейским» способом борьбы с абсолютизмом и феодализмом. Тогда впервые на относительно все же уже довольно высоком уровне развития буржуазных отношений, в очищенной от всякой религиозной мистификации форме обнаружилось основное коренное различие между либералами и демократами. «И те и другие, — писал Ленин, — осуществляют исторически назревшее буржуазное преобразование, но одни боятся осуществить его, тормозят его своей боязнью, другие — разделяя нередко массу иллюзий насчет последствий буржуазного преобразования — вкладывают все свои силы и всю душу в его осуществление» [Ленин В. И. Соч. Т. XV. С. 120].

Ленин подчеркивал, что по мере углубления революции «либеральная буржуазия во Франции начала обнаруживать свою вражду к последовательной демократии еще в движении 1789–1793 гг.» [Ленин В. И. Там же.

С. 342]. В интересах и при непосредственном содействии тех же классовых элементов, представителями которых были либералы, буржуазное правительство Наполеона⁷ «задушило Французскую революцию и сохранило только те результаты революции, которые были выгодны крупной буржуазии» [Сталин И. В. О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников. М., 1937. С. 10], чему, конечно, нисколько не противоречила оппозиция отдельных представителей (Сталь, Констан⁸) и отдельных фракций либеральной буржуазии диктатуре Наполеона на определенных этапах ее развития. С другой стороны, не без содействия части либералов произошла и Реставрация (монархии) во Франции. И если, по сравнению с феодальной монархией, существовавшей до 1789 г., монархия времен Реставрации все же была этапом на пути превращения Франции в чисто буржуазную страну, то этим либеральная буржуазия целиком обязана была демократии, которая временно победила в 1793 г. вопреки либеральной буржуазии и сделала невозможной полную реставрацию.

Таким образом, уже во время Франц. буржуазной революции XVIII в. и установившейся после нее Империи и Реставрации обнаружилось половинчатость, непоследовательность буржуазного Л. и его шатания между демократией и реакцией; даже в этот ранний период своего развития, когда в своей борьбе с абсолютизмом и феодализмом буржуазия в максимальной степени развернула свои прогрессивные и революционные возможности, когда еще реально не сказывалась непосредственная угроза ее классовому господству со стороны только еще нарождавшегося пролетариата, ясно проявились основные тенденции развития буржуазного либерализма, его классовая и историческая ограниченность, которую всегда подчеркивали Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин в своих общих оценках либерализма и либералов. Одна из таких наиболее полных характеристик Л. содержится в статье Ленина «Кадеты и демократия» (1912), но относится не только к кадетам, а к либерализму вообще: «Либералы,— писал здесь Ленин,— отличаются от консерваторов (черносотенцев) тем, что представляют интересы буржуазии, которой

необходим прогресс и сколько-нибудь упорядоченный правовой строй, соблюдение законности, конституции, обеспечение некоторой политической свободы. Но эта прогрессивная буржуазия еще более боится демократии и движения масс, чем реакции.

Отсюда вечные стремления либералов к уступкам старому, к соглашениям с ним, к защите многих коренных устоев старины. А это все ведет к полному бессилию либерализма, к его робости, половинчатости, вечным колебаниям» [*Ленин В. И.* Соч. Т. XVI. С. 77].

Французская либеральная буржуазия конца XVIII и начала XIX вв. предвосхитила дальнейшее развитие либерализма. Под влиянием огромного размаха массового движения городских низов и возглавленного ими крестьянства Л. прогрессивной буржуазии уже тогда обнаружил и свою контрреволюционную сторону. Этого нельзя не учитывать. Однако было бы ошибкой преувеличивать степень этой контрреволюционности не только в то время, но и на всем протяжении развития домонополистического капитализма. Обращаясь к истории Франции, Ленин отмечал: «Не только после великой буржуазной революции, а даже после революции 1848 г., когда контрреволюционность либералов довела до расстрела рабочих республиканцами, — эти либералы в эпоху конца второй империи, в 1868–70 гг., своей оппозицией выразили перемену настроения и начало демократического, революционного, республиканского подъема» [*Ленин В. И.* Соч. Т. XV. С. 283]. Еще в течение ста лет после 1793 г. конфликты и борьба разных фракций контрреволюционной либеральной буржуазии во Франции «продолжали то в одной, то в другой форме служить поводами новых революций, в которых пролетариат неизменно играл роль главной движущей силы и которые он довел до завоевания республики» [*Ленин В. И.* Соч. Т. XII. С. 383]. «Либерал хочет расширения свободы, но так, чтобы демократия от этого не усилилась» — в этой фразе Ленин (Там же. Т. XV. С. 319) резюмирует сущность Л., дальнейшая история которого — с начала XIX в. — представляет в конечном итоге, при всем ее внешнем многообразии, лишь дальнейшее развитие и историческую конкретизацию того, что в самых общих чертах намечалось

уже во время Французской буржуазной революции XVIII в.

Во Франции, при Реставрации, впервые была сформулирована и программа либерализма, его политическая доктрина. Ее основоположником следует считать Бенжамена Констан (см.) «Под свободой,— говорил он,— я разумею торжество личности как над авторитетом, который вздумал бы управлять с помощью деспотизма, так и над массами, которые присвоили бы себе право подчинять меньшинство большинству». Ссылаясь на уроки Франц. революции, Констан решительно выступал против народовластия, настаивая на строго цензовой конституции.

Не только в политическом, но и в организационном отношении, в качестве партии буржуазно-цензового конституционализма с определенной программой, Л. сконструировался, таким образом, прежде всего во Франции. Дальнейшее свое развитие он получил, наряду с Францией, в большей степени, чем во Франции и независимо от Б. Констан,— главным образом в Англии. Уже одновременно с Францией часть радикалов образовала здесь нечто вроде зародыша будущей либеральной партии под знаменем И. Бентама⁹, система которого представляла собой не столько доктрину, сколько непосредственное обобщение повседневного опыта буржуазии. Однако при всей напряженности классовой борьбы в Англии в конце XVIII — начале XIX вв. до революции здесь дело не дошло (см. Великобритания. Исторический очерк). Поэтому политическое размежевание между буржуазией и демократией несколько задержалось в Англии по сравнению с Францией, и в борьбе за реформу избирательного права прогрессивная часть англ. буржуазии еще пыталась в начале XIX в. выступить от лица всего народа против блока земельной и финансовой аристократии. Парламентская реформа 1832 г. резко изменила всю обстановку. Напуганная размахом массового движения, буржуазия предала интересы своих демократических союзников и поспешила пойти на сделку с аристократией, добившись незначительного расширения избирательного права лишь в свою пользу. Вновь приобретенным положением в парламенте буржуазия воспользовалась в своих узко классовых

интересах, проведя в 1834 г. пресловутый Закон о бедных (работные дома) и создав в 1835 г. постоянную городскую полицию. В результате оформилось, с одной стороны, последовательно демократическое движение пролетариата — чартизм, а с другой, — в процессе борьбы против хлебных законов (см. Лига против хлебных законов) — буржуазией были заложены основы классического английского Л. Его кадры составляла буржуазия, связанная с текстильной и вообще легкой промышленностью. Сначала хлопчатобумажная, а затем и остальные отрасли англ. текстильной промышленности первыми в мире перешли на рельсы чисто капиталистического производства. Тем самым англ. промышленники соответствующих отраслей приобрели огромное, надолго обеспеченное за ними экономическое преимущество по сравнению со своими конкурентами в других странах и добились положения поставщиков всего мира. Протекционистские привилегии, удорожавшие цены на хлеб и сырье на родине, стали для них вредными, а тарифы в других странах, продолжавшие существовать или вводившиеся там для охраны своей промышленности, создавали, по их мнению, «искусственное», как учил еще Адам Смит¹⁰ (см.), препятствие для проникновения туда англ. фабрикантов. В этих условиях лозунгом основных в то время отраслей англ. промышленности естественно становился «фритред» (свободная торговля) — устранение всего, что связывало «свободную игру экономических сил» в международном масштабе (протекционизм, войны) и что прямо или косвенно могло отразиться на себестоимости промышленной продукции Англии (повышение заработной платы, хлебные пошлины, налоги, рост расходов на государственный аппарат, милитаризм). За промышленниками прежде всего текстильного Ланкашира (во главе с Манчестером), игравшими ведущую роль в рядах фритредеров, шли широкие в общей сложности слои, связанные с внешней торговлей, банками, с обслуживанием судоходства, городская мелкая буржуазия, значительная часть городского пролетариата. По разным причинам все эти элементы были заинтересованы в свободе коммерческого оборота и передвижения. Но английский либерализм, выступивший под лозунгами свобод-

ной торговли (фритредерства) в качестве прежде всего экономического либерализма, с самого же начала — с борьбы против хлебных законов — преследовал и чисто политические цели. Эти цели сводились не только к укреплению положения буржуазии за счет землевладельцев, но и к тому, чтобы сохранить быстро ослабевшее влияние буржуазии на пролетариат и воспрепятствовать дальнейшим успехам самостоятельного пролетарского движения. В лице Ричарда Кобдена¹¹ и Джона Брайта¹² политически самоопределившаяся в 30–40-х гг. либеральная буржуазия Англии приобрела ярких и своеобразных идеологов и пропагандистов-агитаторов, а завоеванное Англией ко второй половине XIX в. промышленное преобладание в условиях давних конституционных традиций страны подвело базис под расцвет англ. либерализма, характеризующий вторую половину XIX в. в Англии. Промышленное процветание оказалось прочно связанным в сознании англичанина с торжеством свободной торговли и идеалов Л. вообще. Тем самым буржуазия приобрела мощный рычаг идеологического воздействия на пролетариат. Окончательно оформившаяся в 50-х гг. либеральная партия, составившаяся из элементов старого аристократического вигизма, небольшой части тори (так наз. пилитов), сектантов-диссидентов из средней и мелкой буржуазии и основной массы буржуазных фритредеров, за которыми во второй половине XIX в. шла большая часть пролетариата, сменила вигов в качестве второй традиционной партии господствовавших классов и надолго обеспечила за собой преобладающее положение в парламенте. Главой партии во второй половине XIX в. стал мастер парламентских махинаций, бывший тори У. Гладстон¹³ (см.).

В отличие от доктринерского конституционализма ранних французских либералов, англ. Л. с самого начала обладал той маневроспособностью, тем лицемерием, тем умением удерживать народ обманом, без которых англ. буржуазия не могла бы управлять при отсутствии здесь в XIX в. постоянной армии континентального типа. Свою торгашески-эгоистическую чисто классовую программу англ. буржуазия успешно выдавала за проявление гуманности и космополитизма. Свободная тор-

говля, невмешательство государства в экономические отношения, отказ от колоний, космополитизм, пацифизм, мирный эволюционизм — таковы были ее лозунги. А реально этим лозунгам соответствовала десятки лет не оспаривавшаяся монополия Англии на мировом рынке, ничем не ограниченная эксплуатация рабочего, жестокая эксплуатация Индии и массовое вымирание ее населения, войны из-за опиума, кровавое подавление восстаний сипаев и тайпинов, содействие рабовладельческому Югу в гражданской войне в Сев. Америке, стремление под сурдинку использовать в целях максимальной наживы распри европейских государств и т. п.

Антидемократические политические тенденции, свойственные раннему французскому либерализму (Б. Констан и др.), приобрели в англ. Л. более замаскированный характер в связи с тем, что англ. буржуазия вынуждена была в первой половине XIX в. бороться с огромным влиянием чартизма. Но вместе с тем буржуазия в течение большей части XIX в. была еще настолько уверена в себе, что открыто противопоставляла Л. социализму, откровенно защищала полную неприкосновенность частной собственности и принципиально стояла на позициях неограниченной свободы конкуренции. Возникший в борьбе с феодальными монополиями и традициями меркантилизма (см.) лозунг физиократов «laissez faire, laissez passer» в руках либеральной буржуазии обращался против всего, что хотя бы в отдаленной степени напоминало о социализме. Это не значит, что английская либеральная буржуазия этого периода не делала никаких уступок пролетариату, не шла ни на какие «реформы». Характерно, что как раз Гладстону принадлежит известное изречение: «Консерватизм — это реакция, умеренная страхом перед народом, либерализм — это реформа, умеренная благоразумием». Но на этом этапе своего развития английский Л. допускал лишь уступки, не противоречившие, с точки зрения буржуа, тому, чтобы предприниматель чувствовал себя «полным хозяином в своем доме» — как тогда принято было выражаться (т. е. на своем предприятии). Против попыток так наз. социальных реформ либералы вплоть до конца XIX и начала XX вв. упорно боролись. Время от времени они соглашались лишь на известные частич-

ные реформы избирательного права и постепенно вынуждены были скрепя сердце и пожертвовав в этом пункте своей доктриной, предоставить рабочим право организовывать тред-юнионы, заключать коллективные договоры и прибегать к стачкам.

Такого расцвета Л., как в Англии, «всего дольше бывшей и слывшей образцом “социального мира”» [Ленин В. И. Соч. Т. XXIV. С. 25], не знала ни одна другая страна. Объяснялось это в первую очередь тем, что революционная традиция англ. пролетариата прервалась во второй половине XIX в., господствующим оказался тред-юнионизм (см. Тред-юнионы) рабочей аристократии, который был еще Энгельсом¹⁴ охарактеризован как «буржуазная рабочая партия» [Цит. по: Ленин В. И. Соч. Т. XIX. С. 307]. Восторжествовавший в тред-юнионах оппортунизм был основным условием расцвета английского Л. во второй половине XIX в. Таков был наиболее типичный и по-своему цельный Л. буржуазии экономически самой передовой тогда страны. Но в то же время Англия была страной, где в условиях наиболее развитого капитализма «сохранился, благодаря трусости буржуазии, целый ряд добуржуазных, средневековых учреждений и привилегий гг. помещиков» [Ленин В. И. Соч. Т. XVII. С. 309]. Эти пережитки (королевские прерогативы, Палата лордов, лендлордизм, суд, церковная иерархия) накладывали сильный отпечаток на всю политическую жизнь страны, на всю обстановку классовой и партийной борьбы в ней и на саму либеральную партию. Она оставалась лишь преимущественно буржуазной партией: аристократические элементы из бывших вигов все еще были представлены в ней и как раз в составе ее руководящих кругов, а, с другой стороны, известные прослойки буржуазии (связанные с помещиками фермеры, представители некоторых отраслей тяжелой промышленности) продолжали оставаться у консерваторов, политическая организация которых не выходила, впрочем, из состояния глубокого упадка с 30-х до 70-х гг.

В отличие от Англии, где капитализм развивался по классически «либеральному» пути, Франция вплоть до 70-х гг. XIX в. оставалась страной, где «историческая борьба классов больше, чем в других странах, доходила

каждый раз до решительного конца» [Энгельс. Цит. по: Ленин В. И. Соч. Т. XXI. С. 390]. В результате радикального разгрома феодализма Французской буржуазной революцией XVIII в. господство буржуазии выступало здесь в наиболее чистом виде. Франция на всем протяжении эпохи буржуазных революций продолжала проходить «в быстрой, резкой, концентрированной форме» (Ленин) те этапы развития, которые гораздо позже наступали в других странах. Героический революционный пролетариат Франции «умел... четыре раза с 1789 по 1871 гг. совершать революции, подниматься снова и снова на борьбу после самых тяжелых поражений и завоевать себе республику, в которой он стоит лицом к лицу перед своим последним врагом — передовой буржуазией; — республику, которая одна только может быть формой государства, соответствующей условиям окончательной борьбы за победу социализма» [Ленин В. И. Соч. Т. XV. С. 211].

Все это имело своим результатом, с одной стороны, то, что французская либеральная буржуазия первая обнаружила подлинное лицо «холуйского, подлого, грязного и зверского либерализма» (Ленин). Уже в XIX в. французская буржуазия продемонстрировала со всей наглядностью закономерность, что «там, где пролетариат сознательно борется, либеральная буржуазия перестает быть революционной» [Сталин И. В. В кн.: Берия Л. К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье. С. 74]. Именно она в массовом масштабе расстреливала в июньские дни 1848 г. рабочих, подав сигнал, по которому гораздо более отсталая буржуазия остальных государств континента бросилась в объятия своих еще не устраненных — в отличие от Франции — крепостников, в то время как сама французская буржуазия приветствовала Наполеона III¹⁵. Но, с другой стороны, во Франции же, где буржуазия в начале эпохи буржуазных революций была монархической, вся она «была переделана в республиканскую, перевоспитана, переобучена, перерождена» и в результате четырех революций вынуждена была «создать такой политический строй, который более угоден ее антиподу» (пролетариату. — Ред.) [Ленин В. И. Соч. Т. XV. С. 373].

Иными были судьбы Л. в Германии, где «помещик

не выпускал из своих рук гегемонии» и где «он “воспитал” буржуазию по образу и подобию своему» [Там же]. «Почему,— спрашивал в 1913 г. Ленин,— в буржуазной Германии, в стране особенно быстро развивающегося капитализма, более чем 60 лет спустя после революции... господствуют помещичьи и клерикальные, а не чисто буржуазные политические партии». «Самое главное» — основную причину этого явления — Ленин вслед за Марксом видел в том, что напуганная самостоятельностью «своего» пролетариата и июньскими днями 1848 г. в Париже буржуазия «отвернулась от демократии, позорно предала свободу, которую раньше защищала, и повернула к лакейству перед помещиками и клерикалами» [Ленин В. И. Соч. Т. XVI. С. 524].— Удовлетворившись куцым разрешением юнкерством одной из задач буржуазно-демократической революции в Германии,— задачи ее воссоединения,— германский Л. предоставил тому же юнкерству полную возможность сохранить целый ряд прямых крепостнических пережитков и свои основные социальные позиции в целом. Свойственная Л. черта — измена крестьянству, которое он на определенном этапе ведет за собой, и предательство его интересов в пользу помещиков — нашла свое особенно яркое воплощение в Германии (наряду с царской Россией). Ничего своего германский Л. не создал на всем протяжении своей истории. Уже к 70-м гг. он окончательно разложился и либо выродился в откровенно и последовательно реакционный национал-либерализм (см. Национал-либералы), один из главных оплотов бисмарковского режима, либо влачил жалкое существование в качестве непрочных и мало влиятельных группировок «свободомыслящих» (см. Свободомыслящих союз), основной функцией которых было уловление и подчинение задачам буржуазной политики мелкобуржуазного избирателя. В Германии, где промышленная буржуазия уже со времен Ф. Листа¹⁶ (см.) становилась на протекционистские позиции, отсутствие достаточных предпосылок для свободы торговли было добавочным препятствием для развития не только экономического, но и обычно связанного с ним политического Л.

Либерализм в собственном смысле слова достиг свое-

го наибольшего развития в закончившуюся к 70-м гг. эпоху буржуазных революций в тех странах, которые были тогда самыми передовыми в Европе (Англия, Франция). Экономической почвой, на которой развивался Л., был домонополистический капитализм — капитализм «свободной конкуренции», и с развитием империализма эта почва уходила из-под него. Ленин по этому поводу писал: «Домонополистический капитализм — апогеем его были именно 70-е годы XIX века — отличался, в силу экономических его коренных свойств, которые в Англии и Америке проявились особенно типично, наибольшими, сравнительно, миролюбием и свободолюбием. А империализм, т. е. монополистический капитализм, окончательно созревший лишь в XX веке, по экономическим его коренным свойствам, отличается наименьшим миролюбием и свободолюбием, наибольшим и повсеместным развитием военщины» [*Ленин В. И. Соч. Т. XXIII. С. 343*].

Достигнув в 70-е гг. своего апогея, домонополистический капитализм начал склоняться к упадку. Кризис 1873 г. нанес ему сильный удар, в результате которого он начал постепенно переходить на империалистические рельсы. После кризиса 1873 г. наступила «широкая полоса развития картелей» [*Ленин В. И. Соч. Т. XIX. С. 86*]. Лихорадочно заканчивался раздел мира горсткой крупнейших капиталистических держав. Время «окончательной смены старого капитализма новым» [Там же. С. 85] — начало XX в. — еще не наступило, но капитализм, обнаруживавший резко усилившуюся неравномерность своего развития, уже проявлял в наиболее передовых странах (Англия) первые признаки начинавшегося паразитического перерождения и загнивания, совпадавшего с исключительно быстрым капиталистическим ростом нескольких отстававших ранее стран (США, Германия), на основе очень сильного развития здесь монополистических тенденций.

Политически буржуазия также была уже на ущербе, и это выражалось в наметившихся с 70-х гг. тенденциях отхода буржуазии от либерализма, распада либерализма и его империалистического перерождения. Наиболее типичные формы это приняло опять-таки в Англии. Эти процессы, в той или иной степени наблюдавшиеся во

всех основных капиталистических странах, связаны были с усилением империалистических тенденций развития. Первый удар по капитализму со стороны Парижской Коммуны, заставивший осознать буржуазию, что основам ее классового господства грозит серьезная и совершенно реальная опасность, сыграл огромную роль в возраставшем с тех пор ослаблении и постепенном прекращении буржуазией ее борьбы против абсолютистски-феодально-крепостнических порядков и пережитков, в ее постепенном сближении с феодально-реакционными элементами и в укреплении единого блока господствующих классов для защиты всякой собственности и всяких привилегий — независимо от того, феодального они или буржуазного происхождения. Уходило в прошлое время, «когда были налицо — и не только были налицо, а стояли на первом плане исторического процесса в важнейших государствах Европы — безусловно прогрессивные буржуазные движения» [Ленин В. И. Соч. Т. XVIII. С. 104]. «Политической надстройкой над новой экономикой, над монополистическим капитализмом... является поворот от демократии к политической реакции. Свободной конкуренции соответствует демократия. Монополии соответствует политическая реакция» [Ленин В. И. Соч. Т. XIX. С. 207]. — Однако решительное преобладание откровенно реакционной политической линии буржуазии было результатом длительного процесса, особенно в Англии и Франции, и Л., теряя почву под ногами, делал в этот период попытки «омолодить» себя и укрепить свои позиции искусственными мерами. Бросив за борт старые формулы «laissez faire», т. е. невмешательства в экономические отношения и в том числе во взаимоотношения между трудом и капиталом, Л. перед лицом роста рабочего движения и угрозы революции начиная со второй половины 90-х гг. вступает на путь т. н. социальных реформ и пытается перейти на позиции буржуазного реформизма (буржуазного — в отличие от социал-реформизма, т. е. реформизма внутри рабочего движения, в конечном счете также, конечно, буржуазного по своим тенденциям). Этот процесс превращения собственно Л. в своего рода либерал-реформизм приобрел, особенно после рус. революции 1905 г., открывшей эру новых

революций, очень широкий размах и до известной степени маскировал (а частично, и действительно замедлял, вплоть до наступления периода всеобщего кризиса капитализма) процесс упадка Л. Но по сути дела Л. на этом пути повторял лишь то, что до него уже пытался делать консерватизм в Англии (эпоха фабричного законодательства и деятельность Дизраэли-Биконсфилда¹⁷), бонапартизм во Франции («социальная» империя) и даже Бисмарк в Германии (страховое законодательство в 80-х гг.) с целью отвлечь рабочие массы от знамени Л.; поскольку реакция давно уже прекратила эти попытки, Л. мог теперь сам заняться этой демагогией. Носителями буржуазного реформизма становятся, с одной стороны, соответственно перестроившиеся остатки либеральных партий (Англия), представлявшие главным образом фритредерские элементы легкой индустрии, мелкую буржуазию, интеллигенцию, с другой стороны, претендующие на радикализм и даже на социализм буржуазные и мелкобуржуазные партии типа французских радикалов и радикал-социалистов, представители городской, средней и мелкой буржуазии и крестьянства, теснимые крупным капиталом, и, наконец, оппортунистические направления в социалистических партиях, фактически проводящие либеральную рабочую политику буржуазии и насаждающие реформизм внутри рабочего движения (раньше и полнее всего на этот путь встали англ. лейбористы) (см. Рабочая (лейбористская) партия Великобритании).

Классический анализ буржуазного реформизма, в который пытался преобразиться Л. старого типа, еще в 1911 г. был дан Лениным в его статье «Реформизм в русской социал-демократии». «Громадный прогресс капитализма за последние десятилетия и быстрый рост рабочего движения во всех цивилизованных странах внесли большой сдвиг в прежнее отношение буржуазии к пролетариату. Вместо открытой, принципиальной, прямой борьбы со всеми основными положениями социализма во имя полной неприкосновенности частной собственности и свободы конкуренции, буржуазия Европы и Америки, в лице своих идеологов и политических деятелей, все чаще выступает с защитой так называемых социальных реформ против идеи социальной

революции. Не либерализм против социализма, а реформизм против социалистической революции — вот формула современной «передовой», образованной буржуазии» [Ленин В. И. Соч. Т. XV. С. 207].

Буржуазный реформизм показывает, что метод известных «либеральных» уступок пролетариату и метод голого насилия являются лишь двумя методами господства империалистической буржуазии. Объективная основа, экономическая почва буржуазного реформизма, тесно связанного с оппортунизмом в рабочем движении (см. Реформизм, Оппортунизм) и приобретающего в обстановке империализма международный характер, во всех странах та же, благодаря которой англ. Л. приобрел свое влияние на пролетариат еще в условиях домонополистического капитализма. Это — монопольная прибыль, которой при империализме пользуется уже не одна только Англия, но и другие империалистические страны. За счет сверхприбыли буржуазия подкупает часть лидеров и отдельные прослойки (меньшинство) пролетариата.

Страна самых типичных либеральных традиций, страна классического тред-юнионизма, «буржуазной рабочей партии», Англия и на этом этапе дала наиболее яркий пример буржуазного либерализма в форме «ллойд-джорджизма» — так Ленин характеризовал широко разветвленную, систематически проведенную, прочно оборудованную систему «лести, лжи, мошенничества, жонглерства модными и популярными словечками, обещания направо и налево любых реформ и любых благ рабочим, — лишь бы они отказались от революционной борьбы за свержение буржуазии» [Ленин В. И. Соч. Т. XIX. С. 311]. В обстановке подготовки англ. буржуазии к первой империалистической войне Ллойд Джордж¹⁸ проводил политику «изрядных подачек послушным рабочим в виде социальных реформ» [Ленин В. И. Там же] — пенсии для престарелых, страхование рабочих от безработицы, болезни, увечий и пр. Для покрытия значительно возросших расходов Ллойд Джорджем был запроектирован бюджет, встретивший упорное сопротивление крупнокапиталистических и землевладельческих элементов. Вопреки конституционной традиции бюджет был отвергнут Палатой

лордов, и это вызвало длительный конституционный кризис, давший Ллойд Джорджу повод развернуть безудержную демагогию, результаты которой тогда же (1910) заставили его самого стремиться к отступлению и к тайному закуливному соглашению с консерваторами о создании вместе с ними коалиционного «национального» правительства. Буржуазный реформизм обнаружил тем самым основную закономерность своего развития: вынужденный проводить свою политику в борьбе с оппозицией, уже открыто перешедшей в реакционный лагерь крупнокапиталистических элементов, связанных с крупным землевладением, и вынужденный поэтому искать поддержку среди более демократических общественных слоев, буржуазный реформизм все более и более отталкивает от себя своих прежних буржуазных сторонников, сам же пугается последствий своей демагогии и, остановившись на полпути в сознании своего бессилия, или просто отцветает или шарахается в сторону реакции.

Эти тенденции развития буржуазного реформизма достаточно явственно наметились еще до войны. Война с ее взрывом зоологического шовинизма с полной закономерностью вызвала переход подавляющей части либералов в крайний империалистический лагерь. Грань между либералами и реакционерами стерлась во время войны, и проводниками реакционной империалистической политики оказались бывшие лидеры либералов во главе с тем же Ллойд Джорджем, Клемансо¹⁹ (см.) и пр. Действуя заодно с реакционерами, они же и бывший либерал У. Черчилль²⁰ (см.) стали организаторами интервенции (см.) против Великой Октябрьской социалистической революции. В условиях крайнего обострения всех внутренних и внешних противоречий, свойственных эпохе всеобщего кризиса капитализма и пролетарских революций, Л. окончательно разлагается. В разразившихся к концу войны революциях либералы с самого начала были по существу в лагере открытой контрреволюции. В большинстве стран либеральные партии распались и влачат жалкое существование. В Англии наследство позднего либерализма — буржуазный реформизм — стало почвой, на которой стоит Labour party, осуществлявшая его в период своего пре-

бывания у власти в гораздо более робкой форме, чем это до войны делали либералы во главе с Ллойд Джорджем. Под знаменем буржуазного реформизма Рабочая партия сгруппировала вокруг себя прежние массовые кадры либералов — мелкую буржуазию, часть интеллигенции, привилегированную верхушку пролетариата. Собственно либеральная партия осталась одной из исторических «руин», которыми так богата англ. действительность, и не только уже не мечтает о приходе к власти, но даже не составляет и официальной оппозиции — эта роль перешла к Labour party. В Италии, Польше, Германии и пр. либерализм капитулировал перед фашизмом, расчистив ему дорогу своим попустительством, и многие бывшие либералы перешли в ряды фашистов. Чрезвычайно характерна эволюция в сторону фашизма испанских либералов; представляющая их радикальная партия во главе с А. Лерусом²¹ (см.) пользовалась когда-то большим влиянием среди крестьянства, но постепенно утратила всякую массовую базу благодаря своей контрреволюционной роли, докатилась до поддержки Франко и растворилась в фашистском стане.

В странах, где положение капитализма пока еще относительно устойчивое и где в связи с этим господствующие классы настроены не так авантюристически-агрессивно, как в Германии, Италии, Японии и пр., известные слои буржуазии до сих пор остались на сравнительно либеральных позициях. Это относится прежде всего к США, где президент Рузвельт²² широко рекламирует «новую эру» буржуазного реформизма (см. Рузвельт, Соединенные Штаты Америки, Исторический очерк). Известные круги американской буржуазии стремятся противопоставить радикализации масс политику социальных реформ (страхование), известную помощь фермерству и пр. Во Франции, где либеральное руководство радикал-социалистической партии испытывает на себе исключительно сильное давление своих демократических низов, радикал-социалисты вступили в Народный фронт. Мелкая буржуазия и значительная часть крестьянства, лишней раз убедившиеся на примере Германии и Испании, что фашизация означала бы для них разорение и войну, заставили своих лидеров поддержать правительство Народного

фронта во главе с Блюмом²³ и пойти на некоторое улучшение положения широких масс и на ряд социальных реформ, а после падения кабинета Блюма (в результате сопротивления правых партий и части радикал-социалистических сенаторов его социальной политике) — составить 23/VI—1937 г. новый кабинет Народного фронта во главе с радикалом Шотаном. Под давлением французских и иностранных (Англия) капиталистических воротил, стремящихся взорвать Народный фронт хотя бы ценой гражданской войны и спровоцировавших финансовую панику, правые элементы радикалов (собственно либералы), саботировавшие политику Народного фронта, добились от Шотана в начале 1938 г. враждебной рабочему классу декларации. В результате правительственного кризиса Шотан 19/I—1938 г. «реорганизовал» кабинет, заменив в его составе социалистов радикалами.

В международной области либералы крупнейших государств буржуазной демократии не вели и до сих пор не ведут последовательной и решительной борьбы с агрессией фашистских и военно-фашистских государств (Япония, Италия, Германия). Последовательная борьба СССР за мир заставляет в последнее время все действительно преданные демократии элементы, еще оставшиеся у либералов (в частности, передовую прогрессивную часть интеллигенции), во все растущей симпатией относиться к СССР, впервые осуществившему подлинную демократию и составляющему несокрушимый оплот в борьбе против фашизма и реакции. Б. В.²⁴

Л. и либеральное движение в России. Процесс разложения крепостного хозяйства под влиянием развития капиталистических отношений создал почву, на которой возник Л., поставивший проблему экономического и политического переустройства России и в первую очередь проблему на капиталистической основе и путем реформ уничтожения крепостного права. Первые проявления русского Л. могут быть отнесены еще к концу XVIII в. (масонство, литературная деятельность Новикова, сатирические журналы). Этому раннему Л. уже тогда противостоял демократизм Радищева²⁵ (см.), ставшего жертвой жестоких преследований Екатерины II,

испугавшейся Франц. революции XVIII в. Особенно ярко впервые проявились идеи русского Л. в движении декабристов (см.), в котором рядом с умеренным либерализмом «Северного общества», не шедшего в своих программных требованиях дальше освобождения крестьян без земли и дальше монархической конституции, выработанной Никитой Муравьевым²⁶ (см.), выделялось своим демократизмом «Южное общество» и особенно «Общество соединенных славян». Самая попытка военного восстания 14/XII—1825 г., наподобие военных восстаний в Испании и Неаполе, имела целью добиться конституции без привлечения широких масс. Наоборот, юж. декабристы и особенно «соединенные славяне» представляли собой зародыш мелкобуржуазной демократии и мечтали даже о республике и серьезных социальных реформах.

Новый подъем Л. в форме замаскированной по цензурным условиям легальной пропаганды либеральных идей относится к 40-м гг. XIX в. и находится в связи с усилением роста капитализма в самой России, а также в связи с новым предреволюционным ростом Л. в Зап. Европе. Носителями этого Л. были представители т. н. западничества (см. Западники). В этом западничестве, наряду с Л. и в противовес ему, имелась и демократическая струя и даже увлечение утопическим социализмом. Наиболее выдающимся представителем «либерализма 40-х годов» был Т. Н. Грановский²⁷ (см.), лекции которого в Московском ун-те по истории Зап. Европы собирали многочисленную публику. Впоследствии этот «гуманный» либерализм Грановского и др. противопоставлялся плебейскому демократизму разночинцев в 60-х гг. Крымская война, нанесяшая первый серьезный удар крепостническому самодержавию и вызвавшая, наряду с крестьянскими восстаниями, широкое движение разночинной молодежи, породила новый расцвет Л. конца 50-х и начала 60-х гг. Проявлением этого Л. были листки «Великорусс» (см.), требовавшие радикальных реформ для предупреждения грядущей крестьянской революции. Впрочем, Л. этой эпохи в основном тоже не шел дальше умеренной конституции, административной реформы и свободы экономического развития России, необходимой для беспрепятственного

развития капитализма. «Пресловутая борьба крепостников и либералов, столь раздутая и разукрашенная нашими либеральными и либерально-народническими историками, была борьбой внутри господствующих классов, большей частью внутри помещиков, борьбой исключительно из-за меры и формы уступок. Либералы так же, как и крепостники, стояли на почве признания собственности и власти помещиков, осуждая с негодованием всякие революционные мысли об уничтожении этой собственности, о полном свержении этой власти» [Ленин В. И. Соч. Т. XV. С. 143]. Вот почему против либералов этого периода выступали с беспощадной и язвительной критикой Чернышевский²⁸ и Добролюбов²⁹, вожди революционной демократии, идеологи крестьянской революции. Крохоборчество либералов высмеивал Добролюбов в «Свистке», над ним издевался и Щедрин³⁰ в своих сатирических рассказах и очерках этого периода. Самым левым проявлением этого Л. явилось издание А. И. Герценом³¹ «Полярной звезды» и «Колокола», практическая программа которых была близка к программе либералов. «Долой дикую цензуру и дикое помещичье право! Долой барщину и оброк! Дворовых на волю!» — писал Герцен в «Полярной звезде» в 1856 г. В своей пропаганде «Колокол» обращался не к крестьянской массе, а к «образованному обществу», даже к самому царю, на которого либералы возлагали большие надежды. Несмотря на эту практическую близость программы «Колокола» к программе либералов, для Герцена эта программа имела ценность лишь как «первый шаг» в направлении к осуществлению «крестьянского социализма». «Справедливость требует сказать, что при всех колебаниях Герцена между демократизмом и либерализмом, демократ все же брал в нем верх» [Ленин В. И. Соч. Т. XV. С. 467]. Рост крестьянских восстаний, студенческое движение, петербургские пожары лета 1862 г., наконец, польское восстание 1863 г. толкнули вправо огромное большинство либералов. Наиболее типичным их представителем был К. Д. Кавелин³² (см.), который после ареста Чернышевского писал: «Аресты мне не кажутся возмутительными... Революционная партия считает все средства хорошими, чтобы сбросить правительство, а оно защищается своими

средствами». А «либеральный, сочувствующий английской буржуазии и английской конституции, помещик Катков³³ во время первого демократического подъема в России (начало 60-х гг. XIX в.) повернул к национализму, шовинизму и бешеному черносотенству» [*Ленин В. И. Соч. Т. XXX. С. 192*]. Таков был первый этап эволюции русского либерализма вправо.

После введения земских учреждений дворянский Л. укрепился в земствах, где, по ироническому выражению Щедрина, занялся «лужением рукомыльников», т. е. крохоборчеством в области культурной работы. Лишь после русско-турецкой войны 1877–78 гг., снова показавшей всю гнилость царского самодержавия, и под влиянием подъема революционного движения частично оживилось либеральное движение в форме оппозиционных адресов земских собраний и городских дум и требований конституции (см. Земство). Но убийство Александра II³⁴ и правительственная реакция надолго заглушили и этот робкий «земский либерализм». А часть бывших либералов снова, как и в начале 60-х гг., повернула в сторону реакции и угодничества перед правительством. Так, редактор газеты «Новое время» «либеральный» журналист Суворин³⁵ во время второго демократического подъема в России (конец 70-х гг. XIX в.) повернул к национализму, к шовинизму, к беспардонному лакейству перед властью имущими. Русско-турецкая война помогла этому карьеристу «найти себя» и найти свою дорожку лакея, награждаемого громадными доходами его газеты «Чего изволите?» [*Ленин В. И. Там же*]. Новые признаки жизни проявил этот «земский либерализм» лишь в 90-х гг. под влиянием голода и холеры 1891–92 гг. и начавшегося рабочего движения и стал принимать более или менее конкретные очертания в царствование Николая II³⁶. Грубый окрик царя, назвавшего робкие конституционные пожелания первой земской делегации «бессмысленными мечтаниями», не остановил этого движения, которое стремилось путем реформ и уступок сверху предупредить нараставшее революционное движение. В этом новом Л. имелись две струи, опиравшиеся на разные классовые прослойки: с одной стороны, «земцы», идеологи аграрного капитализма (С. А. Муромцев³⁷, И. И. Петрункевич³⁸ и др.), с

другой стороны, представители новой буржуазной интеллигенции (профессора, как П. Н. Милюков³⁹, адвокаты и т. п.) — идеологи промышленного капитализма. Органом обеих этих групп явился в начале 900-х гг. издававшийся за границей бывшим легальным «марксистом» П. Б. Струве⁴⁰ (см.) журнал «Освобождение», положивший начало полулегальному Союзу освобождения, предшественнику партии к.-д. Перед революцией 1905 г. либералы проводили т. н. банкетную кампанию (по имени такой же кампании во Франции накануне революции 1848 г.), т. е. ряд выступлений на земских собраниях, в городских думах и на банкетах с требованием конституции. В течение 1903 и 1904 гг. происходил ряд полулегальных съездов «освобожденцев» и «земцев».

В первую русскую революцию 1905 г. либералы вступили с отдельными противоречивыми программными заявлениями в своем органе, и лишь 5/IV—1905 г. в газете «Новости» появилась «Программа Союза освобождения». Отмечая появление программы либералов как положительное явление, В. И. Ленин писал: «Несомненно, для русских либералов это крупный шаг, выделяющийся среди довольно уже продолжительной эпопеи либеральных выступлений. И как же мелок этот крупный либеральный “шаг”» [*Ленин В. И. Соч. Т. VII. С. 340*]. Разбирая эту программу, Ленин приходил к выводу, что «перед нами партия сторонников конституционной монархии, партия монархистов-конституционалистов» [*Там же. С. 341*], программа которых — «простое запрашивание, заранее считающееся с неизбежной “скидкой с цены”, смотря по “твердости” той или другой воюющей стороны... Буржуазия сторгуется с царизмом на более дешевой цене, чем ее теперешняя программа — это не подлежит сомнению» [*Там же. С. 345*]. «Не обманывайтесь, — предостерегал Ленин, — треском и звоном радикально-освобожденных речей и земских резолюций. Это — размалеванные кулисы для “народа”, а за кулисами идет бойкая торговля. Либеральная буржуазия умеет распределять роли: радикального болтуна — на банкеты и на собрания, прожженного дельца — на “подготовку почвы” среди придворной шайки» [*Ленин В. И. Соч. Т. VII. С. 361*]. Когда же этот

торг начался и либералы начали играть в лояльность, умеренность и скромность, Ленин писал: «Русским либералам не хочется революции, они боятся ее, им хочется сразу, не бывши революционерами, прослыть бывшими революционерами! Им хочется сразу перескочить от 1847 к 1857 г.! Им хочется сразу сторговаться с царем на такой конституции, какие бывали в Европе во времена бешеного разгула реакции после поражения революции 1848 г.» [Там же. С. 359]. «Вот почему наша буржуазно-либеральная печать не по одним только цензурным соображениям, не только страха ради иудейска оплакивает возможность революционного пути, боится революции, пугает царя революцией, заботится об избежании революции, холопствует и низкопоклонствует ради жалких реформ, как основы реформаторского пути. На этой точке зрения стоят не только “Русские ведомости”, “Сын отечества”, “Наша жизнь”, “Наши дни”, но и нелегальное, свободное “Освобождение”» [Ленин В. И. Соч. Т. VIII. С. 58].

Учитывая возникновение либеральной партии в России в лице Союза освобождения (см.), III Съезд РСДРП (12/IV–27/IV–1905 г.) в принятой резолюции «Об отношении к либералам» настоятельно рекомендовал: «1) разъяснять рабочим антиреволюционный и противопролетарский характер буржуазно-демократического направления во всех его оттенках, начиная от умеренно либерального, представляемого широкими слоями землевладельцев и фабрикантов, и кончая более радикальным, представляемым Союзом освобождения и многочисленными группами лиц свободных профессий; 2) энергично бороться, в силу изложенного, против всяких попыток буржуазной демократии взять в свои руки рабочее движение и выступать от имени пролетариата или отдельных групп его» [ВКП(б) в резолюциях... Ч. 1. 5-е изд. 1936. С. 49]. Резолюция была направлена против позиции меньшевиков, которые с появлением на общественной арене Л. пытались навязать рабочему классу блок, союз с буржуазией, которую они рассматривали как главную движущую силу революции. Спор об отношении с.-д. к Л. начался со II Съезда, вынесшего две резолюции: резолюцию Плеханова⁴¹ (поддерживалась Лениным), которая точно указывала

классовый характер Л. как движения буржуазного и выдвигала на первый план задачу разъяснения пролетариату антиреволюционного и антипролетарского характера Л., и резолюцию Старовера, не дающую классового анализа либерализма и демократизма. Происшедшая одновременно с III Съездом РСДРП меньшевистская конференция в Женеве углубила разногласия большевиков с меньшевиками по вопросу об отношении к Л. Либеральное «Освобождение» приветствовало раскол РСДРП, хвалило новоискровцев, т. е. меньшевиков, «за реализм, трезвость, торжество здравого смысла, серьезность резолюций, тактическое просвещение, практичность и т. д.» и выражало «неудовольствие по поводу тенденций III Съезда, порицая его за узость, революционизм, бунтарство, отрицание практически полезных компромиссов» [Ленин В. И. Соч. Т. VIII. С. 110–111]. В. И. Ленин в брошюре «Две тактики с.-д. в демократической революции» и в ряде статей подверг сокрушительной критике позиции меньшевиков, продолжавших выступать с лозунгом поддержки либералов с целью «толкать их влево».

В своей политике соглашательства с Л. меньшевики пошли так далеко, что на выборах в Гос. думу вступили даже в избирательные соглашения против «черносотенной опасности» с возникшей в октябре 1905 г. открытой партией русской либеральной буржуазии — конституционно-демократической партией (см.), о которой Ленин писал, что «название “к.-д. п.” придумано для того, чтобы скрыть монархический характер партии» [Ленин В. И. Соч. Т. VII. С. 341]. В период первой Гос. думы В. И. Ленин дал такую характеристику к.-д. партии: «Они соединяют в себе, поистине, лебедя, рака и щуку — болтливую, чванную, самодовольную, ограниченную, трусливую буржуазную интеллигенцию, контрреволюционного помещика, желающего за сходную цену откупиться от революции, и, наконец, твердого, хозяйственного, экономного и прижимистого мелкого буржуа» [Ленин В. И. Соч. Т. IX. С. 98]. Этому скатыванию меньшевиков к Л. большевики противопоставляли союз пролетариата с крестьянством, направленный не только против сил реакции, но и против Л. С этой целью большевики неустанно разоблачали предатель-

ское поведение Л. и одной из своих задач ставили отвоевать у либералов массы, лишить их возможности влиять на широкие массы трудящихся. В борьбе с полулиберальной позицией меньшевиков т. Сталин писал еще в феврале 1907 г.: «Там, где пролетариат сознательно борется, либеральная буржуазия перестает быть революционной. Поэтому-то кадеты-либералы, отпугиваемые борьбой пролетариата, ищут защиты под крылышком реакции. Поэтому они борются больше с революцией, чем с реакцией... Да, наша либеральная буржуазия и ее защитники кадеты являются союзниками реакции, они “просвещенные” враги революции» [Цит. по: *Берия Л. К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье. 3-е изд. 1937. С. 74*].

После разгрома первой русской революции октябристы становятся открыто контрреволюционными, к.-д. фактически их поддерживают, образуя с ними в государственных думах единый блок, причем переход от к.-д. к октябристам составляют «мирнообновленцы» (см.). Виднейшие кадеты во главе с П. Струве и др. выпускают в 1909 г. контрреволюционный сборник «Вехи» (см.), о котором Ленин писал, что это «крупнейшие вехи на пути полнейшего разрыва русского кадетизма и русского либерализма вообще с русским освободительным движением, со всеми его основными задачами, со всеми его коренными традициями» [*Ленин В. И. Соч. Т. XIV. С. 217*]. Еще раньше, характеризуя эволюцию русского Л. за годы революции, В. И. Ленин указывал, что «русский либерализм за три года пережил ту эволюцию, которая потребовала в Германии свыше тридцати лет, а во Франции даже свыше ста лет: эволюцию от сторонника свободы к безвольному и подлому пособнику абсолютизма» [*Ленин В. И. Соч. Т. XII. С. 156*]. В другом месте Ленин писал: «Катков-Суворин-“веховцы”, это все исторические этапы поворота русской либеральной буржуазии от демократии к защите реакции, к шовинизму и антисемитизму» [*Ленин В. И. Соч. Т. XXX. С. 193*].

Подводя итоги всему русскому Л., Ленин писал: «Либералы хотели “освободить” Россию “сверху”, не разрушая ни монархии царя, ни землевладения и власти помещиков, побуждая их только к “уступкам” духу

времени. Либералы были и остаются идеологами буржуазии, которая не может мириться с крепостничеством, но которая боится революции, боится движения масс, способного свергнуть монархию и уничтожить власть помещиков» [Ленин В. И. Соч. Т. XV. С. 144]. «Либерал представляет не массу населения, а меньшинство его, именно: крупную и среднюю либеральную буржуазию. Либерал боится движения масс и последовательной демократии более, чем реакции. Либерал не только не добивается полного уничтожения всех средневековых привилегий, а прямо защищает некоторые и весьма существенные привилегии, стремясь к тому, чтобы эти привилегии были разделены между Пуришкевичами⁴² и Милюковыми, а не были устранены вовсе. Либерал защищает политическую свободу и конституцию всегда с урезками... — причем каждая урезка есть сохранение привилегии крепостников. Либерал колеблется, таким образом, постоянно между крепостниками и демократией; отсюда крайнее, почти невероятное бессилие либерализма во всех сколько-нибудь серьезных вопросах» [Ленин В. И. Соч. Т. XVI. С. 112]. Впрочем, окончательный поворот русского Л. к союзу с реакцией не останавливает его попыток влиять на массы. В частности, к.-д. принимают активное участие в выработке законов о страховании рабочих и т. п. с целью выставления на показ своего мнимого «рабочелюбия». С другой стороны, роль либералов, подобно реформистам в Зап. Европе, начинают играть меньшевики-ликвидаторы, которых Ленин называл либеральными рабочими политиками и «столыпинской рабочей партией», а также народники, образовавшие в лице т. н. партии народных социалистов полулиберальную группировку с народнической фразеологией.

В годы подъема рабочего движения перед империалистической войной (1912–1914) русский Л. перерождается в «национал-либерализм», т. е. в идеологию империалистской буржуазии, и в области внешней политики проводит тактику полного соглашения с царизмом, поддерживая его захватнические стремления. Вожди кадетской партии начинают проповедовать идею захвата Константинополя и проливов, а также поддержку царской Россией славянского национального

движения в Австро-Венгрии. Первая империалистическая война и вторая русская Февральская буржуазно-демократическая революция (1914–1917) стерли границы между Л. части промышленной буржуазии и консерватизмом октябристов, националистов и умеренных правых. Они образовали т. н. прогрессивный блок (см.), который повел борьбу против германофильства некоторых придворных клик, в частности против Распутина⁴³ (см.), борьбу «до полной победы» над Германией. После Февральской буржуазно-демократической революции этот блок временно захватил власть в свои руки и повел бешеную борьбу против революционного пролетариата и крестьянства и особенно против партии большевиков, причем во Временном правительстве вместе с кадетами участвовали меньшевики и эсеры. После Великой Октябрьской социалистической революции либеральная буржуазия наряду с помещиками становится во главе российской контрреволюции.

В период гражданской войны (1918–1920 гг.) либералы скатились к предательству и измене родине: призвав интервентов, пошли на любые сделки по закабалению русского народа западноевропейским капиталом. Либеральная буржуазия, либеральные группировки с народнической фразеологией, либеральные рабочие политики, «кадеты, правые эсеры и меньшевики по части союза с империалистскими державами, по части заключения грабительских договоров, по части предания родины англо-французскому империализму побили рекорд» [*Ленин В. И. Соч. Т. XXIII. С. 158*].

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Сталь Анна Луиза Жермена де* (1766–1817) — известная французская писательница.

² *Шатобриан Франсуа Рене де* (1768–1848) — французский писатель и политический деятель.

³ *Ленин В. И.* (1870–1924) — великий гений революционного пролетариата и всех трудящихся человечества, продолжатель дела Маркса и Энгельса, основатель и вождь партии большевиков и Коммунистического интернационала, основатель Союза ССР.

⁴ *Сталин (Джугашвили) И. В. (1879–1953)* — достойный продолжатель дела *Ленина*.

⁵ *Каутский Карл (1854–1938)* — ренегат и контрреволюционер, один из вождей германской социал-демократии, теоретик II Интернационала, злейший враг СССР.

⁶ *Берия Л. П.* — сведений о Берии нет ни в одном издании Большой советской энциклопедии. — *Прим. сост.*

⁷ *Наполеон I Бонапарт (1769–1821)* — консул Французской республики, император Франции (1804–1814 и 1815).

⁸ *Констан Бенжамен (1767–1830)* — французский политический деятель, выдающийся оратор и государствовед, публицист и беллетрист.

⁹ *Бентам Иеремия (1748–1832)* — английский мыслитель, давший теоретическое обоснование утилитаристическому учению о нравственности.

¹⁰ *Смит Адам (1723–1790)* — принадлежит к той плеяде выдающихся буржуазных экономистов, которые создали английскую классическую политическую экономию.

¹¹ *Кобден Ричард (1804–1865)* — владелец хлопчатобумажных фабрик в Манчестере, член английского парламента нескольких созывов. Лидер фритредеров вместе с *Д. Брайтом*.

¹² *Брайт Джон (1811–1889)* — английский политический деятель, друг и соратник *Кобдена*, основавший вместе с ним в 1839 г. «Лигу против хлебных законов».

¹³ *Гладстон Уильям Юарт (1809–1898)* — знаменитый английский политический деятель. Вождь либеральной партии. Четыре раза премьер, свыше 60 лет в парламенте, в том числе — около 30 лет на министерских постах.

¹⁴ *Энгельс Фридрих (1820–1895)* — знаменитый друг и сподвижник *К. Маркса*, «великий борец и учитель пролетариата» (Ленин).

¹⁵ *Наполеон III (1808–1873)* — император французов (1852–1870), племянник *Наполеона I*.

¹⁶ *Лист Фридрих (1789–1846)* — немецкий буржуазный экономист эпохи возникновения капитализма в Германии.

¹⁷ *Дизраэли Бенджамин, граф Биконсфилд* (1804–1881) — английский государственный деятель и писатель.

¹⁸ *Ллойд Джордж Дэвид* (1863–1945) — крупный буржуазный политический деятель Англии, либерал.

¹⁹ *Клемансо Жорж* (1841–1929) — один из крупнейших французских политических деятелей конца XIX и начала XX вв.

²⁰ *Черчилль Уинстон* (1874–1965) — английский политический деятель и «величайший ненавистник Советской России» (Ленин).

²¹ *Лерус Алехандро* (род. 1864) — испанский политический деятель, по профессии адвокат. В 1901 г. был избран депутатом в кортесы.

²² *Рузвельт Франклин* (1882–1945) — президент США. Крупный политический деятель буржуазно-демократической партии США.

²³ *Блюм Леон* (1872–1950) — один из важнейших представителей французской социалистической партии.

²⁴ По предположению д. ф. н. В. Ф. Пустарнакова Б. В. — Борис Волин — зав. кафедрой ИФЛИ в те годы.

²⁵ *Радищев А. Н.* (1749–1802) — виднейший революционер-просветитель, русский писатель, представитель передовой материалистической философии в России второй половины XVIII в.

²⁶ *Муравьев Никита Михайлович* (1796–1843) — один из наиболее видных декабристов.

²⁷ *Грановский Тимофей Николаевич* (1813–1855) — знаменитый профессор истории в Московском университете.

²⁸ *Чернышевский Николай Гаврилович* (1828–1889) — великий ученый и критик, публицист и революционер.

²⁹ *Добролюбов Николай Александрович* (1836–1861) — знаменитый критик и публицист.

³⁰ *Щедрин (Салтыков-Щедрин) Михаил Евграфович* (1826–1889) — великий русский писатель-сатирик.

³¹ *Герцен Александр Иванович* (1812–1870) — один из самых значительных и блестящих деятелей в истории русской публицистики, русского революционного движения и социалистической мысли.

³² *Кавелин Константин Дмитриевич* (1818–1885) — умеренно-либеральный историк, юрист и публицист,

профессор Московского (1844–1848) и Петербургского университетов (1857–1860), дворянин.

³³ *Катков Михаил Никифорович* (1818–1887) — реакционный публицист 1860–1880 гг.

³⁴ *Александр II* (1818–1881) — русский император, царствовал с 1855 г.

³⁵ *Суворин Алексей Сергеевич* (1834–1912) — русский буржуазный журналист.

³⁶ *Николай II (Николай Александрович Романов)* (1868–1918) — последний русский император, сын Александра III.

³⁷ *Муромцев Сергей Андреевич* (1850–1910) — один из основателей и видных деятелей кадетской партии, публицист, доктор римского права.

³⁸ *Петрункевич И. И.* (1843–1928) — помещик, земский деятель. Председатель ЦК партии кадетов, издатель газеты «Речь». — *Прим. сост.*

³⁹ *Милюков Павел Николаевич* (1859–1943) — руководитель конституционно-демократической партии, историк.

⁴⁰ *Струве Петр Бернгардович* (1870–1944) — русский буржуазный экономист и публицист, представитель легального марксизма.

⁴¹ *Плеханов Георгий Валентинович* (1856–1918) — псевдонимы — Бельтов, Волгин и др. Выдающийся пропагандист и популяризатор марксизма.

⁴² *Пуришкевич Владимир Митрофанович* (1870–1920) — бессарабский помещик, ярый монархист-реакционер, черносотенец.

⁴³ *Распутин (Новых) Григорий Ефимович* (1872–1916) — авантюрист, пользовавшийся неограниченным доверием семьи последнего российского царя Николая II и оказывавший большое влияние на решение важнейших государственных вопросов.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие. М. А. Абрамов. Неоконченная симфония русского либерализма, или возвращение белого парохода	5
--	----------

ВСЯ БУДУЩНОСТЬ РОССИИ...

К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин. ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ...	21
Б. Н. Чичерин. РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ЛИБЕРАЛИЗМА.....	38
Б. Н. Чичерин. КОНСТИТУЦИОННЫЙ ВОПРОС В РОССИИ	52
К. Д. Кавелин. ЧЕМ НАМ БЫТЬ? (Ответ редактору газеты «Русский мир» в двух письмах)	77
ЗАПИСКА МОСКОВСКИХ ЛИБЕРАЛОВ гр. ЛОРИС-МЕЛИКОВУ, НАЧАЛЬНИКУ ВЕРХОВНОЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ.....	123
Р. И. Сементковский. К ИСТОРИИ ЛИБЕРАЛИЗМА.....	140
М. М. Ковалевский. УЧЕНИЕ О ЛИЧНЫХ ПРАВАХ.....	168

МЕЖДУ ВОЙНОЙ И РЕВОЛЮЦИЕЙ

С. А. Котляревский. ПРЕДПОСЫЛКИ ДЕМОКРАТИИ.....	215
С. Л. Франк. ФИЛОСОФСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЕСПОТИЗМА	240
П. Б. Струве. ОТРЫВКИ О ГОСУДАРСТВЕ.....	266
П. И. Новгородцев. ИДЕАЛЫ ПАРТИИ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ И СОЦИАЛИЗМ	284
Н. А. Бердяев. ФИЛОСОФИЯ НЕРАВЕНСТВА Письмо седьмое. О либерализме.....	310

С ТОГО БЕРЕГА...

Е. В. Спекторский. ЛИБЕРАЛИЗМ	331
Ф. А. Степун. О СВОБОДЕ (Демократия, диктатура и «Новый Град»).....	349
М. М. Карпович. ДВА ТИПА РУССКОГО ЛИБЕРАЛИЗМА Маклаков и Милюков.....	387
В. В. Леонтович. ИСТОРИЯ ЛИБЕРАЛИЗМА В РОССИИ (1762–1914)	408

Приложение

ЛИБЕРАЛИЗМ В СССР (<i>М. А. Абрамов</i>)	441
ЛИБЕРАЛИЗМ (статья из БСЭ, 1938 г.).....	447

Научное издание

**ОПЫТ
РУССКОГО ЛИБЕРАЛИЗМА
АНТОЛОГИЯ**

Научный редактор *О. В. Кирьязов*
Художественный редактор *И. В. Жарко*
Корректоры *Э. В. Соломахина, О. Б. Андрюхина*
Компьютерная верстка *М. А. Федосеев*

*По заказу объединения инвалидов
«Реабилитация»*

Издательство «Канон»
117049, Москва, Крымский вал, 8

ЛР № 071037

Подписано в печать 15.03.96. Формат 84×108¹/₃₂.
Гарнитура школьная. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 23,0. Тираж 3000 экз. Зак. 1263.

Отпечатано с оригинал-макета заказчика
в типографии издательства «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Ф. Скорины, 79